



П. А. ВЯЗЕМСКИЙ.

*Портрет работы К. Х. Рейхеля. Масло. 1817 г. (Всесоюзный музей
А. С. Пушкина, Ленинград).*

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ

М. И. ГИЛЛЕЛЬСОН

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
« НАУКА »
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД • 1969

Ответственный редактор
Н. В. ИЗМАЙЛОВ

7-2-2

201—69 (I пол.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Творчество Петра Андреевича Вяземского привлекло должное внимание исследователей лишь в последние десятилетия.

Дореволюционная литература по интересующему нас вопросу сравнительно немногочисленна. В речи М. И. Сухомлинова,¹ прочитанной им в год смерти Вяземского в годичном собрании Академии наук, и в брошюре Дм. Языкова² дан лишь беглый пересказ жизни писателя. Статья В. Д. Спасовича посвящена польским знакомствам Вяземского.³ В статье И. Н. Розанова⁴ сопоставляется поэтическая манера Вяземского и Пушкина; взаимоотношениям Пушкина и Вяземского посвящены также статьи Л. Н. Майкова⁵ и Н. П. Барсукова.⁶ Литературно-критической деятельности Вяземского намеревался посвятить свое исследование Н. К. Кульман,⁷ однако его работа осталась незаконченной; в ее опубликованной части автор лишь обрисовал состояние критической мысли в России в начале XIX в., так и не приступив к рассмотрению статей Вяземского.

Из дореволюционных трудов необходимо отметить ценные публикации: пять томов «Остафьевского архива» с примечаниями

¹ М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II. СПб., 1889, стр. 349—364.

² Дм. Языков. Князь П. А. Вяземский. (Его жизнь и литературно-общественная деятельность). М., 1904.

³ В. Д. Спасович. Князь Петр Андреевич Вяземский и его польские отношения и знакомства. Русская мысль, 1890, № 1, отд. II, стр. 51—82; также: В. Д. Спасович, Сочинения, т. VIII, СПб., 1896, стр. 1—51.

⁴ И. Н. Розанов. Князь Вяземский и Пушкин. (К вопросу о литературных влияниях). Беседы. Сб. Общества истории литературы, т. I, М., 1915, стр. 57—76; также отдельный оттиск: М., 1915.

⁵ Л. Н. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 266—283.

⁶ Н. П. Барсуков. Князь Вяземский и Пушкин. Старина и новизна, 1904, № 8, стр. 1—10.

⁷ Н. К. Кульман. Князь Петр Андреевич Вяземский как критик. Известия ОРЯС, 1904, т. IX, № 1, стр. 273—335.

В. И. Саитова,⁸ шестой том «Архива братьев Тургеневых» с примечаниями Н. К. Кульмана,⁹ статью А. Фомина «К вопросу об авторстве неподписанных статей А. С. Пушкина, князя П. А. Вяземского и других в „Литературной газете“ 1830 года»,¹⁰ статью Н. Замкова «К истории „Литературной газеты“ барона А. А. Дельвига. (Из архивных разысканий)».¹¹

Из работ, опубликованных в советское время, следует назвать статьи Л. Я. Гинзбург,¹² С. Н. Дурылина,¹³ М. С. Боровковой-Майковой,¹⁴ В. С. Нечаевой,¹⁵ Н. И. Мордовченко,¹⁶ Н. Богословского,¹⁷ Ю. М. Лотмана,¹⁸ Т. В. Кочетковой,¹⁹ С. С. Ланда,²⁰ автора настоящей работы.²¹ В 1963 г. в серии «Литературные па-

⁸ Остафьевский архив князей Вяземских, тт. I—V. СПб., 1899—1913.

⁹ Архив братьев Тургеневых, вып. VI. Переписка А. И. Тургенева с князем П. А. Вяземским. Т. I, 1814—1833 годы. Пгр., 1921.

¹⁰ Русский библиофил, 1914, № 4, стр. 41—52.

¹¹ Русская старина, 1916, № 5, стр. 245—281.

¹² Л. Я. Гинзбург. 1) Вяземский-литератор. В кн.: Русская проза. Л., «Academia», 1926, стр. 102—134; 2) Вяземский. В кн.: П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Л., Изд. писателей в Ленинграде, 1929, стр. 9—50; 3) Вяземский. В кн.: История русской литературы, т. VI. М.—Л., Изд. АН СССР, 1953, стр. 390—399; 4) Вяземский. В кн.: П. А. Вяземский. Стихотворения. Л., изд. «Советский писатель», 1958, стр. 5—45.

¹³ С. Н. Дурылин. 1) Декабрист без декабря. В кн.: Декабристы и их время, т. II. Л., Изд. Общ. политкаторжан, 1932, стр. 201—290; 2) П. А. Вяземский и «Revue Encyclopédique», ЛН, т. 31—32, М., 1937, стр. 89—108.

¹⁴ М. С. Боровкова-Майкова. 1) Арзамас и арзамасские протоколы. Изд. писателей в Ленинграде, 1933; 2) Письма Вяземского к жене за 1830—1832 гг. Звенья, вып. 3—4, 1934, стр. 172—175, 179—187, 215—221; вып. 6, 1936, стр. 191—312; вып. 9, 1951, стр. 213—468.

¹⁵ В. С. Нечаева. 1) П. А. Вяземский в Париже в 1838—1839 гг. ЛН, т. 31—32, М., 1937, стр. 108—119; 2) Французская литература и П. А. Вяземский в преддекабрьскую эпоху. Там же, стр. 77—89; 3) Вяземский как пропагандист творчества Пушкина во Франции. ЛН, т. 58, М., 1952, стр. 308—324.

¹⁶ Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX века. М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 173—182, 201—213, 280—313 (посмертная публикация диссертации, 1948).

¹⁷ Н. Богословский. Спор Пушкина с Вяземским об Озере. Красная новь, 1937, № 1, стр. 98—104.

¹⁸ Ю. М. Лотман. 1) «Два слова постороннего» — неизвестная статья П. А. Вяземского. В кн.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.—Л., Изд. АН СССР, 1958, стр. 301—305; 2) П. А. Вяземский и движение декабристов. Уч. зап. Тартуского унив., вып. 98, 1960, стр. 24—142.

¹⁹ Т. В. Кочеткова. Стендаль и Вяземский. Вопросы литературы, 1959, № 7, стр. 148—155.

²⁰ С. С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816—1821 гг. (Из политической деятельности П. А. Вяземского, Н. И. и С. И. Тургеневых, М. Ф. Орлова). В кн.: Пушкин и его время. Исследования и материалы. Вып. I. Л., Изд. Гос. Эрмитажа, 1962, стр. 67—231.

²¹ М. И. Гиллельсон. 1) Вяземский-критик. В кн.: История русской критики, т. I. М.—Л., Изд. АН СССР, 1958, стр. 228—238; 2) Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе». В кн.:

мятники» (Изд. АН СССР) вышла в свет «Старая записная книжка» (до 1848 г.) Вяземского; подготовка текста и вступительная статья В. С. Нечаевой, редакция К. В. Пигарева.

Изучение творческой деятельности Вяземского привлекло внимание и нескольких зарубежных ученых. Перу П. М. Бицилли принадлежит статья «Пушкин и Вяземский (к вопросу об источниках пушкинского творчества)».²² Ю. П. Иваск напечатал публикацию «Два письма князя П. А. Вяземского».²³ Вслед за статьями австрийского ученого Г. Вытженса «Vjazemskij und Gogol»²⁴ и «P. A. Vjazemskij und Polen»²⁵ появилась его книга о Вяземском,²⁶ которая в настоящее время является единственным монографическим исследованием жизни и литературно-критического наследства Вяземского. Труд Г. Вытженса получил положительную оценку советской научной общественности.²⁷ Весьма ценной является заключительная часть книги «Библиография произведений П. А. Вяземского и литературы о нем».²⁸

В последние годы ценные работы о Вяземском опубликовала итальянская исследовательница Н. Каучишвили: среди ее трудов в первую очередь следует упомянуть монографию «Италия в жизни и творчестве П. А. Вяземского».²⁹

Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., Изд. АН СССР, 1960, стр. 418—429; 3) Новое о статье П. А. Вяземского «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева». Русская литература, 1962, № 3, стр. 219—223; 4) Материалы по истории арзамасского братства. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. IV. М.—Л., Изд. АН СССР, 1962, стр. 287—326; 5) Оппозиционер или фрондер? Русская литература, 1963, № 4, стр. 232—237; 6) Указатель статей и других прозаических произведений П. А. Вяземского с 1808 по 1837 год. Уч. зап. Горьковского унив., вып. 58, 1963, стр. 313—322; 7) Неизвестные публицистические выступления П. А. Вяземского и И. В. Киреевского. Русская литература, 1966, № 4, стр. 120—134.

²² Ежегодник Софийского унив., т. XXXV, вып. 15, 1939, стр. 1—50.

²³ Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956, стр. 40—55. — Публикация писем к М.-А. Жюльену сопровождается заметкой Галлана Рене «Французский язык писем кн. П. А. Вяземского».

²⁴ Wiener slavistisches Jahrbuch, 1955, B. IV, SS. 83—96.

²⁵ Wiener slavistisches Jahrbuch, 1957/58, B. VI, SS. 46—72.

²⁶ G. Wy t z e n s. Pjotr Andreevic Vjazemskij. Studie zur russischen Literatur und Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Wien, 1961.

²⁷ В. С. Нечаева. Первая монография о Вяземском. Вопросы литературы, 1962, № 7, стр. 209—213.

²⁸ К сожалению, автор не учел работу В. Г. Березиной «Н. А. Полевой в „Московском телеграфе“» (Уч. зап. ЛГУ, № 175, вып. 20, стр. 86—142) и ошибочно приписал Вяземскому все статьи, подписанные псевдонимом «Журнальный сыщик».

²⁹ N. Kauchschischwili. L'Italia nella vita et nell'opera di P. A. Vjazemskij. Milano, 1964. См. также ее работы: Alcune considerazioni su un incontro tra P. A. Viàzemschij e Alessandro Manzoni. Aevum, XXXVI (1962). V—VI, pp. 443—462; Silvio Pellico e la Russia. Un capitolo sui rapporti russo-italiani. Milano, 1963. См. рецензии: А. Д. Михайлов. Сильвио Пеллико в России. Вопросы литературы, 1965, № 11, стр. 235—236; В. Нечаева. П. А. Вяземский в Италии. Там же, 1966, № 3, стр. 231—233; М. Гиллельсон. Из истории итальянско-русских литературных связей. Русская литература,

Коллективные усилия ученых ввели в научный оборот значительное количество архивных документов, что позволило уточнить общественно-литературную позицию Вяземского, его взаимоотношения со многими писателями и общественными деятелями. Эта большая предварительная работа исследователей явилась необходимой предпосылкой, позволяющей посвятить монографию жизни и творчеству Вяземского.

Начало литературно-критической деятельности Вяземского относится к первому десятилетию XIX в., конец — к 1870-м годам. Огромное литературное наследие (поэтическое, критическое, эпистолярное), длительность жизненного пути — Вяземский родился в 1792 г., а скончался в 1878 г. — не дают возможности с исчерпывающей полнотой обозреть весь материал. В настоящей монографии наибольшее внимание уделено 1810-м—1830-м годам, когда литературно-общественная деятельность Вяземского, тесно соприкасаясь с движением декабристов и пушкинским кругом писателей, была наиболее прогрессивной. Хотя Вяземский на четыре десятилетия пережил Пушкина, однако в историю русской общественной мысли он вошел в первую очередь как литературный критик пушкинской эпохи, а в историю русской поэзии — как поэт пушкинского круга.

* * *

В цитатах, при сохранении лексических и стилистических особенностей языка того времени, орфография по возможности приведена в соответствие с современной нормой; транскрипция личных имен дается по оригиналу цитат. Курсив в цитатах, кроме случаев, особо оговоренных, принадлежит авторам цитат. Издания, ссылки на которые повторяются в монографии, приводятся с полными библиографическими данными лишь при первом их упоминании.

1966, № 2, стр. 246—250. Недавно вышла из печати новая книга Н. Каухчишвили «Il diario di Dar'ja Fëdorovna Ficquelmont» (Milano, 1968), в приложении к которой напечатаны письма Вяземского к Д. Ф. Фикельмон (1830—1831).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Петр Андреевич Вяземский происходил из старинного княжеского рода. Его прадед, Андрей Федорович (1692—1765), стольник, вступил в брак с пленной шведкой, от которой у него было два сына — Иван и Николай (последний скончался холостым).

Дед П. А. Вяземского, Иван Андреевич (1722—1786), начал службу в 1737 г. при дворе Анны Иоанновны, в 1762 г. произведен в генерал-майоры, в конце 1771 г. в чине тайного советника назначен директором С.-Петербургского для дворянства банка, в 1781 г. вышел в отставку; с 1751 г. женат на княжне Марии Сергеевне Долгорукой (1719—1786).¹

Отец П. А. Вяземского, Андрей Иванович (1754—1807), «начал военную службу» и, как писал П. А. Вяземский, «дослужился до чина генерал-поручика, командовал Вологодским полком, был в Турецкой кампании, но не имел никаких знаков воинского отличия, кажется, по недоброжелательству к нему князя Потемкина. Незадолго до кончины императрицы Екатерины назначен был нижегородским и пензенским наместником. <...> По восшествии на престол императора Павла и по уничтожении наместничеств он переименован был в чин тайного советника и назначен сенатором в Москве. До кончины Павла I уволен в отставку по прошению».²

Отец Вяземского много путешествовал; 1782—1786 гг. он провёл за границей: побывал в Швеции, Германии, Франции, Голландии, Испании, Португалии, Англии, Италии и Швейцарии.

¹ Подробнее о предках Вяземского см.: П. Долгорукий. Российский родословный сборник, кн. 2. СПб., 1841, стр. 5—15; Остафьево. Материалы о прежних владельцах и к родословной кн. Вяземских. М., 1906; Н. А. фон Баумгартен. К происхождению князей Вяземских. М., 1915.

² П. Долгорукий. Ук. соч., стр. 13.

Он интересовался государственным устройством и народным бытом западноевропейских стран, изучал военное дело, посещал музеи и библиотеки, покупал книги, гравюры, медали. Во время своего путешествия он познакомился с ирландкой по фамилии Квин (урожденной О'Рейлли), страстно в нее влюбился, увез от мужа в Россию и, добившись для нее развода, решил венчаться с ней. Его родители были, конечно, против подобного брака, но Андрей Иванович настоял на своем и в 1786 г. женился на Евгении Ивановне О'Рейлли (1762—1802).³

Кроме сына Петра, у Андрея Ивановича были две дочери: внебрачная дочь Екатерина Колыванова (1780—1851), ставшая в 1804 г. женой Карамзина,⁴ и Екатерина (1789—1810), вышедшая замуж за князя А. Г. Щербатова и скончавшаяся в первый же год своей семейной жизни.

Андрей Иванович был человеком большого ума и, по отзывам современников, благородного характера; недаром он писал про себя Павлу I: «...природа влила в душу мою непреодолимое омерзение от кривых дорог».⁵ Широко образованный, остроумный, «упорный спорщик», любитель самых разнообразных отраслей человеческого знания — истории, философии, литературы, военного дела, точных наук (после него долгие годы сохранялся в Остафьеве физический кабинет), Андрей Иванович представлял собою любопытный тип переходной эпохи русской жизни, когда умственное движение, вызванное преобразованиями Петра I и французским Просвещением, захватило передовых представителей русской культуры, образуя разного рода вольтерьянцев. Как справедливо писал В. В. Сиповский, «разнородна была та почва, на которую падали у нас семена свободной мысли, и оттого различные всходы дал этот посев <...> Вот почему русское „вольтерьянство“ оказалось понятием расплывчатым и очень широким: слишком разнообразных людей оно захватило, слишком различно реагировали эти различные люди на эти освобождающие идеи, и к самым различным результатам все они пришли. И только одно, что свойственно всем русским „вольтерьянцам“, — хотя и в разной мере, — это „отрицание“, через которое прошли они все, —

³ Бумаги А. И. Вяземского изданы — см.: Архив князя А. И. Вяземского. М., 1881. — На экземпляре этого издания, хранящегося ныне в ЦГАЛИ, рукой П. П. Вяземского вписано: «Княгиня Евгения Ивановна была урожденная Орелли. Сведений о ее семействе в архиве не находится. Во Франции существует ирландская фамилия O'Reilly, эмигрировавшая в 1526 г. во Францию вследствие лишения ее Англией владений. Фамилия эта ведет свой род от древних королей обеих Брефий, восточного и западного. Antoinette Pauline Oreilly de Bretny была замужем за графом Иоанном de Laurencie, эмигрировавшим в 1791 г.» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 3752, лл. 74 об.—75).

⁴ Подробнее о ней см.: Н. В. Измайлов. Пушкин и семейство Карамзиных. В кн.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 15—22.

⁵ Архив князя А. И. Вяземского, стр. 48.

отрицание, которое, подобно нигилизму 60-х годов, для русских людей было мостом, через который должны были они пройти, чтобы перебраться на другой берег реки, войти в XIX в., с его широкими общественными и политическими интересами, с его широкими либеральными принципами».⁶

Скептицизм, рожденный идеями Вольтера и других французских просветителей, нанес сокрушительный удар феодальной идеологии как на Западе, так и в России. Однако разрыв с традиционным мышлением был настолько велик, что многие русские вольтерьянцы останавливались на полпути и, испытав на себе влияние Вольтера, возвращались к религиозным взглядам: «... путь, приведший к масонству главных представителей русской общественной мысли, был у всех их совершенно одинаковым: все они прошли через вольтеррианство, испытали на себе всю тяжесть вызванного им душевного разлада и бросились затем искать спасения в масонстве».⁷

Сведения, которыми мы располагаем об А. И. Вяземском, свидетельствуют о том, что его, видимо, не остановили крайние выводы французского Просвещения. Странник точных наук, он остался чужд масонской мистике.⁸ П. А. Вяземский писал о своем отце: «Большую часть дня просиживал он за книгою у камина в больших, обитых зеленым сафьяном креслах, которые мне еще памятливы и знакомы были почти всей Москве. В доме была значительная библиотека, ежегодно обогащаемая новыми произведениями французской литературы <...> Любимое чтение его были исторические и философические книги; урывками и тайком обращали они на себя мое ребяческое внимание. Помню между прочими книгу знаменитого французского врача и физиологиста Cabanis: *Rapports du physique et du moral de l'homme*».⁹ Это было то

⁶ В. Сиповский Из истории русской мысли XVIII—XIX вв (Русское вольтерьянство). Голос минувшего, 1914, № 1, стр. 109. Об этом см. также: Ф. Терновский. Русское вольнодумство при императрице Екатерине II и эпоха реакции. Тр. Киевской духовной академии, 1868, март, стр. 401—464, июль, стр. 109—146; М. В. Нечкина. Вольтер и русское общество. В кн.: Вольтер Статьи и материалы под ред. В. П. Волгина. М., Изд. АН СССР, 1948, стр. 57—93.

⁷ А. В. Семяка. Русское масонство в XVIII в. В кн.: Масонство в его прошлом и настоящем, т. 1. М., 1914, стр. 134.

⁸ Бумаги Остафьевского архива не подтверждают неуверенных свидетельств (Н. В. Сушков. Московский университетский благородный пансион. М., 1858, стр. 21; М. Цявловский. Из пушкинны П. И. Бартенева. Летописи Гос. литературного музея. Кн. 1. Пушкин. М., Жургазобединение, 1936, стр. 546) о принадлежности А. И. Вяземского к кружку Н. И. Новикова. В мемуарных статьях П. А. Вяземского также нет упоминаний о том, что Н. И. Новиков и И. П. Тургенев бывали в доме его отца.

⁹ П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. VII, СПб., 1882, стр. 91. — В дальнейшем ссылки на это издание (тт. I—XII, 1878—1896) даются в тексте: тома — римскими цифрами, страницы — арабскими (кроме ссылки

самое произведение, в котором, по словам К. Маркса, Пьер Жан Жорж Кабанис «завершил картезианский материализм».¹⁰

Библиотекарь Ф. К. Эльсгольд, посетивший Остафьево в 70-х годах прошлого века, писал: «Библиотека князей Вяземских, которая с прошлого столетия собирается и пополняется. В состав ее входят: а) библиотека князя Андрея Ивановича Вяземского из 5000 томов; б) библиотека князя Петра Андреевича Вяземского из 7000 и в) библиотека князя Павла Петровича <...> из 10 000 томов. Таким образом, вместе составляет 22 000 томов приблизительно. <...> Третья часть находилась прежде в С.-Петербургe и лет семь тому назад перенесена в Остафьево».¹¹

В 1932 г. библиотека князей Вяземских была отправлена из Остафьева в Москву, в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина. Опись передачи ее обнаружить не удалось. По свидетельству старейших работников этого книгохранилища, экслибрисов на книгах Вяземских не было. К сожалению, библиотека Вяземских не была выделена в самостоятельное хранение и распылена в многомиллионных фондах Библиотеки.

Между тем в бумагах Остафьевского архива сохранился каталог французских книг А. И. Вяземского, относящийся к 1780 г. В нем числятся произведения Вольтера, Руссо, Даламбера, Гельвеция, Дидро, Фенелона, Ларошфуко, Лафонтена, Буало, Мармонтеля, Монтеня, Скаррона, Мильтона, Макиавелли, Плутарха, Дефо, Лейбница, Кребийлона (сына) и некоторые другие; особенно богато представлено творчество Вольтера: от «Орлеанской девственницы» до философских и политических трактатов, от его драм до эпистолярной и мемуарной.¹² Судя по каталогу, чтение трудов Вольтера занимало первостепенное место в занятиях А. И. Вяземского. Превосходная библиотека отца Вяземского, его любовь к фернейскому патриарху сыграли заметную роль в умственном развитии будущего поэта и литературного критика.

Проникновенная характеристика А. И. Вяземского, просвещенного вельможи XVIII в., дана В. С. Нечаевой: «Как четкий рисунок на старом резном камне, где нет места никакой приблизительности и неопределенности, встает из мглы прошлого его образ. Недаром он любил этот строгий род искусства, собирая в своем Остафьево великолепную коллекцию резных камней, недаром умел любоваться художественной чеканкой медалей и монет, посещая

на «Автобиографическое введение», страницы которого, как и тома, обозначаются римскими цифрами).

Перевод: Кабанис. «Соотношение физического и духовного в человеке» (франц.). Первое издание этого труда вышло в свет в Париже в 1802 г.

¹⁰ К. Маркс и Фр. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 2, Госполитиздат, М., 1955, стр. 140.

¹¹ Ф. К. Эльсгольд. Частные библиотеки в России. Российская библиография, 1880, № 53 (1), стр. 3.

¹² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 449.

во время путешествия нумизматические кабинеты Западной Европы. Что-то от их строгого холода и четкости было в самом духовном облике князя <...>. В подмосковной своей, Остафьеве, он выстроил дом, который как будто запечатлел цельность и трезвую простоту своего создателя. Строгое соответствие форм с содержанием, никакой погони за внешней красотой, блеском, спокойная ясность линий и пропорций — в архитектуре дома, в размещении комнат, в развеске картин. Точно колода карт в каком-то пасьянсе, висят до сих пор в его спальне правильными горизонтальными и вертикальными рядами гравюры с портретов французских и английских писателей и общественных деятелей XVIII в., все одинакового размера, в одинаковых узеньких рамках. Ближе к дому, у пруда, не заботясь о красоте пейзажа, выстроил он солидные белые корпуса суконных фабрик, организацией и ведением которых внимательно занимался сам к удивлению своих столичных приятелей».¹³

Дом в Остафьеве был выстроен А. И. Вяземским вскоре после покупки имения в 1795 г. Дом двухэтажный, в классическом стиле, с двумя флигелями, соединенными колоннадой, по чертежам одного из учеников Баженова, в духе вилл Палладио; в доме 40 комнат, во флигелях — 24.¹⁴

При жизни старого князя в Остафьеве бывали Ю. А. Нелединский-Мелецкий, И. И. Дмитриев, Карамзин, который, как уже упоминалось, женился на дочери А. И. Вяземского. Карамзин подолгу жил там; большинство томов «Истории государства Российского» написано в Остафьеве; для потомства это запечатлено в скромном памятнике, поставленном вблизи дома: на гранитном постаменте изображены книги, символизирующие тома «Истории государства Российского», ниже — барельеф Карамзина.

Многолюдно и шумно было в Остафьеве при П. А. Вяземском. Гостеприимный хозяин не раз встречал Жуковского и Батюшкова, Василия Львовича Пушкина и Дениса Давыдова, Александра Пушкина и Вильгельма Кюхельбекера, Гоголя и Адама Мицкевича, Александра Ивановича Тургенева и многих других писателей.

В Остафьеве протекло детство П. А. Вяземского. Уверенный в неограниченной силе разумной воспитательной системы, А. И. Вяземский пытался «вылепить» характер сына по образу и подобию своему. Отец стремился закалить впечатлительного и робкого ребенка: его оставляли одного ночью в мрачном парке; чтобы научить плавать, бросали в пруд; пылкое воображение сына отец хотел обуздать математикой и точными науками.

¹³ В. Нечаева. Отец и сын. Юношеские годы П. А. Вяземского. (По неизданным материалам Остафьевского архива). Голос минувшего, 1923, № 3, стр. 42—44.

¹⁴ ИРЛИ, Р-1, оп. 4, № 76. — В настоящее время в Остафьеве расположен дом отдыха.

Однако все усилия старого князя оказались тщетными — ему так и не удалось изменить характер сына.

Упорство, унаследованное П. А. Вяземским от отца, позволило ему выйти победителем из единоборства: индивидуальные наклонности ребенка одержали верх над волей родителя.

Хотя А. И. Вяземскому, вопреки воспитательным теориям XVIII в., оказалось не по силам направить развитие сына по предназначенному им для него умственному руслу, тем не менее он оказал существенное воздействие на формирование мировоззрения сына. Скептицизм и вольнодумство отца, его позитивное отношение к французскому Просвещению, его трезвый ум, обогащенный знаниями во многих отраслях культуры, его любознательность путешественника, исколесившего вдоль и поперек Западную Европу, — все это не могло пройти бесследно для молодого Вяземского; рассматривая ретроспективно долгий жизненный путь Вяземского, устанавливая его литературные пристрастия, выискивая интеллектуальные догмы, которым он поклонялся с юных лет до глубокой старости, прослеживая его ироническое, насмешливое отношение к религиозным статутам, можно без труда обнаружить, что многими отличительными и знаменательными чертами своего мировоззрения Вяземский несомненно обязан отцу.

Однако то, что видно историку, не было видно А. И. Вяземскому. Глубокая внутренняя умственная работа сына была для отца тайной за семью печатями. Он видел лишь непослушание, нежелание исполнять его волю. Летом 1805 г., приняв решение отдать сына в иезуитский пансион в Петербурге, А. И. Вяземский продиктовал сыну «обвинительный акт», в котором с сердечной болью подробно перечислил его недостатки: «Вы не лишены ни ума, ни известного развития, но ветренность вашего характера делает то, что вы отвлекаетесь всем, что вас окружает, сколь бы ни было это незначительным и ничтожным. Лениость вашего ума, эта вторая причина вашего невежества, заставляет вас скучать и испытывать отвращение к изучаемым вами предметам в тот момент, когда они требуют особого внимания и прилежания. Пустота и бессодержательность вашего времяпрепровождения после классов — третья причина вашего невежества: или вы повсюду слоняетесь, как дурачок, или вы занимаетесь такими пустяками, как пускание змея, или другими детскими игрушками. Даже если вы и берете книгу, то это лишь от скуки и от нечего делать. Старые газеты или серьезное сочинение — это для вас безразлично, вы читаете все, что первым попадает под руки».¹⁵

А. И. Вяземский точно подметил черты разбросанности в характере сына, отсутствие усидчивости и внутренней умственной дисциплины. Однако во всем остальном он оказался не прав:

¹⁵ Голос минувшего, 1923, № 3, стр. 40. Подлинник по-французски (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5082). Дата 21 июля 1805 г.

помещенный в пансион патера Чижя, Вяземский обнаруживает остроту ума, выказывает недюжинные знания и начинает дружить с более старшими воспитанниками, так как по своему общему развитию он значительно опережает своих сверстников: «После предварительного и легкого испытания определен был я во второй класс, то есть средний. В этом классе товарищи были все, более или менее, ровесниками моими. Это было по учению. Но вскоре отношения и сношения мои связались гораздо теснее с воспитанниками старшего класса. Все были они старше меня; иные опережали меня четырьмя и пятью годами. Они возвысили меня до себя и обходились со мною, как с ровнею» (I, стр. XVII).

Сохранились письма П. А. Вяземского к отцу, которые позволяют установить, насколько широк был круг его умственных интересов; в письме от 20 сентября 1806 г. он просил разрешения на покупку следующих книг: «Басни», «Сказки», «Любовь Психеи и Купидона» Лафонтена, сочинения Расина, Пьера Корнеля, Тома Корнеля, Мольера, Буало, Реньяра, Ж.-Б. Руссо, Малерба, Флориана, «Рассуждение о всеобщей истории» Боссюета, «Опыты» Монтеня, «Приключения Телемака» Фенелона, «Персидские письма», «Размышления о причинах величия и падения римлян», «О духе законов» Монтескье, «Пьесы», «Генриада», «История Карла XII», «История России в царствование Петра Великого» и другие произведения Вольтера.¹⁶

В «Автобиографическом введении» П. А. Вяземский вспоминал, что в детстве он с наслаждением заучивал наизусть монологи из трагедий Расина и Вольтера (I, стр. XI). Однако французская литература не заслоняла от него отечественной словесности. По его собственному признанию, оды Ломоносова приводили его в упоение, а от Державина он был без ума. Литературные наклонности Вяземского получили в пансионе благоприятную почву для быстрого развития: «В этой среде избранных товарищей ум мой и вообще настроение мое развивались и созревали не по годам, может быть, в некотором отношении даже слишком рано. <...> Литература, особенно русская, была не чужда этому кружку. Пушкина еще не было, Жуковского еще почти не было, Крылова также. Державин, Карамзин, Дмитриев были нашими любимыми руководителями и просветителями <...> Многие из товарищей знали наизусть лучшие строфы Державина, басни, а еще более сказки Дмитриева» (I, стр. XX).

Вяземский изучал в иезуитском пансионе языки (русский, французский, немецкий, латынь), логику, риторику, греческую и римскую историю, алгебру, обучался танцам, верховой езде и игре на скрипке. Время, проведенное в пансионе, не пропало даром: Вяземский быстро вырос, набирался знаний. После иезуитского пансиона он был помещен в пансион при Петербургском

¹⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 492, л. 55—55 об.

педагогическом институте, но пробыл в нем недолго. Он начал вести свободную жизнь, ходил в театры и маскарады, принимал деятельное участие в шумных похождениях столичной молодежи. Об этом донесли старому князю, и Вяземский получил от отца приказ возвратиться домой. Это произошло в начале 1807 г.

Тогда же Вяземский написал свой литературный портрет, в котором непосредственно и живо изобразил себя на грани отрочества и юношества: «У меня маленькие и серые глаза, вздернутый нос (я, право, не знаю хорошенько, какого цвета; так как в этом презренном мире все следует за модой, то я сказал бы, что мой нос слегка розовый). Как бы в вознаграждение за маленький размер этих двух частей моего лица мой рот, щеки и уши очень велики. Что касается до остального тела, то я — ни Эзоп, ни Аполлон Бельведерский!<...> У меня чувствительное сердце, и я благодарю за это Всевышнего! Потому что, мне кажется, лишь благодаря ему я совершенно счастлив, и лишь одна чувствительность, или по крайней мере она, — одно из главных свойств, отличающих нас от зверей<...> У меня воображение горячее, быстро воспламеняющееся, восторженное, никогда не остающееся спокойным<...> Я очень люблю изучение некоторых предметов, в особенности поэзии. Я не стараюсь отгадать, подлинное ли я дитя муз или только выкидыш, — как бы то ни было, я сочиняю стихи<...> Я не глуп — но мой ум часто очень забавен. Иногда я хочу сойти за философа, но лишь подумаю, что эта философия не увеличит моего счастья, — скорее наоборот, — я посылаю ее к черту<...> Для чего же послужили все эти философские системы конца XVIII века, — сотни тысяч нам подобных были приведены к гибели — правда, это не стоило труда».¹⁷

В этом стилизованном портрете дана как бы идеальная проекция действительных свойств молодого Вяземского; все в этом портрете чуть-чуть заострено, преувеличено, более выпукло, чем на самом деле. Однако подобная стилизация, выполненная в духе той эпохи, помогает нам острее воспринять индивидуальность психического склада Вяземского, распознать ту органическую амальгаму эпикурейства и скептицизма, которые были наиболее характерными особенностями его мироощущения на протяжении многих лет. Ирония Вяземского не щадит и его кумиров — французских философов XVIII в. Но было бы ошибочно думать, что выпады против французской философии были ее отрицанием: пропитанный с ног до головы ее духом, Вяземский мог сколько угодно иронизировать по ее поводу — вольтерьянство вошло к нему в плоть и кровь настолько прочно, что даже в этой иронии явно чувствуется влияние фернейского мудреца. Вяземский обращает против своего учителя его собственное оружие — скептицизм.

¹⁷ Голос минувшего, 1923, № 3; стр. 47—49. Подлинник по-французски (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5082). Дата 20 февраля 1807 г.

Воздействие идей французского Просвещения на Вяземского было обусловлено также общением с друзьями и знакомыми его отца. В гостеприимном доме своих родителей Вяземский встречал многих выдающихся деятелей той эпохи. В его мемуарных статьях «Допотопная или допожарная Москва» (1865) и «Московское семейство старого быта» (1877) перед нами проходит целая галерея лиц, которые с детства запечатлелись в его сознании: граф А. Р. Воронцов, граф Н. П. Панин, князь П. А. Зубов, светлейший князь П. В. Лопухин, князь А. Н. Голицын, Н. С. Мордвинов, князь Я. И. Лобанов-Ростовский, граф Ф. И. Киселев, статсекретарь Павла I поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий, дипломат и литератор князь А. М. Белосельский-Белозерский, дипломат и стихотворец В. В. Ханыков, любитель наук и художеств граф Л. К. Разумовский, библиофил граф Д. П. Бутурлин, семейство князя П. А. Оболенского (мужа сестры А. И. Вяземского) и многие другие. Все это были просвещенные вельможи екатерининского царствования, превосходно знавшие французскую литературу, многие из которых стремились «иметь в своем портфеле хотя одно письмо Вольтера или Даламбера» (VII, 94).

По возвращении из Петербурга Вяземский нашел среди гостей много новых лиц, которые стали бывать у них в доме после замужества его сестры: «Со вступлением Карамзина в семейство наше — русский литературный оттенок смешался в доме нашем с французским колоритом, который до него преодолевал. По возвращении из пансиона нашел я у нас Дмитриева, Василия Львовича Пушкина, юношу Жуковского и других писателей» (I, стр. XXVIII—XXIX).

Молодой Вяземский быстро освоился в родительском доме и завязал дружеские отношения с друзьями отца, став с многими из них на равную ногу. Между тем старый князь не переставал думать о его дальнейшем воспитании. Он поместил сына в дом профессора Рейса, договорившись, что лучшие преподаватели Московского университета будут читать ему лекции. Сохранилась тетрадь ученических работ Вяземского, на первой странице которой написано его старческим почерком: «Мои учебные или ученические занятия с профессором Московского университета Рейнгардтом Буле, когда я жил у профессора Рейса.¹⁸ Из моих латинских упражнений ничего у меня не осталось ни в памяти, ни в голове, потому что латыни нет никакого применения к русской жизни. Тот же будет результат и ныне, когда министерство Каткова—Толстого засадило юношей на латинскую кухню, вовсе не питательную и не приспособленную к русским желудкам».¹⁹

¹⁸ Рейс Фердинанд Федорович (1778—1852) — 1803 г. профессор медицинской химии Московского университета; Буле Иоганн Готтлиб Герхардт (1763—1821) — 1804 г. профессор естественного права и теории изящных искусств Московского университета.

¹⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 929.

Эти занятия, которые, видимо, были не по душе Вяземскому, скоро прервались. 20 апреля 1807 г. старый князь скончался, поручив Карамзину быть наставником и путеводителем его сына.

Вырвавшись из-под строгой отцовской опеки, Вяземский стал вести рассеянный образ жизни, сделался любимцем московской молодежи. Тщетно Карамзин предостерегал своего молодого шурина — со всем пылом безудержной юности он проводил время в пирушках и забавах. Однако Карамзину все-таки удалось уговорить Вяземского поступить на службу: 5 ноября 1807 г. он был зачислен юнкером в Московскую межевую канцелярию, которой в то время управлял П. А. Обрезков; 27 апреля 1808 г. Вяземский получил чин титулярного советника. Видимо, служба отнимала мало времени у Вяземского и носила во многом номинальный характер, если не считать его шестимесячной поездки, с 1 сентября 1809 г. по 1 марта 1810 г., с П. А. Обрезковым, «во время бытности его для исполнения высочайших повелений в губерниях Пермской, Казанской, Нижегородской и Владимирской». В эти годы Вяземский жил то в Москве, то в Остафьеве, которое перешло к нему по наследству. Достаточно обеспеченный, он не думал о служебной карьере. Иначе смотрел на это Карамзин, которому хотелось, чтобы его питомец имел прочное положение в обществе, — в 1810 г. Карамзин настойчиво хлопотал перед И. И. Дмитриевым о том, чтобы добыть Вяземскому камер-юнкерство. Хлопоты увенчались успехом, и 22 марта 1811 г. Вяземский был пожалован в звание камер-юнкера.

Первое сердечное увлечение Вяземского относится к концу 1806 г.: в его архиве можно прочесть французское мадригальное стихотворение, посвященное А. Ю. Нелединской-Мелецкой (1789—1829). На этом листке имеется надпись, утверждающая, что это стихотворение было написано Вяземским в возрасте 14 лет.²⁰ Проходит два года, и в письме от 22 марта 1809 г. к П. Д. Киселеву Вяземский, не называя имени, пишет о том, что он опять сильно влюблен.²¹ В сентябре 1811 г. Вяземский был помолвлен с княжной Верой Федоровной Гагариной (1790—1886), дочерью князя Федора Сергеевича Гагарина (1757—1794) и княжны Прасковьи Юрьевны Трубецкой (1762—1846), во втором браке Кологривовой. Незадолго до женитьбы Вяземский перенес жестокое воспаление легких. По семейному преданию, он, простудившись во время купания, вынужден был остаться в доме Кологривовых; во время его болезни за ним ухаживала княжна Вера, и энергичная Прасковья Юрьевна (выведенная, как известно, Грибоедовым в «Горе от ума» под именем Татьяны Юрьевны) поторопилась ускорить помолвку своей дочери с богатым женихом. 18 октября 1811 г. была отпразднована свадьба. Брак оказался

²⁰ Там же, № 5082.

²¹ Русская старина, т. 88, 1896, стр. 678.

счастливым. Многолетняя переписка Вяземского с Верой Федоровной не оставляет сомнения в том, что судьба подарила ему достойную подругу, с которой он мог делиться всеми своими горестями и радостями. Однако в их семейной жизни было и много тяжелых переживаний. Из восьми детей скончались в младенчестве четыре сына: Андрей (1812—1814), Дмитрий (ум. 1817), Николай (1818—1826), Петр (1823—1826); недолго жили и дочери: Мария (1813—1849), Прасковья (1817—1835), Надежда (1824—1840). Лишь сын Павел (1820—1888) дожил до преклонного возраста.

Началась Отечественная война 1812 г. 25 июля Вяземский вступил в ополчение, участвовал в Бородинском сражении, где под ним были убиты две лошади; за участие в бою он был награжден орденом св. Станислава 4-й степени.

После Бородинского сражения Вяземский вынужден был по болезни покинуть ополчение; он отправился в Москву, а 1 сентября вместе с семейством Карамзиных выехал в Ярославль к жене. Опасаясь нашествия французов, Карамзины уехали в Нижний Новгород, а Вяземский с Верой Федоровной — в Вологду, где появился на свет их первенец сын Андрей.

В Вологде Вяземский сблизился с другом своего отца поэтом Ю. А. Нелединским-Мелецким; они читали друг другу свои стихотворения. В статье о Ю. А. Нелединском-Мелецком (1848) Вяземский вспоминал: «В Вологде, когда он на досуге занимался пересмотром и переправлением своих стихотворческих рукописей, он иногда требовал моего мнения» (II, 383). В их литературных беседах часто принимал участие филолог и историк митрополит Евгений: «Часто собирались мы у него по вечерам. Ум его разносторонний, многие и обширные сведения, редкое добродушие придавали этим беседам особенную прелесть» (там же).

Губернским вологодским прокурором был поэт Н. Ф. Остолопов, встречи с которым также разнообразили жизнь Вяземского. Он посвятил Н. Ф. Остолопову стихотворное послание (1812), читал ему письма своих петербургских друзей и вспоминал потом, что тот, «заимствовав тогда счастливое и пророческое выражение из письма ко мне А. И. Тургенева, заключил одно патриотическое стихотворение следующим стихом:

Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу.

«Таким образом, в нашем вологодском захолустье выведен был ясно и непогрешительно вопрос, который в то время мог казаться еще весьма сомнительным и в глазах отважнейших полководцев, и в глазах дальновидных политиков. Недаром говорят, что поэт есть вещий. Мог ли Наполеон вообразить, что он имел в Остолопове своего злого вещего и что отречение, подписанное им в Фонтенебло в 1814 году, было еще в 1812 году дело уже порешенное губернским прокурором в Вологде» (II, 384).

Под руководством профессора Московского университета Х.-А. Шлецера (сына известного историка А.-Л. Шлецера), которого война также забросила в Вологду, Вяземский читал латинских классиков.

Из Вологды Вяземский намеревался возвратиться в армию, но по слабости здоровья покинул военную службу и поселился в Остафьево. Хотя французское нашествие не разорило его подмосковную, финансовое положение Вяземского, по его собственной вине, было не из легких. После смерти отца он вел светскую рассеянную жизнь, крупно играл и расстроил свое состояние. «Мне нужно было в то время кипятить свою кровь на каком огне бы то ни было, и я прокипятил на картах около полумиллиона», — писал он 21 октября 1823 г. А. И. Тургеневу.²² Приходилось думать о службе. 22 марта 1815 г. Вяземский обратился к А. И. Тургеневу с просьбой о месте: «Прибегаю к тебе, мой милый Тургенев, с решительной просьбой, на которую прошу заранее отвечать решительно. Я хочу ехать в Петербург и служить, но по какой части — не знаю: от полиции до дипломатики, от Архангельска до Мадрита бродит мое воображение и едва останавливается ли где-нибудь. Тебе, советам твоим, дружбе твоей поручаю указывать мне, где и как бросить свой странический посох».²³ По-видимому, хлопоты А. И. Тургенева не увенчались успехом; во всяком случае лишь два с половиной года спустя, в августе 1817 г., Вяземский был произведен в коллежские асессоры и назначен находиться в Варшаве при Н. Н. Новосильцеве, куда он и выехал в феврале 1818 г.

В 1805—1810 гг. у Вяземского завязываются дружеские отношения со многими писателями, близкими к Карамзину: В. Л. Пушкиным, Жуковским, Батюшковым, Денисом Давыдовым, А. И. Тургеневым, Дашковым, Блудовым и некоторыми другими. Во время бесед в Москве и в Остафьево происходит постепенная консолидация будущих арзамасцев, растет сознание литературно-общественной близости, укрепляется враждебное отношение к литературным староверам. На эти же годы падает начало поэтической и критической деятельности Вяземского. В 1805 г. он написал французские стихи на смерть Нельсона: «Нечего и говорить, что все это было более или менее безграмотно. Но червяк стихотворства уже шевелился во мне. Правильно или по крайней мере правильное стал я писать гораздо позднее. Едва ли не со времени сближения моего с Жуковским» (I, стр. XI). Первые стихотворения, написанные Вяземским по-русски и дошедшие до нас, относятся к 1807 г.: в «Автобиографическом введении» Вяземский приводит четверостишие, сочиненное им в подражание Сумарокову, и свою эпиграмму на Мерзлякова (I, стр. XII—XIII). В 1808 г. в жур-

²² Остафьевский архив, т. II, стр. 362.

²³ Там же, т. I, стр. 26.

нале «Вестник Европы» появляется его «Послание к Жуковскому в деревню», в котором, по его собственному признанию, «почти все стихи сплошь и целиком переделаны Жуковским». Среди стихотворений этих лет в поэтических опытах Вяземского первенствуют два жанра: послания к друзьям и эпиграммы на литературных противников.

В прозе Вяземский дебютировал в декабре 1808 г., когда в журнале «Вестник Европы» появилась его первая статейка «Безделки», состоящая из небольших заметок — в непринужденной форме Вяземский излагал остроумные рассуждения и происшествия.²⁴ В этих заметках оказалась прирожденная любовь Вяземского к острому словцу. Так, например, он привел следующий афоризм: «Один остроумный мизантроп, — пишет Шамфор, — рассуждая о развращении людей, сказал: Бог послал бы нам и второй потоп, когда бы увидел пользу от первого».²⁵

Название «Безделки» указывало на карамзинистскую ориентацию начинающего критика: оно вызывало в памяти читателей названия поэтических сборников Карамзина «Мои безделки» и И. И. Дмитриева «И мои безделки».

В сентябре 1809 г. в том же журнале и под тем же названием «Безделки» появились критические заметки, написанные Вяземским совместно с Д. П. Севериным. Авторы подвергли жестокому осмеянию перевод «Федры», сделанный В. Анастасевичем: «... наш дражайший соотечественник так перекроил на свой вкус героиню Ивана Расина, что в его переводе о Федре и слуху нет».²⁶

Критический разнос перевода трагедии Крепильона «Радамист и Зенобия»²⁷ был осуществлен Вяземским в форме письма к Батюшкову (1810, опубл. 1878). Ненапечатанным осталось и «Письмо к издателю», в котором молодой критик высмеивал С. С. Боброва; письмо написано в форме шутового некролога.²⁸

Если в этих статьях Вяземский критиковал переводы бесталанных литераторов и потешался над тяжеловесной поэзией Боброва, то в статье «Два слова постороннего» он уже выступил критиком, имеющим собственную литературную позицию. Эта статья была напечатана в петербургском журнале «Цветник»,²⁹ органе

²⁴ Вестник Европы, 1808, ч. 42, № 24, стр. 258—261. — Под статьей псевдоним: В. . . .

²⁵ Вестник Европы, 1808, ч. 42, № 24, стр. 159.

²⁶ Там же, 1809, ч. 47, № 17, стр. 45—49. — Статья подписана псевдонимами: . . . В. . . и Д. . . С. . .

²⁷ Радамист и Зенобия. Трагедия в пяти действиях и стихах. Сочинение Крепильона. Перевел с французского Степан Висковатов. СПб., 1810.

²⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1057. На бумаге с водяным знаком «1806».

²⁹ Цветник, 1809, ч. 3, № 9, стр. 391—396. — Статья подписана псевдонимом NN. Установление авторства Вяземского было сделано в моей работе «Вяземский-критик» (в кн.: История русской критики, т. 1, М.—Л., Изд. АН СССР, 1958, стр. 229) и независимо от меня в публикации Ю. М. Лотмана «„Два слова постороннего“ — неизвестная статья П. А. Вяземского» (в сб.:

Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В литературной полемике «Цветник» поддерживал сторонников Карамзина, равно как и многие члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Как видно из обозрения «Цветника» и «Санктпетербургского вестника», молодое поколение карамзинистов в эти годы усиленно стремилось проникнуть в печатные органы этого общества, оттесняя на второй план сотрудников Вольного общества с более демократической ориентацией.³⁰ Карамзинистам удалось занять прочные позиции в Вольном обществе. В. Л. Пушкин писал Вяземскому 20 декабря 1811 г.: «Общество наше учреждено тому десять лет назад, и члены оною занимались прежде издаванием журнала под титулом *Свиток Муз.* — *Цветник* был также плод трудов некоторых членов сего общества<...> *Беседа* вздумала, что мы враги ее, но мы нимало врагами никакой умной беседы не будем, — а над глупостью, нелепостью и невежеством смеяться нам запретить нельзя».³¹ Вполне закономерно, что карамзинисты — В. Л. Пушкин, Батюшков, Дашков, Блудов, Северин, — вошедшие в эти годы в Вольное общество, стали затем арзамасцами, а М. Милонов хотя и не примкнул организационно к «Арзамасу», решительно выступал против «Беседы». Надо думать, что только проживание в Москве помешало Вяземскому стать в эти годы деятельным членом Вольного общества. Учитывая эти обстоятельства, следует признать показательным, что Вяземский отдал свою статью в «Цветник», где уже до него печатался Батюшков и где вскоре стали помещать свои произведения В. Л. Пушкин, Дашков и Милонов.

Поводом для появления статьи Вяземского¹ был обмен письмами между издателем журнала «Аглая» Шаликовым и издателем журнала «Вестник Европы» Жуковским: Шаликов указал Жуковскому на неточности в его повести «Марьяна роща», Жуковский учтиво поблагодарил Шаликова за его письмо. Журнальную идилию бесцеремонно нарушил Вяземский. Как уже отмечено Ю. М. Лотманом, «Вяземский сразу же резко очертил свою собственную, весьма примечательную позицию<...> отношение к Шаликову резко отрицательное. Вяземский издевается над стилем повести „Полина“ (она была напечатана в «Аглае», — М. Г.), а вся статья написана, как пародия на стиль „Письма к любезному издателю «Вестника Европы»“ <...> Однако статья Вяземского имеет более серьезную цель, чем осмеяние Шаликова, писания которого вызывали улыбку и у наиболее ревностных по-

Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков, посвященном 80-летию Н. К. Пиксанова, М.—Л., Изд. АН СССР, 1958, стр. 301—305). В публикации Ю. М. Лотмана полностью перепечатана эта статья Вяземского.

³⁰ Об эволюции и борьбе внутри Вольного общества см.: Вл. Орлов. Русские просветители 1790—1800-х годов. М., Гослитиздат, 1953, стр. 209—280.

³¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5082, л. 86—86 об.

клонников сентиментальной литературы. Обращает внимание то, что Вяземский не защищает Жуковского от Шаликова, а нападает на литературные принципы, общие для обоих писателей. В первую очередь он осуждает само отношение к критике — отказ от борьбы, замену полемики любезными фразами<...> Между тем возмущившая Вяземского манера критики не была ни случайной, ни зависимой от личных качеств характера Жуковского и Шаликова. Она вытекала из принципиальных установок карамзинистов в этот период.<...> Вместо борьбы и убежденности — терпимость и скепсис; не осуждая плохого, хвалить хорошее — таковы были принципы Карамзина-критика.³²

Статья Вяземского «Два слова постороннего» принципиально противостоит подобной установке Карамзина, отразив начинающуюся эволюцию карамзинизма в области литературной критики: три года спустя карамзинист Д. В. Дашков в статье «Нечто о журналах» заявит о том, что критика должна занять центральное место в литературном журнале: «Все может входить в состав такого журнала: словесность, известия о важных открытиях в науках и искусствах, и проч.; но главною целию оного должна быть критика».³³

Отход Вяземского от старшего поколения карамзинистов сказался и на его литературном вкусе. В своей статье он унизительно отозвался о повести «Полина», в которой рассказывается о том, что героиня «росла, вышла замуж и сделалась беременной». Типичная сентиментальная повесть, столь характерная для раннего карамзинизма, вызвала нескрываемое раздражение молодого критика. А его следующее критическое выступление должно было продемонстрировать его расхождение с Жуковским, издавшим «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев». Правда, эта статья «Запросы господину Василию Жуковскому от современников и потомков» (1810) не была в то время напечатана и впервые была опубликована в 1878 г. в первом томе сочинений Вяземского. Однако, не став фактором журнальной полемики, эта статья представляет значительный интерес для уточнения литературной позиции Вяземского. Порицая Жуковского за перепечатку стихотворений Шаликова, Боброва, Шишкова, Вяземский спрашивал издателя: «Зачем не напечатали вы прекрасного перевода Мерзлякова Тиртеевых од<...> Зачем не удостоили вы своим благоволением прекраснейшие стихи Магницкого на смерть Валериана Зубова и оду Державина, писанную к нему же после возвращения из Персии<...> По какому непонятному капризу не хотели вы нам показать лучшего нашего перевода из Горация, то есть оды к Венере Востокова, а напечатали уродливейший, то есть Боброва: «О ты, Бландузский ключ кипящий»?

³² Ю. М. Лотман. Ук. соч., стр. 303.

³³ Санктпетербургский вестник, 1812, ч. 1, № 1, стр. 2.

Отчего предпочли вы похвалу Зиме Шишкова оде Востокова на Зиму<...> Чем прогневились перед вами *Дарования*, ода Карамзина, и *Фантазия*, ода Востокова? А *Горы изящности* Востокова чем показались вам хуже стихов Капниста к Державину?<...> Позвольте спросить, отчего в одном первом томе находим мы четырнадцать пьес Капниста, а только четыре Дмитриева? Но, однако ж, вы не совсем не правы, ибо в четырех пьесах Дмитриева больше превосходных стихов, чем во всех четырнадцати Капниста» (I, 1—2).

Если восторженная оценка произведений И. И. Дмитриева — Вяземский и в последующие годы останется почитателем его таланта — указывает на то, что он отдавал должное легкой поэзии, которая культивировалась поэтами-карамзинистами, то его положительный отзыв о творчестве Державина, Востокова и Мерзлякова свидетельствует о значительном сдвиге среди молодого поколения карамзинистов, не замыкавшегося узкими рамками установившейся традиции. Как верно отметил Ю. М. Лотман, «переводы Мерзлякова из Тиртея были задуманы им и воспринимались современниками как образцы „спартанской“, героической поэзии. Не случайно образ Тиртея сделался одним из любимейших в поэзии декабристов».³⁴ Именно на отсутствие в антологии Жуковского этих переводов Мерзлякова сетовал Вяземский.

Ода «На возвращение графа Зубова из Персии» была написана Державиным в 1797 г., когда полководец находился в опале. Она была опубликована лишь в 1804 г., по смерти Зубова. Державин прославлял в ней нравственную стойкость, утверждая, что Зубов «был в вельможе человек». Сочными красками живописал Державин кавказскую природу — в примечаниях к «Кавказскому пленнику» Пушкин писал об этом стихотворении: «Державин в превосходной своей оде графу Зубову первый изобразил<...> дикие картины Кавказа».³⁵ Можно смело утверждать, что не только эта ода Державина, но и вся его поэзия привлекала пристальное внимание Вяземского: лучшим доказательством этому предположению служит панегирический некролог, написанный Вяземским в 1816 г. Поэзия Державина утверждала общественные и эстетические принципы, значительно отличные от основных положений школы Карамзина. В равной мере не в русле карамзинской традиции развивалось творчество Востокова, писавшего философскую лирику, оды, ориентировавшегося на торжественную ораторскую речь. Заступничество Вяземского за Державина, Востокова и Мерзлякова свидетельствует о широте эстетического диапазона молодого критика, сочетавшего признание заслуг легкого стиха ка-

³⁴ Ю. М. Лотман. Ук. соч., стр. 305.

³⁵ А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. IV, М., Изд. АН СССР, 1937, стр. 115. В дальнейшем ссылки на академическое издание даются сокращенно: Пушкин, с указанием тома.

рамзинистов с должной оценкой иных прогрессивных течений в русской поэзии начала XIX в.

Эстетическая позиция Вяземского, его непримиримость к консервативным и бездарным литераторам ясно видна в его письме к Жуковскому, написанном 18 мая <1812 г.>: «Объявляю тебе, что у Воейкова печатаются два тома дополнением к твоим пяти избранных стихотворений, что сие собрание делано неизвестно кем в Петербурге и что ты в нем не малую занимаешь часть, так же как и Голенищев-Кутузов, так же как и граф Хвостов, так же как и князь Шихматов, — но не пугайся, однако ж, и утешься отчасти — так же как и Державин и проч. Теперь скажу тебе другое известие. Я решился на зло тебе выдать другой выбор наших стихотворений и хочу, чтобы ты мне в том помог присылкою каких-нибудь новых, еще неизвестных пиес. Собрание сие будет строжайшее, и в доказательство скажу тебе, что оно будет в одном томе. Оно будет напечатано у Шнора, и издание должно быть лучшим у нас. Северин, который теперь здесь и за рвение которого можно поручиться, берется держать корректуру, а все издержки беру на себя. Я намерен собрать два тома: первый — прозы с портретом Карамзина, второй — стихов с портретом Державина; сей последний разделится по примеру Лавизика, то есть на книжки и на роды поэзии, дидактической, эпической и проч. Выбор, повторяю тебе, как в прозе, и в стихах будет строжайший, и для этого прошу тебя прислать мне и в том и в другом поболее своего. Впрочем, реестр пиес и два мои предисловия пришлю к тебе на суд. Как собак не пускают в храм, так поклялся не впускать ни Шаликова, ни Кутузова, ни Измайлова (разве, может быть, в прозе, надобно будет рассмотреть его мало мне известные творения), Хвостова, Шихматова и всех этих гад, которых ты к себе напустил и за которые, не прогневайся, пожурю тебя. Собрание Воейкова — поношение нашего века и будет мастерски в моем предисловии отделано. Карамзина почти вовсе нет, Муравьева ни строки! А кто же тут? Мартынов, и черт знает какие переводы! Сделай милость, поспеши мне на это все отвечать и не откажись помочь мне, бедному».³⁶

Дополнение к изданию Жуковского — шестая часть «Собрания русских стихотворений, взятых из лучших российских стихотворений», — вышло в 1815 г. Было ли это то самое издание, о котором Вяземский писал Жуковскому в 1812 г., или вновь подготовленная антология, неизвестно. Однако в данном случае нас интересует не поэтическая хрестоматия, а контрпроект Вяземского.

Неосуществленный замысел по изданию двухтомника избранных произведений в прозе и стихах четко характеризует литера-

³⁶ ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 2, № 21, лл. 28 об. — 29. — Датируется 1812 г. по упоминанию в письме о том, что на днях Е. А. Карамзина родила дочь Наташу (6 V 1812—6 X 1815).

турную платформу молодого Вяземского. Портреты Карамзина и Державина должны были символизировать высшие достижения отечественной словесности: Карамзин — в прозе, Державин — в поэзии.

Изгнание Вяземским из задуманной им антологии Хвостова, Ширинского-Шихматова, Голенищева-Кутузова и других «гадов», произведения которых печатались в хрестоматии Жуковского, указывает на начавшееся размежевание литературных станов. В полемической направленности этого замысла проступает арзамаская ориентация Вяземского.





ГЛАВА ВТОРАЯ

ВЯЗЕМСКИЙ И АРЗАМАССКОЕ БРАТСТВО

Возникновение арзамасского братства явилось одним из симптомов эволюции карамзинизма как общественно-литературного течения. В начале XIX в. карамзинисты придерживались в основном правительственной ориентации. Но шло время, исчезали надежды на конституционные преобразования сверху, столь сильно владевшие умами в первые годы царствования Александра I. Поправление правительственного курса привело к консолидации литературного консерватизма: в 1811 г. возникла «Беседа любителей русского слова». В то же время в произведениях эпигонов Карамзина сентиментализм мельчал и вырождался; бездарные последователи Карамзина — как в литературном, так и в общественном отношении — все ближе смыкались с шишковистами, в творчестве которых в свою очередь все сильнее проявлялись черты языковой реформы Карамзина.

Однако к концу 1800-х годов дает себя знать и противоположная тенденция: вокруг карамзинского знамени собирается плеяда писателей, не пожелавшая уступить пальму первенства литературной реакции; эти писатели, которые в дальнейшем образовали литературно-общественное объединение «Арзамас», придают иное, боевое направление карамзинизму: вопреки личному желанию Карамзина, обостряется полемика с шишковистами, и наиболее талантливые карамзинисты оказываются в лагере дворянской оппозиции.

В развитии оппозиционных настроений среди сторонников Карамзина большую роль сыграла Отечественная война 1812 г. Атмосфера освободительной войны, личное участие во всенародной борьбе с иноземными захватчиками (Давыдов, Батюшков, Орлов, Вяземский, Воейков сражались в рядах русской армии) несомненно наложили отпечаток на общественные воззрения арзамасцев.

Кроме того, арзамасцы испытали плодотворное влияние идей русского Просвещения. В ходе создания национальной культуры

радикально просветительская (радищевская) и умеренно просветительская (карамзинская) традиции оказывали перекрестное воздействие друг на друга. Так, например, как справедливо отметил Г. П. Макогоненко, творчество поэтов Вольного общества оказалось под воздействием сентиментализма карамзинской школы.¹ Говоря же о формировании мировоззрения арзамасцев, необходимо подчеркнуть в свою очередь влияние на них радикальных просветительских идей.

Отказ правительства от социальных реформ, усиление литературной реакции, благотворное влияние Отечественной войны 1812 г. и идей русского Просвещения — таковы общественные и литературные факторы, приведшие в 1810-х годах к значительной эволюции карамзинизма, к возникновению арзамасского братства, которое явственно обозначило рубеж между старыми традициями и новыми веяниями внутри лагеря карамзинистов.

Особенно активно участвовал Вяземский в борьбе против членов «Беседы» в период обострения литературной полемики между карамзинистами и шишковистами в 1815 г., когда А. А. Шаховской поставил на сцене свою пьесу «Урок кокеткам, или Липецкие воды». В этой пьесе под именем балладника Фиалкина автор осмеял Жуковского. В ответ на «Липецкие воды» Д. В. Дашков пишет «Письмо к новейшему Аристофану», Д. Н. Блудов — «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых мужей», а Вяземский — множество эпиграмм: «Я разлился потоком эпиграмм, и, кажется, первый прозвал Шаховского Шутовским».² В цикл «Поэтический венок Шутовского, поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги», входит девять эпиграмм Вяземского. Кроме того, Вяземский пишет «Письмо с Липецких вод»,³ в котором зло высмеивает действующих лиц комедии Шаховского и самого автора комедии.

Не ограничиваясь полемическими выступлениями, Вяземский призывал друзей создать литературное содружество для противодействия реакционной «Беседе». В письме к А. И. Тургеневу от 29 октября 1813 г. он писал: «Зачем нашей братии скитаться, как жидам? И отчего дуракам можно быть вместе? Посмотри на членов Беседы: как лошади, всегда все в одной конюшне, и если оставят конюшню, так дугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно на них глядя, и я, как осел, завидую этим лошадям. Когда заживем и мы по-братски: и душа в душу, и рука в руку?»⁴

Учитывая роль Вяземского как одного из инициаторов создания «Арзамаса», необходимо исследовать его участие в этом обществе и его арзамасские связи.

¹ Г. П. Макогоненко. Радищев и его время. М., Гослитиздат, 1956, стр. 685—700.

² П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 283.

³ Российский музей, 1815, № 12.

⁴ Остафьевский архив, т. 1, стр. 19.

Историки русской литературы по-разному оценивают значение «Арзамаса».⁵ Автор настоящей работы присоединяется к тем исследователям, которые придавали большое литературно-общественное значение этому обществу. Б. С. Мейлах справедливо отмечает, что из обозрения полемических произведений В. Л. Пушкина, Вяземского, Жуковского, Батюшкова, А. С. Пушкина, Дашкова, Блудова «можно сделать вывод о сплоченности основного ядра будущих арзамасцев, начавших свои выступления под общими лозунгами почти за пять лет до организационного оформления своего кружка».⁶ После этого, вполне справедливого суждения, которое расширяет наше представление об «Арзамасе» путем постановки вопроса о предыстории этого общества, кажется мало убедительным высказанное вслед за тем мнение о том, что положительная работа «Арзамаса», «по-видимому, была весьма ограниченной».⁷ Вряд ли, например, чтение глав из не опубликованного еще в то время труда Карамзина «История государства Российского» «происходило в атмосфере арзамасских шуточек».⁸ Такое предположение кажется тем менее вероятным, что эти главы читал арзамасцам сам Карамзин; в письме к жене из Петербурга от 2 марта 1816 г. Карамзин писал: «Не мудрено, что выеду ни с чем и что моя История останется в пыли. A propos d'histoire: читал ее арзамасцам два раза у Катерины Федоровны (тут был и Оленин); еще понемногу раза три канцлеру <Н. П. Румянцову>: действие удовлетворяло моему самолюбию. Сказать правду, здесь не знаю ничего умнее арзамасцев: с ними бы жить и умереть».⁹ Судя по письму Карамзина, арзамасцы с полной серьезностью отнеслись к его труду и, по-видимому, высказывали дельные суждения по поводу прочитанного. Думается, что были и другие случаи, когда члены «Арзамаса» всерьез обсуждали литературные, исторические и политические вопросы; шуточный тон протоколов не должен вводить нас в заблуждение, и прав, конечно, Б. С. Мейлах, когда пишет: «Эти протоколы не дают представления о существе, а только о предметах занятий».¹⁰

Полагая, что деятельность «Арзамаса» не ограничивается шутивными протоколами, при ее изучении следует сосредоточить внимание на истинном существе арзамасских связей в период между 1810 и 1825 гг. Для правильной оценки значения арзамасских связей обратимся к мемуарным и эпистолярным источникам. В статье «По поводу бумаг В. А. Жуковского» (1875) Вяземский

⁵ По этому вопросу см.: Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха. М., Гослитиздат, 1958, стр. 261—262.

⁶ История русской литературы, т. 5 М., Изд. АН СССР, 1941, стр. 331.

⁷ Там же, стр. 334.

⁸ Там же.

⁹ Н. М. Карамзин. Неизданные сочинения и переписка, ч. 1. СПб., 1862, стр. 165.

¹⁰ Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха, стр. 268.

дает следующую характеристику арзамасского братства: «Мы уже были арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства. Шуточные обряды его, торжественные заседания — все это лежало на втором плане. Не излишне будет сказать, что с приращением общества, как бывает это со всеми подобными обществами, общая связь, растягиваясь, могла частью и ослабнуть: под конец могли в общем итоге оказаться и арзамасцы пришьлые и полуарзамасцы. Но ядро, но сердцевина его сохраняли всегда всю свою первоначальную свежесть, свою коренную, сочную, плодотворную силу» (VII, 411—412). В «Старой записной книжке» у Вяземского есть еще одно любопытное свидетельство об «Арзамасе»: «...это была школа взаимного литературного обучения, литературского товарищества».¹¹

Таким образом, из высказываний Вяземского следует, что шутовской церемониал был лишь частью — и отнюдь не самой существенной — деятельности арзамасского братства. Признания Вяземского показывают истинное лицо «Арзамаса», а из его замечания об «Арзамасе» как о школе взаимного литературного обучения естественно сделать вывод о том, что о деятельности этого общества надо судить в первую очередь не по шутливым протоколам, а по тем произведениям, которые вышли из-под пера участников «Арзамаса» в эти годы.

Если отойти от традиционного взгляда на «Арзамас», согласно которому его деятельность ограничивается сохранившимися протоколами, то проясняются многие места из мемуарной литературы и из писем современников, свидетельствующих о том, что собрания арзамасцев происходили не только в Петербурге, но и в Москве. Ф. Ф. Вигель писал в своих «Записках» о московских собраниях «Арзамаса»: «По заочности были приняты еще два члена: Батюшков, как уже сказал я, под именем „Ахилла“, и партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов под именем „Армянина“. Первый следующей осенью обрадовал нас своим приездом, последнего никогда мы меж себя не видали. Он находился в Москве: там вместе с Вяземским и Пушкиным (Василием Львовичем, — М. Г.) составили они отделение „Арзамаса“, и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев. Новых членов они не набирали без согласия горняго „Арзамаса“, не имея на то права».¹² Сын Давыдова в «Известии о жизни Д. В. Давыдова» также указывает, что арзамасцы собирались в Москве: «Общество это собиралось попеременно в Петербурге и Москве».¹³ Библиограф М. Н. Лонгинов, всеведение которого подтверждал Вяземский, писал об «Арзамасе»: «Общество со временем увеличилось новыми членами и

¹¹ П. А. Вяземский. Старая записная книжка, стр. 239.

¹² Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. 5. Изд. «Русский архив», 1892, стр. 45.

¹³ Д. В. Давыдов, Сочинения, ч. 3, М., 1860, стр. 101.

собиралось в Петербурге, а иногда и в Москве, когда там съезжалось много членов».¹⁴ 4 июня 1816 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я на днях еду в Остафьево, и со мною весь московский Арзамас».¹⁵ Таким образом, воспоминания и письма современников позволяют утверждать, что собрания «Арзамаса» происходили и в Москве и что шуточные протоколы не охватывают собой все собрания общества.

Далее отметим, что дата окончания протоколов (1817), которая обычно принимается исследователями за конец «Арзамаса», не совпадает со временем распада арзамасских связей, продолжавшихся и в последующие годы; в доказательство этого утверждения можно привести переписку членов «Арзамаса», и в первую очередь переписку Вяземского с А. И. Тургеневым, А. С. Пушкиным, М. Ф. Орловым, Д. В. Дашковым и Жуковским.

30 марта 1819 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Посылаю тебе сыноотечественную штуку. Прочтите ее в арзамасском ареопаге».¹⁶ Отвечая Вяземскому, А. И. Тургенев сообщал ему 9 апреля: «Вчера поздно вечером получил письмо твое, милый друг, с розгами Каченовскому и вчера же прочел одним Карамзинным, потому что прочей арзамасской братии не случилось».¹⁷ 15 ноября 1819 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Мало-помалу Арзамас соберется на невском пепелище, или леднике, а меня все-таки не будет».¹⁸ Наконец, в письме А. И. Тургенева к Вяземскому от 30 марта 1821 г. мы читаем: «Один из наших арзамасцев, Кавелин, сделался совершенным Пальясом Пальяса Магницкого: кидает свою грязью в убитого Куницына, обвиняет его в своей вине, то есть в том, что взбунтовались ученики его пансиона, и утверждает, что политическую экономию должно основывать на Евангелии. Я предложу выключить его формально из Арзамаса».¹⁹

По-видимому, отсутствие протоколов еще не может служить доказательством того, что арзамасское братство перестало существовать; ведь собрания арзамасцев в Петербурге в 20-е годы могли происходить и без протоколов, как это и было при москов-

¹⁴ М. Н. Лонгинов, Сочинения, т. 1, М., 1915, стр. 163.

¹⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 47.

¹⁶ Там же, стр. 208.

¹⁷ Там же, стр. 213.

¹⁸ Там же, стр. 353.

¹⁹ Там же, т. 2, стр. 185. — Г. В. Ермакова-Битнер опубликовала сатирическое послание А. Ф. Воейкова «К Бурдину», адресатом которого, по ее вполне правдоподобной догадке, является Д. А. Кавелин. Это послание лишний раз подтверждает, что на собраниях арзамасского братства обсуждались самые злободневные политические вопросы. В конце послания, говоря о разрыве Д. А. Кавелина с арзамасцами («Ты с нами разорвал приятельскую связь»), А. Ф. Воейков прямо называет его Иудой Искаротским (Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в., Л., изд. «Советский писатель», 1959, стр. 313—320, 685).

ских собраниях «Арзамаса» в середине 10-х годов. Для положительного решения вопроса о существовании арзамасского братства в конце 10-х и в первой половине 20-х годов, решающим аргументом является то, что в сознании самих арзамасцев их встречи между собой были не просто дружескими сходками приятелей, а встречами людей, связанных в большей или меньшей степени общностью литературно-общественных интересов.²⁰

Письма Вяземского к А. И. Тургеневу, опубликованные в первых двух томах «Остафьевского архива», предназначались для чтения среди арзамасцев; и на самом деле арзамасцы читали и обсуждали сообща эти письма, в которых Вяземский затрагивал наиболее и злободневные вопросы: о конституционных замыслах Александра I, об отходе царя от либеральных идей, о Священном союзе, о крепостном праве и т. п. До последнего времени эти письма использовались лишь как справочный и подсобный материал при разработке историко-литературных проблем того времени. Между тем переписка Вяземского с А. И. Тургеневым имеет и самостоятельное значение, свидетельствуя о литературно-общественной значимости и длительности арзамасских связей.

15 октября 1815 г. на первом заседании «Арзамаса» Вяземский был заочно выбран членом общества; весть об организации «Арзамаса» и об избрании его в члены нового литературного содружества Вяземский встретил с нескрываемым удовлетворением: исполнилась его заветная мечта о создании прогрессивного литературного общества карамзинистов. В письме к А. И. Тургеневу от 22 января 1816 г. Вяземский подчеркивал общественное значение «Арзамаса»: «Наша российская жизнь есть смерть <...> Я приеду освежиться в Арзамас и отдохнуть от смерти».²¹ Вскоре, в феврале 1816 г., Вяземский посетил Петербург и 24 февраля впервые присутствовал на заседании «Арзамаса». По установившейся традиции полагалось сказать «надгробное слово» кому-либо из беседчиков. Вяземский произнес речь, посвященную «отпеванию» попечителя Московского университета сенатора П. И. Голенищева-Кутузова, снискавшего печальную известность своими нападениями на Карамзина и передовых писателей.

На протяжении 1816—1817 гг. Вяземский участвовал во встречах арзамасцев в Москве, а в июне 1817 г. снова присутствовал на заседаниях «Арзамаса» в Петербурге.

В эти годы Вяземский выступал горячим поборником издания журнала. Среди его бумаг сохранилась рукопись «Мой сон о русском журнале», в которой он писал: «Сны приемлют иногда впечатление дневных наших приключений или занятий. Мне казалось,

²⁰ В статье «О жизни и сочинениях Жуковского» П. А. Плетнев высказал предположение, что арзамасское общество «видимо продолжало существование свое на вечерах Жуковского» (П. А. П л е т н е в, Сочинения и письма, т. III, СПб., 1885, стр. 78).

²¹ Остафьевский архив, т. I, стр. 38.

что из избранных наших писателей составилось общество. Оно не звалось ни ученым, ни Беседейю, ни академиею, и, к большой странности, не внесено было в адрес-календарь, и потому не считали нужным украсить его людьми, впрочем именитыми, никогда ничего не писавшими и редко читавшими, как случается иногда в наших академиях, которые переняли это у Французской академии, вероятно с тем, чтобы уподобиться ей.

«Первым условием сего общества и главной принадлежностью не было иметь особенную печать, но условием и принадлежностью была польза. Долго спорили о том, как достигь до желаемой пользы. Наконец согласились, что лучшее средство есть действовать на общее мнение, исправлять его, образовывать язык, приохотить к нему женщин и наконец дать состоянию писателей законное существование, признанное покровительством правительства и уважением общества. По большинству голосов решили, что надежнейший способ похитить сие владычество есть издавать журнал».²²

По всей вероятности, это было написано до организационного оформления «Арзамаса»; скорее всего эта рукопись относится к первой половине 1810-х годов.²³

«Мой сон о русском журнале» непосредственно перекликается с его проектом арзамасского журнала (1817), в котором Вяземский писал: «Какое средство имеем к достижению благородной мечты? Влияние на публику; как похитить это влияние? Изданием журнала. <...> Во-первых, польза журналов у нас очевидна, а во-вторых, журналов у нас большой недостаток. Во всех других просвещенных землях их гораздо более. Мы можем считать у себя двух только журналистов: Новикова и Карамзина. <...> Нам остается сочетать в журнале примеры двух наших журналистов и разделить издание на три разряда: Нравы, Словесности и Политика. В первом объявить войну непримиримую предрассудкам, порокам и чепухам <...> Во втором вести ту же войну с теми же врагами, стреляющими в нас, в здравый рассудок и вкус из окон Беседы и Академии: но вместе с тем, отучая публику от дурных примеров, приучать ее к хорошим и таким образом соединить в руке силу, разрушающую и созидательную. В политике довольствоваться простодушным изложением полезнейших мер, принятых чуждыми правительствами для достижения великой цели: *силы и благоденствия народов*».²⁴

²² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1032.

²³ Ср. с письмом Вяземского к Д. В. Дашкову от 10 XI 1814: «Как жаль, что теперь нет ни одного журнала, где бы нам, честным людям, можно было сказывать свои мысли» (ГПБ, ф. Вяземского, № 24, л. 6).

²⁴ Арзамас и арзамасские протоколы. Под ред. М. С. Боровковой-Майковой. Изд. писателей в Ленинграде, 1933, стр. 240—241. В программе журнала, написанной рукой Жуковского, указано, что Вяземский будет представлять материал по четырем разделам: а) русская литература современная, т. е.

Проект арзамасского журнала Вяземского совпал с аналогичными предложениями М. Ф. Орлова и Н. И. Тургенева. Естественно, что Вяземский с сочувствием отнесся к проекту реорганизации «Арзамаса» и к плану издания журнала, которые были предложены ими; 29 июля 1817 г. он писал А. И. Тургеневу: «Пришлите мне скорее арзамасские новые положения, если вы только в состоянии сделать когда-нибудь порядочное дело».²⁵

В письме к Н. И. Тургеневу из Варшавы от 23 апреля 1818 г. Вяземский вновь возвращался к этому вопросу: «А что делает наш арзамасский журнал и журнальный бунтовщик Рейн?».²⁶ Отвечая Вяземскому 22 мая 1818 г., Н. И. Тургенев умолчал об арзамасском журнале — по-видимому, к этому времени стала очевидна невозможность претворения в жизнь этого начинания.²⁷

В 1819 г. предполагалось участие Вяземского в журнале «Россиянин XIX века», издание которого было задумано Н. И. Тургеневым, однако и этот проект остался неосуществленным.

В 1820 г. М. Ф. Орлов снова обратился к Вяземскому с предложением издавать журнал; в письме от 22 марта он писал Вяземскому: «Самое настоящее место для издания журнала — это Варшава. Там отголосок европейского просвещения более отдается <...> Форма журнала должна быть та же, что и французских ежедневных газет. Имя журнала предлагаю: *Российский наблюдатель в Варшаве*. На предприятие я сам внесу значительную вкладку. Остальной капитал можно набрать акциями.

«Тебе надобно собрать сотрудников, из коих один решится, может быть, на сие дело. Он наш арзамасец, а именно *Никита Муравьев*. Он недавно оставил службу и, сколько я знаю, горит желанием быть полезным. Я, Николай Тургенев, Дашков и Сергей Тургенев в Царьграде, Блудов в Англии и прочие арзамасцы будут твоими сотрудниками. Таким образом, самое рассеяние наше послужит к успеху».²⁸

Из письма Вяземского к С. И. Тургеневу от 18 сентября 1820 г. видно, что Вяземский пытался осуществить в Варшаве план М. Ф. Орлова в отношении издания арзамасского журнала, но потерпел неудачу: «Я было намеревался доставлять в Россию вести о свободе, весьма умеренной и обузданной, вести о действиях здешнего сейма, нам не чуждых, ибо, как ни говори, а они у нас не только под носом, но часто могут быть и на носу, но,

критика; б) живописец, т. е. нравоописательная сатира; в) стихотворения; г) театр, т. е. театральные рецензии (Отчет ГПБ за 1884 год. Приложения, стр. 160).

²⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 77.

²⁶ ГПБ, ф. Вяземского, № 36, л. 2. — Рейн — арзамасская кличка М. Ф. Орлова. Об участии М. Ф. Орлова в арзамасском братстве и о различных проектах журнала см.: М. К. Азадовский. Затерянные и утраченные произведения декабристов. ЛН, т. 59, кн. 1, М., 1954, стр. 631—634.

²⁷ Остафьевский архив, т. I, стр. 102—103.

²⁸ ЛН, т. 60, кн. 1, М., 1956, стр. 26—28.

как я писал Орлову, в обширной спальне России никакие будильники не допускаются, и я намерения своего в дело провести не мог».²⁹

Узнав об отставке Вяземского, М. Ф. Орлов писал ему 9 сентября 1821 г.: «Вооружись пером и сядь за работу. Судя по тому, как ты написал жизнь Озерова, я уверен, что ты можешь сделать оборот в прозе нашей и дать ей более точности и остроты. Займись прозой, вот чего недостает у нас <...> Пора предпринимать образование словесности нашей в большом виде, в философическом смысле, строгими сочинениями или полезными переводами. Вот поприще, открытое перед тобою. Цензура не всегда будет препятствием <...> Ежели ты примешь мой совет, то напиши, какой избереешь предмет. Я сочинением твоим буду весьма заниматься, ибо, по всем дошедшим до меня слухам, твой ум совершенно созрел и ты готов к обработанию важнейших политических предметов».³⁰

Интерес Вяземского к плану реорганизации «Арзамаса», составленный им проект журнала, его переписка с М. Ф. Орловым об издании журнала, а также характеристика Вяземского в только что цитированном письме М. Ф. Орлова (совпадающая с аналогичными высказываниями А. С. Пушкина) свидетельствуют о том, что он вместе с М. Ф. Орловым и Н. И. Тургеневым принадлежал к радикальному крылу арзамасского братства. Безусловно прав Н. И. Мордовченко, который писал: «В „Арзамасе“ Вяземский не только активно боролся с „Беседой“, сатирически изображая ее деятелей в эпиграммах, пародиях, памфлетах в прозе и стихах, но вместе с Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым стремился направить арзамасцев на путь серьезной политической и культурной работы в духе либерализма».³¹

Идейные разногласия внутри «Арзамаса», трудные цензурные условия, а также жизненные обстоятельства, разбросавшие арзамасцев по России и за границу, помешали реорганизации «Арзамаса» и изданию журнала. Вяземский болезненно переживал «распыление» арзамасцев. Вот его письмо к Д. В. Дашкову:

²⁹ Архив братьев Тургеневых, вып. VI, стр. 8.

³⁰ ЛН, т. 60, кн. 1, стр. 33.

³¹ Н. И. Мордовченко. Ук. соч., стр. 281—282. — Дружеские чувства к Н. И. Тургеневу и М. Ф. Орлову Вяземский сохранил на многие годы. В его письмах к А. И. Тургеневу неоднократно встречаются сочувственные упоминания о Н. И. Тургеневе. О дружбе Вяземского с М. Ф. Орловым в 1820—1830-е годы свидетельствуют письма М. Ф. Орлова к Вяземскому (см.: ЛН, т. 60, кн. 1, стр. 21—46; Записки Отдела рукописей Библиотеки им. Ленина, вып. 17, М., 1955, стр. 214—247). Из писем 1830-х годов видно, что Вяземский помогал М. Ф. Орлову в публикации его труда «О государственном кредите». Об отношениях Вяземского с М. Ф. Орловым см.: С. Я. Боровой. М. Ф. Орлов и его литературное наследие. В кн.: М. Ф. Орлов. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., Изд. АН СССР, 1963 (по указателю имен).

Варшава 2/14 ноября 1818.

«Алла! алла! алла! Слава и благодарение великому Пророку благоверных арзамасцев за письмо, розу воспоминания, жемчужинку радости! Читая в Варшаве строки, написанные в Буюкдере любезнейшим Дмитрием Васильевичем, оглядываюсь с головы до ног, дотрагиваюсь и спрашиваю у себя: он ли ко мне пишет? я ли его читаю? на земной ли мы еще планете, или, выспавши сон жизни, не очнулись мы уже в мире духовном? Но число, выставленное на письме от 23 апреля/5 мая и полученном мною 1/12 ноября спускает меня на землю, уверен, что почта должна идти скорее от одной планеты к другой. Но шутки в сторону, кто мог бы предвидеть год назад, что черт, верно околдованный волхвами Беседы, рассеет, как жидов, верных чад православного Арзамаса. И когда явится Мессия и соберет свою дружину? Я здесь, в жидовской Польше или, если хотите, польской Иудее, начинаю быть их веры и ожидаю второго пришествия. Авось тогда будет лучше. Авось арзамасцы тогда будут вместе, а беседчики порознь. Как часто, хотя и далеко от России, жалею я о том, что вас в России нет. Вы не поверите, что делает Каченовский? Вы один могли бы надеть намордник этой бешеной собаке, которая в Вестнике с цепи сорвалась на Карамзина. Карамзин молчит, это его дело; но кому-нибудь надобно бы прикрикнуть, а вам уже не впервые возиться с собаками. Не одна поджала от вас хвост. Вы — как покойный князь Дашков (это, видно, какой-нибудь галисман, сокрытый в таинственном имени вашем), который выходил обезоруженный на самых злых собак и, смотря им прямо в глаза, умирал их злость и заставлял их ласкаться около него. Иван Иванович писал ко мне недавно, что историограф беретса защищать один только Василий Львович своим Бильбоке, яко Давид своею пращою. Но для шутки велите на досуге прислать себе ругательства Каченовского и на основании либеральной конституции выпренной Отоманской Порты отляпайте ему голову хотя еп effigie. Знаете ли, что эта голова, прибитая к Царьградским воротам, пойдет в Историю наряду с Олеговым щитом. Вы спрашиваете меня о моем житье-бытье? Последнее-то есть, а первого-то нет. Я здесь прозябаю, а не живу. Впрочем, все к лучшему в лучшем из миров. Только жаль, что Польша не лучшая часть лучшего мира. Счастливцу Батюшков едет в Неаполь. Хорошо тому, у кого семья составлена из нескольких элегий, а будущее потомство в зародышах рифм. Тот едет себе, куда глаза глядят, а еще лучше и того, глядеть ему незачем. Но наш брат, грешник, тяжел на подъем. Дочь, да еще дочь, да сын, не говоря о надежде *будущих талантов и прочих за труды наград*, приковывают к месту. В частом ли вы сношении с Россиею и родимым Арзамасом? Я здесь только и дышу что русским воздухом, и подивитесь, кто мой постояннейший отдушник — Тургенев! Клянусь вам его Библиею,

вашим Алкораном и моим Талмудом. Вам можно будет поместить это в какие-нибудь чудеса арабской сказки. Ничего не знаю о Блудове, но, по несчастью, знаю о Северине. Не сомневаюсь, что у вас бывают частые сношения с Петербургом, не посылаю вам требуемого моего адреса, а советую и униженно прошу, когда придет такой счастливый час, надписывать для доставления ко мне письма свои к преобразенному Тургеневу, который не по-прежнему пожирает все, что под руки ему попадет, а сделался человек обстоятельный, умница, спит не более пяти часов в сутки, спрашиваете вы? нет! погодите: в день обедает не более двух раз, а ужинает с трудом три раза. Зато Жуковский? сперва он писал ко мне редко, теперь никогда. Сперва писал он для немногих, теперь не для кого. Но бог вступился за меня, и его упрятали в российскую Академию, с кем же? С Филаретом?

Прочь кошуны! Есть бог!

«Я вижу отсюда, как их повезут в одной карете. Один девственник по званию, другой по склонности. C'est à dire l'un artiste russe et l'autre amateur russe.³² Жуковский отрекается от Сатаны (вот отчего он не пишет к Асмодею) и всех дел его. Жуковский пишет послание: к Старцу Шишкову под пару к посланию Старцу Еверсу. Жуковский говорит:

Шишков брат! так, я сказать дерзаю,
Что имени сего всю цену знаю!

«И начинает врать. И мы хотим Жуковского усовестить, а он показывает на Академию и говорит:

Там мне Шишков на братство руку дал.

«И мы принуждены молчать. И Жуковский нам читает стихи в Арзамасе, и мы ему говорим со слезами: Жуковский! Жуковский! мы тебя не узнаем! а он стихи в карман и, подраживая нас, говорит нам:

Что мрачно здесь, то будет ясно там.

«И потом скажет:

Не унывать хотя и смысла нет —
Вот правило для брата Филарета.

«Но, кажется, я не унываю, хотя не имею чести быть академиком. И как подумаю, какой путь предлежит вранью моему, то, право, краснею от стыда. Прошептать глупость соседу за столом простительно; но дурачиться так во все горло из Варшавы в Царьград бесстыдно. Впрочем, разведывайтесь с вашим турецким предопределением, которое или вас назначило слушать мой вздор, или меня посвятило в болтуны. А я не могу удержаться: здесь я такой

³² Французский перевод предыдущей русской фразы.

выдерживаю карантин, что как помешанный кидаюсь при малейшем случае настезь растворить двери закупоренному своему вранью. Жена уже давно получила с благодарностью присланную кисею; не понимаю, как письмо от нее отстало. Но, впрочем, я надеюсь, что Булгаков или Тургенев уведомили вас о получении посылки. Жена моя кланяется вам от всего сердца. Она здорова, и дети также. Я начинаю думать, что одного счастья в жизни не довольно: к нему нужны и удовольствия. Это хлеб, который надобно для вкуса посолить. Я здесь счастлив, потому что все, меня окружающее, здорово, но со всем тем скучаю, как изгнанник на скале св. Елены:

И пред изгнанником зияет
Неумолимый океан.

«То есть неумолимая толпа, которая, как я ее ни упрашиваю, не понимает меня и ничего не говорит сердцу. Простите, любезнейший собрат! Питайте иногда меня выписками из Алкорана и в мечетях молитесь о мне великому Пророку, а мой Талмуд всегда к вашим услугам, и в синагоге раздѣдуться всегда клики радости и благодарности с молитвами о долгом здравии вашем при получении дружеской грамотки. Падаю до ног по-польски, кланяясь, берусь за голову по-турецки,* а обнимаю по-русски, т. е. от всего сердца.

Простите.

* Ради бога не подумайте, что обнимаю по-турецки. Сила крепкая с нами». ³³

Письмо в Константинополь было послано через Петербург — 2 ноября 1818 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Посылаю тебе письма к Воейкову и к Дашкову, которые прошу взять на свое попечение. Не могу решиться их запечатать: я так доволен твоим поведением, что потешу тебя ими. Я был в духе». ³⁴

Посылая письмо к Д. В. Дашкову через Петербург, Вяземский полагал, что оно будет прочтено арзамасцами, и действительно, А. И. Тургенев ознакомил их с этим посланием; читал это письмо и Жуковский, которого Вяземский так остроумно осмеял за его отход от боевого духа «Арзамаса».

Сообщая Д. В. Дашкову о выступлениях Каченовского против Карамзина, Вяземский имел в виду две статьи, напечатанные в «Вестнике Европы». В одной из них, под названием «К господам издателям „Украинского вестника“», Каченовский язвительно отозвался о статье Карамзина «Записка о достопамятностях Москвы», а также непочтительно охарактеризовал его поэтическую деятельность: «Сочинитель помнит, что почтеннейший Н^{иколай} М^{ихайлович} в молодости любил читателей, а более читателейниц,

³³ ГПБ, ф. Вяземского, № 24, лл. 1—4.

³⁴ Остафьевский архив, т. I, стр. 138.

располагать к сладкой меланхолии, любил иногда и сам поплакать. Но тогда совсем другое. Кто молод не бывал! Из вас же, господа издатели, один сказал недавно, и сказал весьма справедливо, что плаксивые пташки теперь уже переводятся». ³⁵ Возмущенный этой статьей, А. И. Тургенев писал Вяземскому 30 июля 1818 г.: «Читал ли плюгавое произведение плюгавого Каченовского в „Вестнике Европы“?». ³⁶

В статье «От Киевского жителя к его другу» (подпись: «Ф») нападкам подверглись исторические труды Карамзина: «но отдавая должную справедливость труду и таланту, я весьма не согласен с закоренелыми поклонниками, которые хлопочут о том единственно, чтобы божок их всем и каждому казался совершен, непогрешителен, как тибетский Далай-Лама. <...> Вышла *История государства Российского*, и тотчас господа редакторы журналов, каждый в свою очередь, отдали честь ей высокопарным приветствием, как военные караулы мимо едущему генералу отдают честь игранием на трубах или барабанным боем. Генерал проехал, и все затихло. Ни один из редакторов не взял на себя труда, прочитавши творение, сказать что-нибудь дельное, полезное или хоть занимательное для публики (если не для автора, ибо он может и не читать рецензий!)». ³⁷

Выступления в «Вестнике Европы» против Карамзина вызвали негодование Вяземского: «Скажи поэту Пушкину, — писал он 31 августа 1818 г. А. И. Тургеневу, — что ему непременно должно высечь мстительным стихом мерзавца Каченовского». ³⁸ 18 сентября А. И. Тургенев отослал Вяземскому эпиграмму Пушкина на Каченовского «Бессмеотной рукой раздавленный зоиля». Вслед за И. И. Дмитриевым Пушкин окрестил Каченовского «плюгавым выползком из гузна Дефонтена». Литературная параллель была ясной: Дефонтен хулил Вольтера, Каченовский — Каоамзина. Клеветником и завистником обрисован Каченовский и в эпиграмме Вяземского:

Иссохлось бы перо твое бесплодно,
Засухою скончались бы листы
Но помогать бедам искусству сродно:
В желчь зависти перо обмокнешь ты, —
И сызнова на месяц-два свободно
С него польются клеветы. ³⁹

Предлагая Д. В. Дашкову заступиться за Карамзина, Вяземский хотел завербовать опытного литературного бойла для борьбы с Каченовским; в памяти были свежи удачные выступления Д. В. Дашкова против шишковистов: разбор «Двух статей из

³⁵ Вестник Европы, 1818, ч. 100, стр. 47.

³⁶ Остафьевский архив, т. I, стр. 111.

³⁷ Вестник Европы, 1818, ч. 101, стр. 125.

³⁸ Остафьевский архив, т. I, стр. 118.

³⁹ Там же, стр. 124.

Лагарпа» (1810); книга «О легчайшем способе возражать на критику» (1811); речь против Д. И. Хвостова в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств (1812); «Письмо к новейшему Аристофану» (1815); речи в «Арзамасе» (1815—1816). Однако Д. В. Дашков не отозвался на призыв Вяземского и не ополчился против Каченовского.

О намерении В. Л. Пушкина проучить Каченовского Вяземский знал из письма А. И. Тургенева: «Василий Львович храбрится в Москве против Каченовского и пишет ко мне, что „хотя и печатает он свои сочинения зимою, но смело бросает ему перчатку и отдает его не хуже славенской братии“». ⁴⁰ Однако В. Л. Пушкин не сдержал своего обещания: борьба с Каченовским не вдохновила его «билбоке», как иронически называет Вяземский поэтический талант В. Л. Пушкина.

Выступить против Каченовского пришлось самому Вяземскому: в 1821 г. в «Сыне отечества» появилось его «Послание к Каченовскому» (с цензурными купюрами). Вместе с Вяземским Каченовского продолжал осмеивать А. С. Пушкин в эпиграммах: «Хавроно! ругатель закоснелый» (1820), «Клеветник без дарованья» (1821), «Охотник до журнальной драки» (1824) и др.

В публикуемом выше письме к Д. В. Дашкову от 2 ноября 1818 г. Вяземский пародирует стихотворение Жуковского к «Старцу Еверсу» (1815), обращенное к профессору богословия Дерптского университета Лоренцу Еверсу (1742—1830). Эта дружеская пародия — как бы ответ Вяземского на стихотворную пародию Жуковского, который в шутовском тоне представил выступления М. Ф. Орлова и Вяземского по поводу преобразования общества и издания журнала на заседании «Арзамаса». В дружеских взаимных пародиях уже явственно проступают намечающиеся расхождения между умеренными и радикальными арзамасцами. В строке письма: «Сперва писал он для немногих, теперь не для кого» — заключен иронический намек Вяземского на сборники Жуковского «Für Wenige» («Для немногих»), которые издавались ограниченным тиражом для придворного круга.

Заканчивая обзор письма Вяземского к Д. В. Дашкову от 2 ноября 1818 г., необходимо отметить, что оно в полной мере характеризует крайнюю неудовлетворенность Вяземского общественной и литературной обстановкой тех лет.

Идейное развитие Вяземского в эти годы ознаменовано нарастанием оппозиционного настроения. Предоставление конституции Польше и работа в канцелярии Новосильцева над проектом конституции для России то усиливали надежды Вяземского на установление сверху нового порядка в России, то давали повод для сомнений и разочарований. Надежды и сомнения Вяземского отразились в его статье, посвященной восстанию Семеновского полка:

⁴⁰ Там же, стр. 126. Письмо от 28 сентября 1818 г.

«... мне кажется это одним из важнейших событий нашего времени. Эта русская строка современной истории, по мне, плодвитее страниц гишпанской и неапольской», — писал Вяземский.

При всей своей оппозиционности Вяземский высказывается против революционных преобразований; в качестве образца, достойного подражания, он выставляет пассивную тактику семеновцев: «Мы если и воображали когда русский мятеж, то вооруженного топором, восплаемого пьянством и грабежом, разбивающего кабаки; но вдруг видеть мятеж хладнокровный, на душе своей положивший намерение достигнуть цели твердостью и спокойствием и в ком же, не в людях, которые, так сказать, поступают в глазах Европы и потомства — взявших умеренность себе за правило более по расчетам рассудка; но в людях, ничего не обдумавших, никакого влияния не желающих, никакой строки ни в газетах, ни в истории не требующих, а решившись просто единственно свергнуть иго, потому что оно сделалось уже нестерпимым».⁴¹

В своей рукописи Вяземский убеждал царя не приближать к престолу ничтожных холопов наподобие начальника Главного штаба князя П. М. Волконского или генерал-адъютанта графа А. П. Ожаровского, сопровождавших Александра I на конгресс в Троппау. Взамен этих придворных Вяземский советовал возвышать просвещенных и передовых дворян. Эта часть рукописи Вяземского по своей основной мысли перекликается с позднейшим стихотворением Пушкина «Друзьям» (1828):

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу.

К началу 20-х годов Вяземский окончательно распознает позказной характер либерализма Александра I; в письме к С. И. Тургеневу от 13 февраля 1820 г. он пишет с гневным сарказмом: «Неприкрытый характер деспотизма, как все, что явно, в каком-то отношении является положительным качеством, и благодаря этому по крайней мере знаешь, с чем имеешь дело. Но упаси нас бог от лицемерия либерализма, филантропии и толерантности и всего, что с этим связано.

«Вот моя молитва богу, дополненная „Не введи нас во искушение, но воля твоя! Избави нас от лукавого“.

«Я умоляю вас не сообщать это кощунственное добавление капитулу, а то каноник (А. И. Тургенев, — М. Г.) в порыве библейского благочестия обвинит меня в бумагомарании и фарисействе.

⁴¹ ГПБ, ф. Вяземского, № 13, лл. 1—2. — Полный текст этого документа см.: М. И. Гиллельсон. Материалы по истории арзамасского братства, стр. 303—304. Об этом см. также: Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов, стр. 77—80; С. С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России, стр. 194—199.

«Примите мои искренние пожелания полного благополучия, если благополучие возможно, когда нет родины».⁴²

Столь же отрицательно отзываясь Вяземский о самодержавии в письме к А. И. Тургеневу, написанном во второй половине апреля 1820 г.: «А ты еще меня зовешь в Петербург, на пытку всех и всякого рода домовых деспотизма! Vous y êtes tous sous un cauchemar inquisitorial».⁴³

В те годы Петербург, цитадель самодержавия, казался адом для представителей дворянской оппозиции. Н. И. Тургенев в письме к С. И. Тургеневу писал 11 февраля 1818 г.: «Сказывал ли тебе когда-нибудь князь Гагарин о проекте своем нарисовать петербургский шлагбаум с надписью: *Lasciate ogni speranza, voi chi entrate*».⁴⁴ Надпись Дантова над шлагбаумом ада».⁴⁵ Теми же словами характеризует Петербург Вяземский в июне 1820 г.: «И до сей поры адская надпись Данта блесит еще в полном сиянии на заставе Петербургской».⁴⁶

Крах конституционных иллюзий, деятельное участие Александра I в Священном союзе, возвышение Аракчеева, организация военных поселений — все это приводит Вяземского в резкую оппозицию к самодержавию. В письме к А. И. Тургеневу он с возмущением писал 4 января 1820 г.: «Не только словом и делом, но и молчанием, и бездействием потакать не хочу ненавистному ходу вещей и в списке ливреи быть гнушаюсь».⁴⁷

Разочаровавшись в Александре I, Вяземский приходит к выводу, что передовые дворяне по собственной инициативе должны поставить перед правительством вопрос о ликвидации крепостного права в России. В письме к А. И. Тургеневу Вяземский писал 6 февраля 1820 г.: «Правительство не дает ни привета, ни ответа: народ завсегда, пока не взбесится, дремлет. Кому же, как не тем, которым дано прозрение неминуемого и средства действовать в смысле этого грядущего и тем самым уладить ему дорогу и устранить препятствия, пагубные и для ездоков, и для мимоходов, кому же, как не тем приступить к делу или, по крайности, к рассмотрению дела, коего событие неотменно и, так сказать, в естественном ходе вещей? Ибо там, где учат грамоте, там от большого количества народа не скроешь, что рабство — уродливость и что свобода, коей они лишены, так же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце. <...> Рабство — на теле госу-

⁴² Архив братьев Тургеневых, вып. VI, стр. 3 (подлинник от слов: «Я умоляю...» на французском языке).

⁴³ Остафьевский архив, т. I, стр. 222.

Перевод: Вы все там находитесь под чудовищным гнетом инквизиции (франц.).

⁴⁴ *Перевод:* Оставьте всякую надежду, входящие сюда (итал.).

⁴⁵ Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 253.

⁴⁶ Архив братьев Тургеневых, вып. VI, стр. 6.

⁴⁷ Остафьевский архив, т. II, стр. 2.

дарства Российского нарост; не закидывая взоров вдаль, положим за истину, что нарост этот подлежит срезанию, и начнем толковать о средствах, как его срезать вернейшим образом и так, чтобы рана затянулась скорее».⁴⁸

Программное письмо Вяземского об уничтожении крепостного права писалось им, как и другие его письма друзьям, с расчетом на чтение их в арзамасском кругу. Так, например, в письме к М. Ф. Орлову в марте 1820 г. Вяземский, ссылаясь на это письмо, писал: «Я напишу к Тургеневу, чтобы он тебе мое письмо прислал».⁴⁹

Письмо Вяземского об уничтожении рабства было одним из толчков к составлению в Петербурге записки о создании общества для разработки вопроса об освобождении крестьян. Эта записка, подписанная Вяземским и другими передовыми дворянами, была подана Александру I в 1820 г.; она вызвала сильный общественный резонанс, что видно из записки Вяземского к А. И. Тургеневу: «Сделай одолжение, пришли мне завтрашнюю почтою или другим посредством письмо мое к вам из Варшавы о рабстве. Н. М. (Карамзин, — М. Г.) знает о нашем проекте и везде говорит о нем. Прости. Ожидаем тебя в понедельник. Царское. Суббота. В.»⁵⁰

Проект об освобождении крестьян не встретил сочувствия у Александра I. Отказ царя поставить вопрос об отмене крепостного права усилил оппозиционное настроение Вяземского и привел его в конце концов к острому конфликту с самодержавием. В письмах к друзьям, которые подвергались перлюстрации, Вяземский откровенно излагал свои свободолобивые взгляды и порицал политику Александра I; правительство решило «укротить» Вяземского: по приезде последнего в отпуск в Петербург в апреле 1821 г. ему было объявлено о запрещении возвращаться на службу в Варшаву. Протестуя против этого распоряжения, Вяземский подал на высочайшее имя прошение о сложении с него звания камер-юнкера. В июле того же года он уехал из Петербурга в Москву, где за ним был установлен тайный полицейский надзор.

В начале 20-х годов Вяземский с предельной ясностью осознает зависимость литературы от общественных событий. В письме к А. И. Тургеневу он писал 30 января 1822 г.: «Я в письме к Карамзину называю некоторые свои пятна родимыми пятнами. Этих стирать не должно, а не то сотрешь кожу и будешь ободранною рожею <...> Benjamin, Etienne, Guizot, Kérity, Bignon так ли пишут, как блаженные памяти Batteux и другие писатели légitimes? Тут делать нечего: политические события и перья очинили на другой лад. Живописный, неровный, остроконечный слог Монтана более подобает нам, чем другой, округленный, чинный и вытяги-

⁴⁸ Там же, стр. 15—16.

⁴⁹ Архив братьев Тургеневых, вып. VI, стр. 377.

⁵⁰ ГПБ, ф. Вяземского, № 34, л. 1.

вающий пальцы по квартирам. Образ политических мнений невольно отзывается и в образе излагать мысли свои и не политические».⁵¹

Общественные и литературные симпатии Вяземского на стороне передовых деятелей французской культуры: философа Мишеля де Монтеня, скептика, борца против церковных авторитетов, теологии и схоластики; политического деятеля и историка Франсуа Гизо, который в 1822 г. по решению правительства Франции был лишен профессорской кафедры в Сорбонне за свои умеренные, но прогрессивные взгляды; наконец, Вяземский положительно отзывался о Бенжамене Констане, являвшемся с 1819 г. одним из лидеров буржуазно-либеральной оппозиции во французском парламенте.

Политические взгляды Вяземского первой половины 20-х годов заставляли его мечтать об изменении общественного строя в России. В письме к Д. В. Дашкову от 30 мая 1824 г. Вяземский подробно описывает литературную и общественную атмосферу того времени:

«Остафьево. 30 мая.

«La représaille est juste!⁵² Только я вас, кажется, уже передеголял, отвечая сегодня на письмо от 8 апреля. Да, скажите сами, любезнейший Дмитрий Васильевич, до вас ли было мне дело, когда черт дернул меня иметь дело с дураками? Как отвечать мне было творцу книжки: *О легчайшем способе возражать на критики* (quel nom, dans ma retraite osais-je prononcer⁵³ — у вас теперь, верно, книги этой и в помине нет! — Да и мне не лучше ли сжечь ее?), — когда я принялся за труднейший и за неприятнейший и, так сказать, принял к себе на хлеба и кормил ничтожность лже-Дмитриева! Потом были у меня хлопоты другого рода и проводы жены, отправившейся в Одессу. Извиняться, однако же, никогда не поздно, и я извиняюсь перед вами не в молчании, которое, может быть, охотно простите, но в том, что я вас отяготил глупым занятием по ответу моему Самозванцу-Булгарину. Простите, вперед, кажется, не буду! Кажется! — а головою отвечать не стану. Бог знает, что лучше: отмалчиваться или отбраниваться? Конечно, полемика наша самое поганое ремесло, ибо вводит в сношения с людьми, не стоящими уважения; но общее мнение или по крайней мере то, что заменяет у нас общее мнение, стоит уважения. Хорошо Карамзину пренебрегать тем, что мыслит о нем Каченовский, и вследствие его мыслей, что мыслит о нем часть публики нашей, но не каждому дано право брать пример с великих подлин-

⁵¹ Остафьевский архив, т. II, стр. 242.

⁵² Перевод: Возмездие справедливо! (франц.).

⁵³ Перевод: Какое имя в моем уединении осмелился я произнести? (франц.).

ников. *Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas*; от великодушного презрения к ничтожным оскорблениям до малодушного претерпения христианских пощечин тоже один только шаг. Поди после разбери, по какую сторону стал ты едва означенной черты. Беда только в том, что я один если не из хороших, то по крайней мере из честных полемиков, и потому всегда или сам должен наскочить на какого-нибудь плюгавца, или какому-нибудь плюгавцу дать наскочить на себя. И в том и в другом случае накладно если не бокам, то имени, которое должно схлещиться с именами позорными и быть вывешено на псарне наших журналов! — Кстати, не помните ли о французском стихотворении под именем *disputes littéraires*? оно должно быть в виде поэмы или *d'un discours en vers*. Разумеется, говорю не о Рюльеровском стихотворении. На днях обедал я в городе у Ив. Ив. (Дмитриева, — М. Г.), и мы говорили о лени вашей и лени Блудова, которые лишают нас много хорошего. Неужели и Воейков не усостыдил вас? Ожидаю с нетерпением ех-каноника Тургенева. Остается ли он хотя в Библейском и женском обществах? Вот до чего мы дожили! И то ли еще будет? — Доживем и до новых и глупейших глупостей? думаете вы — нет, а до того, что и Арзамас воскреснет и выйдет в люди! Помните мое слово! *Si du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas*, не забудьте же, что и *du ridicule au sublime il n'y en a qu'un aussi*⁵⁴ моя логика не худа, даром что Михаил Дмитриев утверждает за Александром Воейковым, что я без логики. Чем хуже, тем лучше! Чем темнее, тем скорее будет светло! Чем беседнее, тем скорее будет арзамасно! Это неоспоримо, как и то, что дважды два четыре! Но мы доживем ли до того, или только дети наши, а если мы, то считать ли в этом мы и Василия Львовича? Вот тут запятая, которую разрешу, глядя по тому, что новое Министерство разрешит ли точки! ах! бедный наш Василий Львович! он точно на точке оттепели физической и нравственной. Читали ли вы его последние стихи в Дамском журнале, где он, оборотясь задом к Вьельгорскому, говорит ему смиренно, что если он на глаза его еще не совсем *урод* и *если я для вас гожусь*, то еще может наслаждаться жизнью! Советую вам отыскать их! Давал ли вам Тургенев читать в письме моем описание сцены, которую застал у него с Игнатием, когда барин увещевал своего камердинера сносить терпеливо рога свои, подкрепляя увещевания собственным своим примером. Много видал я комических сцен у Васил. Льв., но эта была из лучших.

«Я в самом тошном расположении духа по отъезде жены и смерти Бейрона. Без нее пусто мне в домашнем мире, а без него в литературном. После смерти Наполеона никакая смерть так глубоко в душу мою не врезывалась, как его. Наш век есть точно

⁵⁴ *Перевод: Если от великого до смешного только один шаг, то и от смешного до великого тоже один шаг (франц.).*

век мирмидонов; кто только немножко перерастет головою казенную меру посредственности, тот сейчас людьми или Судьбою выключается из списков. Простите, любезнейший друг. Когда увидимся? Не грянет ли и на вас какой-нибудь благодетельный донос, который поворотит оглобли ваши в нашу сторону! а не то мало надежды мне увидеться с вами. Пока обнимаю вас от души. — Где Блудов? Поехал ли он в Европу?

В.».⁵⁵

Письмо датируется 1824 г. на основании упоминания о смерти Байрона и отъезда Веры Федоровны в Одессу.

Слова «принял к себе на хлеба и кормил ничтожность лже-Дмитриева» имеют в виду полемику Вяземского с М. А. Дмитриевым по поводу предисловия к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина. Иронически назвав М. А. Дмитриева «лже-Дмитриевым», Вяземский противопоставляет его истинному писателю — И. И. Дмитриеву. Сложность и даже, можно сказать, парадоксальность литературных отношений того времени проявилась в том, что противник романтического учения И. И. Дмитриев поссорился со своим племянником М. А. Дмитриевым потому, что последний напал в «Вестнике Европы» на Вяземского, напечатанного в качестве предисловия к «Бахчисарайскому фонтану» боевой манифест русских прогрессивных романтиков — «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова».

Образ «лже-Дмитриева» по своей семантической аналогии (лже-Дмитрий) вызывает последующий образ «Самозванца-Булгарина». Таким стилистическим приемом Вяземский объединяет М. А. Дмитриева и Булгарина в одну категорию лжеписателей.

Письмо Вяземского к Д. В. Дашкову, в котором он давал последнему поручение по поводу своего ответа «Самозванцу-Булгарину», до нас не дошло. По-видимому, эта просьба имела отношение к выступлениям Булгарина против Вяземского. В «Литературных листках» (1824, № 2) появилась критика Булгарина на предисловие Вяземского «Известие о жизни и сочинениях И. И. Дмитриева». Вяземский ответил статьей «Несколько вынужденных слов» (Сын отечества, 1824, ч. 92, № 14). Однако Булгарин не успокоился: он опубликовал статью «Маленький разговор о новостях литературы» (Литературные листки, 1824, № 8), в которой в пику Вяземскому с похвалой отозвался о полемических статьях М. А. Дмитриева.

Слова Вяземского, что он ожидает с нетерпением «ex-каноника Тургенева», — горькая шутка, вызванная известием об отставке последнего.

⁵⁵ ГПБ, ф. Вяземского, № 24, лл. 7—8.

«Вы не так меня поняли, любезнейший друг, — отвечал Д. В. Дашков 24 июня 1824 г., — и напрасно сочли меня достигшим христианского совершенства: терпеть пощечины и подставлять смиренно другую щеку. Вы намерены сжечь мой *легчайший способ* — и поделом! — Но вы найдете там славенский ответ на славенскую учтивость нынешнего министра просвещения о *подзатыльниках*; мой же девиз, и девиз неизменяемый в литературе, дружбе и правилах жизни: *semper ubique idem*. Мне жаль было видеть не словесную войну вашу с бессловесными, а *формы войны*; с честным корсаром дерутся по правилам, а морских разбойников вешают без суда на бизань-мачту. Вы начали маневрировать à la Wellington, а надобно было взять козачью нагайку à la Platoff, рыскать по полю и хлыстать направа и налево: еду не свищу, а наеду не спущу. К чему рассуждать с теми, кои рассуждать не в состоянии и только хотят, по вашему выражению, отдать к вам на хлеб свое ничтожество! Перемените систему, любезный Асмодей, и воздавайте каждому по достоянию. У вас достанет аттической соли и для открытых врагов и для скрытных, каковы напр<имер> Каченовский и Мерзляков, Лже-Дмитриев — их орудие. Блудов находит, что вы его так назвали очень кстати: у него, как и у самозванца, помощниками поляки — Мнишек-Булгарин.

«Смерть Бейрона поразила меня точно так же, как вас; он умер в ту минуту, когда становился в первый раз интересным — как человек. Все, что касается до Греции и до греков, дышит поэзией сердца. Знаете ли, что сверх значительных пожертвований при жизни Бейрон в завещании своим отказал греческому правительству 200 тыс. талеров, т. е. более миллиона рублей? На Жуковского надеяться нечего; авось Пушкин (не Василий Львович) напишет что-нибудь достойное умершего. Ах, бедный Василий Львович! он бы и в лучшие годы на это не годился: Бейрон не малиновка и не Буянов».⁵⁶

Так из Варшавы через Петербург в Константинополь и обратно шли арзамасские письма, в которых непринужденно обсуждались литературные и общественные новости.

Д. В. Дашков оказался прозорливее Вяземского, который все еще надеялся на певца Светланы — 26 мая он писал А. И. Тургеневу: «Какая поэтическая смерть — смерть Бейрона!.. Вот случай Жуковскому! Если он им не воспользуется, то дело кончено: знать, пламенник его погас. Греция древняя, Греция наших дней и Бейрон мертвый — это океан поэзии! Надеюсь и на Пушкина».⁵⁷

Жуковский промолчал. Смерть Байрона почтили стихами Пушкин и Кюхельбекер.

⁵⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1820, л. 26. Ср.: ЛН, т. 58, стр. 46.

Перевод: Всегда и всюду тот же (лат.).

⁵⁷ Остафьевский архив, т. III, стр. 48—49.

В письмах к Вере Федоровне в Одессу, которые Пушкин, конечно, читал, Вяземский несколько раз писал о том, что ждет стихотворного отклика Пушкина на смерть Байрона: «Кланяйся Пушкину и заставь его тотчас писать на смерть Бейрона, а то и денег не пришлю»,⁵⁸ — с шутливой угрозой писал Вяземский 6 июня жене. 16 июня вновь в письме к Вере Федоровне читаем: «Кланяюсь Пушкину и ожидаю его надгробной песни Бейрону».⁵⁹ Далее, 21 июня: «Пушкин, я чаю, сердится, что не присылаю ему денег. Пускай он мне пришлет скорее стихи на смерть Бейрона; я и сам хочу прозою написать о том же. Вместе напечатаем».⁶⁰ Потом, 6 июля: «Кланяйся Пушкину. Что же Бейрона? И Дашков пишет ко мне, что он надеется на него».⁶¹

Пушкин откликнулся на призыв Вяземского и написал, как известно, стихотворение, посвященное смерти Байрона. Но план, предложенный Вяземским, Пушкин отверг: «Твоя мысль воспеть его смерть в 5-й песне его Героя прелестна, но мне не по силам — Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать, как о судьбах моей братьи негров, [и] можно тем и другим желать освобождения от рабства несерпимого. Но чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией — это непростительное ребячество <...> Обещаю тебе, однако ж, вирши на смерть его превосходительства (т. е. Байрона, — М. Г.)».⁶² Этими «виршами» и явилось стихотворение Пушкина «К морю». Но, разойдясь с Вяземским в отношении плана стихотворения, Пушкин сошелся с ним в одной характерной частности; в письме к Д. В. Дашкову Вяземский писал о кончине Байрона: «... после смерти Наполеона никакая смерть так глубоко в душу мою не врезывалась, как его». Смерть Наполеона и смерть Байрона сопоставлены и в стихотворении Пушкина:

Одна скала, гробница славы...
 Там погружались в хладный сон
 Воспоминанья величавы:
 Там угасал Наполеон.
 Там он почил среди мучений.
 И вслед за ним, как бури шум,
 Другой от нас умчался гений,
 Другой властитель наших дум.

Творчество «другого властителя наших дум» влекло Вяземского и в последующие годы; на страницах «Московского телеграфа» он неоднократно выступал страстным поборником поэзии Байрона, за что заслужил порицание со стороны правительства.

Письмо Вяземского к Д. В. Дашкову от 30 мая 1824 г. помогает нам в свою очередь понять осторожную оговорку в письме

⁵⁸ Там же, т. V, вып. 1, стр. 11.

⁵⁹ Там же, стр. 15.

⁶⁰ Там же, стр. 17.

⁶¹ Там же, стр. 26.

⁶² Пушкин, т. XIII, стр. 99.

А. И. Тургенева к Вяземскому от 17 июня того же года: «Третьего дня обедали у нас на Черной речке: Жуковский, Блудов, Дашков, слепой Козлов, а потом пришли Греч, Баратынский и Дельвиг. Баратынский читал прекрасное послание к Богдановичу. Дашков прочел нам (не всем) твоё письмо к нему».⁶³ А. И. Тургенев писал Вяземскому 17 июня, чтение письма Вяземского к Д. В. Дашкову было за два дня до этого, т. е. 15 июня, а публикуемое выше письмо Вяземского к Д. В. Дашкову датировано 30 мая; из сопоставления этих дат следует, что А. И. Тургенев имел в виду именно данное письмо Вяземского, в котором последний выражал свое недовольство литературными и общественными делами. Оппозиционный тон письма был настолько явствен, что не представлялось возможным прочитать его вне узкого арзамасского круга: недаром Д. В. Дашков ознакомил с письмом не всех присутствовавших на обеде у Тургеневых.

Письма-послания Вяземского не только сообщались арзамасцами, но некоторые из них даже ходили по рукам, подобно другим нелегальным произведениям той эпохи. Так, например, обеспокоенный отставкой А. И. Тургенева, Вяземский писал ему 26 мая 1824 г.: «Сделай милость, не забудь собрать все мои письма и обрывки писем из тех, которые готовились на известное употребление, и даже те, которые уже были в употреблении: осторожность не лишняя».⁶⁴ Эти строки свидетельствуют о том, что письма Вяземского к арзамасцам имели не только личное, но и общественное значение; Вяземский опасался и, по-видимому, не без оснований, что его письма могут навлечь на него правительственные гонения.

Закачивая рассмотрение письма Вяземского к Д. В. Дашкову от 30 мая 1824 г., отметим, что декабристское движение, от активного участия в котором Вяземский отказался, тем не менее наложило отпечаток на бодрый тон его высказываний. Не революционер, но ярый оппозиционер, Вяземский в 1824 г. был настроен исключительно оптимистически, что явствует из его афористического утверждения: «Чем хуже, тем лучше! Чем темнее, тем скорее будет светло! Чем беднее, тем скорее будет арзамасно!». Знаменательно, что и Пушкин в письме к Вяземскому от 24—25 июня 1824 г. в том же политическом аспекте оценивал положение в России: «Давно девиз всякого русского есть *чем хуже, тем лучше*».

Свободомыслие сквозило в письмах Пушкина, Вяземского и их друзей; корреспонденцию приходилось отправлять минуя почту. Используя каламбурно фамилии своих знакомых Туманского и Солнцева, Вяземский просил А. И. Тургенева: «По почте будь

⁶³ Остафьевский архив, т. III, стр. 55.

⁶⁴ Там же, стр. 49.

со мной *Туманский*, но ищи случаев быть со мною и *Солнцевым*».⁶⁵

Посылать письма с оказией было к тому же безопаснее. В своих воспоминаниях И. П. Липранди писал: «...так как из Кишинева я должен был захватить прежде в Херсон и, по всему вероятно, продолжать путь через Москву, то (*Пушкин*, — *М. Г.*) дал мне еще два письма в этот последний город, на имя князя *Вяземского* и *Чаадаева*, одинаково прося передать лично. <...> Из Херсона я уведомил, однако же, *Пушкина* об изменившемся направлении и в *Киеве* нашел от него письмо с подтверждением того же, что было сказано и прежде, и с присовокуплением, что если на возвратном пути я не проеду чрез Москву, то привез бы письма на имя *Вяземского* и *Чаадаева* обратно, справляясь, однако, у брата, не случится ли кто из них в мое время в *Петербурге* и пр.»⁶⁶ *Пушкин* опасался, как бы его вольнолюбивые письма не попали в руки правительственных соглядатаев.

Общественные воззрения *Вяземского* и *Пушкина* противостояли политическим взглядам умеренного крыла «*Арзамаса*». Поэтому необходимо дифференцировать воззрения отдельных арзамасцев, внести определенность в точки соприкосновения и расхождений внутри этого литературного содружества. Их объединяла в первую очередь борьба с «*Беседой*». Для этой цели они сплотились под знаменем *Карамзина*. Однако, когда цель была достигнута и победа над «*Беседой*» одержана, сразу же обнаружились внутренние противоречия арзамасского братства. Развитие и углубление этих противоречий можно проследить с достаточной четкостью, анализируя позицию *Вяземского* — одного из деятельных участников оппозиционного крыла «*Арзамаса*», сопоставляя высказывания *Вяземского* и умеренных арзамасцев, прослеживая их споры по общественным и литературным вопросам.

Принадлежность *Вяземского* к радикальному крылу арзамасского братства обусловила прогрессивный характер его критической деятельности и литературных связей. В «*Известии о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева*» он писал: «Языки, прославленные творениями *Данта*, *Шекспира* и других, несмотря на славу своих образователей и ненарушимость прав ее на уважение потомства, не могли пребыть неизменными у народов, зрелейших в образованности: зачем же на нас одних налагать неподвижность и задерживать естественный ход языка, который только что начинает выходить из отроческого возраста и нуждается еще в правилах, утвержденных употреблением или законною властью? <...> Нет сомнения, что и самый наш язык, уже изменившийся, изменится еще по мере, как мы будем непосредственнее и действительнее участвовать в общем ходе образованности и просвещения» (I, 127—128).

⁶⁵ Там же, т. II, стр. 211. Письмо от 15 сентября 1821 г.

⁶⁶ Русский архив, 1866, стлб. 1481—1482.

Суждение Вяземского о непрерывном развитии языка целило не только в шишковистов, оно было направлено и против Карамзина⁶⁷ и умеренных арзамасцев. 9 сентября 1824 г. Вяземский писал Жуковскому: «Воля ваша, наш язык совсем не смел. Не говоря уже о немецком, который своеволен, но и самый французский дерзает более нашего. Оставь французских романтиков, как испытателей, еще не обдержавшихся, возьми в одном роде Монтаня, в другом Боссюета *avec sa voix qui tombe*, Расина с своими собаками, да у нас затравят собаками, т. е. Каченовскими, да, по несчастью, и Карамзины и Блудовы к ним пристанут, чтобы заесть смельчака, который позволит себе такие дерзости и deboширства».⁶⁸

В вопросах стиля Вяземский ставил в один ряд Карамзина и Блудова с Каченовским, причем их имена он употреблял во множественном числе, т. е. обобщал их позицию как позицию литературных консерваторов. Вяземский понимал, что усилия карамзинистов возвести в непреложный закон свой стилистический кодекс препятствуют дальнейшему развитию отечественной литературы; он сознавал, что карамзинская закуска вредит и его собственному стилю — в одном из писем к Жуковскому он писал: «Главный порок (по крайней мере в глазах моих) моей прозы есть длина периодов моих: с одышкою скорее взбежишь на Иван Великий, нежели прочтешь безостановочно мою фразу».⁶⁹

Язык перевода романа Б. Констана «Адольф» и «Старой записной книжки» показывает, что Вяземский настойчиво стремился вырваться из карамзинского плена и действительно сумел значительно изменить свой стиль в сторону лаконичности. Л. Я. Гинзбург справедливо отметила эволюцию языка его прозы: «Стилистика Вяземского строится на двух основных принципах, притом противоположных друг другу: от Карамзина он унаследовал длинную и, при всей ее легкости, довольно замысловатую фразу; эту фразу Вяземский утяжелил и в таком виде сохранил до конца для тех случаев, когда он считал нужным писать торжественно; с другой стороны, он с годами вырабатывал синтаксис необыкновенно сухой и лапидарный (тот же процесс постепенного приобретения стилистической сухости можно проследить по письмам Пушкина); этот второй принцип получил особое развитие в „Записных книжках“».⁷⁰

Стремление Вяземского нарушить карамзинский стилистический канон вызвало ожесточенное сопротивление умеренных арза-

⁶⁷ В то же время Вяземский обратил внимание на эволюцию слога Карамзина: «История государства Российского составляет сама эпоху в слоге Карамзина и, следственно, эпоху и в русском языке» (I, 128).

⁶⁸ П. П. Вяземский. А. С. Пушкин (1816—1825) по документам Осташевского архива. СПб., 1880, стр. 61—62.

Перевод: С его падающим голосом (франц.).

⁶⁹ Русский архив, 1900, № 1, стр. 185.

⁷⁰ П. А. Вяземский. Старая записная книжка, стр. 48—49.

масцев. В письме к А. И. Тургеневу Вяземский писал в июне 1822 г.: «Что значит в письме: *свободомыслие*, которое не совсем у места в объявлении о грамматике? Что за элексир такой *свободомыслия*, которого здесь нужна капля, там две, а где и чайная ложечка? Свободомыслие — способ мыслить свободного человека и потому везде у места; оно — стихия, а не композиция. <...> Прощай, мой Аристарх! Ох, уж мне твои поправки! Пуще вчерашней качки лежат у меня на желудке».⁷¹

А. И. Тургенев ответил Вяземскому грозной филиппикой: «Ты не прав, первое — потому, что сердисься; второе — потому, что пишешь против правил грамматики и хочешь устанавливать свои в газетных объявлениях. Я хотел печатать с мелкими поправками, но Карамзин, Жуковский и здравый смысл запретили мне предавать тебя свету во всей наготе твоей. Жуковский два раза прочел исправления, поправил еще два или три слова и одобрил все. Пришлю свое с моими исправлениями: я оправдаюсь. У меня не осталось черногого. Ошибки грубые. Ошибками законодательствовать в языке нельзя. Будет с нас и Бал<дуса> (Шишкова, — М. Г.). Не пиши, как Карамзин, как Жуковский, но пиши правильно: оригинальность правильности не изъемлет <...> Мысли, выражай свои мысли свободно, но не пороши глаза сором, из-за „Грамматики“ брошенным».⁷²

Задетый за живое, Вяземский в ответном письме указал, что их разногласия по вопросам стиля имеют политическую подоплеку: «Для совести своей вы чисты: вы запряжены в колесницу и брыкаетесь, но между тем все-таки табун ваших товарищей везет колесницу и вас с нею — к черту. Напротив, может быть, вы угождаете правительству, которое, указывая на вас, говорит: „Вот у меня всякие кони есть, и ослы тут с ними, а все везут, куда я понукаю“. Правительство как по маслу катит по глупцам, по плутам и по Тургеневым. В чем вы ему помеха с вашею правдою? <...> Лучше „сором порошить глаза“, нежели гладить по усам, а вы что ни делайте, а все-таки окончательно по шерсти гладите».⁷³

Получив отповедь Вяземского, А. И. Тургенев с раздражением писал ему: «... берегись претензии на либеральство более, нежели ценсуры, и не будь смешнее ее».⁷⁴

⁷¹ Остафьевский архив, т. 1, стр. 259—260. — Под свободомыслием в объявлении о грамматике, видимо, речь идет о следующих словах из краткой рецензии Вяземского на итальянскую грамматику М. Ф. Валерио: «... заметим пугливым невеждам, чтоб они, глядя на сей пример и на ему подобные, убедились по крайней мере в том, что просвещение должно быть уважено, как плодovitая отрасль частной народной промышленности, если уже и не хотят они согласиться, что оно есть истинный корень благосостояния общественного и личного» (I, 96—97).

⁷² Остафьевский архив, т. II, стр. 261.

⁷³ Там же, стр. 264—265.

⁷⁴ Там же, стр. 266.

3 июля 1822 г., посылая А. И. Тургеневу свою рецензию «О биографическом похвальном слове г-же Сталь-Гольштейн», Вяземский подвел итог их спору: «„Сталь“ отдаю на твое рассмотрение и исправление только в грубых ошибках против языка и ее величества благочестивейшей государыни нашей (нет, вашей), законно царствующей грамматике и его высокопревосходительства Алексея Андреевича Синтаксиса. Но, ради бога, не касайтесь мыслей и своевольных их оболочек; я хочу наездничать; хочу, как Бонапарт, по выражению Шихматова,

Взбежать с убийством на престол,

попрать все, что кидается мне под ноги, развенчать всех ваших князьков; разрушить систему уделов, которая противится единству целого: престолы ваших школьных держав подгнили, академические скипетры развалились в щепки. Живописнейший, осязательнейший, остроконечнейший, *горельефнейший* способ выразить свою мысль есть и выгоднейший».⁷⁵ Упрек Вяземского, назвавшего синтаксис умеренных арзамасцев именем и отчеством Аракчеева, был предельно резким; саркастический выпад Вяземского показывает, насколько остры были расхождения между арзамасцами.

Из переписки Вяземского с А. И. Тургеневым видно, что различный подход к вопросам грамматике и стиля зависел от различия общественных взглядов членов «Арзамаса»: умеренные арзамасцы выступали за увековечение стиля Карамзина, оппозиционно настроенный Вяземский, напротив, ратовал за непрерывную эволюцию языка и стиля.

Пушкину была близка позиция Вяземского. В XXVIII строфе третьей главы «Евгения Онегина» мы читаем:

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколенья,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребленье;
Но я... какое дело мне?
Я верен буду старине.

Л. А. Булаховский видит в этой строфе «Евгения Онегина» только шутовское, добродушно-непокорное отношение к нормативной грамматике, важное значение которой поэт, конечно, не думал отрицать.⁷⁶ Думается, что данная строфа, несмотря на ее шутовско-иронический тон, имеет более серьезный характер, нежели пред-

⁷⁵ Там же, стр. 268.

⁷⁶ Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. М., Учпедгиз, 1954, стр. 44.

полагает Л. А. Булаховский. Пушкин, как и Вяземский в письмах к А. И. Тургеневу, выступает не против грамматики, а против тех пуристов, которые пытались использовать грамматику как несокрушимый заслон против языкового экспериментирования. Разница между позицией Пушкина и Вяземского заключается лишь в способе аргументации: Пушкин мотивирует право на языковые вольности своею приверженностью к старине — нельзя сомневаться в полемической направленности подобного довода. Таким образом, по существу позиция Пушкина и Вяземского в данном вопросе одинакова.

Неудовлетворенность стилем школы Карамзина высказывал и А. Бестужев. В письме к братьям он сообщал о своем стремлении к языковым новшествам: «Однажды и навсегда я с умыслом, а не по ошибке гну язык на разные лады, беру готовое, если есть, у иностранцев, вымышляю, если нет; изменяю падежи для оттенков действия или изощрения слова. Я хочу и нахожу русский язык на все готовым и все выражающим. Если это моя вина, то и моя заслуга».⁷⁷ Итак, в 1820-е годы Пушкин, Вяземский и А. Бестужев пересматривают стилистический кодекс карамзинизма. Однако они расходятся в определении нового пути: Пушкин и Вяземский стремились к синтаксической лаконичности, простоте слога, А. Бестужев — к метафорической изощренности и романтической гиперболизации.

В 1830-е годы, подводя итог своим суждениям об эволюции языка, Вяземский писал в монографии о Фонвизине: «Нет ни единого языка, родившегося во весь рост и во всеоружии, как Минерва из головы Юпитера. Каждый язык разрастался отраслями, листьями и плодами при содействии времени, трудов и привок» (V, 35).

Разногласия Вяземского с умеренными арзамасцами не ограничивались областью языковых проблем — серьезные расхождения давали себя знать и в оценке их творчества. Если по тактическим соображениям литературной борьбы, желая сохранить единство писателей-арзамасцев для отражения атак литературных стариков, Вяземский не выступал в печати против Жуковского, то в его письмах к А. И. Тургеневу, Д. В. Дашкову и к самому Жуковскому мы обнаруживаем неоднократные неодобрительные высказывания о его жизненной позиции и о его творчестве. Еще в апреле 1813 г. он писал А. И. Тургеневу о Жуковском: «Нельзя долго жить в мечтательном мире и не надобно забывать, что мы хотя и одарены бессмертною душою, но все-таки немного причастны скотству, а может быть, и очень».⁷⁸

Резкие выпады Вяземского в письмах к А. И. Тургеневу и Д. В. Дашкову вызвали отповедь Жуковского — 12 ноября

⁷⁷ Цит. по: И З а м о т и н. Романтический идеализм в русском обществе и литературе 20—30-х годов XIX ст. СПб., 1907, стр. 206.

⁷⁸ Остафьевский архив, т. I, стр. 14.

1818 г. он писал Вяземскому: «Вот уж два письма от тебя к Тургеневу такие, которые не понравились. Ты шутишь и на мой счет, ставишь меня наряду с пьяным Костровым, Мерзляковым, поешь, что я нынче Чебышев, завтра Катенин; все это шутка — знаю, но не менее того открываю тебе прямо непосредственно свое чувство — мне неприятно. Мне бы не хотелось, чтобы ты в своем обхождении со мною сбивался несколько на обхождение с Вас. Львовичем; я не желал бы, чтобы я и *карриатура* были всегда неразлучны в твоём уме. Привычка к такого рода шуткам может нечувствительно оборотиться в образ мыслей, я желал бы, чтобы ты с твоим чувством ко мне обходился <1 нрзб.> для самого себя в некоторой чистоте и берег бы его тем, что говорю — я прав. Нежная осторожность, право, нужна в дружбе. Я не должен быть для тебя буффоном, оставим это для Арзамаса; в другие же минуты воображай меня без протоколов. Некоторого рода шутки на мой счет — хотя они и шутки — должны быть для тебя невозможны.* И не забудь, что ты пишешь к Тургеневу! Он на этот счет слишком беспечен. Ему нужно умное письмо, которое бы носить за пазухою и читать встречному и поперечному. Что ж за приличие читать кому ни попало такие письма на мой счет, какие ты пишешь, а он *читает*. Меня не беспокоит то мнение, какое эти письма могут иметь на мой счет тому или другому из посторонних; — но я не скажу, чтобы было приятно играть хотя на минуту перед другими такую забавную роль, какую играю в письмах твоих; главное же неприятно то, что Тургенев *читает* эти письма и что его ничто не останавливает читать их: в этом случае досаднее мне он, а не ты! и тем более, что ему также, верно, было бы неприятно, когда бы другой стал читать их прочим. Мы все ошибаемся, считая непринужденностию дружескою многое, чего бы мы себе не позволяли с посторонними. Сейчас пришли два твоих письма к Воейкову и к Дашкову и еще более уверили во справедливости своих замечаний. Какие нежности для Воейкова и как зато славно отделан Жуковский в письме к Дашкову! Полно, брат, остричь об меня перо! Оно и без того остро! В этой непринужденности часто бывает много оскорбительного. Иногда позволяешь себе говорить с некоторою беспечною легкостью при всех то, что надобно только сказать на один: можно ли назвать это откровенностию? Нет! это просто пренебрежение, болтливость, которая вертит языком, не заботясь, оскорбит ли то, что скажешь, или нет! А такого рода забота необходимей с друзьями, нежели с посторонними. В нашем Арзамасе, где мы решились, однако, позволять себе все под эгидою галиматши, было много неприличного. Тургенев сам приписал, что он многое неприятное пренебрег. Но в таком случае пренебрежение не дозволено; лучше сказать,

* Эти замечания были бы справедливы, если бы были основательны. Т-в. (Это прим. А. И. Тургенева).

как я, нежели пренебрегать мною. Как могу я пренебречь то, что мне от тебя неприятно; моя обязанность остеречь тебя, потому что и для тебя также должно быть важно не оскорбить меня, как и для меня».⁷⁹

Жуковский имеет в виду в первую очередь письмо Вяземского к А. И. Тургеневу от 13 октября 1818 г., в котором содержались иронические выпады против него: «Здравствуй, мой перерожденный Тургенев! В самом деле я не узнаю тебя. Ты ко мне пишешь, как будто бы ты не Александр Иванович. Нельзя ли при верной оказии переродить и Жуковского? Он со мною молчит, как Туттолмин в Совете. Кто бывает у него по субботам? Сделай милость, смотри за ним в оба. Я помню, как он пил с Чебышевым и клялся Катениным. С ним шутить нечего. «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas»: в первую субботу напьется с Карамзиным, а в другую с Шишковым <...> Всех наших обними да купи для Жуковского портрет Кострова: авось уймется! Костров по крайней мере пил и пел, Мерзляков пьет и врет, а этот?».⁸⁰ 20 ноября Вяземский вновь писал А. И. Тургеневу: «Этот Жуковский — злодей; он, как медведь: чтобы нух согнать со стиха, стих напавал убьет. К тому же в нем нет капли конституционной крови».⁸¹ Письмо к Д. В. Дашкову — это несомненно письмо от 2 (14) ноября 1818 г., приведенное нами выше, в котором поведение Жуковского было жестоко раскритиковано.

Отповедь Жуковского не возымела желанного действия — идейные расхождения нельзя было притушить дружескими увещаниями, Вяземский с все возрастающей энергией продолжал критиковать Жуковского. Придворным певчим назван Жуковский в письме Вяземского от 4 апреля 1819 г. к А. И. Тургеневу: «Он — настоящий индеец, который глотает шпаги: у него все поэзия — царские двери, дьячки, пономари».⁸² В письме к А. И. Тургеневу от 12 декабря 1820 г. Вяземский иронизировал: «Жуковский тоже Дон-Кихот в своем роде. Он помешался на душевное и говорит с душами в Аничковском дворце, где души никогда и не водилось. Ему нужно непременно бы иметь при себе Санхо, например меня, который ворунал бы его иногда на землю и носом притыкал его к житейскому».⁸³ Еще резче отзыв в письме от 25 февраля 1821 г.: «И, конечно, у Жуковского все душа, и все для души. Но душа, свидетельница настоящих событий, видя эшафоты, которые громоздят для убийства народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальности Аркадии».⁸⁴

⁷⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1909, лл. 10—11.

⁸⁰ Остафьевский архив, т. I, стр. 129—131.

Перевод: От великого до смешного один шаг (франц.).

⁸¹ Остафьевский архив, т. I, стр. 132.

⁸² Там же, стр. 212.

⁸³ Там же, т. 2, стр. 121.

⁸⁴ Там же, стр. 170.

Вяземский столь же категоричен и в письмах к самому Жуковскому. «Добрый мечтатель! — писал он ему 15 марта 1821 г., — полно тебе нежиться на облаках: спустись на землю и пусть по крайней мере ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень свой правде и брось служение идолов. Благородное негодование — вот современное вдохновение!»⁸⁵

16 февраля 1822 г. Вяземский безжалостно упрекал Жуковского: «Подумай, что ты сделал для славы своей и отечества в течение этих пяти или шести лет? Накидал несколько цветов на истуканов; рано или поздно они должны поблекнуть: им тут не место. Не забудь при этом, что ты в самой поре мужества: теперь время резать для потомства. А скажи по совести, в состоянии ли ты заняться трудом важным посреди стихии, в коей трепещешь? Минерва выскочила не из напудренной головы. Пудра сушит мозг, поверь мне».⁸⁶

Прошел еще год. 9 января 1823 г. в письме к Жуковскому Вяземский вновь порицал его вместе с А. И. Тургеневым: «Что за выгода для республики словесности, что вы, избранные ее, в милости у двора, когда вы ничего для родины вашей не делаете, а напротив, отрицательным согласием скрепляете узы рабства ваших соплеменников? Вы мало думаете об истории, а грифель ее и на вас поднят».⁸⁷

Подобные выписки можно было бы умножить, но вряд ли в этом есть необходимость. Позиция Вяземского не может быть истолкована двояко. Его письма четко характеризуют истинное отношение его к политической индифферентности Жуковского, к близости певца Светланы ко двору.

В своем приговоре Вяземский сошелся с мнением Пушкина: «Читал ли ты последние произведения Жуковского, в бозе почивающего? слышал ли ты его Голос с того света — и что ты об нем думаешь? Петербург душен для поэта», — писал Пушкин Вяземскому в апреле 1820 г.⁸⁸

В свою очередь Карамзин, Жуковский, А. И. Тургенев неоднократно выказывали беспокойство по поводу откровенно либеральных взглядов Вяземского. Естественно напрашивается аналогия с их отношением к Пушкину: оппозиционное рвение Вяземского, равно как и мятежный дух Пушкина, вызывало неудовольствие и раздражение их осторожных друзей.

⁸⁵ Русский архив, 1900, кн. 1, стр. 181.

⁸⁶ Там же, стр. 183. Ср. с позднейшей эпиграммой Бестужева на Жуковского:

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый венец.

⁸⁷ Там же, стр. 187.

⁸⁸ Пушкин, т. XIII, стр. 15. — Пушкин имеет в виду стихотворение Жуковского «Юлия. Голос с того света», впервые напечатанное в 1818 г. в сборнике «Для немногих» (№ 3).

Чем значительнее расходился Вяземский в эти годы с умеренными арзамасцами, тем теснее он сближался с Пушкиным, Грибоедовым, Кюхельбекером, Рылеевым и Бестужевым.

8 января 1815 г. Пушкин прочел на экзамене в Лицее «Воспоминания в Царском селе». Вскоре по списку, полученному в Москве В. Л. Пушкиным, оно стало известно Жуковскому и Вяземскому. В конце января или в начале февраля 1815 г. Вяземский писал Батюшкову: «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? чудо, и все тут. Его Воспоминания скружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картинах. Дай бог ему здоровья и учения, и в нем будет прок и горе нам. Задавит каналья! Василий Львович, однако же, не поддается и после стихов своего племянника, которые он всегда прочтет со слезами, не забывает никогда прочесть и свои, не чувствуя, что по стихам он племянником перед тем».⁸⁹

Полгода спустя Жуковский, приехавший в Петербург, сообщал Вяземскому: «Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском селе. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет».⁹⁰

В конце марта 1816 г. Вяземский вместе с Карамзиным, Жуковским, А. И. Тургеневым, С. Л. и В. Л. Пушкиным посетил Лицей и познакомился с Пушкиным. Все способствовало их быстрому сближению — и общность литературных интересов, и склонность обоих к острому слову, к шутке, к эпиграмме. 27 марта Пушкин уже писал Вяземскому: «Признаюсь, что одна только надежда получить из Москвы русские стихи Шапеля и Буало могла победить благословенную мою леность. Так и быть; уж не пеняйте, если письмо мое заставит зевать ваше пиитическое сиятельство; сами виноваты; зачем дразнить было несчастного царскосельского пустытника, которого уж и без того дергает бешеный демон бумагомарания».⁹¹

Русские стихи Шапеля и Буало — это, по-видимому, стихотворения Вяземского «К перу моему» и «Погреб», которые писались как раз в это время; итак, молодой Пушкин сразу же ока-

⁸⁹ Н. В. Измайлов. Пушкин в переписке и дневниках современников. Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.—Л., Изд. АН СССР, 1963, стр. 30. — Впервые опубликовано Ю. М. Лотманом (Уч. зап. Тартуского унив., вып. 98, Тр. по русской и славянской филологии, III, 1960, стр. 311—312) с датировкой «вероятно, сентябрь 1815 г.». Начало письма утрачено и дата на нем отсутствует. Нам представляется более убедительной датировка Н. В. Измайлова.

⁹⁰ ЛН, т. 58, М., 1952, стр. 33.

⁹¹ Пушкин, т. XIII, стр. 2.

зывается в курсе литературных замыслов Вяземского. Откровенность последнего вызвала дружеский отклик в душе Пушкина. Он почувствовал себя повзрослевшим, приобщенным к арзамасскому кругу. Его душевный подъем воплотился в стихах, которые он тут же включает в письмо к Вяземскому:

Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом
И над славенскими глушцами
Смеется русскими стихами,
Блажен, кто шумную Москву
Для хижинки не покидает...
И не во сне, а на яву
Свою любовницу ласкает!..

После первой же встречи их отношения стали принимать дружеский характер. 17 апреля 1816 г. В. А. Пушкин сообщал племяннику, что «Вяземский тебя любит и писать к тебе будет».⁹²

Во время своих приездов в Петербург Вяземский становится постоянным собеседником Пушкина-лицеиста. Их дружба способствовала в свою очередь сближению Пушкина с Карамзиным. В 1874 г. Вяземский вспоминал в письме к Я. К. Гроту: «...сблизили их (Пушкина и лицеиста С. Г. Ломоносова, — М. Г.) и я и дом Карамзиных, в котором по летам бывали часто и Пушкин и Ломоносов, особенно в те времена, когда наезжал я в Царское село».⁹³ Встречи у Карамзиных позволили Вяземскому войти в курс лицейской жизни Пушкина, узнать его приятелей тех лет. Защищая позднее Пушкина от тенденциозных обвинений М. А. Корфа, Вяземский сделал следующую помету на его «Записках»: «В гусарском полку Пушкин не пировал только *нараспашку*, но сблизился и с Чаадаевым, который вовсе не был гулякою; не знаю, что бывало прежде, но со времени переезда семейства Карамзиных в Царское село Пушкин бывал у них ежедневно по вечерам. А дружба его с Ив. Пушциным?».⁹⁴

С 1816 по 1837 г. крепнет дружба между Пушкиным и Вяземским — ни длительная разлука (отъезд Вяземского в Варшаву, ссылка Пушкина на Юг, в Михайловское), ни горячие споры по литературным вопросам не смогли поколебать ее. В годы их странствий между Пушкиным и Вяземским не прекращалась оживленная переписка. До нас дошли 74 письма Пушкина к Вяземскому и 45 писем Вяземского к Пушкину,⁹⁵ причем несомненно, что многие письма Вяземского были уничтожены Пушкиным в тревожные дни,

⁹² Там же, стр. 4

⁹³ К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 107.

⁹⁴ Сборник ОРЯС, т. 42, № 4, 1887, стр. 277.

⁹⁵ В 1960 г. В. Б. Сандомирская опубликовала еще одно письмо Вяземского к Пушкину — см.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., Изд. АН СССР, 1960, стр. 430—437.

наступившие после разгрома восстания декабристов. Но и сохранившаяся переписка позволяет утверждать, что Пушкин и Вяземский писали друг другу о самых жгучих проблемах общественной жизни и литературы.

Пушкин высоко ценил литературно-критическую деятельность Вяземского. Споря и не соглашаясь с ним по отдельным частным вопросам, Пушкин в то же время признавал, что Вяземский — выдающийся критик и стилист. 1 сентября 1822 г. он писал Вяземскому: «... лета клонят к прозе, и если ты к ней привяжешься не на шутку, то нельзя не поздравить Европейскую Россию. Впрочем, чего тебе дожидаться? неужели тебя пленяет ежемесячная слава Прадтов? Предприими постоянный труд, <пиши> <?> в тиши самовластия, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах, — а там — что бог даст. Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России, тогда надеюсь с тобою более сблизиться».⁹⁶ Не трудно расшифровать намек Пушкина: уповая на коренное изменение общественных условий, он полагал, что события прервут его ссылку на Юг и снимут опалу с Вяземского; надеялся, что в обновленной России они еще более сблизятся на общем поприще литературного труда.

Суждение Пушкина о критическом даровании Вяземского было нерушимо и устойчиво — в одной из заметок 1827 г. он писал: «Проза князя Вяземского чрезвычайно жива. Он обладает редкой способностью оригинально выражать мысли — к счастью, он мыслит, что довольно редко между нами».⁹⁷

«Автобиографическое введение» и приписки Вяземского к своим статьям, сделанные им в середине 1870-х годов, помогают вычлнить в сущность споров между Пушкиным и Вяземским. Их расхождения в оценке творчества Озерова, И. И. Дмитриева и Крылова уже неоднократно привлекали внимание исследователей (Н. Богословского, Н. И. Мордовченко и др.), и поэтому, не вдаваясь в давно изученные частности, уместно суммарно охарактеризовать точку зрения Пушкина на статьи Вяземского. Если Карамзин и умеренные арзамасцы подвергали критике *общие* суждения Вяземского о литературе и хвалили те части его статей, в которых он занимался *непосредственным* разбором произведений того или иного писателя, то Пушкин, наоборот, одобрял, как правило, *общие* положения статей Вяземского и критиковал *частные* оценки творчества отдельных писателей.

Расхождения между Пушкиным и Вяземским по некоторым литературным вопросам являлись естественными расхождениями двух крупных индивидуальностей, привыкших к самостоятельному и оригинальному мышлению. Эти частные расхождения не противоречили их единомыслию по коренным вопросам литературно-

⁹⁶ Пушкин, т. XIII, стр. 44.

⁹⁷ Пушкин, т. XI, стр. 60.

общественного развития, единомыслию, являющемуся следствием их оппозиционного отношения к самодержавию.

Рассмотренные нами материалы позволяют утверждать, что литературное общество «Арзамас» (1815—1817) было лишь кратким, хотя и ярким этапом в развитии арзамасского братства, временем существования которого следует считать 1810—1825 гг. Возникновение арзамасского братства знаменовало эволюцию карамзинизма, зарождение и укрепление внутри этого литературного течения боевого духа полемики с консервативной «Беседой». Естественно, что подобная тенденция, вызванная ростом оппозиционных настроений, привела к напряженной борьбе внутри арзамасского братства, к расслоению его на два крыла: на умеренное, во главе с Карамзиным, Жуковским и Блудовым, и на радикальное, состоявшее из Пушкина, Вяземского, М. Ф. Орлова и Н. И. Тургенева.

Конец арзамасского братства был обусловлен общественными и литературными причинами: в области политики оказались развешенными в прах надежды на конституционное преобразование страны; в области литературной началось движение к реализму. Таким образом, к середине 1820-х годов идеология арзамасского братства себя изжила, и оно уступило место новым литературным группировкам.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 1816—1823 гг.

Общественные потрясения XVIII—начала XIX в. расшатали метафизические концепции и дали мощный толчок для развития исторического мышления. Вольтер выдвинул принцип прогрессивной эволюции мира, основанный на признании побед разума над невежеством. В работах «О новейшей немецкой литературе. Фрагменты» (1766—1768) и «Критические леса» (1769) Гердер обратился к историческому методу при рассмотрении литературных явлений. Историческая точка зрения стала постепенно овладевать умами литературных критиков. В России этот процесс получил отчетливое выражение в выступлениях арзамасцев.

Возражая против антиисторической концепции Шишкова, Д. В. Дашков писал: «Я не отвергаю, чтобы язык наш не был весьма близок к славенскому и чтоб сей последний не был главным основанием его; но не слишком ли много смешивать сии два языка и почитать за один и тот же? Российский происходит от славенского точно так же, как французский от латинского, смешанного с цельским, или вельхским».¹

Стремление к историческому осмыслению отечественной словесности сказалось в замысле Батюшкова создать курс истории русской литературы; он писал: «Словесность надлежит разделить на эпохи: I) Ломоносова; II) Фонвизина; III) Державина; IV) Карамзина; V) до наших дней».² В этом делении особенно показательно то, что Батюшков уже осознал разницу между словесностью эпохи Карамзина и литературой 1810-х годов.

Элементы историзма имеются в статье А. Ф. Воейкова о сочинениях И. И. Дмитриева: «Библия есть сокровище языка славенского; но всегда ли можем заимствовать из нее слова и выраже-

¹ Цветник, 1810, ч. VIII, стр. 259.

² К. Н. Б а т ю ш к о в, Сочинения, М., Гослитиздат, 1955, стр. 397.

ния в том смысле, в каком они там поставлены? Слова и выражения, говорит Гораций, цветут и опадают, как древесные листья: для них есть своя весна и осень».³

Наконец, можно указать на послание В. А. Пушкина к Жуковскому, в конце которого автор, полемизируя с шишковистами, противопоставлял язык французской литературы XVI в. языку произведений XVII и XVIII вв.:

Расин и Лафонтен, Вольтер, Руссо, Ламотт
Писали уж не так, как писал Марот.⁴

Если в высказываниях Д. В. Дашкова, А. Ф. Воейкова, В. А. Пушкина историческая точка зрения применена к проблеме языка, то в статье А. И. Тургенева «Критические примечания, касающиеся до древней славяно-русской истории» было уже сформулировано требование соблюдения исторической истины в самом содержании художественного произведения. Ратуя в этой статье за создание картин на сюжеты, заимствованные из отечественной истории, А. И. Тургенев призывал живописцев соблюдать верность истории даже в мелочах, быть историками, пропускать «сквозь чистилище критики каждое сказанное слово, каждое историческое известие, застарелое ли или новое, не полагаясь на авторитет славного писателя».⁵

Исторический подход к литературе получил дальнейшее развитие в статьях ведущего критика второй половины 1810-х годов Вяземского. В его статьях историзм наряду с просветительством становится основой литературной критики.

В 1816 г. умер Державин. Высшее общество равнодушно приняло весть о кончине патриарха русской поэзии. Карамзин писал 18 июля 1816 г. И. И. Дмитриеву: «В воскресенье мы обедали в Павловске: никто не сказал мне ни слова о смерти знаменитого Поэта! Один Греч ревнует в „Сыне отечества“. Sic transit gloria mundi!».⁶ Равнодушию двора Вяземский противопоставил восторженную оценку творчества Державина в некрологе, напечатанном в «Сыне отечества» (1816, ч. 32, № XXXVII) и «Вестнике Европы» (1816, ч. 88, № 15). Некролог «О Державине» был встречен с одобрением русской общественностью. Уже в этой статье-некрологе заметен исторический подход Вяземского к литературным явлениям: «Если Державин обязан природе своим гением, мы обязаны Ломоносову тем, что гений Державина, не имея нужды бороться с подлежащими трудностями языка, мог явиться на поприще, его достойном» (I, 20). В статье Вяземского историче-

³ Цветник, 1810, ч. VIII, стр. 107—108.

⁴ Там же, стр. 362.

⁵ Северный вестник, 1804, ч. II, стр. 293.

⁶ Н. М. Карамзин. Письма И. И. Дмитриеву. М., 1866, стр. 191.
Перевод: Так проходит земная слава! (лат.).

ская точка зрения на творчество Державина сочеталась с утверждением оригинальности его творчества: «Из всех поэтов, известных в ученном мире, может быть, Державин более всех отличался оригинальностью, и потому род его должен остаться неприкосновенным. Природа образовала его гений в особенном сосуде — и бросила сосуд» (I, 17). Как справедливо отметил Н. И. Мордовченко, «по почину Вяземского Державин стал знаменем русских романтиков именно за оригинальность своего творчества. В этом духе через несколько лет будут характеризовать Державина Бестужев и Кюхельбекер».⁷

В 1817 г. Вяземский написал статью «О жизни и сочинениях В. А. Озерова», помещенную в первой части его сочинений. В этом предисловии он утверждал, что распространение просвещения является основной причиной изменений общества, языка и литературы. Тем печальнее, по его мнению, судьба тех, кто не участвует в неудержимом движении вперед: «Просвещение, грядущее исполненными шагами, усовершенствовавшее науки, обогатившее казну человеческих понятий, преобразовавшее самые государства, до них не коснулось. Просвещение прошло мимо их, и они его не заметили. <...> Успехи разума и искусства не подвигаются для сих людей неподвижных. <...> Пускай доканчивают они тяжелый сон жизни своей на вековом камне под усыпительным надзором невежества и предрассудков» (I, 26—27).

Историзм критика сказался как в стремлении рассматривать произведения словесности в их литературном ряду (так, например, до анализа трагедий Озерова Вяземский подверг разбору творчество его предшественников — Сумарокова и Княжнина), так и в требовании соответствия литературных произведений той действительности, которую они описывают: «Древние позволяли себе изменять хронологической истине истории, смешанной у них всегда почти с баснословными преданиями, не менее уважаемыми. Мне кажется, что и новейшие трагики могут отступать от частной исторической истины, с тем только, чтобы быть ей верным в общем смысле. Трагику, например, позволено изменять истории в подробностях и по желанию своему переносить героя за двадцать лет вперед или назад в его жизни, забывать о семейственных связях его; но характер исторического героя должен быть для него святынею, до которой не может он дотрагиваться своенравною рукою. Трагик, представивший нам тирана благотворителем своих подданных или друга свободы — рабом пресмыкающимся, равно виновен перед историею и перед трагедиею» (I, 43—44).

Несомненно, что это высказывание арзамасца Вяземского находится в основном русле исторических взглядов будущих декабристов.

⁷ Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX века. М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 140.

Просветительский историзм Вяземского и других арзамасцев был близок мышлению и творческому сознанию Пушкина. Именно просветительский историзм, будучи существенным мировоззренческим элементом арзамасского восприятия мира, способствовал сближению членов этого литературного содружества. Правда, Б. В. Томашевский в статье «Историзм Пушкина» утверждал, что историзм не был свойствен Пушкину до 1823 г. Ход аргументации исследователя таков: «Историзм предполагает понимание исторической изменчивости действительности, поступательного хода развития общественного уклада, причинной обусловленности в смене общественных форм»,⁸ понимая под историзмом Пушкина только эту более высокую форму историзма, которая стала складываться в воззрениях Пушкина с 1823 г., Б. В. Томашевский подробно разбирает, как она развивалась и углублялась в произведениях Пушкина, написанных в 1823—1837 гг. В этой части статьи много правильных и ценных наблюдений. Однако никак нельзя согласиться с исходным тезисом статьи, который декларирует отсутствие историзма в мышлении Пушкина до 1823 г.

Историзм бывает разный. Именно просветительский историзм, который объяснял изменчивость действительности и смену общественных форм непрерывной борьбой просвещения с невежеством, помог впоследствии Пушкину перейти к более высокой форме историзма. Иная постановка вопроса нарушает последовательный ход развития мировоззрения Пушкина, искусственно изолирует его мировоззрение от общественных взглядов его учителей, сверстников и друзей. Прав Б. С. Мейлах, который, разбирая содержание курса «Право государственное», читанного в Лицее А. П. Куницыным, пришел к выводу, что в нем «сквозь идеалистическое понимание общества и государства видны проблески трезвого историзма».⁹ Проанализировав всю систему лицейского воспитания, Б. С. Мейлах констатирует: «Каковы бы ни были различия во взглядах Куницына и Кайданова, Кошанского и Георгиевского, их лекции, читанные в Лицее Пушкину и его сверстникам, отражали многие существенные стороны русского просветительства и передовой русской общественной мысли той поры».¹⁰

В том же плане преддекабристских идей следует рассматривать и взгляды оппозиционных арзамасцев. Так, например, М. Ф. Орлов в речи, произнесенной 11 августа 1819 г. в Киевском отделении Библейского общества, представил всю современную историю как единоборство просвещения с невежеством: «Во всяком времени, во всякой земле родится несколько людей, образованных как бы нарочно природою, чтоб быть противниками всего извещного и защитниками невежества <...> Они везде отличаются

⁸ Уч. зап. ЛГУ, № 173, сер. филол. наук, вып. 20, 1954, стр. 42.

⁹ Б. С. Мейлах. Пушкин и его эпоха, стр. 78.

¹⁰ Там же, стр. 114.

одними и теми же нравственными чертами. Любители не древности, но старины, не добродетели, но только обычаев отцов наших, хулители всех новых изобретений, враги света и стражи тьмы, они суть настоящие отрасли варварства средних веков. Во Франции они противятся свободомыслию и введению представительного правления; в Германии они защищают остатки феодальных прав; в Испании они торжествуют, и каждый из них приносит радостно свое дряблое полено для сооружения костров инквизиции; в Италии они восстают против распространения Священного писания и проклинают громогласно библейские собрания; в Турции они превозмогли и остановили навсегда успехи просвещения. Наконец, история наша полна их покушений против возрождения России».¹¹

Как мы видели, подобные мысли высказал и Вяземский в своей статье об Озере. Из дальнейшего изложения будет видно, что и в последующих статьях Вяземского неуклонно может быть обнажена идея просветительского историзма. Таким образом, и лицейские учителя Пушкина, и его арзамасские друзья придерживались историзма, свойственного просветительской идеологии. В творчестве молодого Пушкина это идейное воздействие наиболее ярко проявилось в стихотворениях «Лицинию» и «Вольность». Идеи просветительского историзма были близки Вяземскому и Пушкину и в более поздние годы. Достаточно вспомнить, что весь комплекс рассуждений Пушкина о роли просвещенного дворянства в России закономерно вытекает из теории просветительского историзма.

Таким образом, просветительский подтекст статьи Вяземского об Озере органически включается в сферу преддекабристских идей, получивших широкий резонанс в кругах оппозиционной обществу тех лет.

Неотъемлемой стороной историзма в оценке литературных явлений служит признание национального своеобразия той или иной литературы. Этой стороной вопроса историзм смыкался с проблемой романтизма. В соответствии с основными положениями нарождавшейся романтической теории Вяземский писал в статье об Озере: «Вернейшее подражание древним трагикам, согласно с правилами, которые они завещали нам своим примером, было бы не подражать им; можно решительно сказать, что они никогда не избрали бы для своих творений содержания, совершенно чуждого народу своему и образу его мыслей» (I, 35).

Представляется естественным связать эту формулировку Вяземского с предшествующим спором о сохранении национального своеобразия Гомера при его переводе на русский язык. Еще в 1813 г. С. С. Уваров опубликовал «Письмо к Николаю Ивановичу Гне-

¹¹ Сборник имп. Русского исторического общества, т. 78, СПб., 1891, стр. 523—524.

дичу о греческом экзаметре». ¹² В этом письме он энергично восстал против перевода Гомера на русский язык александрийским стихом и ратовал за перевод гекзаметром: «Когда вместо плавного, величественного экзаметра я слышу скучный и сухой александрийский стих, рифмою прикрашенный, то мне кажется, что я вижу божественного Ахиллеса во французском платье!», — восклицал С. С. Уваров. Н. И. Гнедич согласился с аргументацией С. С. Уварова, поддержанного А. Н. Олениным, и стал переводить «Илиаду» гекзаметром. Однако против перевода гекзаметром выступил В. В. Капнист, предложивший делать перевод размером русских народных песен. ¹³ В своем ответе В. В. Капнисту С. С. Уваров писал: «Позвольте мне прибавить еще несколько слов о переводе древних, а именно о предполагаемом переводе Омера русским народным размером. Не в том дело состоит, чтобы написать поэму с поэмы или чтоб сохранить впечатление, производимое чтением Омера или всех древних вообще над несколькими только читателями. Мы должны стараться утвердить впечатление, производимое чтением их надо всеми просвещенными умами: следовательно, представить отлепок творения Омерова в духе оригинала, с его формами и со всеми оттенками, таким образом, чтоб мы имели в глазах не Кострова, не Гнедича, но Омера — Омера в чистейшем созерцании природной его красоты, Омера в том виде, в каком он пленял законодателя Спарты, победителя Азии, александрийских мудрецов и весь, одним словом, блистательный ряд его любителей в древнем и новом мире. Вот в каком отношении могут древние действовать над нами; но, чтоб достигнуть сей цели, чтоб распространить благотельное их влияние, необходимо нужно признать первым правилом, что *формы* в поэзии неразлучны с *духом*, что между формами и духом поэзии находится та же самая таинственная связь, как между телом и душою; что обоюдное их влияние и действие — формы на мысль, а мысли на форму — так тесны, что никак нельзя определить истинных границ их, а еще менее расторгнуть их союз, не жертвуя тою или другою». ¹⁴

Спор о сохранении национального колорита при переводе Гомера несомненно приковал внимание Вяземского к проблеме национального своеобразия литературы, дал толчок его мысли, помог ему сформулировать свою точку зрения, совпадавшую с романтической теорией.

¹² Чтение в Беседе любителей русского слова, чт. 13, СПб., 1813, стр. 56—68.

¹³ Письмо В. В. Капниста к С. С. Уварову о экзаметрах. Там же, 1815, чт. 17, стр. 18—42.

¹⁴ Там же, стр. 56—57 (весь ответ С. С. Уварова на стр. 47—66). Подробнее об этом см.: А. Н. Егуннов. Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.—Л., изд. «Наука», 1964, стр. 174—188.

Оценка творчества Озерова, сделанная Вяземским, привлекала внимание исследователей в связи с пометами Пушкина.¹⁵ Известно, что Пушкин не считал Озерова романтиком. В приписке 1876 г. Вяземский вспоминал: «Пушкин никак не хотел признать его романтиком. В некотором отношении был он прав. В другом был и я не совсем виноват. Во-первых, я его не решительно провозглашаю романтиком, а говорю, что он несколько сближается с романтиками» (I, 56).

Как точно отметил Н. И. Мордовченко, отнесение Озерова в разряд романтиков имело не только литературный, но и политический смысл, ибо Вяземский соотносил классицизм с деспотизмом, а романтизм — с оппозиционными устремлениями передового дворянства. Таким образом, характеристика творчества Озерова смыкалась с принципиальными положениями статьи Вяземского об историзме и национальном своеобразии произведений словесности.

Статьи Вяземского о Державине и Озерове были направлены против «Беседы». В обществе ходили упорные слухи, что сумасшествие и смерть Озерова произошли из-за неблагоприятных происков А. А. Шаховского, а Державин, как полагали арзамасцы, «умер в полону» у беседчиков.¹⁶ Хотя Державин был одним из столпов «Беседы», арзамасцы, понимая истинное значение его поэзии, упорно пытались использовать литературное наследие певца Фелицы в полемических схватках с шишковистами. Таким образом, поднимая на щит творчество Державина и Озерова, которые во многом были антагонистами (в первую очередь в области драматургии), Вяземский преследовал одну цель — нанести удар по консервативным воззрениям беседчиков.

Однако статья Вяземского об Озерове, помимо своего полемиического заострения против литературных староверов, явилась предметом спора между представителями различных прогрессивных течений русской критики того времени. В 1820 г. в связи с по-

¹⁵ Л. Н. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 266—283; Н. Богословский. Спор Пушкина с Вяземским об Озерове. Красная новь, 1937, № 1, стр. 98—104; Н. И. Мордовченко. Ук. соч., стр. 291; И. Н. Медведева. Владислав Озеров. В кн.: В. А. Озеров. Трагедии. Стихотворения. Л., изд. «Советский писатель», 1960, стр. 66—71.

¹⁶ Современные исследователи склонны считать второстепенной роль А. А. Шаховского в тех неприятностях, которые обрушились на Озерова в последние годы его жизни. Основываясь на архивных данных, И. Н. Медведева считает, что в борьбе против драматургических принципов Озерова главная роль принадлежала Державину и Шишкову (И. Н. Медведева. Ук. соч., стр. 53—65). Об отношениях А. А. Шаховского и Озерова см. также: А. А. Голенпуд. А. А. Шаховской. В кн.: А. А. Шаховской. Комедии. Стихотворения. Л., изд. «Советский писатель», 1961, стр. 25—26. — Новые материалы свидетельствуют о том, что арзамасцы в пылу полемики с шишковистами преувеличили гонения, которым подвергался Озеров, — об этом см. Приложение к настоящему изданию «В. А. Озеров в переписке П. А. Вяземского и Д. Н. Блудова».

становкой «Фингала» Озерова на петербургской сцене на страницах «Сына отечества» разгорелся ожесточенный спор о статье Вяземского: А. А. Жандр и П. А. Катенин, в противовес Вяземскому, критиковали Озерова за неисторичность и не соглашались признать его романтиком; в защиту Вяземского выступили В. И. Соц и Я. Н. Толстой.¹⁷ В 1822 г. П. А. Катенин вновь полемизировал с точкой зрения Вяземского на Озерова в статье об «Опыте краткой истории русской литературы» Греча,¹⁸ что побудило А. А. Бестужева тотчас же вступить за Вяземского.¹⁹ Последний также собрался отвечать на нападки П. А. Катенина, но не довел своего намерения до конца (по-видимому, Вяземский бросил писать ответ, узнав о высылке Катенина из Петербурга) — сохранился лишь черновой набросок его возражения.²⁰

Споры о статье Вяземского об Озерове отображали расхождение романтиков карамзинистского лагеря с романтиками-архаистами (об этом подробнее см. в главе «Вяземский — теоретик русского романтизма»).

Просветительские симпатии Вяземского отчетливо проявились в его статье «О письме Екатерины II к Сумарокову» (1818), в которой он писал, что «переписка Екатерины с Вольтером, Даламбером и другими философами ее века займет в глазах справедливого потомства не последние листы в истории ее блестящей жизни» (I, 62).

1789 год многое изменил. Конец царствования Екатерины II и правление Павла I ознаменованы гонениями на литературу французского Просвещения. Впрочем, преследования не дали желанного результата: невозможно было искоренить идеи, широко привившиеся на русской почве. Как пишет М. В. Нечкина, «оставшееся в живых подлинное „умственное“ вольтерьянство ушло в подполье. Новое мировоззрение жило и развивалось, его не оттолкнула французская революция, не напугали ни Шлиссельбург, ни Петропавловская крепость».²¹

В первые, либеральные годы царствования Александра I произведения французских просветителей перестали быть «запретным плодом»; в 1802 г. вышло трехтомное Собрание сочинений Вольтера, что безусловно способствовало усилению его популярности.

Вольтерьянство тех лет было более основательным и глубже проникало в сознание, нежели в XVIII столетии. Не сановные

¹⁷ Сын отечества, 1820, №№ 23—24, 26—29. Об этом см.: Г. В. Битнер. Драматургия Катенина. Уч. зап. ЛГУ, № 33, сер. филол. наук, вып. 2, 1939, стр. 71—93.

¹⁸ Сын отечества, 1822, № 13, стр. 249—261.

¹⁹ Там же, № 20, стр. 253—269. Об этом см.: Н. И. Мордовченко. Ук. соч., стр. 333—337.

²⁰ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 995, лл. 1—2.

²¹ М. В. Нечкина. Вольтер и русское общество. В кн.: Вольтер. Статьи и материалы под ред. В. П. Волгина. М.—Л., Изд. АН СССР, 1948, стр. 79.

вельможи составляли теперь «приход» фернейского мудреца, а передовые представители молодого поколения. На страницах показаний декабристов мы неоднократно встречаем имя Вольтера, как одного из мыслителей, влиявших на формирование их взглядов. Известно, с каким уважением относился Пушкин к Вольтеру.

Иную позицию занимали литераторы консервативного лагеря. В 1818 г. во Франции были изданы письма Вольтера «*Lettres inédites de Voltaire*»,²² послужившие поводом для яростных нападок Каченовского, который писал в рецензии на это издание и на похвалы ему во французском журнале «*Минерва*»: «Фернейский мудрец балагурит по своему обычаю о терпимости; шутит, кощунствует и ничего более <...> Ничто не может быть глупее похвал, подлым пристрастием провозглашаемых. Ослепленный читатель своего божка в самых дурачествах его видит совершенство, неясности выдает за образцы для подражания, обыкновенные слова его почитает премудрейшими изречениями».²³

Рецензия Каченовского вывела из себя Вяземского, который в ответ на нее написал остро полемическую статью «О новых письмах Вольтера» (1819). Защищая Вольтера от поношений Каченовского, оправдывая дух терпимости французского философа, Вяземский писал: «... мне кажется, что русские, исповедующие такой образ мыслей, приносят отечеству своему более чести, чем эти запоздалые, ополчающиеся против успехов человеческого разума, эти отступники духа времени, который шагает через них в neodолимом своем стремлении <...> Трудно тому поверить, что нашелся человек, который видит глупость в похвалах, приписываемых Вольтеру, и подлость в пристрастии сограждан к нему» (I, 66).

С негодованием отвергая недостойные нападки Каченовского на Вольтера, Вяземский, не ограничиваясь полемикой с издателем «*Вестника Европы*», смело обрушился на литературных и общественных ретроградов: «В политике, науках, искусствах, словесности вы всегда найдете их поперек дороги истины: они в безумной отваге силились заслонить небеса от Коперника и Невтона, поверенных небесных тайн; на встречу к Расину, грядущему в храм бессмертия с Федрою, они подвигли Прадона; они те *недоброжелатели*, от коих Ломоносов, как видно из письма к Шувалову, не имел покоя; образ представительного правительства и способы взаимного обучения в них имеют ныне ревностнейших поносителей <...> На лице иного, и не проницая в таинства учения Лафаттера, можно уверительно прочесть, что, смотря по времени и месту, был бы он Зоилом Гомера, Дефонтемом Вольтера, щепетильным придирищиком Карамзина» (I, 67).

²² Подробное описание этого издания см.: Voltaire. Bibliographie de ses oeuvres par G. Bengesco, t. III. Paris, 1889, pp. 125—127.

²³ Вестник Европы, 1818, ч. 99, № 12, стр. 325—326.

История с позиции просветительства, да еще соотнесенная с современностью, не на шутку напугала цензуру, и статья Вяземского «О новых письмах Вольтера» не была дозволена к печати: она увидела свет лишь в 1878 г.²⁴

Однако в стихотворении «Библиотека» (1817), напечатанном в «Литературном музее на 1827 год», Вяземскому удалось высказать в печати свой взгляд на Вольтера, не называя, правда, его имени:

Писатель Бриарей! Колдун! Протей писатель!
Вождь века своего, умов завоеватель,
В руке твоей перо — сраженья острый меч.
Но, пылкий, не всегда умел его беречь
Для битвы праведной, и сам страстям покорный,
Враг фанатизма, был фанатик ты упорный.
Другим оставя труд костер твой воздвигать,
Покаюсь: я люблю с тобою рассуждать;
Вослед тебе идти от важных истин к шуткам
И смело пламенеть враждою к предрассудкам.
Как смертный ты блуждал, как гений ты парил,
И в области ума светилом новым был.

(III, 440).

Вольтерьянство Вяземского 1810-х—1820-х годов, противостоящее правительственной идеологии, представляло существеннейший элемент его оппозиционных взглядов.²⁵

²⁴ Статья Вяземского «О новых письмах Вольтера» читалась современниками в списках. Так, например, И. И. Дмитриев писал 28 декабря 1819 г. из Москвы А. И. Тургеневу: «О стихах Вяземского» ничего не скажу, пока не получу от вас его стихов: *Первый снег*. Хотел бы вам напомнить и об обещанной вами его же прозаической пиесе, которую цензура не пропустила, — помнится, о переписке Вольтера» (Русская старина, 1903, декабрь, стр. 719).

²⁵ Подробнее об оппозиционном характере высказываний Вяземского и Пушкина о Вольтере см.: М. П. Алексеев. Библиотека Вольтера в России. В кн.: Библиотека Вольтера. Каталог книг. М.—Л., Изд. АН СССР, 1961, стр. 39—41. — Позднее, посетив Ферней в 1859 г., Вяземский более сдержанно отнесся к деятельности Вольтера. В статье «Ферней» (1859) он писал: «Я не вольтерианец, но и не бешеный антивольтерианец. Иное в сторону, и очень в сторону, и очень далеко в сторону, а все-таки в Вольтере найдется много, за что можно помянуть его не лихом, а добрым словом. Да и время взяло свое и отребило пшеницу от плевел. Кошунства Вольтера не читаются ныне даже и необдуманной молодежью, падкой на всякие соблазны. Может быть, даже ударились в противоположную крайность. Вольтера, может быть, вовсе не читают. Это жаль и несправедливо» (VII, 52—53; ср. с его стихотворением «Ферней», написанным в это же время, — XI, 324—326). В конце 1860-х годов, отходя от религиозных взглядов середины века, Вяземский написал стихотворение «Сфинкс, не разгаданный до гроба» (1868), в котором снова дана сочувственная характеристика Вольтера: «Дитя осьмнадцатого века, Его страстей он жертвой был: И презирал он человека, И человечество любил». По этому вопросу см. также: М. П. Алексеев. К истории русского вольтерианства в XIX в. В сб.: Роль и значение литературы XVIII в. в истории русской культуры. К 70-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР П. Н. Беркова. М.—Л., Изд. АН СССР, 1966, стр. 302—311.

Французское просветительство занимает видное место в идейных исканиях Вяземского. Оно также отразилось в его неосуществленных издательских замыслах. 18 ноября <1822 г.> он писал из Остафьева Жуковскому: «Мне хотелось бы на досуге пристроить флигель к Пантеону иностранной литературы Карамзина, и желал бы тебя иметь своим архитектором и помощником. Вот материалы, которые я взялся бы поставить: несколько из писем Вольтера, отрывков из Энциклопедии, разумеется из статей литературных и философических, из Даламберта лучшие места из *Essai sur les gens de lettres* или все сполна, потому что оно недлинно и занимательно, красноречивейшие места из слов Томаса и другие отрывки, которые бы я выкопал и там и сям. Но чтобы мой флигель скорее мог нравиться, мне хотелось бы наполнить его разным народом — и французами, и немцами, и италиянцами, и латинцами, и греками, и если бы можно было — и турками, и лапландцами. Возьмись перевозить или переводить ко мне немцев и англичан, или если ты с англичанами не довольно коротко знаком, то по крайней мере немцев. Дашков, добрый и умный малый и хороший писатель, согласится, верно, справиться с латинцами и выползками их, кастратами, а я, грешный, вопреки Сыну Отечества, которого терпеть не могу, взял бы на себя французов, которых я очень люблю во лицах Вольтерова, Даламбертова, Дидеротова и многих других».²⁶

Вяземский понимал, что ознакомление русского читателя с избранными произведениями французских просветителей могло оказать неоценимую услугу освободительному движению.

9 января 1823 г. Вяземский вновь сообщал Жуковскому: «Писал я тебе, что затевал выдать классическую книгу французской прозы, разумеется в переводе, с известиями об авторах? Ты составил бы такую из немецкой, Дашков из итальянской, Блудов из английской прозы; дело бы хорошее, не трудное в исполнении, полезное для языка каждого из нас и для общего языка».²⁷

В. Стефанович обследовала папку с черновиками переводов, сделанными Вяземским в ноябре—декабре 1822 г. Исследовательница установила, что Вяземский перевел отрывки из сочинений Ж.-Ж. Руссо, Дидро, Рейналя, Вовенарга, Фенелона, Томá, Мабуля, Массильона, Лагарпа. Проанализировав тематику переводов, В. Стефанович обнаружила четкую последовательность в выборе материала для антологии; отрывки отбирались Вяземским по четырем идейным циклам: преступления и пороки абсолютизма; благо и выгоды «просвещенной государственности; нормы об-

²⁶ ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 2, № 21, лл. 80—81. — Первое издание «Пантеона иностранной словесности» Карамзин выпустил в 1798 г., второе (измененное и дополненное) — в 1818 г. Вяземский, по-видимому, имел в виду в первую очередь последнее издание.

Перевод: Статья о писателях (франц.).

²⁷ Русский архив, 1900, кн. 1, стр. 188.

щественного поведения граждан; место и роль писателя в обществе.²⁸

Вяземский был ревностным поборником и русского Просвещения XVIII в.

О первостепенном значении деятельности Новикова, как уже отмечалось, он писал в проекте арзамасского журнала. Журнальная и издательская деятельность Новикова была близка оппозиционеру Вяземскому. Несомненно, что именно Новиков-издатель стоял перед умственным взором Вяземского, когда он в первой половине 1820-х годов задумал организовать общество для издания книг. Понимая невозможность осуществления замысла Вяземского, А. Бестужев писал ему 17 июля 1824 г.: «Мысль ваша, любезный князь, о составлении общества для издания книг принадлежит к мечтам поэта, а не к прозаической истине нашего быту».²⁹

Наряду с Новиковым Вяземский придавал особое значение деятельности Фонвизина, которому он посвятил любовно написанную монографию.

Вспомним и сочувственное упоминание Радищева в «Послании к Каченовскому»:

От Кяхты до Афин, от Лужников до Рима
Вражда к достоинству была непримирима.
Она в позор желез от почестей двора
Свергает Миниха, сподвижника Петра,
И, обольщая ум Екатерины пылкой,
Радищева она казнит почетной ссылкой.³⁰

Узнав об исключении А. И. Тургеневым этих строк, Вяземский писал ему 31 декабря 1820 г.: «В словаре академическом: почетный человек — отличенный чином, почестью. Я то и хотел сказать. Лабзина почтили звездой, Радищева — ссылкой. <...> Ссылка разбойника есть ссылка бесчестная, ссылка смелого писателя есть почетная. Зачем же не показывать этих стихов ценсуре? Может быть, и пропустила бы она. Ты в первом своем письме слишком уничтожаешь Радищева. Он человек был умный, и из малого числа мыслящих писателей наших. В оде его „Свобода“ есть звуки души мужественной. Во многих прозаических отрывках — замашки, если не удары мысли».³¹

Подобное мнение о Радищеве Вяземский сохранял многие годы; в его книге о Фонвизине можно прочесть буквально проро-

²⁸ В. Стефанович. Французские просветители XVIII века в переводах П. А. Вяземского. Русская литература, 1966, № 3, стр. 82—92. Ср.: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 939.

²⁹ ДН, т. 60, кн. 1, стр. 219—220.

³⁰ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 141. — Строки о Минихе и Радищеве впервые были напечатаны в 1935 г.

³¹ Остафьевский архив, т. II, стр. 131—132. — Основываясь на письмах Фовидкого к Вяземскому, Ю. М. Лотман считает, что «имя Радищева, видимо, вспоминалось в варшавском кружке Вяземского» (Уч. зап. Тартуского унив., вып. 98, стр. 66).

ческие строки о русском вольнодумце XVIII в.: «Радищев не был ли у нас маленьким Гельвецием и Рейналем? Не выразился ли в нем писатель не только 18-го, но 19-го и, пожалуй, 20-го века» (V, 191). Вяземский сопоставил Радищева с выдающимися деятелями французского Просвещения. Подобно тому как книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» была запрещена Екатериной II, так и трактат Гельвеция «Об уме» был изъят французскими властями и сожжен палачом. Труд Гийома Рейналя «Философская и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях» (1770), изобличавший жестокость европейских колонизаторов, имел значительный успех, выдержал несколько изданий и в 1781 г. также был сожжен по решению французского парламента.

Позиция Вяземского в отношении Радищева совпала с точкой зрения Пушкина, который писал Бестужеву 13 июня 1823 г.: «Покамест жалуюсь тебе об одном: как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание не простительно ни тебе, ни Гречу — а от тебя его не бжидал».³²

Прочитав выписки Пушкина из книги Радищева, Вяземский написал на полях: «Выписки из знаменитого путешествия Радищева».³³ Появление в печати статьи Пушкина «Александр Радищев» обязано Вяземскому. При жизни Пушкина цензура не пропустила эту статью; она была запрещена и в посмертном Собрании сочинений. Лишь в 1857 г. по заключению цензора И. А. Гончарова и по записке цензора Н. Ф. Щербиньы Вяземский, занимавший тогда пост товарища министра народного просвещения, разрешил ее печатать.³⁴

В 1872 г. Н. Барсуков опубликовал очерк сына Радищева «О жизни и сочинениях А. Н. Радищева», полученный им от Вяземского. Н. Барсуков сообщал: «В конце 20-х годов кн. Вяземский встретился в Пензе с сыном Радищева и просил одолжить его, если можно, некоторыми биографическими сведениями об отце его».³⁵ Приписка Вяземского подтверждает слова Н. Барсукова: «Записка сия составлена и доставлена мне сыном Радищева, известным некоторыми литературными занятиями. Он был в близких сношениях с Мерзляковым, Воейковым, Жуковским; в этом кружке познакомился и я с ним в 1810 году».³⁶

Вяземский прилежно читал сочинения Радищева и помнил их. Так, возражая сыну Радищева, который полагал, что статья его

³² Пушкин, т. XIII, стр. 64.

³³ Старина и новизна, кн. 8, 1904, стр. 43.

³⁴ Об этом см.: М. И. Сухомлинов. А. Н. Радищев, автор Путешествия из Петербурга в Москву. Сборник ОРЯС, т. 32, № 6, 1883, стр. 1—143.

³⁵ Русская старина, 1871, кн. 3, стр. 394.

³⁶ Там же, 1872, кн. 6, стр. 573.

отца «О жизни Федора Васильевича Ушакова» утеряна, Вяземский писал: «Она вошла в „Полное собрание сочинений Радищева“, изданное Бекетовым».³⁷

Связь Вяземского с русским Просвещением явственно обнаруживается также в статье «О злоупотреблении слов», напечатанной в 1827 г. в «Московском телеграфе». Как видно из обозрения Вяземского «Журналистика», статья «О злоупотреблении слов» была написана им в конце 1810-х годов и ходила в списках по рукам в Москве и Петербурге.³⁸ Таким образом, она должна быть включена в общий фонд нелегальной пропагандистской литературы, распространявшейся среди передовой общественности в годы подготовки декабрьского восстания.

В письме от 24 августа 1818 г. Вяземский спрашивал А. И. Тургенева: «Получили ли вы мои „Злоупотребления“?».³⁹ Надеясь, что статью удастся напечатать, он писал 25 сентября 1818 г. А. И. Тургеневу: «Жуковского обнимаю. Напечатает ли он мои „Злоупотребления“?».⁴⁰ Первая редакция этой статьи подвергалась некоторым исправлениям — в письме к А. И. Тургеневу от 22 февраля 1819 г. Вяземский просил вернуть ему рукопись: «Спроси у брата (Н. И. Тургенева, — М. Г.) мои „Злоупотребления“. Мне дорогою пришли кое-какие еще мысли».⁴¹ 18 апреля 1819 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Конечно, ты прав: „поборник“ употребляется мною неправильно; но в смысле языка оно значит то, что я хочу выразить. Я сейчас вклею это слово и вас, поборников его, в „Злоупотребления“».⁴² Однако в печатном тексте статьи слово «поборник» не упоминается. В письме к тому же адресату от 11 июля 1819 г. мы читаем: «Вот пришлось сказать: „Глас божий — глас народа“. Заметил ли ты, что „vox populi — vox Dei“ у нас совсем навыворот? Для ясности непременно надобно было бы сказать: „Глас народа — глас божий“. Не народ подслушивает божий голос, а бог вторит голосу народа. Вот еще прибавление к моему „Злоупотреблению слов“».⁴³ Естественно, что в печатный текст статьи столь смелое, вольнолюбивое и кощунственное суждение не было включено, ибо ни церковная, ни светская цензура его не пропустила бы.

Статья Вяземского «О злоупотреблении слов» написана под сильным влиянием сатирического творчества Фонвизина. Так, например, продолжая мысль Фонвизина, высказанную им в «Придворной грамматике» (гл. III), Вяземский писал: «У нас говорят: ему простили долг. Разве долг — грех? В таком случае — перво-

³⁷ Там же, стр. 580.

³⁸ Московский телеграф, 1827, ч. 13, отд. 2, стр. 123.

³⁹ Остафьевский архив, т. I, стр. 116.

⁴⁰ Там же, стр. 124.

⁴¹ Там же, стр. 195.

⁴² Там же, стр. 219.

⁴³ Там же, стр. 266.

родный, ибо кто из сынов Адамовых, по крайней мере в нашей части света, не должен?».⁴⁴ Вслед за этим высказыванием Вяземский приводил в своей статье отрывок из «Придворной грамматики» Фонвизина. Запрещенная Екатериной II, «Придворная грамматика» только в 1830 г. была включена в Собрание сочинений Фонвизина.

Воздействие сатиры Фонвизина сказалось на многих местах статьи Вяземского. Обличая судейское сословие, Вяземский писал: «В званиях, титулах встречаются часто злоупотребления. В скольких городах во зло употреблены слова: Совестный судья! Бедный просил капитана-исправника рассудить его дело по совести. „А мне какое дело до совести? — сказал он, — я не Совестный судья!“».⁴⁵ Великолепный знаток нравов дворянского общества, Вяземский убедительно изобличал нечеловеческие отношения, господствовавшие в нем: «Несчастный укоряет барина в жестокосердии и величает его милостивым государем. Государство этого государя на воздухе, а милость — в бесчеловечном отказе подать руку помощи тому, который за несколько лет пред тем спас его от гибели».⁴⁶

Не ограничиваясь сатирическим изображением отдельных словесий и лиц, Вяземский гневно обрушился на основу основ крепостнического государства, на ненавистное ему крепостное право, которое он не без основания сопоставлял с рабством во времени Римской империи: «„Его сиятельство изволил разругать меня, но обещался завтра пожаловать ко мне откушать“, — говорит с улыбкою подлости торжествующий волокита за знатью и спешит продать рекрутскую квитанцию, чтобы купить стерлядь в 14 вершков. Впрочем, это и у римлян водилось: ссылаюсь на Марциала: книга десятая, эпиграмма тридцать первая. Каллиодор продал невольника и купил рыбу, которою украсилась его пирушка. Марциал на языке своем, беспощадном, называет это: *не рыбу есть, а есть человека*».⁴⁷

В статье «О злоупотреблении слов» Вяземский открыто признал, что его наставником в сатирическом изображении общества являлся Фонвизин, которому он дал следующую характеристику:

⁴⁴ Московский телеграф, 1827, ч. 13, отд. 2, стр. 9.

⁴⁵ Там же, стр. 10.

⁴⁶ Там же, стр. 13.

⁴⁷ Там же, стр. 11. — Вяземский имел в виду следующую эпигramму Марциала:

Продал вчера ты раба за двадцать тысяч сестерций,
Каллиодор, чтоб обед пышный устроить гостям.
Только обед-то был плох: в четыре фунта барвину
Подал ты; в этом одном соль и приманка стола.
Хочется крикнуть: злодей, не рыба тут вовсе, не рыба,
Тут человек, — и его, Каллиодор, ты пожрал!

(Марциал. Избранные эпиграммы. Пер. Н. И. Шатерникова. М., ГИХЛ, 1937, стр. 117).

«Фонвизин был большой знаток в словах и мастер расставлять их по оттенкам. Не в его творениях искать примеров злоупотребления слов. В одном его отрывке, не изданном, представляя политическую картину государства, не управляемого положительными законами, он говорит: „Там никто не хочет заслужить, а всякий ищет только выслужить; там, кто может, грабит, кто не может, крадет“». ⁴⁸ Эта мысль Фонвизина, родственная грибоедовскому афоризму «Служить бы рад, прислуживаться тошно», была близка оппозиционеру Вяземскому.

На многие годы сохранил Вяземский интерес к жизни и творчеству Фонвизина. На протяжении 1820-х годов он исподволь собирал всевозможные сведения о Фонвизине, списки его произведений, его переписку с родными и с государственными деятелями. В начале 1830-х годов им была закончена монография о Фонвизине. Этот труд свидетельствует о глубокой заинтересованности Вяземского русским Просвещением XVIII в.

Отдавая дань идеям просветительства, Вяземский внимательно изучал и последующие течения общественной мысли, и в первую очередь идеи французского либерализма, получившего наиболее законченное выражение в трудах Бенжамена Констан и мадам де Сталь. ⁴⁹

В июле 1822 г. в журнале «Сын отечества» (№ 29) была напечатана рецензия на книгу П. А. Габбе «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн» (на титуле книги псевдоним автора: «Пет. Г. б. е.»). В то время когда Вяземский писал свою рецензию, П. А. Габбе, офицер Литовского пехотного полка, хороший знакомый Вяземского по Варшаве, сидел в тюрьме, приговоренный вместе со своими товарищами к смертной казни за требование удалить из полка недостойных офицеров. Лишь в мае 1823 г. смертный приговор был заменен ему разжалованием в рядовые. По письмам П. А. Габбе, Вяземский был в курсе следствия, сочувствовал своему приятелю и пытался всячески покровительствовать ему. ⁵⁰ Однако одобрительный отзыв Вяземского

⁴⁸ Московский телеграф, 1827, ч. 13, отд. 2, стр. 19.

⁴⁹ 5 августа 1812 г. Вяземский писал из Москвы в Петербург Ж.-Б. Галиффу: «Мадам де Сталь выехала из Москвы, пробыв здесь очень недолго. Я не имел удовольствия видеть ее, и нельзя быть более раздосадованным по поводу того, что ваше письмо не прибыло во время. Карамзин и его жена обещали с нею у графа Ростопчина. Я был бы в восторге познакомиться с личностью, столь знаменитой, и быть сколько-нибудь полезным ей в совершенно незнакомом ей городе, и теперь мне остается сожалеть, что ваше письмо опоздало несколькими днями» (J.-B.-G. Galiffe. L'un siècle à l'autre, t. II. Genève, 1878, p. 312: подлинник по-французски).

⁵⁰ Подробнее об отношениях Вяземского с П. А. Габбе см.: Ю. М. Лотман и П. А. Вяземский и движение декабристов. Уч. зап. Тартуского унив. (Тр. по русской и славянской филологии, III), вып. 98, 1960, стр. 100—112; С. С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816—1821 гг. В кн.: Пушкин и его время, вып. 1. Л., Изд. Гос. Эрмитажа, 1962, стр. 199—209.

о книге П. А. Габбе был вызван не только желанием поддержать своим участием автора, но и самим предметом, избранным последним для своего сочинения. Идеолог европейского либерализма, предтеча романтической критики, писательница, которая навлекла на себя немилость Наполеона, мадам де Сталь пользовалась глубоким уважением Пушкина, Вяземского и людей их круга. По справедливому мнению Б. В. Томашевского, «книги де Сталь „О Германии“ и „Взгляд на Французскую революцию“, равно как ее романы, сыграли крупную роль в формировании политических и литературных взглядов Пушкина».⁵¹ Это утверждение в равной мере может быть отнесено и к Вяземскому, чья либеральная доктрина и литературно-критические взгляды складывались под воздействием трудов мадам де Сталь.⁵² Недаром в своей рецензии Вяземский писал, что «следы, ею проложенные, глубоко врезались на почве французской литературы, и влияние ее на умы и души современников принадлежит истории» (I, 81). Именно поэтому критик полностью одобряет выбор, сделанный автором: «Биографическое похвальное слово 2-же Сталь-Гольштейн может служить приятным чтением для людей, требующих от книги впечатлений на мысли и чувства. Один выбор предмета уже означает нам мыслящего писателя: чтение утверждает нас в справедливости нашего предположения. Вольтер сожалеет о людях, не имеющих ума своих лет, но люди, не имеющие ума своего века, еще более жалки и смешны» (I, 80). Остроумно перефразировав Вольтера, Вяземский не упустил случая даже в этой небольшой рецензии зацепить политических староверов.

В эти годы в статьях Вяземского литературные оценки неотделимы от политической проблематики, ибо дальнейшее развитие русской литературы мыслилось им лишь в тесной связи с развитием общества, с эволюцией общественных институтов. Взаимосвязь социальных и литературных факторов особенно четко проявилась в его статье «О „Кавказском пленнике“», напечатанной в декабре 1822 г. в «Сыне отечества».

Статья «О „Кавказском пленнике“» — первая статья Вяземского о творчестве Пушкина. Появление «Руслана и Людмилы» и полемика вокруг этой поэмы не вызвали печатного отклика Вяземского. Однако было бы неверно думать, что первая поэма Пушкина ему не нравилась. Известно, что 30 мая 1822 г. он писал А. И. Тургеневу, что «нельзя ли подумать о втором издании»⁵³ «Руслана и Людмилы». В письме от 24 сентября 1820 г. к А. И. Тургеневу Вяземский с раздражением писал о критической статье А. Воейкова по поводу «Руслана и Людмилы».⁵⁴

⁵¹ Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., изд. «Советский писатель», 1960, стр. 19.

⁵² Подробнее об этом см. в главе четвертой настоящей книги.

⁵³ Остафьевский архив, т. II, стр. 257.

⁵⁴ Там же, стр. 74.

И тем не менее он хранил молчание: содержание «Руслана и Людмилы» не давало ему возможности органически соединить литературную критику с общественными вопросами. Совсем иное дело «Кавказский пленник»: получив поэму, Вяземский сразу же начинает писать статью — уже 27 сентября 1822 г. он сообщал А. И. Тургеневу: «Я написал кое-что о „Кавказском пленнике“: скоро пришло. Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он

Как черная зараза,
Губил, ничтожил племена?

«От такой славы кровь стынет в жилах, и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг — настоящий анахронизм. Досадно и то, что, разумеется, мне даже о том и намекнуть нельзя будет в моей статье. Человеколюбивое и нравственное чувство мое покажется движением мятежническим и бевсовским внушением в глазах наших христоролюбивых цензоров».⁵⁵

Эпilog к «Кавказскому пленнику» вызывал возражения не только у Вяземского. Так, например, М. Ф. Орлов писал Вяземскому 9 ноября 1822 г.: «„Кавказский пленник“ в некоторых местах прелестен, и хотя последние стихи похожи несколько на сочинение поэта-лауреата (lauréat), можно их простить за красоты общего».⁵⁶ Среди передовой русской общественности того времени не было единодушного мнения о царской политике на Кавказе. Так, например, Пестель считал завоевания на Кавказе государственной необходимостью для России, такого же мнения был и Пушкин. Противоположной была точка зрения Вяземского и Орлова: крутая диктатура Ермолова казалась им несовместимой с требованиями гуманности.

Понятно, что в статье Вяземский не смог обсуждать этот вопрос, да он и не собирался этого делать. Тем не менее статья пострадала от цензуры. 18 декабря 1822 г. А. Я. Булгаков писал брату, что Вяземский «очень недоволен цензурою, которая многое конфисковала в статье его о „Кавказском пленнике“, помещенной в 49-м № Сына отечества».⁵⁷ Рукопись статьи не сохранилась, и восстановить цензурные купюры невозможно. Кроме того, некоторые изъятия были сделаны по просьбе самого Вяземского. В этой статье Вяземский полемизировал со своим давним литера-

⁵⁵ Там же, стр. 274—275.

⁵⁶ М. Ф. Орлов. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма, стр. 236.

⁵⁷ Русский архив, 1901, кн. 1, стр. 468.

турным противником П. А. Катениным. Как раз в это время Катенин был выслан из столицы — понятно, что Вяземский, узнав об этом, тут же написал А. И. Тургеневу: «Правда ли, что Катенина выслали из Петербурга? Сделай милость, если правда, то узнай тотчас от Греча, напечатана ли моя статья о „Кавказском пленнике“, где я бью его по рукам, и если время не ушло, то вымарай все, что до него относится. Мне очень прискорбно будет, если письмо это опоздает; только, ради бога, ты не опаздывай в случае возможности».⁵⁸ А. И. Тургенев выполнил просьбу Вяземского: статья появилась в журнале без полемических выпадов против Катенина.^{58а}

Цензурные и иные сокращения несколько «притушили» оппозиционный и полемический характер статьи «О „Кавказском пленнике“,», и все-таки выступление Вяземского было значительно более боевым, чем статья П. А. Плетнева и отклики других критиков по поводу поэмы Пушкина. «Кавказский пленник» рассматривался Вяземским не изолированно, а в потоке развития русской литературы: «Мы богаты именами поэтов, но бедны творениями. Эпоха, ознаменованная деятельностью Хераскова, Державина, Дмитриева, Карамзина, была гораздо плодотворнее нашей <...> До сей поры малое число хороших писателей успели только дать некоторый образ нашему языку; но образ литературы нашей еще не означился, не прорезался. — Признаемся со смиренным, но и с надеждою: есть язык русский, но нет еще словесности, достойного выражения народа могучего и мужественного <...> Поприще нашей литературы так еще просторно, что, не сбывая никого с места, можно предположить себе цель и беспрепятственно к ней подвигаться. Нам нужны опыты, покушения: опасны нам не утраты, а опасен застой» (I, 73—75).

Тезис Вяземского о непрерывном развитии литературы, легко читаемая между строк мысль об отставании отечественной словесности от насущных нужд общественного развития были без сомнения направлены против защитников литературной старины и общественной косности. Именно поэтому Вяземский не начинает свою статью с разбора художественных достоинств или недостатков поэмы Пушкина, а устанавливает гражданственность этого произведения, подчеркивает вольнолюбивый пафос поэмы: «Неволя была, кажется, музою вдохновительницею нашего времени. „Шильонский узник“ и „Кавказский пленник“, следуя один за другим, пением унылым, но вразумительным сердцу, прервали долгое молчание, царствовавшее на Парнасе нашем» (I, 73). Таков был зачин статьи, сближающий вольнолюбивую тематику

⁵⁸ Остафьевский архив, т. II, стр. 280. Письмо от 18 ноября 1822 г.

^{58а} Тем не менее мнительный Катенин нашел в статье Вяземского обидный намек на себя: «Вяземский, вероятно, чтоб кольнуть меня, заводит не к стати речь о трагедиях и Корнеля и Расина называет правильными, но бледными» (П. А. Катенин. Письма к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, стр. 32).

«Шильонского узника», переведенного Жуковским, и «Кавказского пленника». Ни в статье П. А. Плетнева о поэме Пушкина (Соревнователь, 1822, ч. 20, № 10, стр. 24—44), ни в статье О. М. Сомова, посвященной переводу «Шильонского узника» (Сын отечества, 1822, ч. 79, № 29, стр. 97—118), не затрагивался вопрос об общественной проблематике этих произведений; Плетнев и Сомов ограничились литературным разбором. Вяземский же выдвинул на первый план социальную значимость обеих поэм, а так как литературный прогресс ассоциировался в его сознании с романтизмом (в этот термин он вкладывал в первую очередь политическое содержание), то он писал: «Явление упомянутых произведений, коими обязаны мы лучшим поэтам нашего времени, означает еще другое: успехи посреди нас поэзии романтической. На страх оскорбить присяжных приверженцев старой Парнасской династии решились мы употребить название, еще для многих у нас дикое и почитаемое за хищническое и незаконное. Мы согласны: отвергайте название, но признайте существование. Нельзя не почесть за непоколебимую истину, что литература, как и все человеческое, подвержена изменениям; они многим из нас могут быть не по сердцу, но отрицать их невозможно или безрассудно. И ныне, кажется, настала эпоха подобного преобразования» (I, 73—74).

Эти строки вызвали восторженный отклик Пушкина: «Все, что ты говоришь о романтической поэзии, прелестно, ты хорошо сделал, что первый возвысил за нее голос — французская болезнь умертвила б нашу отроческую словесность».⁵⁹ Свидетельство Пушкина о том, что Вяземский был первым русским критиком, который выступил в защиту романтизма, исключительно ценно, ибо это свидетельство современника, в осведомленности которого в данном вопросе не может возникнуть сомнения.

В своей статье Вяземский дал наивысшую оценку поэтическим достоинствам «Кавказского пленника»: «Все дышит свежестью, все кипит живостью необыкновенною. Автор ее и в ранних опытах еще отроческого дарования уже поражал нас силою и мастерством своего языка стихотворного; впоследствии подвигался он быстро от усовершенствования к усовершенствованию и ныне являет нам степень зрелости совершенной» (I, 78).

Осмысление «Кавказского пленника» в русле передового романтического движения эпохи, поразительное совпадение идейной тональности статьи Вяземского с его поэмой, отсутствие высокомерных менторских замечаний — все это несказанно порадовало Пушкина: «Благодарю тебя, милый Вяземский! — писал он в том же письме, — пусть утешит тебя бог за то, что ты меня утешил. Ты не можешь себе представить, как приятно читать о себе суждения умного человека. До сих пор, читая рецензии Воейкова, Каче-

⁵⁹ Пушкин, т. XIII, стр. 57. Письмо к Вяземскому от 6 февраля 1823 г.

новского и проч., мне казалось, что подслушиваю у калитки литературные толки приятельниц Варюшки и Буянова». ⁶⁰ Умной статье Вяземского Пушкин противопоставляет все остальные критические отзывы о своем творчестве, остроумно приравнивая их к пересудам «приятельниц Варюшки и Буянова» из фривольной поэмы своего дяди В. Л. Пушкина «Опасный сосед». Не выделяет Пушкин и отзыв Бестужева, напечатанный в «Полярной звезде на 1823 год». Пушкин получил «Полярную звезду» в январе 1823 г. (в письме к брату от 30 января он писал о том, что в альманахе Бестужева и Рылеева его стихотворение «Мечта воина» «напечатана с ошибочного списка») и, таким образом, к 6 февраля, конечно, уже прочел отзыв Бестужева о своих поэмах, в котором не нашел ничего оригинального. Как справедливо подметил Б. В. Томашевский, сопоставивший суждения Плетнева и Бестужева о «Кавказском пленнике», «А. А. Бестужев резюмировал приговоры Плетнева». ⁶¹

Кроме того, в статье Вяземского были публицистические «пули», по достоинству оцененные Пушкиным. Заметив, что образ Пленника «не всегда выдержан», Вяземский счел нужным сделать лукавый оговорку: «... в самом том месте, где он знакомит нас с характером своего героя, встречаются пропуски, которые, может быть, и утаивают от нас многие черты, необходимые для совершеннейшего изображения» (I, 76). Это был явный намек на автоцензуру. К тому же Вяземский задел и цензуру — вспоминая критиков-продислов, которые ужасались эротическим строкам в поэмах Пушкина, Вяземский писал: «Пускай их мертвая оледенелость не уживается с горячностью дарования во цвете юности и силы, но мы, с своей стороны, уговаривать будем поэта следовать независимым вдохновениям своей поэтической Эгерии, в полном уверении, что бдительная цензура, которую нельзя упрекнуть у нас в потворстве, умеет и без помощи посторонней удерживать писателей в пределах дозволенного. — Впрочем, увещание наше излишне; как истинной чести двуличной быть нельзя, так и дарование возвышенное двуязычным быть не может. В непреклонной

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Б. Томашевский. Пушкин. Кн. первая (1813—1824). М.—Л., Изд. АН СССР, 1956, стр. 415. — Вот отзыв Бестужева: «Две поэмы сего юного поэта: „Руслан и Людмила“ и „Кавказский пленник“ — исполнены чудесных, девственных красот; особенно последняя, писанная в виду седовласого Кавказа и на могиле Овидиевой, блистает роскошью воображения и всю жизнью местных красот природы. Неровность некоторых характеров и погрешности в плане суть его недостатки, общие всем пылким поэтам, увлекаемым порывами воображения» (Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. Изд. подг. В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович. М.—Л., Изд. АН СССР, 1960, стр. 21). О погрешностях в плане обеих пушкинских поэм писал П. А. Плетнев и другие критики; как известно, в письмах Пушкина «мы находим иронические отзывы о петербургских „планщиках“» (Б. Томашевский. Ук. соч., стр. 415).

и благородной независимости оно умело бы предпочесть молчание языку заказному» (I, 77—78).

Этот публицистический выпад Вяземского вызвал одобрение Пушкина: «Благодарю за щелчок цензуре, но она и не этого стоит: стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. <...> пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим [мнением] голосом — презрение к русским писателям нестерпимо».⁶²

«Статья Вяземского, — писал Б. В. Томашевский, — была примером публицистической критики, и намерения автора выступали довольно отчетливо, несмотря на иносказания и обиняки, к которым вынуждали условия печати тех лет. Вяземский выражал мнения прогрессивной части русского общества».⁶³

Н. И. Мордовченко высказал мысль о том, что «в статье с „Кавказском пленнике“ раскрылась и близость Вяземского к исканиям Пушкина и в то же время обозначились пункты их расхождений, ставшие узлом последующих споров. Общественно-исторический и политический подход, столь близкий и Пушкину, отличался у Вяземского той прямолинейностью, которая характерна была для аристократа-оппозиционера. Вяземский воспринял байроновский романтизм со всеми его индивидуалистическими началами, которые оставались чужды Пушкину. У Вяземского не было той гениальной широты в оценке и восприятии действительности, которую проявил Пушкин с первых лет своей поэтической деятельности. Поэтому, несмотря на близость с Пушкиным, Вяземский начал расходиться с ним в трактовке романтизма и классицизма, в понимании исторического прошлого русской литературы, наконец в постановке и решении проблемы народности».⁶⁴ Обратимся снова к письму Пушкина — какие упреки он сделал Вяземскому? Полемизируя с похвалой Озерову, Пушкин писал: «У нас нет театра, опыты Озерова ознаменованы поэтическим слогом — и то не точным и заржавым; впрочем, где он не следовал жеманным правилам фр<анцузского> театра? Знаю, за что полагаешь его поэтом романтическим: за мечтательный монолог Фингала — нет! песням никогда надгробным я не внемлю, но вся трагедия написана по всем правилам парнасского православия; а романтический трагик принимает за правило одно вдохновение — признайся: все это одно упрямство».⁶⁵ Можно ли считать, что несогласие в отнесении Озерова к романтикам означает общее расхождение между Пушкиным и Вяземским в трактовке класси-

⁶² Пушкин, т. XIII, стр. 57.

⁶³ Б. Томашевский. Ук. соч., стр. 420. — О статье Вяземского см. также: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., изд. «Наука», 1966, стр. 17—18.

⁶⁴ Н. И. Мордовченко. Ук. соч., стр. 297—298.

⁶⁵ Пушкин, т. XIII, стр. 57.

цизма и романтизма? Во всяком случае, из письма Пушкина такой вывод не напрашивается.

Возражение Пушкина вызвало следующее замечание Вяземского: «... автор представляет героя своего равнодушным, охлажденным, но не бесчеловечным, и мы с неудовольствием видим, что он, избавленный от плена рукою страстной Черкешенки, которая после этого подвига приносит на жертву жизнь, уже для нее без цели и с коею разорвала она последнюю связь, не посвящает памяти ее ни одной признательной мысли, ни одного сострадательного чувствования» (I, 76—77). Возражая на этот упрек, Пушкин писал: «Ты говоришь, душа моя, что он сукин сын за то, что не горюет о Черкешенке, — но что говорить ему — всё понял он выражает всё; мысль об ней должна была овладеть его душою и соединится со всеми его мыслями — это разумеется — иначе быть нельзя; не надобно всё высказывать — это есть тайна занимательности». ⁶⁶ Как видим, этот ответ Пушкина имеет еще более частный характер. Впрочем, несколько месяцев спустя Пушкин согласился с замечанием Вяземского — он писал ему 14 октября 1823 г.: «Теперь замечание типографическое: *Все понял он...* несколько точек, в роде Шаликова и — *à la ligne прощальным взором* и пр. Теперь я согласен в том, что это место писано слишком в обрез, да силы нет ни поправить, ни прибавить». ⁶⁷

Спорно и мнение Н. И. Мордовченко, что в Байроне Вяземский в первую очередь воспринимал индивидуалистическое начало. Вот что писал Вяземский о Чайльд-Гарольде: «Не входя в исследование мнения почти общего, что Байрон себя списывал в изображении Child-Harold, утвердить можно, что подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества. Преизбыток силы, жизни внутренней, которая в честолюбивых потребностях своих не может удовлетворяться уступками внешней жизни, щедрой для одних умеренных желаний так называемого благоразумия; необходимые последствия подобной распри: волнение без цели, деятельность, пожирающая, неприкладываемая к существенному, упования, никогда не совершаемые и вечно возникающие с новым стремлением, — должны неминуемо посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности, пресыщения, которые знаменуют характер Child-Harold, Кавказского пленника и им подобных» (I, 76). Ссылка на нынешнее положение общества, указание на деятельность, которая не может быть приложена к существенному, — все эти намеки, вызванные цензурными условиями, ясно показывают, что Вяземский в Чайльд-Гарольде и Кавказском пленнике видел проявление духа времени, когда свободолюбивые натуры страдают от невозможности найти достойное применение своим способностям. В том же обществен-

⁶⁶ Там же, стр. 58.

⁶⁷ Там же, стр. 69—70.

ном ключе воспринимал поэзию Байрона Пушкин; усмотреть принципиальное расхождение в понимании творчества Байрона между Пушкиным и Вяземским, на наш взгляд, невозможно.

Рассмотрение материала убеждает, что Н. И. Мордовченко сгустил краски, преувеличил степень расхождения в воззрениях Пушкина и Вяземского в начале 1823 г. Недаром Пушкин в том же письме к Вяземскому, обращаясь к нему как к своему единомышленнику, советовал ему написать обозрение русской литературы: «Кому, как не тебе, взять на себя скучную, но полезную должность надзирателя наших писателей». ⁶⁸ В некотором роде исполнением дружеского совета Пушкина можно считать полемическую статью Вяземского против Булгарина.

Отмечая в «Кратком обозрении русской литературы 1822 года» недостаток хороших авторов и отличных сочинений, Булгарин полагал, что виной этому пристрастие просвещенного класса людей к иностранной словесности и пренебрежение к творчеству русских писателей: «... сие-то убийственное хладнокровие к отечественным произведениям погашает благородный пламень возникающего дарования и удерживает его в какой-то онемелости, вредной для успехов литературы». ⁶⁹

Это поверхностное наблюдение было центральным тезисом статьи Булгарина. Исходя из него, все беды русской литературы проистекали от недостатка литературного патриотизма у просвещенного класса читателей. В статье «Замечания на краткое обозрение русской литературы 1822 года, напечатанное в № 5 Северного архива 1823 года» Вяземский последовательно опроверг этот тезис. Не отрицая пристрастия к иностранным книгам, Вяземский объясняет его общественными причинами, тем, «что иностранные произведения удовлетворяют более господствующим требованиям нашего поколения, соглашаются более с степенью образованности умов» (I, 102—103). Вместе с тем это увлечение иностранной литературой, по справедливому мнению Вяземского, не наносит ущерба отечественной словесности, не мешает успеху талантливых и полезных сочинений; доказывая свою точку зрения, Вяземский ссылаясь на то, что «История государства Российского» Карамзина, «Опыт теории налогов» Н. И. Тургенева, «Опыт теории партизанского действия» Д. В. Давыдова и другие «сочинения различного содержания и достоинства, но, одним словом, сочинения европейские, доведены в скорое время до второго издания» (I, 102). Именно об этих писателях, обращающихся в своем творчестве к насущным потребностям народа, удовлетворяющих его неодолимую тягу к истории, к политической экономии, к самобытной художественной литературе, писал Вяземский в своей статье: «Нам все как будто не верится, что можем в числе современников

⁶⁸ Там же, стр. 58.

⁶⁹ Северный архив, 1823, № 5, стр. 378.

наших иметь писателей отличных. Если слава их, рассеяв все препоны и достигнув лучезарного полдня, уже слишком нестерпимым блеском светит нам в глаза, то мы стараемся уверить себя и других, что блеск этот заемный» (I, 104).

Однако заслуженная слава отдельных писателей лишь резко оттеняла общее отставание русской литературы. Но в отличие от Булгарина Вяземский объяснял это отставание условиями крепостнической России: «Литература должна быть выражением характера и мнений народа: судя по книгам, которые у нас печатаются, можно заключить, что у нас или нет литературы, или нет ни мнений, ни характера; но последнего предположения и допустить нельзя. Утверждать, что у нас не пишут оттого, что не читают, значит утверждать, что немой не говорит оттого, что его не слушают. Развяжите язык немому, и он будет иметь слушателей» (I, 103).

Просветительские симпатии и оппозиционные стремления Вяземского сквозят в каждой строчке этой статьи — недаром Пушкин писал ему: «Недавно прочел я твои давнишние замечания на Булгарина», это лучшая из твоих полемических статей».⁷⁰

В 1823 г. Вяземский опубликовал предисловие к сочинениям И. И. Дмитриева под названием «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева».⁷¹ Статья датирована сентябрем 1821 г.⁷² В предисловии от издателей указано, что статья печатается в сокращенном виде. Сокращение статьи было вызвано необходимостью смягчить ее политическую остроту, что и задержало выход сочинений И. И. Дмитриева.

⁷⁰ Пушкин, т. XIII, стр. 89. Письмо от 8 марта 1824 г.

⁷¹ Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева, ч. 1. СПб., 1823, стр. I—LII.

⁷² Первоначальный текст предисловия, по-видимому, был написан Вяземским очень быстро — сохранилось обращение Вольного общества любителей российской словесности: «Милостивый государь князь Петр Андреевич! Вследствие изъявленного вашим сиятельством согласия написать жизнь И. И. Дмитриева к новому изданию стихотворений его и с нею вместе взгляд на его поэзию комитет из членов Общества любителей российской словесности, составленный для сего издания, обращается к вам, как к члену общества, и просит приступить к труду сему. Вы, милостивый государь, как близко знакомый с почтеннейшим автором, более, нежели кто-либо, знаете главнейшие черты жизни его, а как литератор; отличающийся тонкостью вкуса, более другого чувствуете красоты его произведений и характер, их отличающий. Комитет питается приятною надеждою, что талант ваш, в сем роде испытанный, составит лучшее украшение издания.

«С истинным почитанием и таковою же преданностию честь имею быть, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейшим слугою Николай Гнедич. № 591. 15 августа 1821 г. Его сият. князю П. А. Вяземскому, г. почетному члену Вольного общества любителей российской словесности» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5084, л. 100). Судя по дате этого письма, предисловие было написано Вяземским за полтора месяца. Почетным членом общества Вяземский был избран, вместе с Н. И. Тургеневым, 27 сентября 1820 г. (В. Г. Базанов. Ученая республика. М.—Л., изд. «Наука», 1964, стр. 447).

В своем предисловии Вяземский, как это обычно бывало в его статьях, вышел далеко за пределы предмета, явившегося поводом для печатного выступления. По существу Вяземский представил читателю краткий обзор истории русского литературного языка от Ломоносова до Карамзина. Предисловие Вяземского имело шумный успех, о чем свидетельствует запись С. Д. Полторацкого: «В начале 1-й части последнего издания (1823) находится прекрасная статья князя П. А. Вяземского о жизни и сочинениях И. И. Дмитриева, принятая в то время с восторженным одобрением в литературном мире».⁷³

Анализируя язык русской литературы XVIII в., Вяземский писал: «Язык Ломоносова в некотором отношении есть уже мертвый язык. Сумароков подвинул у нас ход и успехи словесности, но не языка. Язык Петрова, Державина, обильный поэтической смелостью, красотами живописными и быстрыми движениями, не может быть почитаем за язык классический или образцовый <...> Язык Хераскова и ему подобных отцвел вместе с ними, как наречие скудное, единовременное, не взросшее от корня живого в прошедшем и не-пустившее отраслей для будущего. В некоторых из стихов и прозаических творений Фонвизина обнаруживается ум открытый и острый; и хотя он первый, может быть, угадал игривость и гибкость языка, но не оказал вполне авторского дарования: слог его есть слог умного человека, но не писателя изящного. Богданович, в некоторых отрывках „Душеньки“ и других стихах, коих доискиваться должно в бездне стихов обыкновенных, может назваться баловнем счастья, но не питомцем искусства <...> Если и полагать, что нерадивый Хемницер трудился когда-нибудь над усовершенствованием языка, то разве с тем, чтобы домогаться в стихах своих совершенного отсутствия искусства. Но, отвергая предположение невероятное, признаюсь, что простота его, иногда пленительная, часто уж слишком обнажена; к тому же он, упражняясь только в одном роде словесности, и не мог решительно действовать на образование языка. Все сии писатели и несколько других, здесь не упомянутых, более или менее обогащали постепенно наш язык новыми оборотами и новыми соображениями, и расширяли его пределы; но со всем тем признаться должно, что и посредственнейшие из писателей нынешних (разумеется, и здесь найдутся исключения) пишут не языком Княжнина и Эмина, стоящих гораздо выше многих современников наших, если судить о даровании авторском, а не о превосходстве слога» (I, 124—125).

Отдавая должное историческому значению творчества писателей XVIII в., Вяземский в то же время утверждал, что слог их устарел и не может служить образцом для современной литературы.

Отвечая на вопрос, «кого должны мы утвердительно почтить основателями нынешней прозы и настоящего языка стихотвор-

⁷³ ГПБ, Q.XVIII.25-11, л. 92.

ного», Вяземский назвал имена Карамзина и Дмитриева, «развивающих средства языка, еще недовольно обработанного, и обогащающих сей язык добычею, взятою из его собственных сокровищ» (I, 126). Влияние языковой реформы Карамзина и Дмитриева, по мнению Вяземского, было всеобщим, и они, «как великие полководцы, которые, преобразовав искусство военное, кончают тем, что самых врагов своих научают сражаться по системе, ими вновь введенной, научили неприметным образом и противников своих писать с большим или меньшим успехом по-своему» (I, 127).

Помимо литературных высказываний, предисловие Вяземского содержит суждения общественно-политического характера. Ставя писателей выше правителей, Вяземский восклицал: «Слава писателей, залог священный, вверенный гордости народной, может истребиться только вместе с нею в народе, униженном пороками правительства, или под бременем собственного разврата, уронившего величие предков» (I, 114). О высокой общественной миссии писателя Вяземский прочувствованно говорил в конце предисловия: «Побудитель образованности, вещатель истин высоких для народа, чувствований благородных, правил здравых, укрепляющих его государственное бытие голосом наставлений поражающего негодования или метким орудием осмеяния, целитель пороков невежественных и предубеждений легкомысленных или закоснелых, сих язв заразительных, убивающих в народе начало жизни, писатель всегда бывает благотворителем сограждан, вожатым мнения общественного и союзником бескорыстного мудрого правительства» (I, 153).

Обращение к рукописи предисловия Вяземского позволяет восстановить некоторые купюры и изменения цензурного порядка. Оказалось выкинутым рассуждение Вяземского о русской журналистике: «Да будет нам позволено при этом случае сказать несколько слов о журналах и пользе их хотя для того, что наш поэт (Карамзин, — М. Г.) и сам уважает сию отрасль словесности и что будем отчасти отголоском его мнений. Многие жалуются на изобилие и излишество журналов наших. Такая жалоба и неблагоприятна, и несправедлива. Худые журналы, как и все худое, конечно, пользы приносить не могут или приносят малую; но „Собеседник“, периодические издания деятельного Новикова, который дал новое и живейшее обращение печатанию и торговле книг, его смелый и свободомыслящий „Живописец“, цветущий возраст „Вестника Европы“ и еще некоторые журналы более иных книг пробуждали в публике охоту к чтению и разливали из столицы свет образованности и просвещения по отдаленным областям обширного государства. В запасе хорошо иметь, кому можно, богатство в знаках многоценных; но для повседневного употребления должно выбивать монеты мелкие и ручные, которые употребительны в каждом звании и пускаются в обращение с большею общностью и скоростию. Напрасно жалуются, что журналы за-

воевали у нас поле словесности, журналы никого не вытесняют и не только не отбивают публики от чтения важнейшего, но издания их и самих журналистов не отвлекают от трудов значительнейших, когда они от природы не поражены тупым бесплодием. Лагарп, Мармонтель, Шиллер были журналистами. У нас Карамзин, издатель разных периодических листов, успел выдать 9 томов Истории и около двадцати листов разных сочинений и переводов. Не количество, а качество журналов наших скорее достойно осуждения. Конечно, многие из них не отвечают понятию о европейском журнале и могут, как сказал некто забавно и справедливо, быть названы „Сборниками или коробками с иноземным товаром и кое-какими крохами домашнего изделия“. Конечно, журнал, чтобы истинно быть журналом, должен иметь свой решительный цвет, голос, свое исповедание, свое постоянное направление и не быть, по выражению поэта, без образа лица; но пока наши временные издания не станут учить нас истинному чтению, будем довольны и тем, что учат они грамоте и высказывают хотя изредка признаки общественной жизни».⁷⁴

Этот отрывок, имеющий тесную преемственную связь с проектом арзамасского журнала (о котором шла речь в предыдущей главе), — стройная программа деятельности, выработанная Вяземским для передовой русской журналистики. Однако в условиях аракатеевского режима эта программа, предусматривающая перестройку русской периодической печати по образцу западноевропейской прессы, не только не была осуществима, но даже не могла быть опубликована, ибо необходимым предварительным условием для подобной реформы журналистики было введение в России конституционного правления.

По цензурным соображениям оказалось исключенным высказывание Вяземского о польском патриотизме: «Поляки на гробе отечества своего долго жили одним иступлением любви патриотической и теми из своих сограждан, коих слава личная отчасти заменяла им народную славу, расхищенную и уничтоженную. Часто от избытка чувств за недостатком истинных предметов созидали они себе ложные кумиры и приносили им жертвы благоговения. Но бытие их держалось, так сказать, одним чувством бытия, и потому само идолопоклонство их не только извинительно, но и почтенно. Тут дело не в том, что полубоги их были или не были достойны поклонения народного, но в том, что им самим нужно было в них веровать. Они могли с благочестивым мужем, отвечающим в басне мудрецу, который смеялся над бесполезными молениями, сказать справедливо: но можно ли нам прожить без них?».⁷⁵

⁷⁴ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1025, л. 15—15 об. Вставка после слов: «нашей возрождающейся словесности» (I, 122).

⁷⁵ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1025, л. 14. Вставка после слов: «не есть пора жатвы».

Понятно, что в начале двадцатых годов, когда Александр I отказался от своих либеральных планов в отношении Польши, подобное напоминание о польском патриотическом чувстве не могло быть пропущено цензурой.

В конце статьи Вяземский писал: «Вольтер, как воин усердный, только из онемевшей руки выпустил оружие, посвященное на служение истине и поражение предрассудков».⁷⁶ В печатном тексте имя Вольтера, конечно по цензурным соображениям, было заменено именем Фонтенеля, предшественника французских просветителей: для царской цензуры оно было менее одиозным.

Помимо цензурных купюр, из текста предисловия изъяты, видимо по композиционным или иным соображениям, целый ряд любопытных литературных суждений Вяземского и интересные детали литературного быта того времени. Так, например, в рукописи более подробно рассказывается о посещениях И. И. Дмитриевым вечеров Державина: «Дом Державина, соединенного узами брака и взаимных склонностей с женщиною отличного ума и просвещенной любезности, которую нежный супруг воспевал так трогательно под именем Пленеры, был в Петербурге приятным сходбищем всех любителей словесности. Тут по вечерам статс-секретарь (Г. Р. Державин, — М. Г.) отдыхал посреди друзей и поэтов от бремени государственных занятий, читал свои новые произведения, слушал опыты счастливых последователей и одобрение сего знаменитого любимца русских муз было лучшую наградою поэта и лучшим поощрением к новым успехам. В этом отборном обществе более и более укоренялась в нашем авторе (И. И. Дмитриеве, — М. Г.) любовь к словесности; в нем познакомился он и с литераторами, первенствующими тогда на русском Парнасе. Львов (Н. А.), оставивший несколько приятных стихотворений, был один из ободрителей возникающего его дарования. В этом обществе прочел он первый опыт свой в переводе басен Лафонтена, и предсказали ему блестящие успехи в сем роде. Такое предсказание приносит честь прозорливости и верности вкуса судей, а поощрение — еще более чести беспристрастию приверженцев и друзей Хемницера».⁷⁷

Хотя в державинском кружке поощряли басенный талант И. И. Дмитриева, однако пальму первенства в этом жанре по-прежнему отдавали Хемницеру — в «Суде о басельниках» (1811) Державин писал:

Эзоп, Хемницера зря, Дмитриева, Крылова,
Последнему сказал: ты тонок и умен;
Второму: ты хорош для модных, нежных жен,
С усмешкой первому сжал руку — и ни слова.⁷⁸

⁷⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1025, л. 58 об.

⁷⁷ Там же, лл. 10 об.—11.— Далее в рукописи помещен рассказ о встрече И. И. Дмитриева с Фонвизиним; этот текст здесь не воспроизводится, так как известен по монографии Вяземского о Фонвизине.

⁷⁸ Г. Р. Державин, Сочинения, т. 3, СПб., 1866, стр. 520.

Не попал в печать отзыв Вяземского о Батюшкове: «Батюшков в прекрасной речи своей „О влиянии легкой поэзии на язык“ означил пользу, ею принесенную словесности нашей, отразив предубеждения невежества или недоброжелательства. И кому же приличнее было защищать поприще, на коем он с таким успехом и с такою пользою для языка оказал дарование необыкновенное! Каждое мелочное творение Батюшкова, у коего пространнейшее смиренно уместается на нескольких страницах, без сомнения может перевесить на весах вкуса многие поэмы, трагедии и другие полновеснейшие произведения, кои всею тяжестью славы своей налагают на удивление толпы суеверной и безрассудной».⁷⁹

Вяземский упоминает в этом отзыве речь Батюшкова, читанную при вступлении в Общество любителей русской словесности в Москве в июле 1816 г. В этой речи, между прочим, содержится оценка творчества И. И. Дмитриева, совпадающая в целом с точкой зрения Вяземского: «... остроумные, неподражаемые сказки Дмитриева, в которых поэзия в первый раз украсила разговор лучшего общества; послания и другие произведения сего стихотворца, в которых философия оживилась неувядающими цветами выражения; басни его, в которых он боролся с Лафонтеном и часто побеждал его».⁸⁰

Впрочем, не только И. И. Дмитриева, но и самого Вяземского Батюшков в первую очередь воспринимал как представителя легкой поэзии, что видно из его четверостишия (1817):

Кто это, так насупя брови,
Сидит растрепанный и мрачный, как Федал?
О чудо! Это он!.. Но кто же? Наш Катулл,
Наш Вяземский, певец веселья и любви!⁸¹

В рукописи статьи «Известие о жизни и сочинениях И. И. Дмитриева» содержится обширное отступление, в котором Вяземский — будущий переводчик «Адольфа» Б. Констана — высказал свою точку зрения на искусство перевода: «У нас, сличая переводы с подлинниками стих в стих или слово в слово, имеют обыкновение основывать на этом рабском сравнении степень достоинства перевода, забывая, что мы не можем в рассуждении слога, главной принадлежности всякого литературного произведения, быть законными судьями сочинения, писанного на языке иностранном. Неосновательность таких суждений особенно бывает явною, когда дело идет о Лафонтене, поэте, который славу свою

⁷⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1025, л. 28—28 об. Вставка после слов: «впрочем, в последней дани ей немногие и отказывают» (I, 133).

⁸⁰ К. Н. Б а т ю ш к о в, Сочинения, М., Гослитиздат, 1955, стр. 383.

⁸¹ Там же, стр. 284.

основал на слогe *неподражаемом*, по мнению законодателей французской словесности, достойных слепой доверенности, когда они судят о своих писателях. Русскому критику можно скорее определить, сохранил ли переводчик в преложении оды Руссо и сатиры Депрео порывы звучности и величавость первого или точность, ясность и резкость последнего; но может ли он с уверенностью решить, что переводчик Лафонтена перенес или не перенес в свои стихи ту прелесть беглую и, так сказать, не подлежащую осязанию иностранца, которую видит опытный знаток часто в насильственном, но Гением изобретенном сочетании слов, в счастливом падении стиха, в смелом, но удачном переносе, во благородствовании выражения низкого или, лучше сказать, простого, ибо никакое слово не бывает ни высоким, ни низким, когда оно поставлено на месте (в словаре нет аристократических разделений), или в обновлении выражения старого в сих оттенках красот, которые положительную цену имеют только там, где они в народном и повседневном обращении. Есть женская красота правильная, классическая, соглашающая мнения всех знатоков природы изящной, но есть миловидность, прелесть условная, частная, о коей могут спорить судии изящного и не соглашаться, но которая не менее того остается красотою несравненно в глазах любовника очарованного и счастливого. Как в творениях природы, так и в творениях искусства бывают прелести, о коих посторонние не могут судить безошибочно. „Если, — говорит Даламберт, — язык французский выйдет когда-нибудь из употребления в разговоре, потомуки наши всегда поставят Лафонтена в число великих поэтов, зная уважение наше к нему и боязливо придерживаясь мнения предков. Но разберут ли они прелести сего автора неподражаемого, его свободу, простоту, очарование самой его небрежности? Можно в том сомневаться. Они в удивлении своем будут верить нам на слово, чувствовать слабо и восхищаться наудачу“. А всякой иностранный язык не есть ли для нас язык мертвый? Должно требовать, чтобы достоинство перевода или подражания отвечало на языке нашем понятию о достоинстве подлинника, но придирается к переводчику за то, что он затмил прелесть стиха или притушил тонкость выражения образа своего, есть верх бесстыдства или невежества, а хвалить перевод более подлинника, разумеется в отношении одного слога, есть самохвальство непростительное. Французы не так взыскательны, как мы; будь перевод хорошо писан на языке французском, они не пойдут искать, близок ли он к подлиннику или нет. В переводах удерживают они одну сущность, а о принадлежностях не заботятся. Немцевич, Нестор польской словесности, рассказывал, что во время пребывания своего в Париже, застав однажды Лагарпа за переводом отрывка из „Лузиады“, оказал он ему удивление, что при разнообразии своих познаний успел он научиться и португальскому языку. „Как вы еще молоды, — отвечал Лагарп, — хороший сло-

варь, терпение, здравый смысл, и можно переводить со всякого неизвестного языка». ⁸²

Хотя Вяземский энергично выступил против запоздалых сторонников «теории трех штилей», утверждая, что «в словаре нет аристократических разделений», что «никакое слово не бывает ни высоким, ни низким, когда оно поставлено на месте», однако он полагал, что язык и слог произведения в определенной степени зависят от его жанра: «„Сказка, — говорит Мармонтель, — есть в отношении к комедии то же, что эпопея в отношении к трагедии“. Как в басне, так и в сказке поэт повествует, но баснописец живет в вымышленном мире, и мы довольствуемся, когда намекает он нам о существенном. Сказочник живописует истину, лица и нравы, которые у каждого в глазах, и тем строже должен он быть в выборе красок, положений и действий, ибо зрители имеют случай и право судить строже о его искусстве. Чудесность, любимая приманка воображения, может служить ему только принадлежностью, а не основой творения его и не успешнейшим средством к подстреканию любопытства. Отступи он от верности, и картина его, подобно непохожему портрету, лишается главного достоинства, как ни будь он, впрочем, искусно и красиво писан. В слоге предстоит ему также труднейшая цель, он говорит о нас и за нас, и каждое слово неуместное, как звук нестройный, оскорбляет слух и не тонкого знатока. В творениях искусства верх мастерства есть изящное изображение обыкновенного и повседневногo. Принятый язык трагедии, в коей действуют герои и род людей, отделенных от нас, скорее постигается поэтами, нежели язык комедии, в коей наши ежедневные привычки, приключения, разговоры переносятся на сцену. В эпической поэме, где песнопевец говорит за тех же героев, или богов, которые говорят не по-нашему, в басне, где поэт говорит за животных и за неодушевленные предметы, которые никак не говорят, и тот и другой достигают цели, когда говорят хорошо; в комедии и сказке того недовольно, должно говорить еще верно и близко к природе не условной, а существенной. Все свойства поэта украшают сказочника, но при них требуются еще свойства тонкого наблюдателя и приятного нравоучителя». ⁸³

В рассуждении Вяземского явно проступает влияние школы Карамзина — «изящное изображение обыкновенного и повседневногo» безусловно отражает эстетический канон карамзинизма. Но Вяземский не ограничивается этим требованием. Настойчивое подчеркивание того, что в сказке — в те времена сказкой именовали стихотворную повесть на современную тему — автор должен быть верен действительности, природе существенной, а не услов-

⁸² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1025, лл. 33—35 об. Вставка после слов: «итак без сомнения судил бы он у нас о нашем Лафонтене» (I, 137).

⁸³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1025, лл. 40 об.—47 об. Вставка после слов: «которое обыкновенно служит основой сказки» (I, 144).

ной, указывает на эстетические поиски критика: канун реализма в литературе был и кануном реалистической эстетики.

Сообщая А. Ф. Воейкову о своем предисловии к сочинениям И. И. Дмитриева, Вяземский писал 19 октября 1821 г.: «То-то зальются на меня своры, когда издастся мое известие. Я литературную исповедь свою не сквозь зубы делаю, а во все горло, и духовникам нашим не в бровь, а в самый глаз. Впрочем, надобно же когда-нибудь истине сорваться с языка».⁸⁴ И действительно, цензор И. М. Снегирев в своем отзыве на предисловие Вяземского отметил, что отступления автора вредят целостности изложения. Касаясь сущности этих отступлений, цензор писал: «Читателям классиков, вероятно, покажется возмутительною для совести выходка против классической словесности, увековеченной в школах всех народов тысячелетиями. Но это спор нерешенный».⁸⁵

В замечаниях на отзыв цензора Вяземский писал: «Но в этих отступлениях, может быть, есть и мой недостаток, и мое достоинство <...> В прозе моей есть физиономия и самобытность. Она, разумеется, не идет в подметки прозе Карамзина и Жуковского, но именно тем и отличается, что пошла не их дорогою, а своими проселками».⁸⁶

В тех же выражениях писал о своем слоге Пушкин в письме к Вяземскому от 25 мая 1825 г.: «Но ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому». Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной».⁸⁷

Оба писателя понимали, что их слог (в высказывании Вяземского речь шла о прозе, в письме Пушкина — о поэзии) разрушает каноны карамзинизма. В свою очередь Карамзин и Жуковский видели, что Вяземский уклоняется от проторенной ими дороги. В приписке к письму Карамзина к Вяземскому от 21 августа 1818 г. Жуковский восклицал: «Образуй только язык, то есть познакомься с правилами, ты схватишь первое место как прозаик».⁸⁸

Наряду со спорами о «правилах», о слог, возражения Жуковского и Карамзина вызывали общие рассуждения Вяземского о литературе. Обороняясь от нападок Жуковского, Вяземский писал ему 9 января 1823 г.: «Перейдем теперь к другому обвинению твоему на счет моей биографии, о *постройках*, о том, что слишком часто удаляясь от главного предмета, заговариваюсь. Перекрестись и стыдись! Да что же могло взманить меня и всякого благоразумного человека на постройку, если невозможность пристроек? Неужели рука моя поворотится, чтобы чинно переби-

⁸⁴ Русская старина, 1904, кн. 1, стр. 116.

⁸⁵ Старина и новизна, 1898, кн. 2, стр. 122.

⁸⁶ Там же, стр. 123.

⁸⁷ Пушкин, т. XIII, стр. 183.

⁸⁸ Старина и новизна, 1897, кн. 1, стр. 61.

рать рифмы Дмитриева?». ⁸⁹ Итак, Вяземский считал предисловие к сочинениям И. И. Дмитриева лишь удобным случаем для публичного изложения своих общих воззрений на литературу, во многом не совпадавших и порой вступающих в противоречие со взглядами старшего поколения карамзинистов.

Рукопись Вяземского «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» испещрена пометами Карамзина, Блудова и А. И. Тургенева. Оппозиционный характер высказываний Вяземского вызвал критику со стороны умеренных арзамасцев; на одной из страниц рукописи, по-видимому рукой Д. Н. Блудова, написано: «Ваш слог (разумеется, в статье, которую мы рассматриваем) имеет только *внутреннее достоинство*: надобно подумать и о *наружном*; о правильности, опрятности, гармонии и проч., и проч. В этом довольно важном отношении ваши отрывки, небрежно и, без сомнения, наскоро писанные, должны быть не только поправлены, но, так сказать, переплавлены». ⁹⁰ Замечания о слогe отражали идейные расхождения, что явно проступает наружу в письме Карамзина к Вяземскому от 29 декабря 1821 г.: «Охота вам вольтерствовать и щелкать в каменную стену: цензура не простит за то и хорошего и весьма хорошего; и мне будет жаль, и всем, кто любит хорошее. Я дерзнул вымарать и деспота: опять, что за охота? Это все сказано и пересказано. Будьте великодушны и притупите жало, останьтесь при одном остроумии». ⁹¹

2 октября 1822 г. статья Вяземского о И. И. Дмитриеве подверглась обсуждению в Вольном обществе любителей российской словесности. Как писал Д. И. Хвостов, «чтение продолжалось два часа непрерывно»; Гнедич полностью прочел предисловие Вяземского. «Собрание состояло из 20 литераторов, — сообщил Д. И. Хвостов В. М. Перевощикову, — большую часть известных, но все замолчали. Я попросил шаров, чтобы одобрить сочинение к напечатанию. Все, будучи приверженцы модного вкуса, не согласились и положили доставить сию тетрадь историографу, чтобы он посоветовал шурина оную исправить». ⁹²

Заседание 2 октября 1822 г. свидетельствует о напряженной общественно-литературной борьбе внутри Вольного общества любителей российской словесности: умеренные члены общества, которые были на этом заседании в большинстве, выразили неодобрение оппозиционной статье Вяземского и собирались провалить ее при голосовании; слова Д. И. Хвостова о том, что он «попросил шаров, чтобы одобрить сочинение к напечатанию», конечно, насквозь ироничны. Однако передовые литераторы во главе с Бестужевым и Рылеевым, несмотря на свое несогласие с некоторыми

⁸⁹ Русский архив, 1900, кн. 1, стр. 186.

⁹⁰ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1025, л. 86.

⁹¹ Старина и новизна, 1897, кн. 1, стр. 121.

⁹² ИРЛИ, ф. 322, № 15, л. 120.

суждениями Вяземского (в первую очередь с оценкой творчества Крылова), не допустили забаллотирования статьи, отложили голосование, чтобы в дальнейшем одобрить сочинение Вяземского.⁹³

Узнав о требовании членов Вольного общества, Вяземский писал Жуковскому 21 декабря 1822 г.: «Их кровать не по моему росту; они под самое сердце хотели бы меня подрезать».⁹⁴ Несмотря на свое недовольство, Вяземский был вынужден пересмотреть свой текст. 2 февраля 1823 г. он сообщал А. И. Тургеневу: «Дмитриевскую рукопись начнут списывать с первой недели. Я и так переправленную пришлю опять к вам для доставления Обществу. Или ценсура все пропустит, или ничего не напечатает, разумеется, здесь. Но тогда переведу ее с помощью других на французский язык и напечатает в Париже, как памятник нашего варварства».⁹⁵

В течение полутора лет умеренные арзамасцы, члены Вольного общества, с оглядкой на цензуру, притупляли оппозиционное жало статьи Вяземского. Прав Н. И. Мордовченко, который писал:

⁹³ Подробнее об этом заседании Вольного общества см. мою статью «Новое о статье П. А. Вяземского „Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева“» (Русская литература, 1962, № 3, стр. 219—223). Не согласившись с моим основным выводом, В. Г. Базанов подверг сомнению мое утверждение, что на заседании 2 октября умеренные литераторы составляли большинство. «На заседании присутствовали Ф. Н. Глинка (председатель), Н. И. Гнедич (помощник председателя), А. А. Бестужев, П. А. Плетнев, И. К. Аничков, И. Д. Боровков, Е. П. Люценко, Н. И. Греч, В. Г. Анастасевич, А. А. Дельвиг, Ф. В. Булгарин, К. Ф. Рылеев, А. О. Корнилович, А. И. Данилевский, П. Н. Арапов, П. А. Теряев и В. С. Пелчинский. Большинство явно на стороне либеральной партии» (В. Базанов. Ученая республика, стр. 281). Далее, рассказывая о том, что на том же заседании 2 октября большинство голосов было против думы Рылеева «Дмитрий Донской», В. Г. Базанов замечает: «Ясно, что Глинка (председатель), Гнедич, А. Бестужев и Корнилович сочувственно относились к рылеевской поэзии. Но на собрании, кроме них, присутствовали Плетнев, Аничков, Боровков, Люценко, Греч, Анастасевич, Дельвиг, Булгарин, Данилевский, Арапов, Теряев, Пелчинский. Даже за Дельвига и Плетнева в ту пору нельзя было поручиться» (там же, стр. 284—285). Налицо явное противоречие. Недоразумение возникает и в связи с необоснованным противопоставлением термина «умеренный» термину «либеральный». Я писал не о литературных ретроградах, а об умеренных членах Вольного общества, идеология которых в своем большинстве может быть охарактеризована как либеральная. В то же время, говоря о передовых литераторах, я имел в виду Бестужева, Рылеева, Гнедича, Глинку, Корниловича, т. е. именно тех, кого и В. Г. Базанов отделяет от остальных членов общества, когда речь идет об обсуждении думы Рылеева. Но сущность нашего спора не в этой терминологической неточности. В своем дальнейшем изложении В. Г. Базанов изображает Вяземского в эти годы идейным противником Бестужева и Рылеева. В более обширном виде подобная реконструкция взглядов Вяземского сделана В. А. Архиповым и В. Г. Базановым в статье, сопровождающей перепечатку «Полярной звезды» в серии «Литературные памятники» (1960). Такая точка зрения мне представляется ошибочной.

⁹⁴ Русский архив, 1900, кн. 1, стр. 185.

⁹⁵ Остафьевский архив, т. II, стр. 298.

«Статья вышла из печати в сокращенном и обескровленном виде и далеко не отразила того, что хотел сказать Вяземский».⁹⁶

Критические статьи Вяземского этих лет нашли признание как в России, так и в Западной Европе: в конце 1821 г., а затем в начале 1823 г. он получил приглашение участвовать во французском прогрессивном журнале «Revue Encyclopédique».⁹⁷

Как известно из отрывка чернового письма Г. А. Римского-Корсакова к Вяземскому, последний отправил Жюльену статью, обличительный характер которой напугал французского редактора.^{97а} В. С. Нечаева условно датировала этот черновик концом 1824 г. Подлинник письма уточняет дату — 6 марта 1824 г. В этом письме Г. А. Римский-Корсаков писал, что Жюльен, «кажется, боится, чтоб не запретили его журнал в северных странах, чтобы было довольно простительно для человека, который имеет большую семью и не хочет лишиться нескольких десятков подписчиков <...> Вчера опять к нему ходил, и старое осталось по-старому; не мудрено, если они и оттого не берутся, что это ответ их соотечественнику».^{97б}

Из текста письма следует, что Вяземский послал Жюльену критический разбор какой-то французской книги. Речь шла о воспоминаниях врача наполеоновской армии М.-Р. Фора, о которых Вяземский писал Жюльену 20 июля 1823 г.⁹⁸

Жюльен не поместил присланный материал; в марте 1824 г. он написал Вяземскому, какого рода статьи ему нужны. В ответном письме от 21 мая Вяземский отклонил предложенную ему программу: «... вы просите невозможного, требуя сведений главным образом о фактах, которые могут характеризовать развитие и успехи цивилизации на нашей родине. Разве вы не знаете, что Россия находится в еще совсем младенческом возрасте и что говорить вам о ней — значит делать крайне жестокою критику той опеки, которая держит ее в состоянии запоздалого детства? Беседовать с вами о наших академиях, о наших ученых обществах,

⁹⁶ Н. И. Мордовченко. Ук. соч., стр. 289.

⁹⁷ Об отношении Вяземского с редакцией этого журнала см.: С. Дурьин. П. А. Вяземский в «Revue Encyclopédique». ЛН, т. 31—32, 1937, стр. 89—108; В. Нечаева. П. А. Вяземский как пропагандист творчества Пушкина во Франции. ЛН, т. 58, 1952, стр. 308—326; Ю. П. Иваск. Два письма князя П. А. Вяземского. Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956, стр. 40—55; В. И. Кулешов. Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина). Изд. МГУ, 1965, стр. 277—285.

^{97а} ЛН, т. 47—48, 1946, стр. 238—239.

^{97б} ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2658, лл. 3—4.

⁹⁸ Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956, стр. 44. — Как установлено В. С. Нечаевой, в третьей записной книжке на 16 страницах находятся выписки из книги Фора. «Хотя Вяземский сопровождает некоторые записки скептическими замечаниями, тем не менее мрачная картина помещицкой и крепостной России, которую нарисовал француз, вероятно, показалась Вяземскому достойной внимания» (П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 364).

литературных, филантропических и т. д. — это значило бы составлять газетные статьи; но для этого надо сначала запастись соевостью газетного писака, на что я чувствую себя неспособным. Я вижу свою национальную гордость не в том, чтобы торжествовать по поводу того, что у нас есть, а в том, чтобы сожалеть о недостающем. Я не принадлежу к нищим, старающимся выставить напоказ богатства, которых они не имеют, а скорее принадлежу к тем, которые нарочно показывают свои лохмотья, потому что считают себя достойными лучшей судьбы. И все мои благомыслящие соотечественники, конечно, разделяют мое мнение».⁹⁹

То, что, по цензурным условиям, Вяземский недоговаривал в своих критических статьях, он в полный голос сказал в письме к Жюльену, без обиняков раскрыв всю глубину своего возмущения аракчеевским режимом Александра I.

⁹⁹ ЛН, т. 31—32, 1937, стр. 94—95. Подлинник по-французски. — Сохранилось более позднее письмо Вяземского к Г. А. Римскому-Корсакову: «Нет ли у тебя, любезный друг, журналов парижских *Pandore*, *le Miroir* или других театральных и литературных на 1824-й, 25-й и 26-й годы? Сделай одолжение, пришли и все, что имеешь о театре. — Ты меня совсем забыл, а я к тебе ездить не смею. Вспомни обо мне в досужую минуту. Вяз.

«Вторник. Не помнишь ли, когда давали трагедию Карла 6-го, в которой Тальма был так превосходен?» (ЦГАЛИ, ф. 462, оп. 2, № 1). — Письмо Вяземского было вызвано его работой над статьей о Тальма, напечатанной в «Московском телеграфе» (1827, ч. 13, отд. 2, стр. 48—82; ценз. разр. 3. I 1827), что позволяет датировать его концом 1826 г.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВЯЗЕМСКИЙ — ТЕОРЕТИК РУССКОГО РОМАНТИЗМА

Будучи связующим звеном между классицизмом и реализмом, романтизм включает в себя реликты предшествующей художественной системы и постепенно подготавливает элементы последующей. Это положение имеет особое значение для русского романтизма, ибо в нем совмещение элементов классицизма и реализма было более интенсивным, чем на Западе, из-за ускоренного развития отечественной литературы в начале XIX в. Быстрый темп развития обусловил своеобразие и сложность русского романтизма, предопределил отличие в борьбе между романтиками и классиками на Западе и у нас. Уже Пушкин писал о том, что нельзя ставить знак равенства между сменой литературных направлений в Западной Европе и в России. В письме к Вяземскому Пушкин, похвалив предисловие к «Бахчисарайскому фонтану», не удержался тем не менее от замечания по существу: «... твой Разговор более писан для Европы, чем для Руси. Ты прав в отношении романтической поэзии. Но старая <----> классическая, на которую ты нападаешь, полно существует ли у нас? это еще вопрос».¹ Эта же мысль высказана Пушкиным в открытом письме к издателю журнала «Сын отечества»: «Автор очень рад, что имеет случай благодарить князя Вяземского за прекрасный его подарок. „Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова“ писан более для Европы

¹ Пушкин, т. XIII, стр. 91. Письмо от начала апреля 1824 г. Тогда же Жуковский писал Вяземскому: «За твое предисловие к Б<ахчисарайскому> фонтану обнимаю тебя; оно мне очень, очень понравилось; расшевелило во мне какое-то стародавнее желание выдавать что-нибудь вместе с тобою. У нас давно, т. е. у меня, Дашкова и Блудова, гнездится это желание» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1909, л. 181). Ср.: ЛН, т. 58, стр. 40.

вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения».² Как уже заметил Ю. Тынянов, за комплиментом Вяземскому скрывается, по сути дела, несогласие с тем, что автор предисловия к «Бахчисарайскому фонтану» удовлетворился западноевропейским делением на романтиков и классиков.

Исследуя литературную полемику того времени, Ю. Тынянов писал о том, что следует «говорить об архаистическом течении с его разновидностями и разными фазами, а не об узкой „Беседе“»,³ что внутри этого направления необходимо различать старших архаистов и младоархаистов. По аналогии с делением внутри архаистического лагеря Ю. Тынянов предложил выделить младокарамзинистов в лагере сторонников Карамзина. Безусловно, выделение младоархаистов и младокарамзинистов объясняет некоторые частности полемики тех лет, например спор между Катениным и Бестужевым: «При ключе, который дает различие архаистического (в данном случае младоархаистического) и карамзинистского (в данном случае младокарамзинистского) течений взамен различия романтизма и классицизма, расшифровываются такие непонятные, казалось бы, явления, как полемика и борьба Катенина с „романтиком“ Бестужевым. Катенин боролся с Бестужевым вовсе не потому, что изменил „романтизму“, а потому, что в Бестужеве видел младокарамзиниста».⁴ Эта же причина объясняет литературные стычки между Вяземским и Катениным.

Деление, предложенное Ю. Тыняновым, должно быть принято, но его не следует противопоставлять делению на романтиков и классиков, ибо они не исключают, а дополняют друг друга. Между тем, Ю. Тынянов преувеличил значение архаистов в литературной полемике середины 1820-х годов. Трудно согласиться с высказанным им мнением, что «в 1824, 1825 годах битвы классиков и романтиков были оттеснены на задний план битвами „славян“, борьбой архаистов».⁵ Хронологическая канва основных полемических выступлений младоархаистов, сделанная Ю. Тыняновым, не подтверждает его мысль: «В 1815/16 годах ведется жестокая борьба против Жуковского, причем застрельщиком выступает старший архаист Шаховской в „Липецких водах“, но истинный смысл борьбы, ее глубокие основы выясняют младшие архаисты, Катенин и Грибоедов, и в борьбе против баллады Жуковского и в полемике вокруг баллады Катенина.

«В 1822 году вокруг „Опыта краткой истории русской литературы“ Греча завязывается полемика Катенина и Бахтина

² Пушкин, т. XI, стр. 20.

³ Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., изд. «Прибой», 1926, стр. 104.

⁴ Там же, стр. 131—132.

⁵ Там же, стр. 89.

(ученика Катенина) с Бестужевым, Гречем и Сомовым, помогающая уяснить взгляды архаистов на состав литературного языка и на разное значение старых авторитетов, которые у старших архаистов сливались в одно.

«Наконец, к 1824 году относится полемика Кюхельбекера относительно высоких и средних литературных жанров, связанных с вопросом о литературном стиле».⁶

Из этого перечня видно, что наиболее значительные выступления младоархаистов относятся ко второй половине 1810-х и к началу 1820-х годов. Выступление Кюхельбекера в «Мнемозине» в 1824 г. явилось уже заключительным выступлением младоархаистов. В середине 1820-х годов, по мере того как под влиянием новых литературных веяний изживалось младоархаистическое движение, усиливалось значение споров между романтиками и классиками. Однако это не было возобновлением старой распри между карамзинистами и шишковистами. Диалектика историко-литературного развития существенно видоизменила и усложнила понятие классика, отбросив в лагерь литературных староверов многих карамзинистов. Ценный материал по данному вопросу дает черновик записей Кюхельбекера за 1824 г.:

«Январь <...> Явная война романтиков и классиков, равно образовавшихся в школе Карамзина. — Бахчисарайский фонтан Пушкина; — 1-е сражение при оном или разговор Издателя с Классиком. — Книгопродавцы и публика берут сторону Пушкина: классики не смеют напасть на самую поэму.

«Февраль <...> Второе сражение при Бахчисарайском фонтане или стихотворцы Вестника Европы не хотят быть прозаиками <...> Кн. Вяземский, начальник передового войска романтиков, издатель Бахчисарайского фонтана <...> Классики ему противопоставят М. Дмитриева и Писарева. Сражения в Вестнике Европы и Дамском журнале следуют одно за другим <...>

«Март. Мнемозина, 1-я часть. Кюхельбекер передается славянофилам <...>

«Июль. Вторая часть Мнемозины <...> Пролог к Аргивянам трагедии с хорами и первые военные действия Кюхельбекера противу элегических стихотворцев и эпистологов — впрочем он отнюдь не соединяется с гг. Классиками.

«Август <...> Германо-Россы и Русские Французы прекращают свои междуусобицы, чтобы не (?) соединиться им противу Славян, равно имеющих своих Классиков и Романтиков: Шишков и Шихматов могут быть причислены к первым; Катенин, Г. . . , Шаховской и Кюхельбекер ко вторым».⁷

⁶ Там же, стр. 106.

⁷ Литературные портфели, вып. 1. Пгр., 1923, стр. 72—75. Публикация Б. В. Томашевского. Сокращением «Г. . .» Кюхельбекер, конечно, обозначил Грибоедова.

Черновик Кюхельбекера констатирует наличие четырех литературных группировок: классиков-шишковистов, классиков-карамзинистов, романтиков-архаистов и романтиков-карамзинистов.

Однако классификация Кюхельбекера, точная для 1824 г., не исчерпывает этого вопроса при рассмотрении его в историческом аспекте. С середины 1820-х годов из среды романтиков-карамзинистов выкристаллизовывается два направления: правочерные романтики (Бестужев, Н. Полевой) и «истинные» романтики (по терминологии Пушкина), которые явственно стремятся к реализму. Таким образом, в 1820-е годы в русском романтизме отчетливо проступают три ответвления, одно из которых указывает на воздействие классической традиции, второе — представляет отражение романтических принципов, а третье — обнаруживает тенденцию перехода к новой художественной системе, к реализму.

Учитывая наличие различных литературных группировок, рассмотрим предисловие Вяземского к первому изданию «Бахчисарайского фонтана». 4 ноября 1823 г. Пушкин писал Вяземскому: «Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма<...> припиши к „Бахчисараю“ предисловие или послесловие, если не ради меня, то ради твоей похотливой Минервы, Софьи Киселевой; прилагаю при сем полицейское послание, яко материал; почерпни из него сведения (разумеется, умолчав об их источнике). Посмотри также в „Путешествии“ Апостола-Муравьева статью „Бахчисарай“, выпиши из нее что поспоснее — да заворижи все это своею прозою, богатой наследницею твоей прелестной поэзии, по которой ношу траур».⁸

Судя по этому письму, Пушкин просил Вяземского дополнить «Бахчисарайский фонтан» этнографическим описанием, желая тем самым, вероятно, усилить местный колорит поэмы. Вяземский посмотрел книгу И. М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 году» (СПб., 1823) и даже сослался на нее в своем предисловии, упомянув о том, что автор не считает исторически обоснованным предание, взятое в основу пушкинской поэмы. В ответ на возмущенный возглас Классика: «Где же достоинство поэзии, если питать ее одними сказками?», — Вяземский отвечает словами Издателя: «История не должна быть легковерна; поэзия напротив. Она часто дорожит тем, что первая отвергает с презрением, и наш поэт очень хорошо сделал, присвоив поэзии Бахчисарайское предание, и обогатив его правдоподобными вымыслами; а еще и того лучше, что он воспользовался тем и другим с отличным искусством. Цвет местности сохранен в повествовании

⁸ Пушкин, т. XIII, стр. 73. — О роли С. С. Киселевой (урожденной Потюхой) в создании поэмы Пушкина см.: Л. П. Гроссман. У истоков «Бахчисарайского фонтана». В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., Изд. АН СССР, 1960, стр. 49—100.

со всею возможною свежестью и яркостью. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чувствах, в слоге» (I, 171—172).

Сделав мимоходом это замечание, Вяземский не углубился в этнографические подробности. Он по-своему исполнил просьбу Пушкина, написав в форме предисловия к поэме манифест русского романтизма — «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова». 10 сентября 1823 г. Вяземский сообщал А. И. Тургеневу: «Какой-то шут Цертелев или Сомов⁹ лается на меня в „Благонамеренном“ под именем жителя Васильевского острова или Выборгской стороны».¹⁰ Обзорные статьи, напечатанные в «Благонамеренном» в 1823 г., показывают, что в этом журнале под псевдонимом то «Жителя Васильевского острова», то «Жителя Выборгской стороны» печатались статьи с резкими нападками на романтизм. В статье «Немногое для многих» (ч. XXI, стр. 210—216) помещены стихотворные пародии на романтических поэтов, а в комментариях к ним высмеивается основное требование романтиков о наличии в поэзии отпечатка местности и народности. В статье «О питической нагоде, или наивности» (ч. XXI, стр. 439—442) подвергнута критике поэма «Руслан и Людмила» за вольности эротического характера и там же приведена издевательская характеристика романтиков: «Из сего краткого рассуждения очевидно, что *питическая нагота* (по старой школе *неблагопристойное*), *дивное* (по старой школе) *вздорное* и *таинственное* (по стар^{ой} школе) *бестолковое* составляют главнейшие красоты новой школы» (там же, стр. 441). Против романтиков направлены также статьи «О переводах» (ч. XXII, стр. 97—109), «Хорошие стихи» (ч. XXII, стр. 112—123), «Грозный приговор» (ч. XXII, стр. 141—154), «Отрывки из моего журнала» (ч. XXIII, стр. 62—66). Итак, в «Благонамеренном» шел непрерывный обстрел романтической поэзии.

19 августа 1823 г. Пушкин, предлагая переиздать «Руслана и Людмилу» и «Кавказского пленника», писал Вяземскому: «... возьми на себя это 2 издание и освяти его своею прозой, единственною в нашем прозаическом отечестве. Не хвали меня, но побрани Русь и русскую публику — стань за немцев и англичан — уничтожь этих маркизов классической поэзии».¹¹ Второе издание поэм Пушкина Вяземский не предпринял, но за то в предисловии к «Бахчисарайскому фонтану», исполняя желание Пушкина, он напал на «маркизов классической поэзии». К началу

⁹ Под псевдонимом «Житель Васильевского острова» писал Н. А. Цертелев (см.: И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов, т. IV. М., Изд. Всесоюзной книжной палаты, 1960, стр. 507). Сомнение Вяземского, кому принадлежал этот псевдоним, было вызвано тем, что О. М. Сомов имел схожие псевдонимы — «Галёрный житель», «Житель Галерной гавани» (там же, стр. 449).

¹⁰ Остафьевский архив, т. II, стр. 346.

¹¹ Пушкин, т. XIII, стр. 66.

1824 г. определилась форма предисловия и его название. Сообщая А. И. Тургеневу о скором выходе в свет поэмы Пушкина, Вяземский писал 17 января 1824 г.: «„Фонтан“, а не „Ключ“: сколько раз я тебе говорил <...> Я готовлю к нему „Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны“». ¹²

Пolemический тон предисловия и некоторые выражения вызвали опасения цензора А. Ф. Мерзлякова. Вяземский писал по этому поводу А. И. Тургеневу: «Вот тебе pour les mémoires du temps, или «скандальной хроники нашей, письмо мое к Мерзлякову по случаю представленной мною прозаической статьи для „Бахчисарая“, который выйдет на днях. Мерзляков уступил и написал мне ответ, в коем обнажается его добрая душа. Жаль, что он одурел в университетской духоте». ¹³ Письмо Вяземского к Мерзлякову неизвестно, но ответ последнего сохранился — вот его текст:

«Милостивый государь
князь Петр Андреевич!

«Вчера представлена была рукопись Вашего сиятельства в комитет цензурный. При сем имею честь ее возвратить Вам подписанную мною.

«Члены заметили некоторые места, которые просят Вас покорнейше несколько помягчить. — Сказать правду, мы ничего более не боимся, как авторских ссор, а из Петербурга нам бесперывно голову моют за неудовольствия между чадами Аполлона! — В чужом пиру похмелье! — Ради бога, будьте к нам более справедливы, или жалостливы! —

«1. На 1-й странице: что значит прибавление с Выборгской стороны или Васильевского острова? — Нельзя ли обойтись без сей прибавки, которая как бы указывает на человека, с которым вы разговариваете? — но это еще так! — и потому я не подчеркнул.

«2. Стр. 3: волнение романтическое и мятежническое. — Нельзя ли сего последнего слова смягчить: можно сказать напр. без убытку: бурное, шумное и пр. — Мятеж совсем другое имеет значение.

«3. Стран. 4: местные, насильственные начальства. Здесь начальство не объясняет, кажется, вашей мысли, и не может быть также перенесено как выше держава. Писатели царствуют над умами своих подражателей и современников, а не начальствуют насильственно. — Впрочем, и это можно оставить, если не захотите выбрать другого слова.

¹² Остафьевский архив т. III, стр. 4.

¹³ Там же, стр. 13. — О своеобразии позиции Мерзлякова см.: Ю. М. Лотман, А. Ф. Мерзляков как поэт. В кн.: А. Ф. Мерзляков. Стихотворения. Л., изд. «Советский писатель», 1958, стр. 48—50; Н. В. Королева, Тютчев и Пушкин. В кн.: Пушкин, Исследования и материалы, т. IV. М.—Л., Изд. АН СССР, 1962, стр. 184—187.

«4. Страница 6. — *Мы любим раболепствовать*: не лучше ли сказать *частно и определительнее*: Авторы любят раболепствовать

«5. Стр. 8. На что впутывать сюда *Вестника Европы и Благонамеренного*? — Ваше сиятельство! пощадите их! — и что убудет или прибудет в вашей пиесе, если вы обойдетесь без неприятностей говорить на лица прямо?»

«Стр. 10 — внизу: в стихотворениях, печатаемых в наших журналах, поставить я думаю можно также не упоминая *Вестника Европы*.

«Стр. 11. Что мой собеседник *не скуднее и не тупее*: это значит, говоря с одним, бить всех! — Нельзя ли помягчить и этих слов! — Сами же говорите здесь о личностях и насмешниках!..

«Наконец, я оставил место для выписки из Апостола-Муравьева.

«Вот все, Ваше сиятельство, не сердитесь на нас и не вводите в хлопоты. — Я бы рад сердечно отказаться от этого дела: — но велит служба.

«С совершенным почитанием и преданностью честь имею пребыть

Вашего сиятельства

покорнейший слуга

А. Мерзляков.

26 февраля 1824». ¹⁴

Пolemические упоминания «Благонамеренного» и «Вестника Европы» Вяземский не счел возможным исключить и они остались в тексте предисловия. В то же время, идя навстречу пожеланиям цензурного комитета, он заменил некоторые выражения: вместо «волнение романтическое и мятежническое» в печатном тексте мы читаем «волнение романтическое и противузаконное»; вместо «местные, насильственные начальства» — «местные наследственные власти»; вместо «Мы любим раболепствовать» — «Наша братья любит раболепствовать»; вместо «что мой собеседник не скуднее и не тупее» — «что мой собеседник под парю». Таким образом, цензурное вмешательство оказалось минимальным, и в данном случае Вяземскому удалось представить читателю свою статью в полном виде, без искажений и недомолвок. 10 марта 1824 г. издание «Бахчисарайского фонтана» с предисловием Вяземского вышло из печати и поступило в продажу.

В этом предисловии Вяземский связал воедино проблему народности литературы с проблемой ее романтического направления:

Издатель <...> Что есть народного в «Петриаде» и «Россиаде», кроме имен?

Классик. Что такое народность в словесности? Этой фигуры нет ни в пиитике Аристотеля, ни в пиитике Горация.

¹⁴ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2305, лл. 3—4.

Издатель. Нет ее у Горация в пиитике, но есть она в его творениях. Она не в правилах, но в чувствах. Отпечаток народности, местности — вот что составляет, может быть, главное существеннейшее достоинство древних, и утверждает их право на внимание потомства<...>

Классик. Уж вы, кажется, хотите в свою вольницу романтиков завербовать и древних классиков. Того смотри, что и Гомер и Вергилий были романтики.

Издатель. Назовите их, как хотите; но нет сомнения, что Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношений с главами романтической школы, чем с своими холодными, рабскими последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним числом. Неужели Гомер сотворил «Илиаду», предугадывая Аристотеля и Лонгина и в угождение какой-то классической совести, еще тогда не вымышленной? Да и позвольте спросить и у себя и у старейшин ваших, определено ли в точности, что такое романтический род, и какие имеет он отношения и противоположности с классическим? Признаюсь, по крайней мере за себя, что еще не случилось мне отыскать ни в книгах, ни в уме своем, сколько о том ни читал, полного, математического, удовлетворительного решения этой задачи (I, 169—170).

Отрицая метафизическое противопоставление классицизма романтизму, Вяземский выдвигает историческую точку зрения на развитие литературы, исходя из которой и классицизм античности, и романтизм нового времени являются художественным выражением народности литературы. Такая постановка вопроса разрушала искусственные перегородки, построенные подражателями Аристотеля при изучении истории литературы, и проводила резкую демаркационную линию между классицизмом и ложноклассицизмом; она лишала рутинеров и консерваторов права на монопольное владение литературным наследством античности и выбивала из арсенала их аргументов самые сильные доводы против романтиков. Это было решительное наступление романтизма на ложноклассицизм, битва передовых романтиков с обветшалыми метафизическими воззрениями, причем, что особенно важно, это была битва непосредственно на территории классицизма.¹⁵

¹⁵ Уже Кюхельбекер в своем черновом наброске заметил, что именно в новой постановке вопроса об отношении античной литературы к романтизму заключается главная ценность предисловия к «Бахчисарайскому фонтану»: «Преимущество кн. Вяземского перед классиками состоит в одной новой мысли, единственной в продолжении всех сих утомительных состязаний. Некоторые древние поэты скорее бы признали великих романтиков своими товарищами, нежели наших мнимых классиков» (Литературные портфели, вып. 1, стр. 74).

Большую помощь в уточнении позиции Вяземского-критика может оказать сопоставление его взгляда на романтизм с литературными манифестами романтиков на Западе. В своем предисловии Вяземский отзывается с похвалой о работах Шлегеля и мадам де Сталь, книгу которой «О Германии» он впоследствии называл кормчей книгой французского романтизма. Авторитет мадам де Сталь был общепризнан в пушкинском кругу, и нет сомнения в том, что ее взгляды повлияли на теоретические построения русских романтиков. Хотя в своих общих рассуждениях о христианском характере современной литературы она следовала за Шатобрианом, но в отличие от него в ее работах главный упор делается не на религиозную основу литературы, а на ее народность: «Французская поэзия является самой классической из всех современных поэзий и вместе с тем единственной, которая далека от народа. Венецианские гондолеры поют стансы Тассо; испанцы и португальцы всех слоев общества знают наизусть стихи Кальдерона и Камоенса. В Англии народ так же, как и высшие классы, восторгается Шекспиром. Поэмы Гете и Бюргера переложены на музыку, и их повторяют от берегов Рейна до Балтийского моря. Все образованные люди у нас и в других странах Европы восторгаются французскими поэтами; но они совершенно неизвестны людям из народа и даже городскому буржуазному сословию, потому что искусство во Франции, в противоположность другим странам, не зародилось на почве той страны, в которой развиваются его красоты. Романтическая литература является единственной, которая еще может совершенствоваться, так как, будучи связана с нашей родной землей, только она может расти и возрождаться; она выражает нашу религию; она напоминает нашу историю; ее происхождение древнее, но не античное».¹⁶

Суждения мадам де Сталь оказали влияние на предисловие к «Бахчисарайскому фонтану», указав Вяземскому на взаимосвязь проблемы народности и романтического направления литературы. Однако в западноевропейской критической литературе встречаются работы, в которых высказаны положения, еще более близкие к основной мысли «Разговора между Издателем и Классиком», нежели труды мадам де Сталь; речь идет о статье итальянского романтика Берше «Полусерьезное письмо Гривостомо», напечатанной в 1816 г., и о сочинении Стендаля «Расин и Шекспир», опубликованном в марте 1823 г.

Берше писал: «Я не побоюсь ошибиться, сказав, что Гомер, Пиндар, Софокл, Еврипид и т. д. и т. д. в свое время были в известном отношении романтиками, потому что они воспевали не египетские и халдейские деяния, а свои, греческие; так же как

¹⁶ Mme de Staël, Oeuvres complètes, v. II, Paris, 1820, p. 276. — О взглядах мадам де Сталь см.: Б. Г. Рейзов. Между классицизмом и романтизмом. Изд. ЛГУ, 1962, стр. 50—121.

и Мильтон воспевал не гомеровские суеверия, а — христианскую традицию». ¹⁷ Далее Берше утверждал, что если бы Гомер, Пиндар и Софокл жили в наши дни, то различие в эпохах привело бы к изменению в содержании их произведений, а изменение содержания привело бы к изменению формы, и «Гомер, Пиндар, Софокл, вольно или невольно, были бы поэтами-„романтиками“». ¹⁸

Аналогичную мысль высказал Стендаль в сочинении «Расин и Шекспир». Определив романтизм как искусство давать народам литературные произведения, которые, при нынешнем состоянии их привычек и верований, способны доставлять им наибольшее удовольствие, Стендаль писал: «Софокл и Еврипид были выдающимися романтиками; они давали грекам, собиравшимся в афинском театре, трагедии, которые, сообразно с моральными привычками этого народа, его религией, его предрассудками, относящимися к тому, что является достоинством человека, должны были доставлять народу самое большое удовольствие. Подражать в настоящее время Софоклу и Еврипиду и рассчитывать на то, что французы XIX в. не будут зевать от этих подражаний, это — классицизм». ¹⁹

Возникает законный вопрос: были ли знакомы Вяземскому в начале 1824 г. эти статьи Берше и Стендаля? Скорее всего можно полагать, что статью Берше Вяземский не читал, ибо письма и статьи Вяземского не обнаруживают его знакомства с трудами итальянских теоретиков романтизма; «Расина и Шекспира» Вяземский безусловно читал, но прочел ли он это сочинение Стендаля до написания «Разговора между Издателем и Классиком» — неизвестно: «Расин и Шекспир» был издан во Франции в марте 1823 г., а Вяземский писал предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» в конце 1823 г. и в самом начале 1824 г. С большей долей вероятности можно предполагать, что к моменту написания предисловия эта работа Стендаля ему не была известна, в противном случае вряд ли он не упомянул бы имя Стендаля наряду с именами Шлегеля и мадам де Сталь.

Итак, по всей вероятности, Вяземский самостоятельно пришел к своему основному положению. Характерно, что из различных теоретических построений западноевропейских романтиков ему оказались наиболее близкими прогрессивные взгляды Стендаля и Берше. Стендаль во Франции, Берше в Италии, Вяземский в России были теоретиками литературы, для которых главное в романтическом учении составляло стремление к народности, к обновлению словесности.

Таким образом, сопоставив позицию Вяземского с различными литературно-критическими взглядами того времени, можно

¹⁷ G. Berchet. Opera, v. II. Bari, 1912, p. 20.

¹⁸ Ibid., p. 29.

¹⁹ Stendhal. Racine et Shakespeare. Paris, 1854, pp. 32—33.

утверждать, что его воззрения предвосхищали ту концепцию, которую Пушкин вскоре обозначил термином «истинного» романтизма. Между тем в научной литературе высказывались и иные предположения, утверждалось, что Вяземский-критик принадлежал к тому течению в романтизме, «которое отпавлялось от традиции карамзинской школы и развивало в своей практике принцип субъективизма».²⁰ Обосновывая эту мысль, Н. И. Мордовченко писал: «Романтики школы Карамзина развивали в своей деятельности преимущественно идеи личности и ее прав; романтики из круга „славян“ сосредоточили свои усилия главным образом на разработке идей народности и национальной самобытности».²¹

Этот тезис игнорирует эволюцию карамзинизма в 1820-е годы, не учитывает того, что романтики из лагеря Карамзина разделились на правоверных и «истинных» романтиков. Вяземский, по мнению Н. И. Мордовченко, лишь развивал эстетические принципы Карамзина. На самом деле Вяземский шел во многом собственным путем: в своей исходной позиции он был ближе к эстетике классицизма, чем к предромантическим эстетическим идеалам, оказавшим заметное влияние на Карамзина, и эта разность безусловно сказалась на отличии их литературных воззрений.

Противопоставление идеи личности и идеи народности не представляется нам правомерным. Исходя из подобного членения, Вяземский должен был развивать в своих статьях преимущественно идею личности и ее прав; между тем сам же Н. И. Мордовченко признавал: «Ратуя за национальную самобытность русской литературы, Вяземский заявлял себя поэтому сторонником романтического направления».²²

Каким же образом у Вяземского, Бестужева и Рылеева, не принадлежавших к романтикам из «славян», идея национальной самобытности стала краеугольным камнем их эстетической позиции? Пытаясь объяснить возникшее противоречие, Н. И. Мордовченко писал: «В трактовке романтизма Бестужев очень близко подошел к Вяземскому. В самом деле, и для Вяземского, как и для Бестужева, национально-историческая гражданская тема являлась главным и ведущим признаком романтизма. И Вяземский, подобно Бестужеву, понимал эту тему в субъективно-лирическом плане».²³ Если придерживаться этого взгляда, то выходит, что одни романтики (например, Кюхельбекер) воспринимали национально-историческую тему в объективном плане, а другие романтики (Вяземский, Бестужев) — в субъективно-лирическом

²⁰ Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX века, стр. 213.

²¹ Там же, стр. 146—147.

²² Там же, стр. 179.

²³ Там же, стр. 200.

аспекте. Думается, что подобное разграничение не помогает уяснению различных оттенков внутри русского романтизма.

Термин *субъективизм* многозначен. Если брать его в высшем, философском значении, то им можно оперировать лишь в применении к сугубо романтическим произведениям. Если же этот термин трактовать ограничительно, в смысле внимания к проблеме личности, то такое субъективное начало в большей или меньшей степени присуще любому художественному произведению того времени. Поэтому представляется неверным вывод, что «субъективизм отчетливо проявился не только в критическом методе Вяземского, но субъективизм провозглашался им также в качестве ведущего лозунга романтической поэзии».²⁴

На наш взгляд, литературно-критическую позицию Вяземского этих лет следует сближать не с эстетической системой Карамзина, а с нарождавшимися воззрениями «истинных» романтиков.

Предисловие Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» вызвало полемику между ним и М. А. Дмитриевым,²⁵ который, оставив в стороне основную мысль «Разговора между Издателем и Классиком», обрушился на гипотезу Вяземского о германском влиянии на русскую литературу. В предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» Классик жаловался на то, что новая романтическая школа искажает язык Ломоносова. Возражая ему, Издатель утверждал, что «законы языка нашего еще не приведены в уложение; и как жаловаться на новизну выражений? Разве прикажете подчинить язык и поэтов наших китайской неподвижности?» (I, 168). Далее следовал следующий диалог:

Классик. Зачем же по крайней мере давать русским словам физиогномию немецкую? Что значит у нас этот дух, эти формы германские? Кто их ввел?

Издатель. Ломоносов!

Классик. Вот это забавно!

Издатель. А как же? Разве не он брал в вводимом стихосложении своем съемки с форм германских? Разве не подражал он современным немцам? Скажу более. Возьмите три знаменитые эпохи в истории нашей литературы, вы в каждой найдете отпечаток германской. Эпоха преобразования, сделанная Ломоносовым в русском стихотворстве, эпоха преобразования в русской прозе, сделанная Карамзиным, нынешнее волнение, волнение романтическое и противузаконное, если так хотите назвать его, не явно ли показывают господствующую наклонность литературы нашей!

²⁴ Там же, стр. 306.

²⁵ Полемические статьи М. А. Дмитриева печатались в «Вестнике Европы» (1824, №№ 5, 7, 8), ответные статьи Вяземского — в «Дамском журнале» (1824, №№ 7, 8, 9).

Итак наши поэты современники следуют движению, данному Ломоносовым; разница только в том, что он следовал Гинтеру и некоторым другим из современников, а не Гете и Шиллеру (I, 168—169).

Это полемическое преувеличение Вяземского было заострено против литературных староверов двух поколений. Ход мысли Вяземского примерно был таков: вы, классики-шишковисты, держитесь за Ломоносова, но ведь Ломоносов учился у немцев; вы, классики-карамзинисты, держитесь за Карамзина, но и Карамзин учился у немцев. Почему же нам, романтикам, запрещается учиться у них? Таково происхождение гипотезы Вяземского, и естественно, что именно эта полемически нацеленная мысль критика вызвала ожесточенные возражения М. А. Дмитриева. Между тем эта второстепенная мысль Вяземского явно переоценивается современными историками литературы. Вот что писал Н. И. Мордовченко по этому поводу: «Концепция Вяземского о «германском влиянии» на русскую литературу, явившаяся главной причиной последовавшей затем бурной полемики Вяземского с М. Дмитриевым, по сути дела снимала проблему самобытности русской литературы и ее национального своеобразия».²⁶ Остается непонятным, как можно согласовать положение о том, что Вяземский ратовал за самобытность русской литературы с утверждением, что его концепция снимала эту проблему. Достаточно вспомнить выступление Вяземского против Булгарина в «Замечаниях на краткое обозрение русской литературы 1822 года», в котором критик отстаивал оригинальный характер лучших произведений отечественной словесности; достаточно вспомнить слова Вяземского, что он пойдет «в потомство с российским гербом на лбу»; достаточно вспомнить, что в предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» Вяземский с позиции просветительского историзма соединил воедино вопрос о народности и романтизме — как станет очевидным необоснованность обвинения Вяземского в недооценке самобытности русской литературы. Взаимовлияние национальных литератур — непреложный факт, несколько не противоречащий тому, что каждая литература развивается по своим специфическим законам, обусловленным историческими судьбами данного народа.

Предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» получило высокую оценку Пушкина: «Сейчас возвратился из Кишинева и нахожу письма, послышки и „Бахчисарай“. Не знаю, как тебя благодарить; „Разговор“ прелесть, как мысли, так и блистательный образ их выражения. Суждения неоспоримы. Слог твой чудесно шагнул вперед».²⁷

²⁶ Н. И. Мордовченко. Ук. соч., стр. 305.

²⁷ Пушкин, т. XIII, стр. 91. Письмо от начала апреля 1824 г.

Между тем в одном вопросе Пушкин хотел поспорить с Вяземским — деление русских писателей на романтиков и классиков, по мнению Пушкина, не было достаточным. Он собирался написать возражения, но так и не написал. Что помешало Пушкину выступить со своими замечаниями? Возможно, он не захотел вклиниваться в полемику между Вяземским и М. А. Дмитриевым; он ограничился открытым письмом к редактору «Сына отечества», в котором благодарил Вяземского за предисловие и в то же время оговорил свою позицию.²⁸

Второе издание «Бахчисарайского фонтана» также вышло с предисловием Вяземского. При третьем издании поэмы Пушкин исключил предисловие, которое к 1830 г. перестало быть злободневным, и заменил его посвящением поэмы Вяземскому; оно, однако, помещено не было, что вызвало недовольство Пушкина: «Отчего не напечатано мое посвящение тебе в третьем издании „Фонтана“? Неужто мой цензор не пропустил? Это для меня очень досадно», — жаловался он Вяземскому 2 мая 1830 г.²⁹ В сохранившемся черновике этого посвящения Пушкин писал: «Посвящаю тебе стихотворение, некогда явившееся под твоим покровительством и которое тебе обязано было большею частью успехом». Да будет оно залогом нашей неизменной дружбы и скромным памятником моему уважению к благородному твоему характеру и любви к твоему прекрасному таланту». А. П.»³⁰

Беловой текст посвящения не разыскан. В 1835 г. в последнем прижизненном издании «Бахчисарайского фонтана» (в составе «Поэм и повестей») посвящение также отсутствует. Полагаем, что это посвящение, не попавшее по цензурным соображениям в издание «Бахчисарайского фонтана», следует помещать в вариантах к поэме.

Белинский придавал большое значение предисловию к «Бахчисарайскому фонтану», что видно из его характеристики деятельности Вяземского: «При именах Жуковского и Батюшкова нельзя не вспомнить имени князя Вяземского. Он действовал как поэт и как критик, и в обоих случаях деятельность его всегда вызывалась каким-нибудь обстоятельством. Все стихотворения его — то, что французы называют *pièces de circonstance*. Общий характер их светский, салонный; но между ними некоторые показывают

²⁸ Т. Г. Цявловская писала об этой полемике в связи с выражением «журнальные клеветы», пущенным в ход Вяземским и использованным затем Пушкиным в стихотворении «О муза пламенной сатиры» (Пушкин на юге. Труды пушкинской конференции Одессы и Кишинева, Кишинев, 1961, стр. 155—160). Судя по письму Я. И. Сабурова от 12 мая 1824 г., откликом Пушкина на эту полемику явилась эпиграмма «Охотник до журнальной драки». «Она за Вяземского», — писал Я. И. Сабуров (ЛН, т. 58, М., 1952, стр. 44).

²⁹ Пушкин, т. XIV, стр. 87.

³⁰ Пушкин, Справочный том, стр. 40. Датируется октябрём 1829 г. — февралём 1830 г.

в поэте живого свидетеля вечера жизни Державина, воспитанника Карамзина, друга Жуковского и Батюшкова. Как автор двух статей критического содержания — «О характере Державина» и «О жизни и сочинениях Озерова», князь Вяземский более замечателен, нежели как поэт. В этих статьях он является критиком в духе своего времени, но без всякого педантизма, судит свободно, не как ученый, а как простой человек с умом, вкусом и образованием, и излагает свои мысли с увлекательным жаром и красноречием, изящным языком. С появлением Пушкина для князя Вяземского настала новая эпоха деятельности: стихотворения его, не изменившись в духе, изменились к лучшему в форме; а прозаические статьи его (как, например, разговор классика с романтиком, вместо предисловия к «Бахчисарайскому фонтану») много способствовали к освобождению русской литературы от предрасудков французского псевдоклассицизма».³¹

Место Вяземского-критика в романтическом движении выступает особенно рельефно при сопоставлении его взглядов с воззрениями других деятелей русского романтизма (Грибоедова, Кюхельбекера, Бестужева, Рыльева), при обзоре их взаимоотношений.

К 1823—1825 гг. относится сближение Вяземского с Грибоедовым. Они пишут вдвоем водевиль «Кто брат, кто сестра»,³² совместно выступают против М. Дмитриева и А. Писарева, которые на страницах «Вестника Европы» подвергли резкой критике комедию Грибоедова. Помимо статей, М. Дмитриев и А. Писарев обрушились градом эпиграмм на Грибоедова и Вяземского; разгорелась эпиграмматическая полемика. Недавно в бумагах Вяземского удалось обнаружить неизвестную эпиграмму Грибоедова на М. Дмитриева и А. Писарева.³³ В руках Вяземского находились и другие, до сих пор не разысканные эпиграммы Грибоедова, что видно из его письма от 21 апреля 1824 г. к А. И. Тургеневу: «Вот эпиграммы Грибоедова по случаю, или по поводу нашего калмыцкого балета<...> Дай эпиграммы Воейкову, чтобы пустить их по рукам».³⁴

При отъезде Грибоедова из Москвы в Петербург Вяземский послал с ним письмо к А. И. Тургеневу, в котором советовал своим столичным друзьям познакомиться с Грибоедовым: «...он с большими дарованиями и пылом».³⁵ Кроме того, Вяземский дал Грибоедову рекомендательное письмо к Карамзину. «Благодарю

³¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 7, М., Изд. АН СССР, 1955, стр. 264.

³² Рукописный экземпляр водевиля «Кто брат, кто сестра» хранится в Рукописном отделе Всесоюзной Библиотеки им. В. И. Ленина (ф. 218, № 365).

³³ См. мою публикацию: Неизвестная эпиграмма А. С. Грибоедова. Вестник ЛГУ, № 14, вып. 3, 1957, стр. 159—161. В 1958 г. эту же эпиграмму опубликовал М. Медведев (Вопросы литературы, 1958, № 1, стр. 184—190).

³⁴ Остафьевский архив, т. III, стр. 35.

³⁵ Там же, стр. 56.

вас за письмо к Н. М. Карамзину, — писал Грибоедов Вяземскому 21 июня 1824 г., — стыдно было бы уехать из России, не выдавши человека, который ей наиболее чести приносит своими трудами, я посвятил ему целый день в Царск(ом) С(еле) и на днях еще раз поеду на поклон».³⁶

Позднее Вяземский встречался с Грибоедовым в Петербурге: «Сейчас видел выпущенного из тюрьмы Грибоедова», — писал он жене 3 июня 1826 г.³⁷ В публикации В. С. Нечаевой приведены доказательства встреч Вяземского с Грибоедовым в столице в 1828 г.³⁸

Вяземский был одним из первых слушателей комедии Грибоедова. В воспоминаниях «Дела иль пустяки давно минувших лет (письмо к М. Н. Лонгинову)» Вяземский писал в 1873 г.: «Скоро после приезда в Москву, Грибоедов читал у меня и про одного меня комедию свою. После падения Молчалина с лошади, испуга и обморока Софьи Павловны (действие 2-е, явление 8-е) Чацкий говорил:

Желал бы с ним убиться для компании.

«Тут заметил я, что влюбленному Чацкому, особенно после слов:

Смятенье, обморок...

Так можно только ощущать,

Когда лишаешься единственного друга, —

неловко употребить пошлое выражение „для компании“, а лучше передать его служанке Лизе. Так Грибоедов и сделал: точка разделила стих на два» (VII, 343).

Это было не единственное замечание, высказанное Вяземским по поводу комедии Грибоедова. В статье «О Русской Талии», написанной Н. Полевым в соавторстве с Вяземским (см. главу шестую) и напечатанной в «Московском телеграфе» в 1825 г., мы встречаем упрек по поводу некоторых неудачных выражений. В восьмой главе «Фонвизина», опубликованной впервые в «Современнике» в 1837 г., и в письме к М. Н. Лонгинову (1873) Вяземский, ставя «Горе от ума» в ряд лучших русских комедий, также высказывал свои критические суждения. Эти замечания Вяземского дали повод А. М. Гордину утверждать, что «оценка им произведения в целом является тенденциозной и несправедливой».³⁹

На наш взгляд, отдельные критические замечания отнюдь не равнозначны осуждению того или иного произведения. К стати

³⁶ А. С. Грибоедов, Сочинения, М.—Л., Гослитиздат, 1959, стр. 547.

³⁷ Остафьевский архив, т. V, вып. 2, стр. 15.

³⁸ ЛН, т. 47—48, М., 1946, стр. 228—240.

³⁹ А. С. Грибоедов в русской критике. М., Гослитиздат, 1958, стр. XVI.

сказать, Пушкин тоже критиковал — и довольно основательно — комедию Грибоедова. В. Н. Орлов справедливо пишет по данному вопросу: «... Пушкин, похвалив „Горе от ума“ за силу сатирического обличения и блеск стихотворного языка, в то же время осудил сюжетно-композиционную структуру комедии и примененные в ней новые принципы построения драматического характера. <...> Суть дела заключается в том, что Пушкин, проявив замечательную, редкую свободу творческой мысли в лирике, эпосе и драме, в области комедиографии явно придерживался (во всяком случае в 1820-е годы) традиционных взглядов, под образцовой стихотворной комедией понимая легкую салонносветскую „комедию интриги“, мастером которых был любимый им Хмельницкий».⁴⁰

Критика Вяземского и Пушкина шла в одном русле: признавая многие достоинства «Горе от ума», Пушкин и Вяземский не скрывали от Грибоедова свои принципиальные с ним расхождения, связанные с различным пониманием жанра комедии.

Сочувственная оценка Вяземским «Горя от ума» тем более понятна, что главенствующая мысль комедии Грибоедова совпала с его собственными суждениями. В «Послании к И. И. Дмитриеву» (1822) Вяземский с негодованием писал о тех,

- Для коих таинством есть всякая печать
И вольнодумец тот, кто смеет рассуждать...
.....
В слепом невежестве их трибунал всемирный,
За карточным столом иль кулебякой жирной
Венчает наобум и наобум казнит;
Их осужденье — честь, рукоплесканье — стыд.
Беда тому, кто мог языком благородным,
Предубеждений враг, друг истинам свободным,
Встревожить невзначай их раболепный сон
И смело вслух вещать, что смело мыслил он!⁴¹

Вспомним, что и Чацкий с болью говорит об участи того,

В чьей, по несчастью, голове
Пять, шесть найдется мыслей здравых,
И он осмелится их гласно объявлять.

Однако общность политической позиции не исключала споров между Вяземским и Грибоедовым по литературным вопросам; ведь они принадлежали к различным течениям русского романтизма, что, можно сказать априори, исключало идеальное согласие между ними по историко-литературным проблемам. До нас

⁴⁰ Вл. Орлов. Грибоедов. Очерк жизни и творчества. М., Гослитиздат, 1954, стр. 162—163.

⁴¹ Полярная звезда..., стр. 65—66.

не дошло прямых свидетельств, по которым можно было бы судить о литературных баталиях между Вяземским и Грибоедовым. Поэтому для выяснения этого вопроса приходится — до нахождения новых документов — пользоваться косвенными данными. Предположительно можно утверждать, что оценка деятельности Вольтера и творчества Байрона могла вызывать споры между ними. В письме к Вяземскому Грибоедов писал 11 июля 1824 г. об актере Сосницком, который играл роль Вольтера в комедии Шаховского «Шестьдесят лет антракта»: «Это одушевленная бронза того бюста, что в Эрмитаже. Я бы желал не столько остроги (которой, впрочем, эта комедия не изобилует), но чтобы картина неизбежной дряхлости и потухшего гения местами прояснялась памятью о протекшей жизни, громкой, деятельной, разнообразной. Кто век прожил с большим блеском? И как неровна судьба, так сам был неровен: решительно действовал на умы современников, вел их, куда хотел, но иногда, светильник робкий, блудящий огонек, не смеет назвать себя; то опять ярко сверкает реформатор бичом сатиры; гонимый и гонитель, друг царей и враг их. Три поколения сменились перед глазами знаменитого человека; в виду их всю жизнь провел в борьбе с суеверием, богословским, политическим, школьным и светским, наконец ратовал с обманом в разных его видах. И не обманчива ли самая та цель, для которой подвизался? Какое благо? — колебание умов ни в чем не твердых?... Теперь, на краю гроба, среди обожателей, их фимиама, их плесков... А где прежние сподвижники, в юности пылавшие также алчностью славы, ума, опасностей и торжеств? И где прежние противуборники? — отцы, деды тех, которые нынче его окружают? ? ?»⁴²

Ответное письмо Вяземского неизвестно. Однако, надо думать, что, прочтя с живым сочувствием блестящую характеристику Вольтера, он не мог согласиться со скептицизмом Грибоедова, проявившимся в явном недоверии к цели деятельности фернейского философа. Вольтер был одним из кумиров молодого Вяземского (вспомним хотя бы его статью «О новых письмах Вольтера», 1819), и слова Грибоедова «не обманчива ли самая та цель, для которой подвизался» не могли быть приняты Вяземским.

Различная оценка поэзии Байрона также могла вызывать споры между Грибоедовым и Вяземским. А. Бестужев в своих воспоминаниях привел сравнение между Гете и Байроном, сделанное Грибоедовым: «Солнечные лучи играют и в блестяще, и в капле; но только масса воды может отразить целое солнце, только высокая душа может обнять полную мысль гения. Что касается, однако ж, до характеристики выражений в Гете и Байроне, она, мне кажется, слишком произвольна. Вы назвали их обоих великанами,

⁴² А. С. Грибоедов, Сочинения, стр. 549.

и в отношении к ним это справедливо; но между ними все превосходство в величии должно отдать Гете: он объясняет свою идею все человечество. Байрон, со всем разнообразием мыслей, — только человека». ⁴³

Вяземскому был чужд подобный подход к творчеству Байрона, которое он оценивал, в первую очередь, с точки зрения глубины и мощности социального протеста; в его суждениях доминирует выявление общественной значимости поэзии Байрона. Когда Кюхельбекер, взгляд которого на творчество Байрона складывался под влиянием Грибоедова, выступил в «Мнемозине» со статьей, в которой развивал его точку зрения, то Вяземский решительно отверг их мнение.

Обратимся теперь к взаимоотношениям Вяземского и Кюхельбекера.

19 августа 1821 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я прочел сейчас лекцию Кюхельбекера в Париже: *c'est curieux!* Между тем он здесь и умирает с голоду». ⁴⁴ Вяземский с удовлетворением прочел парижскую лекцию Кюхельбекера, в которой говорилось, что и в России имеются люди, предпочитающие «свободу — рабству, просвещение — мраку невежества, законы и гарантии — произволу и анархии». ⁴⁵ Парижское выступление Кюхельбекера настолько понравилось Вяземскому, что у него даже возникло желание перечитать его: «Нельзя ли доставить мне, — просил он 25 августа А. И. Тургенева, — на часок Кюхельбекера речь? Ради бога, постарайся! Да и о нем надобно бы позаняться, если он в такой крайности». ⁴⁶ А. И. Тургенев быстро пришел на помощь: «О Кюхельбекере просил Ермолова, и он обещал принять его к себе. Этого желал и Кюхельбекер», — писал он Вяземскому 30 августа. ⁴⁷ Неделью спустя А. И. Тургенев сообщил, что хлопоты увенчались успехом: «Скажи Василию Львовичу, что Кюхельбекер едет сегодня или завтра с Ермоловым. Мы устроили его дело». ⁴⁸

По возвращении с Кавказа Кюхельбекер гостил два дня в Остафьеве, читал Вяземскому свои произведения и делился своими планами. 28 августа 1823 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Кюхельбекер привез мне в Остафьево сам письмо твое, в коем ты говоришь о нем и о сомнении, чтобы приняли его в службу. Теперь затевает он выдавать журнал, и, кажется, он на это дело способен. Талант его подвинулся. Но вот беда: позво-

⁴³ Воспоминания Бестужевых. Ред., статья и комм. М. К. Азадовского. М.—Л., Изд. АН СССР, 1951, стр. 525.

⁴⁴ Остафьевский архив, т. II, стр. 201.

⁴⁵ ЛН, т. 59, М., 1954, стр. 374.

⁴⁶ Остафьевский архив, т. II, стр. 204.

⁴⁷ Там же, стр. 206.

⁴⁸ Там же, стр. 209.

лят ли? Когда Шаликов просился выдавать свой „Дамский журнал», ваш министр просвещения говорил, что и так у нас уже слишком много журналов. Кюхельбекеру и подавно будут препятствия<...> Пришло тебе его стихотворения о греческих событиях, исполненные мыслей и чувств».⁴⁹

По-видимому, Кюхельбекер передал Вяземскому свои стихотворения «Греческая песнь» (1821), «К Ахатесу» (1821), «Пророчество» (1822) и, возможно, послание «К Вяземскому» (осень 1823). Кюхельбекер гостил в Остафьеве в конце августа 1823 г. Неизвестно, привез ли он это послание с собой или оно было написано им по возвращении из Остафьева. Во всяком случае это послание следует рассматривать вместе с другими стихотворениями Кюхельбекера, посвященными греческим событиям. Знаменательно, что послание, в котором борьба греков за свободу тесно связана с личной, автобиографической темой, Кюхельбекер посвятил Вяземскому — это лишний раз доказывает их единомыслие по основным общественным вопросам современности.

Отнесясь сочувственно к замыслу Кюхельбекера об издании журнала, Вяземский в письме от 27 августа 1823 г. упрекал Жуковского: «Кюхельбекер жалуется на твое невнимание к нему и жалуется справедливо<...> Он собирается издавать журнал<...> Надобно будет помочь ему, и, если начнет издавать, то возьмемся поднять его журнал. План его журнала хорош и европейский; материалов у него своих довольно; он имеет познания. Кажется, может быть прок в его предприятии».⁵⁰

Кроме того, как видно из писем Вяземского к жене и к А. И. Тургеневу, он пытался устроить Кюхельбекера на службу в Одессе. По просьбе Вяземского, Вера Федоровна, жившая там летом 1824 г., ходатайствовала перед Воронцовым и другими высокоставленными чиновниками об устройстве Кюхельбекера; в этих хлопотах ей помогал Пушкин. Однако ее попытка не увенчалась успехом: не удалось преодолеть настороженное отношение властей к Кюхельбекеру.

Когда Кюхельбекер вместе с В. Ф. Одоевским приступил к изданию «Мнемозины», Вяземский дал в этот альманах послание «К графу Чернышеву в деревню», стихотворение «Прощание воина» и три эпиграммы; в «Мнемозине» же появилась музыка Верстовского на куплеты Вяземского из водевиля «Кто брат, кто сестра». Как явствует из примечаний издателей альманаха, стихо-

⁴⁹ Там же, стр. 342.

⁵⁰ Русский архив, 1900, кн. 1, стр. 190. — В 1824 г. Вяземский снова побуждал Жуковского помочь Кюхельбекеру: «Вот тебе книга от Кюхельбекера. Прошу неотменно сейчас отвечать ему и прислать что-нибудь для следующей книги. Не забывай, что ты уже не баллажник, Белева скромный жилец, а род царедворца и что, следовательно, тебе надобно быть вдвое приветливее, потому что глупо дать повод даже и к подозрению в спеси» (ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 2, № 20, л. 94).

творение Пушкина «К морю» было доставлено в «Мнемозину» Вяземским.⁵¹

Личная и идейная близость Вяземского и Кюхельбекера не исключала расхождения между ними в области литературной критики. Статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие» вызвала энергичные возражения Вяземского — 26 июля 1824 г. он писал А. И. Тургеневу: «Читал ли ты Кюхельбекериаду во второй «Мнемозине»? Я говорю, что это упоение пивное, тяжелое. Каково отдалал он Жуковского и Батюшкова, да и Горация, да и Байрона, да и Шиллера? Чтобы врать, как он врет, нужно иметь язык звонкий, речистый, приткий, а уж ничего нет хуже, как мямлить, картавить и заикаться в вранье: даешь время слушателям одуматься и надуматься, что ты дурак».⁵²

Резкий отзыв Вяземского был вызван тем, что архаистические симпатии Кюхельбекера были ему совершенно чужды. Разве мог Вяземский, к примеру сказать, согласиться с утверждением Кюхельбекера, что С. А. Ширицкий-Шихматов — «поэт, заслуживающий занять одно из первых мест на Русском Парнасе»?⁵³

Попытка возродить жанр оды, предпринятая в статье Кюхельбекера, также противоречила позиции Вяземского, полагавшего, что ода должна мирно почивать на литературном кладбище классицизма. В послании «К графу Чернышеву в деревню» Вяземский с иронией заметил:

Не знаешь ты о наших одах,
О сих торжественных грехах...⁵⁴

Кюхельбекер поместил в своем альманахе послание Вяземского, но не замедлил вступить с ним тут же в скрытую полемику, напечатав вслед за стихотворением Вяземского свою оду «К богу».

Самое резкое возражение Вяземского вызвали слова Кюхельбекера о том, что в журналах «ставят на одну доску: словесности греческую и латинскую, английскую и — немецкую; великого Гете и — недозревшего Шиллера; исполина между исполинами Гомера и — ученика его Виргилия; роскошного, громкого Пиндара и — прозаического стихотворителя Горация; достойного наследника древних трагиков Расина и — Вольтера, который чужд был истинной поэзии; огромного Шекспира и — однообразного Байрона!».⁵⁵

В суждении Кюхельбекера о преимуществе многогранного творческого мегода Шекспира и Гете было скрыто рациональное

⁵¹ Об этом см.: Т. Г. Цявловская. Автограф стихотворения «К морю». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., Изд. АН СССР, 1960, стр. 191.

⁵² Остафьевский архив, т. III, стр. 62.

⁵³ Мнемозина, 1824, ч. 2, стр. 29.

⁵⁴ Там же, ч. 1, стр. 48.

⁵⁵ Там же, ч. 2, стр. 41.

верно грядущей реалистической эстетики. Но эти далеко идущие умозаключения причудливо уживались в статье Кюхельбекера с архаистической традицией, с выдвиганием на литературную авансцену жанра оды, с прославлением второстепенных поэтов из лагеря шишковистов.

Вольтер, Шиллер и Байрон были для Вяземского в первую очередь апостолами свободомыслия; естественно, что он не мог согласиться с критической оценкой Кюхельбекера, в которой упор сделан не на общественные достоинства, а на недостатки их творческого метода.

Защита Вяземским творчества Жуковского и Батюшкова, взятых под обстрел Кюхельбекером, была продиктована, конечно, вескими соображениями литературной борьбы: арзамасец Вяземский вступился за арзамасцев Жуковского и Батюшкова, на которых напал романтик-архаист Кюхельбекер. Выдвижение на первый план творчества Шихматова и Катенина, при одновременном прицеливании произведений Жуковского и Батюшкова, вызвало явное раздражение Вяземского.

Статья Кюхельбекера была раскритикована и А. Бестужевым — в письме от 20 сентября 1824 г. он писал Вяземскому: «Я познакомился с Грибоедовым, но еще не сошелся с ним, во-первых, потому, что то он, то я здесь не жил, а во-вторых, мне кажется, что он любит поклонение, и бог Аполлон ему судья за сведенье с ума Кюхельбекера: какую чуху, прости господи, напорол он в своей „Мнемозине“!»⁵⁶

Отзыв Вяземского о статье Кюхельбекера расценивается некоторыми учеными как проявление литературного аристократизма критика, как свидетельство его отхода от передовых общественных позиций. Как же в таком случае объяснить аналогичный отзыв Бестужева о статье Кюхельбекера? Ссылка на общественную позицию бессильна дать ответ на поставленный вопрос; ответ надо искать в борьбе различных течений русского романтизма.

Несмотря на свои расхождения с Кюхельбекером, Вяземский и Бестужев ограничились отзывами в частных письмах, в печати же на защиту писателей, задетых в статье Кюхельбекера, выступили не они, а Ф. Булгарин.⁵⁷ К тому же вскоре смерть Байрона вызвала сочувственный отклик Кюхельбекера о его творчестве: «Если бы подозревал, что его блистательное поприще кончится так скоро, я воздержался бы от суждения о нем, справедливого, но неуместного среди общей печали...» Не уравнию Байрона Шекспиру: но Байрон об руку с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным, Шиллером — и прибавлю, с Тиртеем, Фемистоклом и Леонидом перейдет, без сомнения, в дальнейшее потомство».⁵⁸

⁵⁶ ЛН, т. 60, кн. 1, М., 1956, стр. 224.

⁵⁷ Литературные листки, 1824, № 15.

⁵⁸ Мнемозина, 1824, ч. 3, стр. 172—173.

Одновременно Кюхельбекер опубликовал свое стихотворение «Смерть Байрона»,⁵⁹ в котором также преобладала мысль о большой общественной значимости творчества английского поэта, что, конечно, вполне соответствовало позиции Вяземского.

Нахождение Вяземского в передовых рядах дворянской оппозиции обусловило его сближение с Рылеевым и Бестужевым. В апреле-мае 1822 г. Рылеев в письме обратился к Вяземскому с просьбой участвовать в «Полярной звезде»,⁶⁰ на что тот ответил согласием. Вяземский высоко оценил «Думы» Рылеева — в июле 1822 г. он писал А. И. Тургеневу: «У этого Рылеева есть кровь в жилах, и „Думы“ его мне нравятся».⁶¹ Свое положительное отношение к «Думам» Вяземский высказал также в письме к Рылееву и Бестужеву, написанном 23 января 1823 г.: «С признательностью принимаю лестное приглашение участвовать и впредь в ваших трудах и зажигать лучинку мою на лучах вашей блестящей „Звезды“. С живым удовольствием читаю я *Думы*, которые постоянно обращали на себя и прежде мое внимание. Они носят на себе печать отличительную, столь необыкновенную посреди пошлых и одноличных или часто безличных стихотворений наших».⁶²

Положительная оценка Вяземским «Дум» Рылеева тем более показательна, что он, конечно, знал сдержанный отзыв Пушкина; они подошли к оценке «Дум» с разных точек зрения: Пушкин подверг критике отступление Рылеева от исторической истины и его литературные погрешности; Вяземский обратил внимание в первую очередь на вольнолюбивую тематику и свободолюбивый дух «Дум» Рылеева.

Как выяснилось в последнее время, Вяземский не только с похвалой отзывался о произведениях Рылеева, но и помогал ему своими хлопотами в московской цензуре. 12 января 1825 г. Рылеев писал Вяземскому: «Позвольте поблагодарить вас за участие, которое принимаете вы в судьбе «Войнаровского». Верьте, что ваше внимание для меня драгоценно. Я никак не думал, чтобы сподвижник Мазепы так мало пострадал в чистилище цензуры нашей. Муханов писал ко мне, что вы на время отсутствия его взяли на себя хлопоты издания. На этот конец прилагаю письма на имя Муханова незапечатанными. Вы увидите в них несколько поправок для „Дум“ и несколько слов о „Войнаровском“. Перемены в „Думах“ и три думы, прилагаемые здесь же, прошу вас, почтеннейший и добрейший из князей, отослать в цензуру или к Селивановскому».⁶³

⁵⁹ Там же, стр. 198—199.

⁶⁰ ЛН, т. 59, стр. 138.

⁶¹ Остафьевский архив, т. II, стр. 270.

⁶² Русская старина, 1888, кн. 11, стр. 312. Ответ на письмо Рылеева и Бестужева от 27 декабря 1822 г. (ЛН, т. 59, стр. 138—140).

⁶³ ЛН, т. 59, стр. 144.

20 февраля 1825 г. Рылеев вновь писал Вяземскому: «За участие в издании книг моих снова душевно и премного благодарю...» За чужие гостинцы для „Звезды“ нашей приносим благодарность... Будьте здоровы, благополучны и грозны по-прежнему для врагов вкуса, языка и здравого смысла. Вам не должно забывать, что, однажды выступив на такое прекрасное поприще, какое вы себе избрали, дремать не должно: давайте нам сатиры, сатиры и сатиры».⁶⁴ В представлении Рылеева Вяземский-поэт в первую очередь был поэт-сатирик. По-видимому, такое мнение получило широкое распространение в литературных кругах. Так, например, Греч писал в своих воспоминаниях: «В послании к Вяземскому, написанном будто бы в подражание Персиевой сатире к Рубеллию, напечатанном в „Невском вестнике“, он (Рылеев, — М. Г.) говорил очень явно об Аракчееве».⁶⁵ Греч, видимо, запомнил, сообщая, что сатира Рылеева была посланием к Вяземскому. Однако ошибка Греча весьма показательна: в его памяти сатира Рылеева была как бы ответом на сатиры Вяземского.

Знакомство Вяземского с Бестужевым произошло в Москве в феврале 1823 г. Как явствует из их писем, между ними сразу же установились дружеские отношения. До последнего времени были известны письма Вяземского к Бестужеву, опубликованные еще в 1888 г. в «Русской старине», и лишь одно ответное письмо Бестужева. В 1956 г. К. П. Богаевская напечатала со своим комментарием 16 писем Бестужева к Вяземскому за 1823—1825 гг.; публикации предпослана обстоятельная вступительная статья Н. Л. Степанова.⁶⁶ Характеризуя переписку Вяземского с Бестужевым, исследователь пишет: «Это переписка людей, во многом сходящихся в оценке общественных и литературных явлений. Естественно, что обоим корреспондентам приходилось соблюдать сугубую осторожность в переписке, просматривавшейся полицией, а упоминая о вопросах политического порядка, прибегать к отдаленным и туманным намекам».⁶⁷

Переписка Вяземского с Бестужевым дает богатейший материал для уяснения их взаимоотношений. Бестужев делился с Вяземским своими литературными замыслами; 21 марта 1823 г. он писал ему: «Обдумывая план поездки своей в татарский Рим ваш, я вижу, что это — дело не легкое: описывать общество — весьма щекотливо, потому что, хваля его беспрестанно, наскучишь, а приправлять анекдотами и странностями — беда».⁶⁸ В ответном письме от 8 апреля 1823 г. Вяземский предлагал Бестужеву показать две стороны старинной русской столицы: «... влияние Мо-

⁶⁴ Там же, стр. 144—145.

⁶⁵ Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., «Academia», 1930, стр. 443.

⁶⁶ ЛН, т. 60, кн. 1, М., 1956, стр. 191—230.

⁶⁷ Там же, стр. 196.

⁶⁸ Там же, стр. 200.

сквы на Россию пагубное и целебное: целебное в отношении образованности, которая разлилась на губернии от нас, а не от вас; пагубное потому, что праздность, рассеянность, глупая роскошь, роговая музыка, крепостные виртуозы и в школе палок воспитанные актеры, одним словом, нелепое бригадирство с причетом своим от нас заразило Россию». ⁶⁹ Итак, Вяземский предлагал Бестужеву написать политически острую статью о положительных и отрицательных сторонах московской культуры. Мысль Вяземского о двух сторонах отечественной культуры получила свое дальнейшее развитие во второй половине 1820-х годов в его суждении об истинном и «квасном» патриотизме.

В конце письма Вяземский просил Бестужева присылать ему все то, что распространяется в столице в рукописных списках: «Если будет у вас в Петербурге что хорошенькое, которое не понравится Красовскому, то порадуйте меня доставлением. Нам только и можно лакомиться что рукописным, а печатное так черство, так сухо, что в горло не лезет». ⁷⁰ Как свидетельствуют последние публикации, в бумагах Вяземского сохранились наиболее полные и авторитетные списки агитационных песен декабристов. ⁷¹ Это доказывает, что Бестужев охотно выполнил просьбу Вяземского; впрочем, анализ списков агитационных песен, сохранившихся в Остафьевском архиве, позволяет предполагать, что Вяземский их получал и от Рылеева. «В 1824 г. Вяземский был одинаково хорошо знаком и с Рылеевым и с Бестужевым, так что гипотеза не об одном, а о двух авторитетных источниках происхождения списков Вяземского представляется весьма вероятной». ⁷²

К началу 1824 г. дружеские отношения между Вяземским и Бестужевым настолько окрепли, что последний в письме от 20 января 1824 г. просил его дать оценку второй книжки «Полярной звезды». Вяземский ответил, что, по его мнению, в ней «мало зрелости, мужества. Это игрушка. Конечно, не вы виноваты, а виноваты...»

La faute en est aux dieux qui les firent si bêtes!

«В вашей литературной статье много хорошего, но опять же та же высканность и какая-то аффектация в выражениях. Также не одобряю какую-то подчиненность в выражениях». ⁷³

Далее Вяземский упрекал Бестужева за одобрительный отзыв о комедиях М. Н. Загоскина («Деревенский философ») и

⁶⁹ Русская старина, 1888, кн. 11, стр. 313.

⁷⁰ Там же, стр. 314.

⁷¹ Об этом см.: Ю. Г. Оксман. 1) Агитационная песня «Царь наш — немец русский». ЛН, т. 59, М., 1954, стр. 69—84; 2) Агитационная песня «Ах, тошно мне и в родной стороне». Там же, стр. 85—100.

⁷² Там же, стр. 87.

⁷³ Русская старина, 1888, кн. 11, стр. 322.

Перевод: Ошибка в этом богов, которые сотворили их столь глупыми (франц.).

А. И. Писарева («Лукавин») и в особенности за то, что он в своей статье, назвав «Вестник Европы» Каченовского патриархом русских журналов, писал, что этот журнал «по части прозаической шел обыкновенно своим твердым шагом». В ответ на эту характеристику Вяземский с раздражением писал: «Что значит, что „Вестник Европы“ идет своим твердым шагом, ослиным что ли? Нет тверже ослиного шага, а в доказательство служит то, что по горам их употребляют. Вы из Каченовского точно делаете помазанника! Как ни глуп, как ни скучен, как ни бесплоден, а все с каким-то благоговением говорится о его величестве<...> Какой неурожай на мысли и на слова! Какой запор в голове! Я слышум вас знаю, чтобы не твердо быть уверенным в мнении вашем о Каченовском, если спросите литературной совести; зачем же вам подчинять себя побочным условностям, околичностям?».⁷⁴

Критические замечания Вяземского Бестужев признал во многом правильными — 28 января 1824 г. он писал Вяземскому: «Благодарю за откровенность в суждении о „Полярной“; в нем на три четверти я совершенно согласен, в остальном отбилсЯ от мнения вашего, вероятно, оттого, что смотрел с другой точки зрения <...> Цензура обрезала наши червонцы, а многие медали и вовсе выбросила вон — поневоле довольствуешься бряцающею медью<...> Я хочу бить челом о том, за что вы меня поразили, т. е. написать на 1824 год коротенькое обозрение. — Князь! Будьте отцом родным: обновите это тощее поле!».⁷⁵

Дружеские отношения Вяземского с Бестужевым сохранились вплоть до восстания декабристов: в письме от 18 ноября 1825 г. Вяземский приглашал Бестужева в гости в Москву или в Остафьево.⁷⁶

Личные и общественные симпатии Вяземского и Бестужева подкреплялись близостью их литературных взглядов. В 1819 г. Бестужев подверг критике комедию Шаховского «Липецкие воды» (Сын отечества, № 6). Выступив против Шаховского, Бестужев продолжил полемику арзамасцев, и в частности Вяземского, который уже в 1815 г. учинил разнос комедии Шаховского в «Письме с Липецких вод» (Российский музеум, № 12).

К 1822 г. относится выступление Катенина против статьи Вяземского об Озерове; возражая против оценки «Фингала», данной Вяземским, Катенин писал: «Фингал сбивается на оперу, но опера не Шекспиров „Гамлет“ и не Кальдероново „Почитание креста“. Формы романтической также ни в одной нет: хоры, перемены декораций водились у нас и прежде, разговор, совершенно перенятый от французов, стихи александрийские с рифмами, словом,

⁷⁴ ЛН, т. 60, кн. 1, стр. 215.

⁷⁵ Там же, стр. 212—213.

⁷⁶ Русская старина, 1889, кн. 2, стр. 321.

кроме дарования, все как у всех». ⁷⁷ В защиту Вяземского выступил Бестужев в статье «Замечания на критику, помещенную в 13-м № „Сына отечества“, касательно „Опыта краткой истории русской литературы“»: «... кто не подивится, что критик XIX века полагает, будто формы романтизма заключаются в хорах, в переменах декораций, в разговорах, перенятых у французов (как будто англичане разговаривают иначе) и в александрийских стихах с рифмами, а не в содержании, как мы думать привыкли». ⁷⁸ А ведь именно суждение о том, что современное содержание является главным признаком романтизма, было центральной мыслью статьи Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова».

Центральное место в критическом наследии Бестужева времен «Полярной звезды» занимают его статьи «Взгляд на старую и новую словесность в России» и «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов». Если в первой из них Бестужев считал, как и подобало карамзинисту, что препятствием для успешного развития литературы является невнимание прекрасного пола («Одна улыбка женщины милой и просвещенной награждает все труды и жертвы! У нас почти не существует сего очарования, и вам, прелестные мои соотечественницы, жалуются музы на вас самих!»), то в последней статье, не без влияния критических выступлений Вяземского, Бестужев ищет ответа в историческом анализе литературных явлений: «... у нас есть критика и нет литературы; мы пресытились не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками! Постараемся разгадать причины столь странного явления. Первая заключается в том, что мы воспитаны иноземцами. Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинскою мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согретое народною гордостью, вместо того, чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унижить даже и то, что есть<...> Сказав о первых причинах, упомяну и о главнейшей: теперь мы начинаем чувствовать и мыслить — но ошупью. Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум — дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но не занятый политикою — весьма естественно, что деятельность его хватается за все, что попадется, а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды!» ⁷⁹

Об уничтожении перед иностранной литературой писал, как уже упоминалось, Вяземский в статье «Замечания на краткое обозре-

⁷⁷ Сын отечества, 1822, № 13, стр. 257. — Еще ранее, в 1820 г., вмешавшись в спор А. Жандра с В. Соцом о «Фингале», Катенин пренебрежительно отозвался о биографии Озерова, написанной Вяземским (там же, 1820, № 26, стр. 323).

⁷⁸ Там же, 1822, № 20, стр. 265—266.

⁷⁹ Полярная звезда... стр. 488—489.

ние русской литературы 1822 года», а мысль об отставании литературы от потребности общества была обоснована в его статье «О Кавказском пленнике». И Вяземский, и Бестужев дали понять, насколько это было возможно в подцензурной печати, что самодержавная форма правления мешает плодотворному развитию отечественной литературы.

Как уже отметил Н. И. Мордовченко, оценка творчества Державина, сделанная Вяземским, повлияла на суждения Бестужева по этому вопросу.

Таким образом, тезис об отставании литературы от потребностей общества, осуждение слепого преклонения перед иноземными литературными кумирами, требование по достоинству ценить лучшие произведения отечественной словесности, определение сущности романтизма не в форме, а в первую очередь в содержании творчества, признание оригинальности творчества Державина — таковы точки соприкосновения между критическими статьями Вяземского и Бестужева. Обратив внимание на взаимную близость своих литературно-общественных взглядов и суждений Бестужева, Вяземский писал 9 февраля 1823 г. Жуковскому: «Желаю, чтобы имя мое не было выставлено при биографии, а только число и год, т. е., кажется, около сентября 1821 года. Мне кажется, что я, если не в выражениях, то в мнениях иных, встретился с Бестужевым, который, впрочем, вероятно, прочел мое в „Петербургe“. Зачем терять старшинство?»⁸⁰ Жуковский исполнил просьбу Вяземского — под статьей «О жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» стоит дата «сентябрь 1821».⁸¹

Однако наряду с единомыслием по важнейшим вопросам литературной критики между Вяземским и Бестужевым существовали и разногласия. В статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» Бестужев дал следующую характеристику творчества И. И. Дмитриева: «Рядом с ним (Державиным, — М. Г.), в роде легкой поэзии, возник Дмитриев и обратил на себя внимание всех. Игривым слогом, острою ума и чистотою отделки он снискал себе имя образцового поэта и заохотил русских к отечественному стихотворству. Милая разборчивая муза его, изъясняясь языком лучших обществ, нашла друзей даже в кругу светских женщин и своим влиянием на все сословия принесла важную пользу словесности. Летучий рассказ его повестей пленителен, утонченность насмешки в сатирах примерна; равно как поэт и баснописец Дмитриев украсился венком Лафонтена и первый у нас создал легкий разговор басенный. Оригинальный переводчик с французского, он передал нашему языку всю заманчивость, всю игру, все виды первого».⁸²

⁸⁰ Русский архив, 1900, кн. 1, стр. 189.

⁸¹ И. И. Дмитриев. Стихотворения, т. 1. СПб., 1823. Цензурное решение 27 октября 1821 г.

⁸² Полярная звезда. . . , стр. 16—17.

Хотя сочувственный тон высказывания Бестужева об И. И. Дмитриеве значительно отличается от резких суждений о нем Пушкина, характеристика творчества Крылова, напечатанная в той же статье, позволяет думать, что Бестужев отдавал ему пальму первенства: «И. Крылов возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большего простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравовучению. В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он похож природою описаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер: его каждая басня — сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия. Читая стихи его, не замечаешь даже, что они стопованы — и это-то есть верх искусства».⁸³

Оценка басен Крылова Бестужевым, совпавшая с точкой зрения Пушкина, не сошлась со взглядом Вяземского; последний в приписке к статье «Известие о жизни и сочинениях И. И. Дмитриева» утверждал: «Не ставлю Дмитриева выше Крылова; но не ставлю и Крылова выше Дмитриева. Сочувствия мои идут не пирамидально» (I, 165).

Несмотря на отдельные расхождения во взглядах, Бестужев высоко ценил деятельность Вяземского: «Остроумный князь Вяземский щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый стих его может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагораживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений. Имея взгляд беглый и сообразительный, он верно ценит произведения разума, научает шутками и одевает свои суждения приманчивою светскостию и блесками ума просвещенного. Многие из мелких его сочинений сверкают чувством, все скреплены печатью таланта, несмотря на неровное индее падение звуков и длину периодов в прозе. Его упрекают в расточительности острот, но это происходит не от желания блистать умом, но от избытка оногo».⁸⁴

Критические статьи Вяземского повлияли на формирование эстетических воззрений ближайшего друга и соратника Бестужева — Рылеева. В статье «Несколько мыслей о поэзии» (1825) Рылеев писал: «... поэзию романтическую назвали поэзию оригинальную, самобытную, а в этом смысле Гомер, Эсхил, Пиндар, словом, все лучшие греческие поэты — романтики, равно как и превосходнейшие произведения новейших поэтов, написанные по правилам древних, но предметы коих взяты не из древней истории, суть произведения романтические, хотя ни тех, ни других и не признают таковыми. Из всего вышесказанного не выходит ли, что ни романтической, ни классической поэзии не существует? Истинная поэзия в существе своем всегда была одна и та же, равно как и правила оной. Она различается только по су-

⁸³ Там же, стр. 20.

⁸⁴ Там же, стр. 21—22.

ществу и формам, которые в разных веках приданы ей духом времени, степени просвещения и местностью той страны, где она появлялась».⁸⁵

Эта основная мысль статьи Рылеева является логическим развитием основного тезиса предисловия Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану»: Вяземский и Рылеев, как и их прогрессивные соратники на Западе — Стендаль и Берше, соединяют воедино вопрос о народности литературы и о романтизме, распространяя свою точку зрения на античную и новую историю литературы.

Преимственность концепции Рылеева на историю литературы от критических суждений Вяземского не следует истолковывать как рабское следование взглядам своего предшественника. Рылеев был самостоятельным мыслителем, который смело развивал положения других теоретиков романтизма, в том числе и Вяземского. В конце своей статьи Рылеев призывал русских литераторов: «Итак, будем почитать высоко поэзию, а не жрецов ее, и, оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить в себе дух рабского подражания и, обратясь к источнику истинной поэзии, употребив все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда не довольно ему известных».⁸⁶ Литературно-общественный подтекст статьи Рылеева «Несколько мыслей о поэзии», опубликованной в середине ноября 1825 г., был радикальнее, чем подтекст предисловия к «Бахчисарайскому фонтану» Вяземского: выход из социального тупика Вяземский видел в конституционной монархии, установленной мирным путем, а Рылеев — в вооруженном восстании против самодержавия.

Совокупность личных и литературных взаимоотношений Вяземского с Бестужевым и Рылеевым позволяет утверждать, что оппозиционер Вяземский в 1823—1825 гг. был союзником издателей «Полярной звезды».

В последнее время политические взгляды Вяземского 1820-х годов были подвергнуты тщательному изучению в трудах С. С. Ланды и Ю. М. Лотмана. Вот что пишет С. С. Ланда о Вяземском: «Его либеральная доктрина поднималась на волне оппозиционных настроений, захлестнувшей всю Россию. Острота и резкость выступлений Вяземского во многом определились силой и глубиной стихийного протеста, зреющего в русском обществе. В этом отношении его политическая публицистика и поэзия во многом близки к литературе декабристского направления, хотя конечные выводы Вяземского заметно отличались от программных устремлений его революционных друзей. <...> либеральная доктрина Вяземского в 1820-е годы была явлением прогрессивного

⁸⁵ К. Ф. Рылеев. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма. М., Гослитиздат, 1956, стр. 299.

⁸⁶ К. Ф. Рылеев. Ук. соч., стр. 301.

значения: в историческом споре молодой революционной России с силами феодально-крепостнического мира Вяземский был на стороне первой».⁸⁷

К аналогичному выводу пришел Ю. М. Лотман: «... в 1823—1825 гг. размежевание между революционным и либеральным лагерем не зашло так далеко, чтобы позиция Вяземского показалась враждебной даже тем молодым силам, которые выдвинулись в 1823—1825 гг. на руководящие роли в Северном тайном обществе. Рассмотрение материала убеждает в том, что тяготение здесь было обоюдным: Вяземский тянулся к молодым радикальным общественно-литературным деятелям, а они в свою очередь активно привлекали Вяземского к сотрудничеству».⁸⁸

Написанные на обширном архивном материале, работы С. С. Ланды и Ю. М. Лотмана рассматривают позицию Вяземского в первую очередь в аспекте истории русской общественной мысли и революционного движения. Их вывод о прогрессивном значении либеральной концепции Вяземского в 1820-е годы вполне документирован и обоснован.

Однако политические взгляды Вяземского этих лет предопределяют лишь в самых общих чертах передовой характер его литературно-общественной позиции. История общественной мысли близко соприкасается с историей литературы и особенно с историей критики. В то же время, развиваясь под определяющим влиянием общественной мысли и революционного движения, литература и критика выдвигают свои особые, специфические задачи. Поэтому сопоставляя явления истории критики и истории общественной мысли, следует избегать прямолинейности и схематизма. Это общее положение применимо, естественно, и к литературно-критической позиции Вяземского.

Принадлежность критика к радикальному крылу арзамасского братства, обусловленная его прогрессивной общественной позицией, послужила основой его личного и идейного сближения с Пушкиным, Грибоедовым, Кюхельбекером, Бестужевым и Рылевым и сделала его одним из ведущих теоретиков русского романтизма. Вместе с тем наличие различных течений внутри отечественного романтизма вызывало споры и расхождения Вяземского с его друзьями по литературным вопросам.

В исторической перспективе позиция Вяземского-критика стимулировала те явления, которые способствовали зарождению и первоначальному развитию реалистических тенденций в русской литературе.

⁸⁷ Пушкин и его время, вып. 1. Л., Изд. Гос. Эрмитажа, 1962, стр. 209—210.

⁸⁸ Уч. зап. Тартуского унив., вып. 98, 1960, стр. 126—127.





ГЛАВА ПЯТАЯ

ВЯЗЕМСКИЙ И «МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»

В 1824 г., во время полемики между Вяземским и М. А. Дмитриевым, Н. А. Полевой послал в журнал «Сын отечества» статью в защиту Вяземского. «Узнай стороною, получено ли Гречем возражение Полевого на Дмитриева», — спрашивал Вяземский А. И. Тургенева 1 мая 1824 г.¹ Стремление Н. А. Полевого выступить против М. А. Дмитриева способствовало его сближению с Вяземским. Как раз в это время между ними шли переговоры о совместном издании журнала. В «Автобиографическом введении» Вяземский вспоминал: «...Полевой со мной познакомился и бывал у меня по утрам. Однажды застал он у меня графа Михаила Вельгорского. Речь зашла о журналистике. Вельгорский спросил Полевого, что он делает теперь. — Да покамест ничего, — отвечал он. Зачем не примитесь вы издавать журнал? — продолжал граф. Тот благоразумно отнекивался за недостатком средств и других приготовительных пособий. Юноша был тогда скромнен и застенчив. Вельгорский настаивал и преследовал мысль свою; он указал на меня, что я и приятели мои не откажемся содействовать ему в предприятии его, и так далее; дело было решено. Вот как, в кабинете дома моего, в Чернышевском переулке, зачато было дитя, которое после наделало много шума на белом свете. Я закабалил себя «Телеграфу». Почти в одно время закабалил себя Пушкин «Московскому вестнику». Но он скоро вышел из кабалы, а я втерся и вьелся в свою всеми помышлениями и всем телом. Журнальная деятельность была по мне. Пушкин и Мицкевич уверяли, что я рожден памфлетером, открылось бы только поприще. Иная книжка „Телеграфа“

¹ Остафьевский архив, т. III, стр. 38. — О позиции Н. А. Полевого и его отношениях с Вяземским см. в кн.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Ред., вступ. статья и прим. Вл. Орлова. Изд. писателей в Ленинграде, 1934.

была наполовину наполнена мною или материалами, которые общал я в журнал» (I, стр. XLVIII).

Широкие литературные связи позволили Вяземскому привлечь к сотрудничеству в «Московском телеграфе» многих писателей. В 1825 г. он писал А. И. Тургеневу: «Выпросить непременно от Жуковского стихи или что-нибудь в прозе для „Телеграфа“, также от Козлова-слепа, от Баратынского, Дельвига. — Прислать есть ли что осталось в бумагах Н. И. Тургенева, которое можно было бы напечатать, спросить что-нибудь у Дашкова из его гекзамеров или записок. Все это для „Телеграфа“».²

Обращался Вяземский и непосредственно к Жуковскому: «Полевой, каково дарование его ни было бы, все честнейший журналист из наших, а журнал его не уступает другим. Его надобно поддерживать не столько для него, как с тем, чтобы свалить с ног других, которые пакостники не только по литературе, но и по совести. Сделай одолжение, дай что-нибудь, хотя письмо из Швейцарии, не для него — так для меня, не для меня — так для Булгарина. Ведь надобно же тебе как-нибудь отплатить ему за все его ругательства: вот лучший способ...» Что тебе стоит? Даже и переписывать не надобно. Полевой сказывал мне, что видел твое письмо у Елагиной. Я уже уломал Пушкина, Дмитриева и Баратынского. Неужели один ты заупрямишься? Тут уже дело не литературное, а нравственное: надобно доказать этим мерзавцам, что брань их не марают человека в глазах общества, а напротив, что чем более они ругают, тем человек входит в честь».³

Благодаря усилиям Вяземского в «Московском телеграфе» печатали свои стихи, статьи, корреспонденции (или присылали материалы) Пушкин, Жуковский, Баратынский, Козлов, Языков, А. И. Тургенев, А. А. Муханов, П. А. Муханов, П. А. Габбе, П. Д. Киселев,⁴ Э. А. Волконская, А. И. Готовцева, Я. Н. Толстой, Э.-И. Геро. Иностранные книжные новинки, присылавшиеся Вяземскому А. И. Тургеневым, способствовали широте информа-

² ГПБ, ф. Вяземского, № 34, л. 4. Письмо от первой половины года, так как в июле А. И. Тургенев уехал за границу.

³ ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 2, № 21, л. 85 об. Письмо от 28 ноября 1825 г.

⁴ 29 мая 1827 г. Вяземский писал П. Д. Киселеву: «Нет ли у тебя в бумагах (и как не быть?) каких-нибудь военных или политических записок, годных для печати, т. е. годных для цензуры нашей, которая большая негодница. Одолжи меня ими для „Телеграфа“» (Русская старина, 1896, т. 88, стр. 680). 11 декабря Вяземский благодарил его за «подавание журналу» (там же). «Подаянием» П. Д. Киселева были «Письма и приказы графа А. В. Суворова» (Московский телеграф, 1827, ч. XVIII, отд. 1, стр. 255—263). В статье В. Салинки «Письма Н. А. Полевого к С. Д. Полторацкому» утверждается, что самое активное участие Вяземского в журнале относится к 1827 г. (Уч. зап. Высших учебных заведений Лит. ССР. Отд. литературы, т. IX. Вильнюс, 1966, стр. 307). Если судить по количеству статей Вяземского, то это утверждение справедливо. Однако данные о привлечении им многих писателей к сотрудничеству в «Московском телеграфе» позволяют полагать, что с самого начала его участие в делах журнала было весьма интенсивным.

ции, помещавшейся в журнале. Да и сам Вяземский печатал на страницах «Московского телеграфа» свои критические статьи, рецензии и стихотворения.

Большая часть статей Вяземского была напечатана в «Московском телеграфе» под различными псевдонимами. До последних лет не было полной ясности в раскрытии его псевдонимов. После разысканий В. Г. Березиной можно считать установленным, что псевдонимом «А» подписывался не Вяземский, а Н. А. Полевой. Кроме того, ею изучены статьи за подписью «Журнальный сыщик» и выявлено, какие именно статьи принадлежат Н. А. Полевому, а какие — Вяземскому.⁵ Продолжив работу В. Г. Березиной, мне удалось на основании архивных данных (архива С. Д. Полторацкого и Остафьевского архива) уточнить список статей Вяземского, опубликованных в «Московском телеграфе», а также выявить некоторые вставки Вяземского, помещенные в статьях Н. А. Полевого.⁶ Однако сотрудничество Вяземского с Н. А. Полевым было столь тесным, что вряд ли представится возможным полностью разграничить их авторство. Так, например, В. Г. Березина считает абсолютно бесспорным аргументом принадлежность статьи Н. А. Полевому, если изложение идет от имени издателя «Московского телеграфа». Между тем недавно в Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) поступило несколько листов рукописи ч. XV «Московского телеграфа», которые были представлены в цензуру. В этих листах примечание за подписью издателя журнала к статье «Гете и Шиллер» («Из письма, напечатанного в № 4 Телеграфа, читатели видели, что какой-то дух недоброжелательства возникает против Гете» и т. д.) написано рукой Вяземского.⁷ Таким образом, даже этот, казалось бы решающий, аргумент в какой-то мере не может считаться полностью бесспорным. Правка Вяземского, его «вкрапления» в статьи Н. А. Полевого были неизбежны, ибо на первых порах издатель «Московского телеграфа» был начинающим литератором, а Вяземский пришел в журнал опытным критиком.

Ярким примером сотрудничества Н. А. Полевого и Вяземского является анонимная статья о «Русской Талии». Кс. А. Полевой писал: «Противники его (Н. А. Полевого, — М. Г.), да и публика, не знали, однако же, что не все критические статьи „Московского телеграфа“ были написаны самим издателем. Особенно в первое время он, еще не вполне уверенный в своей литературной опытности, отдавал свои критические статьи на пересмотр князю Вя-

⁵ В. Г. Березина. Н. А. Полевой в «Московском телеграфе». Уч. зап. ЛГУ, № 173, вып. 20, сер. филол. наук, 1954, стр. 86—142.

⁶ М. И. Гиллельсон. Указатель статей и других прозаических произведений П. А. Вяземского с 1808 по 1837 год. Уч. зап. Горьковского унив., вып. 58, серия ист.-филол., 1963, стр. 313—322.

⁷ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1604.

земскому. Некоторые с начала до конца были написаны князем; некоторые он переделывал почти совершенно. Так была составлена статья о „Русской Талии“, изданной на 1825-й год Ф. В. Булгариным. Помню, что брат мой написал легонькую статью об этом сборнике, почти все одобряя в нем, и послал свою статью на пересмотр к князю Вяземскому. Тот возвратил ее, исписав замечаниями целый лист<...> Он (Н. А. Полевой, — М. Г.) вместил в свой разбор все замечания князя Вяземского».⁸

В записке к Н. А. Полевому Вяземский писал: «Возвращаю вам с благодарностью статью о „Русской Талии“, признаюсь, что мы разнимся во мнении о ней. Я накидал на бумагу главные мысли, которые служили бы основой моей рецензии, если был бы расположен теперь писать. Предоставляю их на ваше рассмотрение и произвол ваш, если хотите ими воспользоваться<...> Скажу откровенно, что ваш разбор написан слишком ленивою рукою; надобно добраться до живого и запустить руку далее: тогда доищешься истины и будет о чем поговорить, а поверхностное исчисление поверхностных погрешностей ни к чему не ведет».⁹ Сохранился один из черновиков этой статьи, написанной рукою Вяземского, — в этом наброске он критиковал статью А. А. Шаховского «Нечто о театральной музыке» и отрывок из трагедии Катенина «Андромаха».¹⁰

Вяземский и Н. А. Полевой осудили компилятивный характер статьи Н. И. Греча «Исторический взгляд на русский театр до начала XIX столетия»: «Здесь собрано все, что донныне было сказано о русском театре в разных книгах и журналах. Надо заметить, однако ж, что в этой статье не отличены собственные суждения г. Греча от чужих».¹¹

Статья А. А. Шаховского «Нечто о театральной музыке» была раскритикована Вяземским и Н. А. Полевым за ее национальную ограниченность. «Хорошо хвалить свое, ожидать успехов отечественной литературы, стараться свергнуть иго французских мнений; но кто поверит автору, что „ни французы, ни британцы, ни южные европейцы не могут уже произвести ничего полного, необыкновенного, словом, близкого к самородным творениям свежих (?) народов: выпаханная нива не дает обильного и сочного плода; счастлирое для их поэзии время миновалось“ и проч. Это и не справедливо, и обидно!».¹²

Резкие упреки Вяземского и Н. А. Полевого вызвала статья «Междудействие, или Разговор в театре о драматическом искус-

⁸ Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов, стр. 167—168.

⁹ Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки. СПб., 1898, стр. 53—54.

¹⁰ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1094, лл. 1—2.

¹¹ Московский телеграф, 1825, ч. 1, № 2, стр. 164.

¹² Там же, стр. 165—166.

стве», подписанная инициалами «А. Θ», под которыми скрывался Булгарин, — авторы статьи обвиняли Булгарина в беззастенчивом плагиате. В «Антикритике», напечатанной в «Московском телеграфе» за подписью «-сть -въ», обвинение Булгарина в плагиате было доказано на многочисленных примерах, путем сличения его статьи с трудом А. Шлегеля «Лекции о драматическом искусстве и литературе».¹³

Статья о «Русской Талии» свидетельствует, что Вяземский внимательно следил за состоянием русской журналистики. На первый взгляд может показаться, что обличение в компиляции и плагиате не является существенным и может быть приписано сведению личных счетов, что — нечего греха таить — не раз бывало в полемических схватках. Между тем дальнейшее развитие событий полностью оправдало озабоченность Вяземского; его настороженное отношение к будущим столпам «торгового» направления должно быть расценено как проявление общественной дальновидности: в журнальной нечистоплотности Булгарина и Греча Вяземский увидел зародыш беспринципности, отсутствие твердых моральных устоев, словом всего того, что явилось психологической предпосылкой их быстрого перехода в последующие годы в лагерь полуофициозных литераторов. Вяземский заметил то, чего не видели многие передовые писатели. Так, например, Бестужев в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» положительно отзывался об альманахе «Русская Талия». Если вспомнить поведение Булгарина в преддекабристские годы, то удивляться этому не приходится.

В «Русской Талии» Булгарину удалось напечатать третье действие «Горе от ума». В «Северной пчеле» он неоднократно хвалил Пушкина, Грибоедова, Рылеева,¹⁴ опубликовал второе послание Пушкина к Чаадаеву.¹⁵

Насколько внимательно и подобострастно прислушивался Булгарин к литературным суждениям Рылеева и Бестужева, явствует из такой красочной детали — первая глава «Евгения Онегина» вызвала неодобрительные отзывы Бестужева и Рылеева; Булгарин проведал об этом и, сообщая читателям о выходе ее в свет, напечатал осторожное уведомление: «Опасаясь попасть в список кри-

¹³ Там же, ч. 1. Антикритика. «-сть -въ» — псевдоним литератора Эраста Петровича Перцова (1804—1873). 28 марта 1825 г. Э. П. Перцов писал Д. П. Ознобишину: «Читали ли вы, любезнейший друг, мои письма к издателю Московского телеграфа, напечатанные в 3-м и 4-м номерах сего же журнала: что делать, я невольно сделался критиком. Г-н А. Ф., т. е. Архип Фадеев (а Архип Фадеев нередко превращался в Фадее Венедик. Булгар.), сей г-н А. Ф. обложил данью и Жуи, и Пикара, и Шлегелей, и Джонеса, и попеременно каждого из них обдирает без милосердия» (Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском гос. унив., т. XXXIV, вып. 3—4, 1929, стр. 180).

¹⁴ Северная пчела, 1825, №№ 2, 32, 37, 40, 57, 128.

¹⁵ Там же, № 12. Под заголовком «К Ч.» и за инициалами «А. П.»

вотолоков и не надеясь попасть на прямой толк, если станем судить о целом по малой его части, отлагаем рассмотрение сего стихотворения до будущего времени». ¹⁶

Просмотр «Северной пчелы» за 1825 г. убеждает в том, что Булгарин усиленно поддерживал свои связи с передовыми писателями, и более всего с издателями «Полярной звезды». Не мудрено, что многие были введены в заблуждение и искренно верили в либеральный образ мыслей Булгарина.

Несмотря на сугубую осторожность Булгарина, Вяземский принял двуличность его позиции — 5 мая 1824 г. он писал А. И. Тургеневу: «Булгарин и в литературе то, что в народах: заяц, который бежит между двух неприятельских станов». ¹⁷

Неприятное отношение Вяземского к Булгарину во многом вызывалось критикой «Истории государства Российского» в статьях польского историка И. Лелевеля, которые с конца 1823 г. стали появляться на страницах «Северного архива». На защиту Карамзина выступил Н. И. Тургенев, посланный в «Северный архив» перевод положительной рецензии немецкого историка Геерена. Булгарин, напечатав этот перевод, поместил критический разбор этой рецензии — в своем ответе он допустил оскорбительные выпады по адресу российского историографа. ¹⁸ Полемика вокруг «Истории государства Российского», развернувшаяся в «Северном архиве», упрочила непримиримость Вяземского к Булгарину. В одном из писем к Жуковскому Вяземский спрашивал: «Читал ли ты подлый и глупый разговор Булгарина, где он хвалит Грибоедова? Слушай!

Булгарин, убедаясь, что брань его не жалит,
Переменил теперь и тактику и речь;

Чтоб Грибоедова упечь,
Он Грибоедова в своем журнале хвалит.
Врагов своих не мог он Фонарем прижечь,
То хоть надеется, что, подслужась, обсалит.

Перемените имена да печатайте у Дельвига». ¹⁹

¹⁶ Там же, № 23.

¹⁷ Осташевский архив, т. III, стр. 41.

¹⁸ Подробнее об этом см.: С. С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России... В кн.: Пушкин и его время, вып. 1. Л., Изд. Гос. Эрмитажа, 1962, стр. 107—108.

¹⁹ ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 2, № 21. — В словах «не мог он Фонарем прижечь» намек на басню Измайлова «Фаддей с фонарем». Просьбу Вяземского Жуковский, по-видимому, передал Кюхельбекеру; В. Н. Орлов обнаружил текст этой эпиграммы, написанной рукой Кюхельбекера, с изменением имени Булгарина на Тадеуша, а Грибоедова — на Талантина (см.: Звезда, 1941, № 5, стр. 165). Включение этой эпиграммы в сочинения Кюхельбекера ошибочно. (В. К. Кюхельбекер, Избр. произв. в двух томах, т. 1, М.—Л., изд. «Советский писатель», 1967, стр. 207). Вместе с тем Н. В. Королева справедливо предположила, что именно Кюхельбекер выставил себя автором этой эпиграммы для цензуры (там же, стр. 628); как известно, А. Е. Измайлов писал 18 но-

Высказывалось мнение, что полемика с Булгариным отразила спад оппозиционного настроения Вяземского в 1825 г. и что она свидетельствует о преобладании в его критических статьях этого времени элементов «аристократического эстетизма». Обосновывая это утверждение, Н. И. Мордовченко ссылался в первую очередь на статью Вяземского «Жуковский. — Пушкин. — О новой питейке басен», полемически заостренную против Булгарина. Н. И. Мордовченко писал: «... Булгарин формулировал чужие мнения, упрощая и вульгаризируя их, что прямо бросалось в глаза, например в его отзыве о Крылове. Но Вяземскому претит, конечно, не только эта вульгаризация, но и сама основа оценок Жуковского, Пушкина и Крылова. Полемизируя с Булгариным, Вяземский по существу противопоставлял свои взгляды взглядам Кюхельбекера и Бестужева».²⁰

В этом слишком категорическом утверждении есть доля истины. Но можно ли считать, что любая полемика со взглядами Кюхельбекера и Бестужева являлась проявлением «аристократического эстетизма»? Вспомним слова Вяземского о Жуковском: «С удовольствием повторю здесь выражение самого Пушкина об уважении, которое нынешнее поколение поэтов должно иметь к Жуковскому, и о мнении его относительно тех, кои забывают его заслуги: *Дитя не должно кусать груди своей кормилицы*».²¹ Это перефразировка письма Пушкина к Рылеву от 25 января 1825 г.: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому, что зубки прорезались? Что ни говори, Жу<ковский> имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводной слог его останется всегда образцовым. Ох! уж эта мне республика словесности. За что казнить, за что венчать?».²²

Итак, Пушкин, как и Вяземский, не был согласен с Бестужевым и Рылевым в оценке Жуковского. Не следует ли на этом основании и Пушкина обвинять в «аристократическом эстетизме»?

В своей статье Вяземский защищал Пушкина от глупых похвал Булгарина: «Он (Булгарин, — М. Г.) элегии Пушкина называет *прелестными игрушками*. Новое противоречие, новый *non-sens!* Если они *игрушки*, то уже не *прелестны!* Элегия только тогда и хороша, когда поэт в ней не *шутит*, а говорит *за правду*. Элегия — бытописание души или холодная, скучная сказка. Элегии Пушкина не *прелестные игрушки*, но горячий *выпечаток* минутного ощуще-

ября 1825 г. П. А. Яковлеву, что цензор Бируков не пропустил «одной полемической пьесы Кюхельбекера против Булгарина» (ЛН, т. 59, М., 1954, стр. 535). Безусловно, речь шла именно об этой эпиграмме Вяземского. Зашифровка имен не спасла эпиграммы: польская огласовка имени Фаддея — Тадеуш — явно указывала на личность. История с этой эпиграммой характеризует близость отношений между Жуковским, Кюхельбекером и Вяземским.

²⁰ Н. И. Мордовченко. Ук. соч., стр. 307—308.

²¹ Московский телеграф, 1825, ч. 1, № 4, стр. 351.

²² Пушкин, т. XIII, стр. 135.

ния души, минутного вдохновения уныния — и вот чем они прелестны!».²³

25 мая 1825 г. Пушкин писал Вяземскому: «Ты спрашиваешь, доволен ли я тем, что сказал ты обо мне в Телѳеграфе». Что за вопрос? Европейские статьи так редки в наших журналах! а твоим пером водят и вкус и пристрастие дружбы <...> Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его (Жуковского, — М. Г.). В бореньях с трудностью силач необычайный. Переводы избаловали его, изленили; он не хочет сам созидать, но он, как Voss, гений перевода. К тому же смешно говорить об нем, как об ответшем, тогда как слог его еще мужает».²⁴

Вряд ли Пушкин назвал статью Вяземского европейской, если бы он обнаружил в ней признаки политического отступничества.

Обратим внимание и на то, как Вяземский защищал Жуковского: «Нет сомнения, что многие из произведений Жуковского, а в особенности последние, носят какой-то общий отпечаток; но просвещенный взор, но изощренное чувство образованного знатока откроют везде черты отличительные. Большая часть философических од Горация также на один напев: его философия заключается в одной господствующей мысли, в одном господствующем чувстве, но переливы их разнообразны, разноцветны, и они-то услаждают читателей многих столетий. Каждый готов согласиться, что разнообразие в творческой способности есть венец преимуществ поэта; но Протеи, каковы, например, Вольтер во Франции, Гете в Германии, каждый в своем роде и народе, бывают редкими исключениями из общего закона».²⁵ Вяземский по сути дела согласился с Кюхельбекером, который упрекал Жуковского в односторонности; разница лишь в том, что Кюхельбекер порицал его односторонность, а Вяземский в какой-то мере оправдывал или, точнее сказать, объяснял индивидуальными свойствами творческого дарования Жуковского.

Резкий отпор Вяземского вызвало демагогическое утверждение Булгарина, что у нас есть поэты выше Жуковского и Пушкина.

²³ Московский телеграф, 1825, ч. I, № 4, стр. 349—350.

²⁴ Пушкин, т. XIII, стр. 183. «В бореньях с трудностью силач необычайный» — цитата из послания Вяземского к Жуковскому (1819). Сам Жуковский был против полемики с Булгариным. В. А. Муханов писал 22 апреля 1825 г. брату Николаю: «От души сожалею, что Вяземский на свою беду заваривает кашу с Булгариным. Тебе надобно сказать, что вслед статьи его, напечатанной в Телеграфе, он получил письмо от Жуковского, который очень благообразно упрекал его, зачем он за него вступается, говоря, что литераторы, сделавшие себе имя, должны презирать кривые толки литературной черни и отвечать на оные убийственным молчанием, но было уже поздно. Критика Булгарина, ни мало не опровергая статью Вяземского, наполнена личностями и ругательствами, но Вяземский не будет отвечать на сию брань» (Щукинский сборник, вып. V, М., 1906, стр. 271. Здесь письмо ошибочно датировано 1824 г.).

²⁵ Московский телеграф, 1825, ч. 1, № 4, стр. 346—347.

Булгарин недвусмысленно намекал на Рылеева, всячески стараясь выслужиться перед ним и Бестужевым. Вяземский заклеил попытку Булгарина противопоставить литературную деятельность издателей «Полярной звезды» всем остальным передовым писателям.

Насмешливый отзыв Вяземского заслужили следующие строки Булгарина о Крылове: «В прежних баснях И. А. Крылова мы видим русскую курицу, русского ворона, медведя, соловья и т. п. Я не могу хорошо изъяснить того, что чувствую при чтении его первых басен, но мне кажется, будто я где-то видал этих зверей и птиц, будто они водятся в моей родительской вотчине».²⁶ С нескрываемым издевательством Вяземский отвечал Булгарину: «Искренно поздравляем нашего Аристарха-помещика с родительскою вотчиною; не каждому ученому можно похвалиться подобною собственностью; поздравляем и с тем, что он имеет при ней куриц и соловьев, приятную пищу для желудка и ушей, хотя сожалеем вчуже, что в этой вотчине водятся медведи, потому что от них сельские прогулки могут вовлечь хозяина в неприятные встречи».²⁷

Слова о «родительской деревни с соловьями и с медведями» Пушкин привел в письме к брату Льву от 27 марта 1825 г.; отповедь Булгарину была остроумной, и Пушкину это понравилось. Но это не означало, что в оценке творчества Крылова он сошелся с Вяземским. В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» Пушкин писал: «Лафонтен и Крылов — представители духа обоих народов»,²⁸ что вызвало бурное возражение Вяземского: «Как ни говори, а в уме Крылова есть все что-то лакейское: лукавство, брань из-за угла, трусость перед господами, все это перемешано вместе».²⁹

Карамзинистская стилистическая закваска мешала Вяземскому по достоинству оценить язык басен Крылова; с другой стороны, умеренная общественная позиция Крылова, его басни «Безбожники», «Сочинитель и разбойник», в которых осуждалось религиозное вольнодумие и были неодообрительные намеки на вольнодумных писателей (в частности, было распространено мнение, что в «Сочинителе и разбойнике» Крылов имел в виду Вольтера), вызывали осторожное отношение Вяземского.

Кроме того, можно думать, что на оценке Вяземским Крылова сказалась журнальная полемика 1790-х годов между Карамзиным и Крыловым, с которой его, по всей вероятности, ознакомил Карамзин. Нападки Крылова на Я. Б. Княжнина, тираноборческую трагедию которого «Вадим Новгородский» высоко ценил Вяземский, также наложили отпечаток на суждения Вяземского о Кры-

²⁶ Сын отечества, 1825, № 3, стр. 313.

²⁷ Московский телеграф, 1825, ч. 1, № 4, стр. 353.

²⁸ Пушкин, т. XI, стр. 34.

²⁹ Пушкин, т. XIII, стр. 238.

лове. Как драматурга Вяземский предпочитал Я. Б. Княжнина: «Прочтите комедию Крылова „Проказники“ и скажите, случаются ли такие чудеса в наше время. Как так переродиться? Лакейские шутки, срам и поношение. Вот где Княжнин глядит исподлином: в Российском театре».³⁰

При подобной оценке драматургии Крылова для Вяземского были особенно неприемлемы его отзывы о Я. Б. Княжнине: «Крылов высмеял Княжнина как писателя-плагиатора, как человека, оскорбил его жену в комедии „Проказники“, обрушился на его трагедии в „Почте духов“ (1789). Вопрос о том, что, помимо различия эстетических позиций, разделило писателей (а может быть, и о том, кто повинен в этом недоразумении), должен быть предметом специального исследования. Но рассматривать его надо объективно. Нельзя преувеличивать аристократизм Княжнина, дворянина; но не помещика, жившего на литературный заработок и жалованье. Да и не в аристократизме обвиняет Крылов Княжнина и в „Проказниках“, и в „Почте духов“, когда удивляется „безбожной брани на святых“ в „Владимире и Ярополке“. Не было ли это таким же срывом, как и нападки на „французских Эпикуров и Спиноз“ в той же „Почте духов“?».³¹ Все эти аспекты литературной полемики конца XVIII в. бесспорно отразились на мнении Вяземского о Крылове.³²

Возвращаясь к полемике Пушкина и Вяземского о Крылове, отметим, что возражения Вяземского вызвали каламбурный ответ Пушкина: «Ты уморительно критикуешь Крылова; молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем духа русского народа — не ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял. — В старину наш народ назывался смерд (см. госп<одина> Кар<амзина>). Дело в том, что Крылов преоригинальная туша, гр<аф> Орлов дурак, а мы разини и пр. и пр.».³³ В шутивно уклончивом ответе Пушкина сквозит полусогласие с замечаниями Вяземского: можно думать, что на умеренную житейскую философию Крылова, отразившуюся и в его баснях, намекал Пушкин своим иносказанием.

Итак, анализ статьи «Жуковский. — Пушкин. — О новой питике басен» не дает оснований утверждать, что в 1825 г. в литературных суждениях Вяземского проявился «аристократический эстетизм». Не подтверждает этот тезис и положительная оценка Вяземским поэмы Козлова «Чернец». Н. И. Мордовченко, ссыла-

³⁰ П. А. Вяземский. Записные книжки (1813—1848). М., Изд. АН СССР, 1963, стр. 57.

³¹ Л. И. Кулакова. Жизнь и творчество Я. Б. Княжнина. В кн.: Я. Б. Княжнин, Избр. произв., Л., изд. «Советский писатель», 1961, стр. 13.

³² Об этом см. также: Н. М. Карамзин. Письма к И. И. Дмитриеву. М., 1866 (по указателю имен); М. Г. Альтшуллер. Идеиные и художественные искания в русской лирике 1790-х годов. Канд. дисс. ЛГУ, 1965 (глава о Н. П. Николаеве). (Рукопись).

³³ Пушкин, т. XIII, стр. 240.

ясь на отрицательный отзыв Бестужева о поэзии Козлова, считает, что точка зрения Вяземского свидетельствовала о пристрастии критика к тем произведениям, в которых отсутствовало политическое содержание. Но вспомним, что прямолинейная позиция, занятая Бестужевым и Рылевым, привела их к неприятию первой главы «Евгения Онегина». Таким образом, их оценка того или иного произведения не может служить эталоном для современного литературоведения. Более объективный подход свойствен Пушкину, который с присущей ему исключительной широтой критических суждений писал 25 мая 1825 г. Вяземскому о его статье: «Читал твое о „Чернеце“, ты исполнил долг своего сердца. Эта поэма, конечно, полна чувства и умнее Войнаровского, но в Рылеве есть более замашки или размашки в слоге».³⁴ Несколькими днями раньше Пушкин писал брату Льву о Козлове: «Подпись слепого поэта тронула меня несказанно. Повесть его прелесть — сердись он, не сердись — а хотел простить — простить не мог достойно Байрона. Видение, конец прекрасны».³⁵ Кроме того, Пушкин написал стихотворное послание к Козлову по прочтению его поэмы «Чернец», в котором высказал свое восхищение.

В начале статьи «Чернец, киевская повесть» Вяземский, как и Пушкин в стихотворном послании, писал, что физические страдания (паралич и слепота) послужили для Козлова тем трудным, но благодетельным испытанием, в результате которого в полной мере раскрылись его духовные способности. Пересказывая содержание поэмы Козлова, Вяземский уделял особое внимание точности психологической обрисовки героя: «Нравственный поэт с отменным познанием сердца человеческого означил следствие преступления на душе страдальца».³⁶

Несмотря на наличие в поэме религиозного мотива, естественного для литературного произведения 1820-х годов, основным в поэме Козлова является правдивое изображение движений человеческой души, и именно этим обстоятельством объясняется высокая оценка ее Пушкиным и Вяземским. Элементы подражательности, конечно, имеются в поэме Козлова: было бы странно отрицать ее зависимость от поэтической манеры Жуковского. Но эти недостатки поэмы не должны заслонять ее положительное значение, удачную попытку дать психологически углубленный образ.

Критикуя поэму Козлова за содержащуюся в ней идею смирения и противопоставляя его творчеству мятежную поэзию Байрона, Белинский и Чернышевский в то же время признавали, что автор «Чернеца» является поэтом чувства — в рецензии на сочинения Козлова Чернышевский приводит пространную выписку из статьи Белинского, выписку, которая заканчивается следующими словами: «Козлов поэт чувства, точно так же, как Баратынский

³⁴ Пушкин, т. XIII, стр. 183—184.

³⁵ Там же, стр. 174.

³⁶ Московский телеграф, ч. 2, № 8, стр. 317,

поэт мысли. Поэтому не ищите у Козлова художественных созданий, глубоких и мирообъемлющих созерцаний; ищите в нем одного чувства — и вы найдете в его двух книжках много прекрасного, едва не наполовину с посредственным». ³⁷ Далее Чернышевский писал о своем согласии с мнением Белинского. Помимо этой общей оценки творчества Козлова, в статьях Белинского имеются непосредственные высказывания о «Чернеце» — в «Литературных мечтаниях» Белинский назвал эту поэму «сколком с Байронова „Джяура“», а в статье «О стихотворениях Баратынского» писал: «... не пробуждают ли всей вашей души многие места из его „Чернеца“, и не вызывают ли они всех ваших задушевных дум, не откликаетесь ли вы на них своим чувством?». ³⁸

Анализируя статью Вяземского о поэме Козлова, необходимо четко представить себе литературно-историческую перспективу: поэма «Чернец» была написана в то время, когда еще не было опубликовано большинство поэтических произведений Пушкина и когда еще не родилась поэзия Лермонтова. Наряду с подражательностью в поэме Козлова были элементы нового видения мира, имелись черты, которые знаменовали и предвосхищали будущее развитие русской поэмы в сторону психологизма. Итак, положительная оценка Вяземским поэмы «Чернец» (в чем он сошелся с мнением Пушкина) также не может служить доказательством «аристократического эстетизма» его взглядов.

Наконец, в 1825 г. Вяземский напечатал рецензию на «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона» Дениса Давыдова, в которой особо подчеркнул роль Давыдова в партизанском движении во время Отечественной войны 1812 года. Защищая военный слог Давыдова от нападок «строгих методистов», Вяземский писал: «Многим не под силу раздробить ядро мысли, и потому с алчностью острятся они об оболочку. Если в оборотах речей найдутся галлицизмы, то по крайней мере сабля, очинившая перо нашего военного писателя, чужда сего упрека и должна безоружить неумолимую строгость Аристархов, которые готовы защищать наш язык от чужеземного владычества, с таким же упорством и энтузиазмом, с каким наши воины обороняли от него нашу землю. Усердие похвальное! Пусть целость нашего языка будет равно священна, как и неприкосновенность наших границ; но позвольте спросить: разве и завоевания наши почитать за нарушение этой драгоценной целости? Не забудем, что язык полити-

³⁷ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 2, М., Гослитиздат, 1949, стр. 727.

³⁸ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 1, М., Изд. АН СССР, 1953, стр. 325. — Следует отметить, что в 1830-е годы отношение Вяземского к произведениям Козлова стало сдержаннее — в письме к А. И. Тургеневу от 26 марта 1833 г. он писал: «Козлова и Языкова стихотворения вышли, два антипода, но тут не по шерсти им дано, и забодает не Козлов» (Остафьевский архив, т. III, стр. 228).

ческий, язык военный — скажу наотрез — язык мысли вообще, мало и немногими у нас обработан».³⁹

Эти мысли Вяземского нашли горячий отклик у Пушкина, который писал ему 13 июля 1825 г.: «Сейчас прочел твои замечания на замечания Дениса на замечания Наполеона — чудо-хорошо! твой слог, живой и оригинальный, тут еще живее и оригинальнее. Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного, точного языка прозы — т. е. языка мыслей). Об этом есть у меня строфы 3 и в Онег<ине>».⁴⁰

Пушкин имел в виду строфы XXVI—XXIX третьей главы «Евгения Онегина», которая в то время еще не была напечатана, да и Вяземский познакомился с ней, по-видимому, лишь осенью 1826 г. при встрече с Пушкиным в Москве. В этих строфах Пушкин писал, что

Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык,

и вступался за галлицизмы:

Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.

Итак, независимо друг от друга Вяземский — в Москве, Пушкин — в Михайловском оправдывали галлицизмы, ратовали за развитие языка мыслей.

Литературная позиция Вяземского в первый год издания «Московского телеграфа» полностью отражала его общественные взгляды — в 1825 г., как и в предыдущие годы, Вяземский горячо сочувствовал дворянской оппозиции. Тем не менее он отказался от непосредственного участия в Северном обществе декабристов. Вяземский был противником революционных мер. В письме к Пушкину, написанном во второй половине 1825 г., он высказал следующую мысль: «Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, если набожная душа отречься от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа».⁴¹ Аналогичную позицию занимал Грибоедов, считавший, что «сто прапорщиков» не в силах «переменить весь государственный быт России». Трезво оценивая реальные возможности дво-

³⁹ Московский телеграф, 1825, ч. 3, № 12, стр. 354—355. — В Собрании сочинений Вяземского (I, 193—197) напечатана только вторая часть рецензии; начало ее см.: Московский телеграф, 1825, ч. 3, № 10, стр. 158—165.

⁴⁰ Пушкин, т. XIII, стр. 187.

⁴¹ Там же, стр. 222.

рянской оппозиции, Вяземский и Грибоедов видели глубокую пропасть между ней и народными массами.

Поражение декабристов на Сенатской площади усилило оппозиционное настроение Вяземского. Первая половина 1826 г. прошла для него, как и для Пушкина, в ожидании правительственных репрессий: близость со многими участниками декабристского движения заставляла предполагать, что они могут подвергнуться строгой опале. Остерегаясь усиленной проверки писем, Вяземский и Пушкин прервали в начале 1826 г. свою оживленную переписку; только во второй половине мая Пушкин написал Вяземскому первое письмо и то послал его не по почте, а с оказией.

Опасения Пушкина и Вяземского оказались преувеличенными — Николай I не рискнул пойти на расширение карательных мер, ибо общественное мнение и без того было сильно взбудоражено расправой над декабристами. Суровый приговор, вынесенный участникам восстания, вызвал негодование Вяземского — 17 июля 1826 г. он писал жене: «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо. Может быть, они и правы, а я виноват в своем образе мыслей, но не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни!».⁴² Прошло три дня, и он снова писал жене: «Как герой романа Потоцкого, который, где бы ни был, что бы ни делал, а все просыпался под виселицами, так и я: о чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибывает меня неволью и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место».⁴³

В письме к А. И. Тургеневу и Жуковскому от 29 сентября 1826 г. Вяземский с исключительным сочувствием отзывался о женах декабристов, едущих в Сибирь за своими мужьями: «Дай бог, хоть им искупить гнусность нашего века».⁴⁴ 27 ноября 1826 г. он писал тем же адресатам: «Не наше дело судить, а все-таки сто двадцать братьев на каторге. Можно бы полжизнью купить забвение 14-го Декабря, а не то что воспевать его, разве с тем, чтобы призывать милосердие на головы виновных и жертв».⁴⁵ Аналогичное суждение о декабристах высказал Пушкин, писавший 14 августа 1826 г. Вяземскому: «Еще таки я все надеюсь на короляцию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна».⁴⁶ Обуреваемый теми же чувствами, что и Пушкин, Вяземский повторил его отзыв о декабристах.

Личная дружба связывала Вяземского со многими декабристами. Помимо Рылеева, Бестужева и Кюхельбекера, он был в приятельных отношениях с лицейским товарищем Пушкина И. И. Пущиным. Хотя ссылка на письмо М. И. Пущина («... до-

⁴² Остафьевский архив, т. V, вып. 2, стр. 52.

⁴³ Там же, стр. 54.

⁴⁴ Архив братьев Тургеневых, вып. VI, стр. 43.

⁴⁵ Там же, стр. 50.

⁴⁶ Пушкин, т. XIII, стр. 291.

потопный твой портфель спрашивай у Вяземского, которому он еще в 41 году отдан мною на сохранение" — так писал И. И. Пущину его брат Михаил 22 апреля 1857 г.⁴⁷⁾ опровергает рассказ Е. И. Якушкина о том, что заветный портфель с рукописями Пушкина и Рылеева, а также с конституцией Никиты Муравьева был передан Вяземскому сразу же после подавления восстания декабристов, однако несомненно, что именно рассказы И. И. Пущина о его дружеских отношениях с Вяземским послужили основанием для этого неточного утверждения мемуариста. Кроме того, передача портфеля в 1841 г. на хранение Вяземскому свидетельствует о том, что М. И. Пущин знал о дружбе между его братом и Вяземским. Дружеские отношения между И. И. Пущиным и Вяземским сохранились на многие годы: в письме от 8 марта 1845 г. И. И. Пущин благодарил Вяземского за присланные сигары и перевод романа «Адольф».⁴⁸ В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) хранится прошение М. И. Пущина об облегчении участи И. И. Пущина, писанное рукою Вяземского.⁴⁹

Вяземский был близок с А. И. Одоевским. Летом 1829 г. декабрист П. А. Муханов, сотрудничавший с Вяземским в «Московском телеграфе», переслал ему стихи А. И. Одоевского, «писанные под небом гранитным и в каторжных норах». Стихи были присланы нелегально из Читинского острога при письме П. А. Муханова от 12 июля 1829 г., в котором он от имени А. И. Одоевского просил об издании альманаха «Зарница», составленного из произведений сосланных декабристов.⁵⁰ Благодаря стараниям Вяземского и Дельвига в 1830 и 1831 гг. в «Литературной газете» и «Северных цветах» были опубликованы (анонимно) десять стихотворений А. И. Одоевского; два из них — «Бал» и «Амур-Анакреон» — А. И. Одоевский посвятил Вяземскому.

Переписка М. Н. Волконской с женой Вяземского, пересылка Верой Федоровной в Сибирь «Литературной газеты» и книжных новинок также указывает на сочувственное отношение семейства Вяземского к друзьям-декабристам.⁵¹ По мере своих возможностей Вяземский поддерживал и тех декабристов, которых даже не знал лично. Когда М. Н. Волконская уезжала из Москвы в Сибирь,

⁴⁷ Т. Г. Цявловская. Автограф стихотворения «К морю». В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 196.

⁴⁸ И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Гослитиздат, 1956, стр. 210.

⁴⁹ В. В. Данилов. Декабристские материалы Пушкинского дома. В кн.: Декабристы и их время. М.—Л., Изд. АН СССР, 1951, стр. 275.

⁵⁰ Текст и факсимиле письма воспроизведены во вступительной статье И. С. Зильберштейна к публикации рассказа Николая Бестужева «Похороны». ЛН, т. 60, кн. 1, М., 1956, стр. 177.

⁵¹ См.: М. П. Султан-Шах. М. Н. Волконская о Пушкине. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 257—267.

Вяземский писал Ф. И. Толстому: «Волконская едет сегодня к мужу в Сибирь: мне хочется послать с ней малое пособие Шаховскому; и ты хотел взойти в долю. Я даю рублей 200, потому что более нет. Я дал вчера знать жене Шах<овского>, что есть случай писать к нему, но до сей поры не имею ответа. — Как зовут Шаховского?»⁵²

В последекабрьские годы Вяземский сохранил дружеские отношения с находившимся под надзором полиции М. Ф. Орловым и полуопадальным А. И. Тургеневым. Все эти факты свидетельствуют о нравственном облике Вяземского, готового, как и Пушкин, всегда прийти на помощь жертвам восстания на Сенатской площади. Мало того: мы можем говорить не только о личном мужестве Вяземского, но и о том, что он полностью оправдывал выступление декабристов. «Ограниченное число заговорщиков ничего не доказывает, — писал он в 1826 г. Жуковскому, — единомышленников много, а в перспективе десяти или пятнадцати лет валит целое поколение к ним на секурс. <...> Из под земли, в коей оно теперь невидимо, но ошутительно зреет, пробьется грядущее поколение во всеоружие мнений и неминуемости, которое не будет подлежать следственной комиссии Левашевых, Чернышевых и Татищевых <...> Я охотно верю, что ужаснейшие злодейства, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги. Доказательство тому, что я не одобрял ни начала, ни средств, кои покушались привести в действие, есть то, что пишу тебе из Москвы; но постигаю причины и, не оправдывая лиц, оправдываю действие, потому что вижу в нем неминуемое следствие бедственной истины».⁵³

Убежденный сторонник либеральной доктрины, Вяземский сумел дать исторически верную оценку движению 14 декабря. Комментируя строку из стихотворения Карамзина «Тацит» «Терпя, чего терпеть без подлости не можно», он писал 22 июля 1826 г.: «Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному. <...> Несчастный Пушкин

⁵² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1318, л. 28. — 20 января 1827 г. М. Н. Волконская писала из Красноярска В. Ф. Вяземской: «... князя Федора <Шаховского> здесь уже нет, тем не менее все будет ему передано непременно» (Т. Г. Цявловская. Мария Волконская и Пушкин. Прометей, 1966, № 1, стр. 61). — О широком круге декабристских знакомств Вяземского см. также: Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов, стр. 24—142; С. С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России, стр. 184—210.

⁵³ Остафьевский архив, т. V, вып. 2, стр. 159—160.

в словах письма своего (Донесение следственной комиссии, 47 стр.): „Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай“ — дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения в России исполнена и что без подлости нельзя не воспользоваться пробившим часом. <...> Теперь вопрос: достигла ли Россия до степени уже несносного долготерпения и крики мятежа были ли частными выражениями безумцев или преступников, совершенно по образу мыслей своих отделившихся от общего мнения, или отголоском гeпfoгeсé <усиленным> общего ропота, стенаний и жалоб?». ⁵⁴ Ответ Вяземского предельно отточен: «... дело это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был не что иное, как вспышка общего неудовольствия. <...> правительства забывают, что народы рано или поздно, утомленные недействительностью своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству молитв вооруженных». ⁵⁵

Итак, в те годы Вяземский рассматривал декабристское движение как протест нации против пагубной антинародной политики самодержавия.

По мере цензурных возможностей Вяземский пытался и публично выступать с защитой свободомыслия. Он напечатал в «Московском телеграфе» лежавшую под спудом с конца 1810-х годов свою обличительную статью «О злоупотреблении слов», в которой смело заступился за священное слово «вольнодумец»: «Жаль, что злоупотребление придало порочный смысл слову: *вольнодумец*. По-настоящему вольнодумец тот, кто пользуется свободой мыслить. Конечно, многие бескорыстные люди великодушно отказываются от права пользоваться сею свободой и, как мудрец, который только и знал, что он ничего не знает, они только и думают, что лучше не думать». ⁵⁶ В те годы слово «вольнодумец» было синонимом слова «декабрист», и защита Вяземским вольнодумства являлась по сути дела оправданием свободолобивого духа декабризма. С. Н. Дурьин точно сформулировал отношение Вяземского к декабристам и декабризму: «В суждениях об идеях среднего, так сказать, декабризма Вяземский оставался всегда „либералистом“ „дней Александровых прекрасного начала“; в суждении о деле декабристов он всегда был скептик и политический невер; в отношении к людям декабря он всегда был их другом, что означало уже недружелюбие к их судьям и палачам». ⁵⁷

Литературно-критическая деятельность Вяземского в «Московском телеграфе» в 1826—1827 гг. была подчинена одной основной

⁵⁴ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 129—130.

⁵⁵ Там же, стр. 130—131.

⁵⁶ Московский телеграф, 1827, ч. 13, отд. 2, стр. 16.

⁵⁷ Н. Кутанов <С. Дурьин>. Декабрист без декабря. В кн.: Декабристы и их время, т. II. Л., Изд. Общ. политкаторжан, 1932, стр. 284.

задаче — продолжить лучшие традиции передовой русской журналистики, понесшей столь тяжелый урон во время декабрьской катастрофы, сохранить независимый, оппозиционный характер журнала. Между тем развитие тезиса Н. И. Мордовченко об «аристократическом эстетизме» взглядов Вяземского приводит исследователей, разделяющих эту точку зрения, к выводу, что «Московский телеграф» и в 1826 г. выступал с опровержением эстетических воззрений писателей-декабристов; так, например, В. Г. Березина утверждает, что в полемике вокруг «Эды» Баратынского «Московский телеграф» осудил декабристское требование «возвышенного предмета» и в то же время высказался за исключение из поэзии «низкого», понимаемого им как «неизящного» и «порочного». ⁵⁸

Статья «Московского телеграфа» о произведениях Баратынского была опубликована в конце марта 1826 г. (цензурное разрешение восьмой части — 22 марта); в это время литераторы-декабристы томились в казематах Петропавловской крепости, и полемизировать с ними сквозь тюремную решетку было неуместно. И действительно «Московский телеграф» возражал не им. В заметке о произведениях Баратынского Пушкин писал: «... появление Эды, произведения столь замечательного оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных, — появление Эды подало только повод к неприличной статейке в Сев<ерной> пчеле и слабую возражению, кажется, в М<осковском> телеграфе». ⁵⁹

Итак, по свидетельству Пушкина, автор статьи о Баратынском в «Московском телеграфе» выступил против Булгарина. «Чувство любви, — сокрушался в своей рецензии Булгарин, — представлено также не в возвышенном виде, и предмет поэмы вовсе не питиический. Гусар обманывает несчастную девушку, и она умерла с отчаяния, без всяких особенных приключений. Нет ни одной сцены занимательной, ни одного положения поразительного. Даже в прозе повесть сия не увлекла бы читателя заманчивостью, а нам кажется, что поэзия должна избирать предметы, выходящие из обыкновенного круга повседневных приключений и случаев; иначе она превратится в рифмоплетство. Неужели природа, история и человечество не имеют предметов для воспаления юных талантов? Скучность предмета имела действие и на образ изложения: стихи, язык — в этой поэме не отличные». ⁶⁰

Если полистать «Северную пчелу» за это время и перечесть бесчисленные «возвышенные» песнопения, прославляющие почившего в бозе Александра I и вступившего на престол Николая I,

⁵⁸ В. Березина. Литературно-общественная позиция Н. А. Полевого в «Московском телеграфе» (1825—31 гг.). Канд. диссертация, ЛГУ, стр. 11 (Рукопись).

⁵⁹ Пушкин, т. XI, стр. 74.

⁶⁰ Северная пчела, 1826, № 20.

то станет понятно, о каком «возвышенном предмете» хлопотал Булгарин, воспевать какие «возвышенные предметы» советовал он юным талантам. Таким образом, автор статьи «Московского телеграфа» о произведениях Баратынского полемизировал не с «возвышенным предметом» литераторов-декабристов, которое подразумевало прославление республиканских доблестей, а с «возвышенным предметом» Булгарина, заключающимся в восхвалении самодержавия и религии.

Тезис об «аристократическом эстетизме» Вяземского и редакции «Московского телеграфа» не подтверждается. Напротив того, изучение критических статей Вяземского 1826—1827 гг. позволяет прийти к выводу, что он самоотверженно отстаивал вольнолюбивые идеалы. Рассмотрение его деятельности этих лет целесообразнее всего начать с боевой, программной статьи — «Письмо из Парижа».

В «Письме из Парижа» Вяземский обращал внимание читателей на гражданственное назначение поэзии. Он поднял на щит греческих трагиков, а также Тиртея, Ювенала, Державина, который, как он писал, «не только лирик сатирический, но и политический»,⁶¹ Жуковского как автора «Певца во стане русских воинов», Байрона. Вяземский писал: «Вы видите, что я готов назвать поэзию политическою всякую народную или гражданскую поэзию, объемлющую возвышенные, общественные истины, и почему поэту не быть, наравне с оратором, стражем народных выгод и блага общественного?»⁶² Выдвигая на первый план образцы политической поэзии, Вяземский в условиях реакции, наступившей после поражения восстания на Сенатской площади, призывал писателей идти по пути просвещения и защиты свободлюбивых идеалов.

Естественно, что разделяя мысль о гражданственности литературы, Вяземский придавал большое значение роли писателя в обществе и негодовал, что в России звание литератора не стало еще почетным званием. Возражая Жуковскому по поводу его статьи «Писатель в обществе» (1808), Вяземский в рецензии на «Сочинения в прозе Жуковского» писал: «Впрочем, автор (Жуковский, — М. Г.) должен был довольствоваться в своем начертании одними общими соображениями, не применяя их к положению русского писателя, в русском обществе. У нас в оном нет ему места. По светскому уложению нашего общества, авторство не есть звание, коего представительство имеет свои права, свой голос и законный удел на съезде чинов большого света. Писатель в России, когда он не с пером в руках, не в книге своей, есть существо отвлеченное, метафизическое: если он хочет быть существом положительным, то имей он еще в запасе постороннее звание, и сия эпизодическая роль затмит и перевесит главную».⁶³ Суждение

⁶¹ Московский телеграф, 1826, ч. 12, отд. 2, стр. 52.

⁶² Там же.

⁶³ Там же, отд. 1, стр. 180.

Вяземского сошлось с мнением Пушкина, который возмущался по поводу униженного положения русских писателей: «Успехи нашей словесности всегда радовали мое сердце, и я не мог без негодования слышать в нынешних журналах нападки, столь же безумные как и несправедливые, на произведения писателей, делающих честь не только России, но и всему человечеству, и вообще на состояние просвещения в любезнейшем нашем отечестве».⁶⁴

Из суждения Вяземского о гражданственном назначении литературы, из его понимания высокой ответственности писателя перед народом закономерно следовал вывод о большом значении сатиры, о первостепенной роли творчества Кантемира, Фонвизина, Новикова. В статье «Сочинения в прозе Жуковского» Вяземский писал о Кантемире: «Ум, душа, правила Кантемира ясно и резко отражаются в его сатирах: он мыслит и заставляет мыслить. Думая о славе его и о пользе нашей, влиянием, которое он имел бы на мнение общественное, должно жалеть, что он не родился нашим современником; но, с другой стороны, представляется недоумение: мог ли бы он ныне, при многих переменах в нашем положении и во нравах наших, при нынешней осторожности, опасливости языка авторского, давать свободное течение перу; не был ли бы ум его стеснен литературными и разнородными преградами и мог ли бы он изображать себя в стихах, как в зеркале, не отуманенном чуждым влиянием и не полувзвешенном из уважения к многим приличиям светским?».⁶⁵

Сравнение цензурных условий XVIII в. с цензурой николаевского царствования делало особенно злободневным обращение Вяземского к сатирическому творчеству Кантемира.

В эти годы не утихла борьба между романтиками и классиками; эти литературные баталии отразились в полемике «Московского телеграфа» с другими журналами. Воспользовавшись ошибкой Н. А. Полевого при переводе с французского, Булгарин поместил в «Северном архиве» серию статей, главным действующим лицом которых выступала олицетворенная ошибка Н. А. Полевого — Грипусье. Однако незначительная на первый взгляд придирка превращалась под пером памфлетиста «Северного архива» в обвинительный акт против романтизма.

В статье «Признания французского журналиста», написанной от лица Грипусье, содержались строки, полные иронии и сарказма в адрес романтиков: «Я сделался их участником в важном или, лучше сказать, смешном заговоре, коего целью было ниспровержение славы всех прежних писателей и создание нового изящного, с помощью разума освобожденного от предрассудков и беспрепятственно стремящегося к миру идеальному. — Я не понимал этой

⁶⁴ Пушкин, т. XI, стр. 62.

⁶⁵ Московский телеграф, 1826, ч. 12, отд. 1, стр. 176. — Слова Вяземского о Кантемире «он мыслит и заставляет мыслить» были замечены Пушкиным и вскоре использованы им для характеристики самого Вяземского.

галиматы, но вытвердил ее наизусть. Вам, говорил я, вам предстоит совершить сей великий подвиг! Вы должны помрачить незаслуженную славу древних писателей! <...> соорудите новое здание словесности, пред коим долголетние труды Расинов, Корнелей и Мольеров будут казаться детскими игрушками!»⁶⁶

На язвительные тирады «Северного архива» Вяземский отвечал не менее саркастическими отзывами о классиках: «Филипп писал Аристотелю: не столько за рождение сына благодарю богов, сколько за то, что он родился в твоё время. Многие классики не столько радуются творению своему, как тому, что оно создано по образу и подобию Аристотеля».⁶⁷

Борьба с романтизмом на страницах журналов принимала различные формы. Если памфлетист из «Северного архива» зло высмеивал романтиков, то рецензент «Сына отечества» утверждал, что полемика между классиками и романтиками не имеет значения: «Спор классиков с романтиками продолжается уже десять лет, и доселе романтики не дали ясного определения романтизму. Впрочем, спор сей не превратится, подобно распри Глуккистов и Пиччинистов, в маленькую междоусобную войну; он почти не переходит за пределы академий, журналов и некоторых дружеских бесед: он служит развлечением для светских и деловых людей, и, что всего важнее, в этот спор не входят политические мнения. Итак, если выбирать, то он предпочтительнее многих других».⁶⁸

Вяземский не мог согласиться ни с общей пренебрежительной оценкой спора между романтиками и классиками, ни с тем, что «в этот спор не входят политические мнения». В статье «Письмо из Парижа» он утверждал: «В литературе замечательно, что оппозиционная партия, по мнению политическому, то есть наследовавшая правила, ознаменовавшие политическое преобразование Франции, более придерживается классицизма, то есть старинного порядка, и напротив, оппозиционная партия по литературе, то есть нововводители, держится в политике века Людовика XIV. И таким образом, по странной игре случая, литературных либералов должно искать в рядах политических тори, а литературных ультрароялистов — в рядах политических вигов. <...> Есть, без сомнения, исключения в том и другом подразделении, и между прочими исключения блистательные».⁶⁹ И далее он приводил имена Бенжамена Констан, мадам де Сталь, Гизо, Баранта. Вяземский писал: «Не только поэзия, история, роман, но искусства изящные, художества, науки, едва ли даже и не точные, все носят, более или менее, отпечаток того или другого политического исповедания. Есть либеральная и есть ультрароялистская живопись, либерализм

⁶⁶ Северный архив, 1826, ч. 22, стр. 74.

⁶⁷ Северные цветы на 1827 год, стр. 158.

⁶⁸ Сын отечества, 1826, ч. 108, № 14, стр. 179. Статья подписана инициалом «М».

⁶⁹ Московский телеграф, 1826, ч. 12, отд. 2, стр. 62.

и ультрароялизм слышатся в нотах музыканта и угадываются в А + В бесстрастного математика».⁷⁰ Суждения Вяземского о взаимосвязи политики, искусства и науки сохраняют свое значение и поныне.

Вникая в споры о романтизме и классицизме, Вяземский пытался предугадать дальнейший путь развития литературы; в статье о сонетах Адама Мицкевича мы читаем: «Вот, может быть, одна из характеристических примет романтизма: освобождаясь от несколько условных правил, он покоряется потребностям. В нем должно быть *однообразие*, но это однообразие природы, которое всегда ново и заманчиво. Классицизм (разумеется классицизм нынешний, то есть прививной, ибо в свое время он также был выражением века) разнообразнее в своих наружных явлениях, как игра искусственных огней разноцветнее сияния солнца, как ложь может быть разнообразнее истины».⁷¹

В середине 1820-х годов определение нового искусства как искусства романтического уже не удовлетворяло Вяземского. В статье «Письмо из Парижа» он утверждал: «Нет сомнения, что так называемый романтизм (надобно, кажется, непременно ставить или подразумевать оговорку: так называемый перед словом романтизм, ибо название сие не иначе, как случайное и временное: настоящий крестный отец так называемого романтизма еще не явился) дает более свободы дарованию: он покоряется одним законам природы и изящности».⁷² Термин «реализм» не был введен Вяземским, однако старый термин «романтизм» уже ощущался им как условный, не отражающий существа нового искусства.

Период зарождения русского реализма получил художественное выражение и критическое обоснование в творчестве «истинных» романтиков. Отличительной особенностью их эстетических взглядов была переоценка роли классицизма. Если для правверных романтиков классицизм был только врагом, то для «истинных» романтиков побежденный враг стал в некоторых отношениях учителем. Подобно тому как Петр I подымал задранный кубок за учителей своих — за побежденных шведов, так Вяземский призывал идти на выучку к классицизму. В 1827 г. он писал: «Участь сонета странная. Законодатель новейшей классической поэзии поставил его краеугольным камнем здания классической поэзии, а в отечестве его, верующем еще и ныне в его *Французский Коран* (так Пушкин называет l'art poétique), сонет совершенно забыт и брошен. Напротив, у поэтов, исповедующих романтизм, он еще в употреблении. Впрочем, и они имеют за себя если не законодателя романтизма, то главу его, Шекспира, который оставил нам более 150 сонетов. На этом ли примере основано возро-

⁷⁰ Там же, стр. 61—62.

⁷¹ Там же, 1827, ч. 14, отд. 1, стр. 197—198.

⁷² Там же, 1826, ч. 12, отд. 2, стр. 56.

ждение сонета в наше время или просто на том, что в кругообращении умственной деятельности старое делается новым, а новое старым и что за невозможностью всегда творить мы напоминаем забытое; но склонность нынешних поэтических форм к однообразному размеру сонета или вообще определенного состава строф очевидна даже и в творениях большого объема».⁷³

Итак, как мы видим, Вяземский начал осознавать, что в лучших достижениях классицизма — в четкой размеренности строфы, в разнообразии жанров — скрыто противоядие против романтической односторонности. Выступая в защиту поэзии Мильвуа, сочетавшего в своем творчестве предромантические веяния с традициями классицизма, Вяземский писал: «Французская школа у нас теперь не в чести: мы, как своевольные дети, вырвавшись из-под надзора учительского, вымещаем на учителях ученические годы. Век оставаться учениками не должно, но зачем предавать проклятию, *бранить* своих прежних учителей, хотя в возрасте размышления и видим, что не во всем пример их для нас быть должен предложен и не все то, чему учились мы у них, свято и ненарушимо <...> Я вовсе не Сеид *классического абсолютизма* и непогрешимости французских поэтов; но между тем не понимаю: почему утверждать, что Мильвуа не поэт потому, что поэты Шиллер, Байрон, Гете. Признаю возвышенность их гения, но признаю несомнительность и дарования Мильвуа».⁷⁴

Скептический взгляд Вяземского на французскую романтическую поэзию отметил уже Э. Оман: «Наконец появляются романтики в полном смысле слова, и Россия с интересом следит за их спорами <...> Но интерес этот вовсе не переходит в энтузиазм. „Стихи французских романтиков невыносимы“, — пишет Вяземский <...> Французский стих может быть только расиновским».⁷⁵ Настороженное отношение к новой французской поэзии характерно и для Пушкина, который писал: «Нам показалось, что Делорм слишком много придает важности нововведениям так называемой *романтической школы французских писателей*, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Все это хорошо; но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества».⁷⁶

Эстетические раздумья Вяземского и Пушкина шли в одном русле. Мало того, можно соотнести их высказывания историко-критического характера с художественным творчеством Пушкина этих лет. В статье Б. В. Томашевского отмечено увеличение удельного веса строфических форм в его творчестве начиная с 1824—

⁷³ Там же, 1827, ч. 14, отд. 1, стр. 193—194.

⁷⁴ Там же, ч. 17, отд. I, стр. 38—39.

⁷⁵ E. H a u m a n t. La culture française en Russie. (1700—1900). Paris, 1910, p. 381.

⁷⁶ Пушкин, т. XI, стр. 200.

1825 г. В этой эволюции отразился наряду с другими факторами поиск рационального зерна в нормативно-эстетических идеалах классицизма.⁷⁷

Передовая эстетическая позиция Вяземского-критика соответствовала прогрессивному характеру его общественных взглядов. Осуществляя вместе с Н. А. Полевым идейное руководство «Московским телеграфом», Вяземский неуклонно пропагандировал на его страницах творчество Пушкина, Мицкевича и Байрона — владельцев дум своего поколения.

Мицкевич по приезде с юга в Москву сразу же знакомится с Вяземским. По-видимому, через Вяземского происходит сближение Мицкевича с братьями Полевыми и привлечение польского поэта к сотрудничеству в «Московском телеграфе». В журнале начинают появляться материалы, свидетельствующие об интересе его издателей к польской культуре и литературе. В №№ 15 и 16 за 1826 г. была напечатана пространная статья А. Дмоховского «О состоянии, духе и стремлении новейшей польской поэзии», замешанная из польского журнала «Варшавская библиотека». По свидетельству С. Д. Полторацкого, перевел статью К. Дашкевич, «поправил слог» Н. А. Полевой; «тут участвовал и кн. Вяземский», — уточнил С. Д. Полторацкий.⁷⁸

Вяземский хорошо знал польский язык, со времени своей службы в Варшаве был коротко знаком с представителями передовой польской интеллигенции; его польские симпатии были общеизвестны; естественно, что между ним и Мицкевичем установились дружеские отношения. Позднее, в мемуарной статье «Мицкевич о Пушкине» (1873), Вяземский вспоминал: «В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. <...> Нечего и говорить, что Мицкевич, с самого приезда в Москву, был усердным посетителем и в числе любимейших и почетнейших гостей в доме княгини Волконской» (VII, 329). Нечего и говорить, добавим от себя, что таким же желанным гостем в салоне Зинаиды Волконской был и Вяземский.

В 1827 г. в «Московском телеграфе» появилась статья Вяземского о сонетах Мицкевича; в приложении к статье он поместил свой прозаический перевод сонетов польского поэта. Искренний

⁷⁷ Б. В. Томашевский. Стих и язык. М.—Л., Гослитиздат, 1959, стр. 293—294.

⁷⁸ В. Г. Березина. Мицкевич и «Московский телеграф». В кн.: Адам Мицкевич в русской печати (1825—1955) М.—Л., Изд. АН СССР, 1957, стр. 472.

поклонник поэзии Мицкевича, Вяземский утверждал, что «Мицкевич принадлежит к малому числу избранных, коим предоставлено счастье право быть представителями литературной славы своих народов. <...> Кажется, за исключением не всегда довольно строгой экономии в употреблении смелых фигур и оборотов, критике остается только похвалить в польском поэте богатство, роскошь воображения, сильное и живое чувство поэтическое, которое у него везде выдается и в верном, свежем выражении переливается в душу читателя: мастерство необычайное, с которым умел он втеснить в сжатую раму сонета картины полные и часто исполненные».⁷⁹

Статья Вяземского, в которой он назвал Мицкевича «первоклассным поэтом Польши», во многом способствовала быстрому признанию его поэзии в России.

Написав поэму «Конрад Валленрод» (1827), Мицкевич отнес ее к Вяземскому. Приятель Мицкевича Л. Реттель писал: «Князь Вяземский прежде всех ознакомился с рукописью „Валленрода“, оценил его по достоинству и помогал ему изо всех сил проскользнуть сквозь цензуру».⁸⁰ Написанная на сюжет борьбы литовцев с тевтонским орденом, эта поэма, как известно, имела революционизирующее влияние на современников.

Вяземский навсегда остался другом Мицкевича; Л. Реттель вспоминал: «Из друзей-русских и почитателей Мицкевича всех лучше умел его оценить, полюбить и остаться до конца ему верным князь Вяземский. <...> Был это, пожалуй, единственный из друзей Мицкевича, который мог чаще путешествовать по Европе и каждый раз навещал Адама в Париже. Тут я и встречался с ним. Ему-то и обязаны мы разрешением печатать „Пана Тадеуша“ и некоторые другие вещи Мицкевича в Варшаве».⁸¹ Докладная записка Вяземского, поданная Александру II по поводу издания сочинений Мицкевича, полностью подтверждает свидетельство Л. Реттеля.⁸²

Возвращаясь ко временам «Московского телеграфа», отметим, что осенью 1827 г., сразу же после окончания «Конрада Валленрода», в журнале Н. А. Полевого было напечатано следующее извещение: «Первый из современных поэтов Польши, Адам Мицкевич, вероятно, в скором времени подарит польскую словесность новую, уже конченною им поэмою Валленрод. Не смеем говорить о достоинстве поэтического творения, писанного не на родном языке нашем. Но если предвещения могут существовать

⁷⁹ Московский телеграф, 1827, ч. 14, отд. 1, стр. 192—200. — В 1829 г. в Петербурге была издана книга «Sonety krymskie. Крымские сонеты Адама Мицкевича. Переводы и подражания Ивана Козлова». В введении к ней была перепечатана статья Вяземского из «Московского телеграфа».

⁸⁰ Звенья, т. 3—4, М.—Л., изд. «Academia», 1934, стр. 211.

⁸¹ Там же, стр. 214.

⁸² И. Беккер. Мицкевич в Петербурге. Лениздат, 1955, стр. 134.

в наш век, хотя в литературе, мы смело скажем, что новое творение Мицкевича не только еще более возвысит славу его, но, кажется, решительно поставит Мицкевича наряду с великими поэтами Европы».⁸³

Написано ли это анонимное извещение Н. А. Полевым, как предполагает В. Г. Березина, или Вяземским — не представляется нам существенным, ибо и в том, и в другом случае оно выражало общее мнение редакционного ядра «Московского телеграфа».

Еще деятельнее, нежели поэзию Мицкевича, пропагандировал Вяземский в «Московском телеграфе» творчество Пушкина. «Мелкие стихотворения и новая поэма Пушкина „Цыгане“ готовятся к печати, — писал Вяземский в конце 1825 г. — Слышно, что юный атлет наш испытывает свои силы на новом поприще и пишет трагедию „Борис Годунов“. По-моему, должно надеяться, что он подарит нас образцовым опытом первой трагедии народной и вырвет ее из колен, проведенной у нас Сумароковым не с легкой, а разве с тяжелой руки. Благоговея перед поэтическим гением Расина, сожалею, что он завещал почти всем русским последователям не тайну стихов своих, а одну обрезную, накрахмаленную и по закону тогдашнего общества спшитую мантию своей парижской Мельпомены. Как жаль, что Озеров, при поэтическом своем даровании, не дерзнул переродить трагедию нашу! Тем более опыт Пушкина любопытен и важен. Между тем поэтический роман „Евгений Онегин“ подвигается. Жаль, что две или три следующие главы, которые, как слышно, уже готовы, до сей поры остаются в рукописи».⁸⁴

Можно думать, что опальный поэт с удовлетворением прочел в глуши Михайловского сочувственный отзыв о его «делах и днях».

В 1827 г. Вяземский напечатал в «Московском телеграфе» статью, посвященную «Цыганам» Пушкина. Главное внимание в ней уделено композиции поэмы: «В самой связи или, лучше сказать, в самом отсутствии связи видимой и ощутительной, по коей Пушкин начертал план создания своего, отзывается чтение „Гяура“ Байронова и заключение обдуманное, что не от лени, не от неумения, не спаял отдельных частей целого, но, напротив, вследствие мысли светлой и верного понятия о характере эпохи своей. Единство места и времени, спорная статья между классическими и романтическими драматургами, может отвечать непрерывающемуся единству действия в эпическом или в повествовательном роде. Нужно ли воображению и чувству, законным судиям поэтического творения, математическое последствие и прямолинейная выставка в предметах, подлежащих их зрению? <...> Поэма „Цыгане“ составлена из отдельных явлений, то описательных, то

⁸³ Московский телеграф, 1827, ч. 17, отд. 2, стр. 113—114.

⁸⁴ Там же, 1825, ч. 6, № 22, стр. 181—182.

повествовательных, то драматических, не хранящих математической последовательности, но представляющих нравственное последствие, в котором части согласены правильно и гармонически».⁸⁵

Защитив композицию поэмы от возможных нападков ревнителей классицизма, Вяземский разобрал далее отдельные сцены «Цыган»; в своем общем выводе он утверждал, что «в исполнении везде виден Пушкин, и Пушкин на походе <...> Пушкин совершил многое; но совершить может еще более. Он это должен чувствовать, и мы в этом убеждены за него. Он, конечно, далеко за собою оставил берег и сверстников своих; но все еще предстоят ему новые испытания сил своих; он может еще плыть далее вглубь и полноводие».⁸⁶

Статьи Вяземского о поэмах Пушкина занимают видное место в ранней пушкиниане. Пуристические статьи А. Ф. Воейкова и Д. П. Зыкова (единомышленника П. А. Катенина) о «Руслане и Людмиле», посредственные статьи П. А. Плетнева и М. П. Погодина о «Кавказском пленнике», бесцветные статьи М. М. Корниолина-Пинского, Б. М. Федорова и В. Н. Олина о «Бахчисарайском фонтане» резко контрастируют с блестящими, полемически задорными, полными публицистических отступлений статьями Вяземского. Без преувеличения можно сказать, что высшим достижением критической мысли 1820-х годов в оценке творчества Пушкина наряду со статьями И. В. Киреевского и Д. В. Веневитинова были статьи Вяземского о «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане» и «Цыганах».

По просьбе Вяземского Пушкин печатал на страницах «Московского телеграфа» свои произведения: стихотворения «Телега жизни», «Если жизнь тебя обманет», «Люблю ваш сумрак неизвестный», «Старый муж, грозный муж», эпиграммы «К приятелям», «Ех ungue leonem», статьи «О г-же Сталь и о г. А. М-ве», «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова». Привлечение Пушкина к сотрудничеству и пропаганда его творчества в журнале — существенная страница деятельности Вяземского в «Московском телеграфе».

В «Московском телеграфе» Вяземский выступал не только как критик, но и как публицист.

⁸⁵ Там же, 1827, ч. 15, отд. 1, стр. 112—115.

⁸⁶ Там же, стр. 117, 122. — Критика Вяземским нескольких строк поэмы вызвала недовольство Пушкина, что засвидетельствовано позднейшей припиской Вяземского (I, 321—325). Сохранился экземпляр «Цыган», подаренный Вяземскому Пушкиным (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 902). На его страницах — маргиналии Вяземского, соответствующие в основном тем замечаниям, которые он поместил затем в свою статью. В конце — листок с автографом Пушкина, на который поэт переписал восемь строк эпилога (от строки «За их ленивыми толпами»), пропущенные в первом издании поэмы. О месте статьи Вяземского о «Цыганах» в кругу современной критики (И. В. Киреевский, С. П. Шевырев, анонимный рецензент «Сына отечества») см.: В. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. Л., изд. «Academia», 1924, стр. 25—29.

В ноябре 1825 г. в Париже скончался видный политический деятель генерал Фуа. Французская столица устроила ему почетные многолюдные похороны. Как извещали французские газеты, свобода потеряла своего красноречивого защитника. Именно заслуги Фуа как члена палаты особо выделил Вяземский в некрологе этому генералу.⁸⁷

В «Отрывке из биографии Каннинга» Вяземский восхвалял государственный строй Англии, утверждая, что на конституционном устройстве зиждется ее мощь: «Каннинг постиг, что для державы могучей, какова Англия, коей независимое бытие основано и поддерживаемо не столько на могуществе физическом, сколько на превосходстве нравственном, огражденное просвещением, беспрепятственно раскидывающим свои охранительные ветви, и законным устройством от всех переворотов и превратностей, что для такой державы нет другой политики, как та, которая предписывается бескорыстным просвещением, человеколюбием просвещенным и возвышенною добросовестностью».⁸⁸ Выразив предпочтение конституционному образу правления, Вяземский публично декларировал свое оппозиционное отношение к режиму Николая I.

Знаменательна рецензия Вяземского на книгу французского писателя Жака Арсена Ансло «Six mois en Russie» («Шесть месяцев в России»), вышедшую в 1827 г. в Париже двумя изданиями. Помимо Вяземского, с возражениями Ансло выступили: во Франции — Яков Толстой, в России — П. П. Свиньин (Московский телеграф, 1827, ч. XVIII). Имеются и два кратких отзыва Пушкина.

Не случайно эта книга вызвала оживленный обмен мнениями. В годы последекабрьской реакции дискуссия о письмах французского путешественника (книга написана в эпистолярной форме) была первым и, пожалуй, до 1830-х годов единственным гласным обсуждением общественного положения России.

Книга Ансло — яркий пример того, как отнюдь не либеральный французский писатель, легитимист, написавший оду на коронацию Николая I и восхвалявший в своих письмах императора, при оценке русских дел высказал здравые суждения, не чураясь вопроса о крепостном праве и других острых проблем. Неизбежно сказывалась разность политических координат Франции и России: то что было респектабельным в Париже, звучало либерально в Петербурге и Москве. Но была и другая сторона дела. Некоторые суждения, высказанные автором не без влияния Булгарина и Греча, были неприемлемы для Вяземского и Пушкина. Достаточно сказать, что, знакомя французских читателей с выступлением декабристов на Сенатской площади, Ансло придерживается версии об аристократическом характере заговора. Конечно,

⁸⁷ Московский телеграф, 1826, ч. 8, отд. 1, стр. 91—92.

⁸⁸ Там же, 1827, ч. 18, отд. 1, стр. 322—323.

в подцензурной русской печати оспаривать это утверждение не представлялось возможным. К тому же Ансло, которого любезно приняли в Петербурге Греч и Булгарин, дав в его честь званый обед, поместил в своей книге самые лестные характеристики обоих «китов» петербургской журналистики — в его изложении они были столпами русской образованности; похвалы по адресу ненапечатанных к тому времени их произведений — романа Булгарина «Иван Выжигин» и грамматики Греча — вызвали вскоре иронические отклики Пушкина (см. «Отрывки из писем, мысли и замечания» и «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфинович Орлов»). Иронически отмечены эти похвалы Ансло и в рецензии Вяземского. Но это лишь попутно, в подстрочном примечании. А цель его рецензии была значительно шире — ему было необходимо показать основные идеологические процессы того времени, вскрыть размежевание общественных сил, противопоставить лжепатриотизму булгаринского толка истинный патриотизм декабристов и всех передовых людей России. «Многие признают за патриотизм, — писал Вяземский, — безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл его *лакейским патриотизмом*, *du patriotisme d'antichambre*. У нас его можно было бы назвать *квасным патриотизмом*. Я полагаю, что любовь к Отечеству должна быть слепа в жертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве: в эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот, которого бы он народа ни был, не хотел бы выдрать несколько страниц из Истории отечественной и не кипел негодованием, видя предрассудки и пороки, свойственные его согражданам? Истинная любовь ревнива и взыскательна».⁸⁹

Мысль автора ясна, хотя облечена в осторожные выражения — явная дань цензурным условиям. Значительно резче и прямее высказывался Вяземский в переписке с друзьями; 15 октября 1828 г. он писал А. И. Тургеневу: «Неужели можно честному русскому быть русским в России? Разумеется, нельзя; так о чем же жалеть?»⁹⁰ Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти России, такой, как она нам представляется. Этот патриотизм весьма переносчив. Другой любви к отечеству у нас не понимаю».⁹¹

Суждение Вяземского об истинном и квасном патриотизме сконцентрировало наиболее энергичные проявления дворянской оппозиционной мысли в годы после поражения декабристов. Естественно, что оно было принято революционными демократами. В статье «Стихотворения М. Лермонтова» Белинский писал: «Роман англичанина Морьера „Хаджи-Баба“ есть превосходная

⁸⁹ Там же, ч. 15, отд. 1, стр. 232.

⁹⁰ Вяземский имеет в виду вынужденное проживание за границей Н. И. Тургенева.

⁹¹ Остафьевский архив, т. III, стр. 180—181.

и верная картина подобного квасного (по счастливому выражению князя Вяземского) патриотизма». ⁹² В романе «Пролог» Чернышевского Волгин восклицает: «Жалкая нация, жалкая нация! — Нация рабов, — снизу доверху, все сплошь рабы. . . — думал он и хмурил брови». ⁹³ Приводя это высказывание Чернышевского, Ленин писал: «. . . это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения». ⁹⁴

Критические и публицистические выступления Вяземского рядом со статьями Н. А. Полевого и других сотрудников журнала углубляли и расширяли оппозиционный характер «Московского телеграфа», что было крайне важно в условиях последекабрьской реакции: ведь с 1826 г. перестали выходить «Полярная звезда» и «Соревнователь просвещения и благотворения», а журналы, возглавляемые Булгариным и Гречем, начали подобострастно славословить правительство. На этом фоне особенно видна прогрессивная роль «Московского телеграфа», ставшего прибежищем русского вольнодумства.

Несколько ранее, 25 февраля 1824 г., в письме, адресованном, по-видимому, А. Ф. Воейкову (оно сохранилось в копии в бумагах Жуковского), Вяземский высказал свое мнение о журналистике: «Ваша петербургская проза тоща до крайности. Да и как вы все ленивы! Скажем правду, будто Греч и ты журналисты: вы компиляторы текущих безделок. Вы не даете насущного хлеба, а кормите сухарями. Кажется, Ривароль говорил о Мирабо, что главное в нем достоинство было qu'il écrivait et parlait sur des objets palpitans de l'intérêt du moment. ⁹⁵ Вот правило, коему должен следовать журналист. . . Конечно, времена не благоприятствуют большой живости, но последуем первому, который и в навозе копышется. Надобно напугать Красовского с братиею деятельностью и рваться перед ними, и что их дураков тешить и добровольно засыпать под их баюканье? Вода хлещет и подмывает с ревом и яростию плотину, преграждающую ее естественное течение, а не целует ее покорными и безгolosными струями. Плотину поставили, за то и держись, плотина!». ⁹⁶

По Вяземскому, самодержавие — плотина, преграждавшая путь развитию общества и литературы. Неустанно подмывать плотину — вот правило, которому он следовал в своей журнальной деятельности в «Московском телеграфе».

⁹² В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 4, 1954, стр. 489.

⁹³ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 197.

⁹⁴ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., Изд. 5-е, М., Госполитиздат, т. 26, стр. 107.

⁹⁵ Перевод: Что он писал и говорил о животрепещущих предметах (франц.).

⁹⁶ П. П. Вяземский, А. С. Пушкин. 1816—1825. По документам Остафьевского архива. СПб., 1880, стр. 56—57.

Оппозиционное направление «Московского телеграфа» вызвало резкое недовольство властей. Правительство с неприязнью и тревогой следило за журналом Н. А. Полевого, а наветы Булгарина подливали масла в огонь.⁹⁷

Среди бумаг Остафьевского архива хранится конфиденциальное письмо к Вяземскому по поводу «Московского телеграфа». В этом письме, одобренном Николаем I, Вяземский обвинялся в оппозиционном направлении журнала.

«Вы хотели знать мое мнение о Телеграфе; я сообщу вам его и предупреждаю вас, что это не только мое личное мнение. Находят, что в этом журнале встречаются интересные статьи, остроумные и справедливые замечания; но есть также страницы, о которых высказываются иначе. <...> В век духовно больной, как тот, в котором мы живем, порою мысль, невинная сама по себе, но выраженная так, что подсказывает разные заключения, может произвести пагубное воздействие на читательскую чернь, а ведь именно на эту чернь распространяется влияние журналов; необходимо избегать этого как ради самого себя, так и ради правительства. Таким образом, замечено, например, и обращено внимание на то, что в № 1 Телеграфа, стр. 6, наша литература сравнивается с запретной розой, а на стр. 8 ставится вопрос: *что сделали русские в течение двух последних лет?* А ведь это годы 1825 и 1826. Ниже вы говорите: *в конце 24-го года мы надеялись продвинуться вперед в 25-м; эта надежда была обманута, как и многие другие... Сколько сладостных химер разрушено в течение этих двух лет!* Далее цитируются стихи Саади в переводе Пушкина. Я не могу поверить, чтобы вы, приводя эту цитату и говоря о друзьях, умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом; но другие сочли именно так, и я предоставляю вам самому догадываться, какое действие способна произвести эта мысль. Замечания не ограничиваются этой статьей: в вашем № 7, стр. 195, 196 и 197, обратило на себя внимание то, что вы говорите о *так называемой стачке или солиасии* <пробел> господствующих идей века с идеями лорда Байрона. Нет сомнения в том, что талант Байрона замечателен; но известно, какое печальное употребление он часто делал из него, известно, что этого великого живописца страстей всю жизнь пожирали мрачные, почти доходящие до ненависти страсти вследствие своего рода гордого отращения ко всему, что имеет право на уважение

⁹⁷ Тексты доносов на «Московский телеграф» от 19, 21 и 23 августа 1827 г. публиковались несколько раз (М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II. СПб., 1889, стр. 386—391; Н. Ф. Дубровин. Н. А. Полевой, его сторонники и противники по «Московскому телеграфу». Русская старина, 1903, № 2, стр. 259—270; М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2. СПб., 1909, стр. 255—259). М. К. Лемке не сомневался в авторстве Булгарина. Однако доносы были лишь инспирированы Булгариным — сверка почерка убеждает в том, что они написаны рукой фон Фока.

и любовь человечества; что он долгое время был отъявленным врагом всех существующих установлений, всех признанных верований, морали и религии, даже естественной религии. Поэтому можно справедливо удивляться, когда говорят о том, что люди нашего времени, выдающиеся своими талантами, придерживаются его взглядов; я хотел бы верить, что это не так, и в случае надобности было бы достаточно привести примеры Карамзина и Вальтера Скотта, чтобы доказать противное. Также отмечены были в № №4 и 6, стр. 133—150 и 112—113, 114, весьма преувеличенные похвалы, расточаемые Жан-Жаку Руссо, политическим вопросам и вопросам политической экономии, определенным как темные вопросы, разрешение которых волнует всех людей. Кажется, что эти статьи переводные и перевод, быть может, сделан не вами; но подбор заимствованных статей также дает возможность судить об общем направлении журнала». ⁹⁸

Впервые это письмо было нами опубликовано по копии, на которой на полях первой страницы рукой С. Д. Шереметева были сделаны следующие пометы: «Проект письма от князю Вяземскому. — Представлен государю императору 26 августа 1827 года и высочайше одобрен. Письмо отправлено 31 августа того же года» и «(Письмо рукою графа Бенкендорфа)».

В настоящее время нами разыскан подлинник этого письма — оно написано не Бенкендорфом, а Д. Н. Блудовым. ⁹⁹ Оригинал почти не имеет отличий от копии: в начале письма обозначена дата: «30 августа 1827», а в конце подпись: «Весь ваш Блудов». По-видимому, Бенкендорф передал Д. Н. Блудову записку фон Фока о «Московском телеграфе» с просьбой написать Вяземскому «увещательное» письмо, что и было исполнено. Экс-арзамасец Блудов стал к этому времени одним из столпов николаевского режима. Его участие в следствии над декабристами образовало идейный рубеж между ним и его друзьями по «Арзамасу». Неудивительно, что именно ему было поручено составить письмо Вяземскому.

Рассмотрим по порядку, какие намеки и иносказания отмечены в письме Д. Н. Блудова. Прежде всего он писал о статье «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 гг. (Письмо в Нью-Йорк к С. Д. П.)», опубликованной в первом номере «Московского телеграфа» за 1827 год. Автором этой статьи был Н. А. Полевой, а вставка о погибших друзьях и ссылка на перевод Пушкина изречения Саади были сделаны Вяземским. ¹⁰⁰ Н. А. Полевой

⁹⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2410, л. 1—4. — Полный текст этого письма (французский оригинал и перевод) см.: М. И. Гиллельсон. Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе». В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., Изд. АН СССР, 1960, стр. 418—422.

⁹⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1467, л. 12—14.

¹⁰⁰ ГБЛ, ф. 233, к. 80, № 10, л. 28.

писал: «Мне выпало писать к тебе о русской литературе, и признаюсь: выпал жребий не легкий! Оно кажется и не так тяжело: со времени двухлетней отлучки твоей, с тех пор как ты сам перестал быть внимательным наблюдателем литературы отечественной, участь ее мало переменилась. Эта *запретная роза* остается по-прежнему запретною: соловьи свищут около нее, но, кажется, не хотят и не смеют влюбиться постоянно, и только рои пчел и шмелей высасывают мед из цветочка, который ни вянет, ни цветет, а остается так, в каком-то грустном, томительном состоянии».¹⁰¹

В доносе III Отделения по поводу этого места сказано: «Если со вниманием прочесть замеченные места в первой статье № 1, то ясно обнаружится желание издателя — дать почувствовать читателям, что письмо сие пишется Николаю *Тургеневу* под вымышленными буквами, явный ропот противу притеснения просвещения, которое называют *запретною розою*, и сожаление о погибших друзьях, на странице 9, было всеми понято и доставило большой ход журналу. В статье все жалуются на два последние года, т. е. 1825 и 1826 — время отлучки Тургенева и ссылки бунтовщиков. Все так ясно изъяснено, что не требует пояснений».¹⁰²

Сравнение русской литературы с «запретной розой» было в тот момент крайне злободневным. В нем был намек на стихотворение Вяземского «Запретная роза», помещенное незадолго до этого в «Московском телеграфе» 1826 г.:

Прелестный цвет, душистый, ненаглядный,
Московских роз царица и краса!
Вотще тебя свежит зефир прохладный,
Заря златит и серебрит роса.
Судьбою злой гонимая жестоко,
Свой красный день ты тратишь одиноко,
Ты про себя таишь дары свои:
Румянец свой, и мед, и запах сладкой,
И с завистью пчела любви, украдкой,
Глядит на цвет, запретный для любви.
Тебя, цветок, коварством бескорыстным
Похитил шмель, пчеле и розе враг;
Он оскорбил лобзаньем ненавистным,
Он погубил весну надежд и благ.
Счастлив, кто, сняв с цветка запрет враждебный
И возвратив ее пчеле любви,
Ей скажет: цвет прелестный! цвет волшебный!
Познай весну и к счастью оживи!¹⁰³

Смысл этого стихотворения, известный многим современникам, был позднее утрачен и лишь недавно расшифрован М. А. Цявловским, который обнаружил, что оно посвящено не-

¹⁰¹ Московский телеграф, 1827, ч. 13, отд. 1, № 1, стр. 6—7.

¹⁰² М. И. Сухоминов. Ук. соч., стр. 389.

¹⁰³ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 186.

удачному браку Е. П. Киндяковой с И. А. Лобановым-Ростовским. Муж Киндяковой оказался садистом, и в 1828 г. святейший Синод расторг их брак. В этих условиях сравнение русской литературы с запретной розой, а русского правительства — со шмелем, т. е. с садистом и импотентом Лобановым-Ростовским, было дерзким иносказанием.

Не менее вызывающим был намек на декабристов, сделанный Вяземским: «В эти два года много пролетело и исчезло тех резвых мечтаний, которые веселили нас в былое время... Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый и часто (думая о тебе) с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который нам передал слова Сади): *Одних уж нет, другие странствуют далеко!*».¹⁰⁴

Вяземский частично привел эпиграф Пушкина к «Бахчисарайскому фонтану», текст которого гласит: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече. *Сади*».¹⁰⁵

Приноровление эпиграфа «Бахчисарайского фонтана» к судьбе декабристов вывело из себя правительство, что и отразилось в письме Блудова, где в строках о пушкинском переводе Саади чувствуется раздражение и угроза.

Ознакомил ли Вяземский Пушкина с письмом Блудова, и в частности с тем местом из этого письма, где в таком политически остром контексте упоминалось его имя? Зная дружеский характер отношений между ними, трудно предположить, чтобы Вяземский утаил от Пушкина письмо Блудова. Читал ли Пушкин это письмо своими глазами или знал о нем из пересказа Вяземского — неизвестно, но так или иначе Пушкин несомненно знал, что отныне правительство воспринимает цитату из Саади как намек на судьбу декабристов. Тем знаменательнее, что, заканчивая восьмую главу «Евгения Онегина» (сентябрь 1830 г.), он вновь напомнил о своем эпиграфе к «Бахчисарайскому фонтану»:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.

В письме Д. Н. Блудова осуждена пропаганда поэзии Байрона на страницах «Московского телеграфа». Блудов ссылался при этом на статью Вяземского о сонетах Адама Мицкевича, в которой были следующие строки: «... в нашем веке невозможно поэту не отозваться Байроном, как романисту не отозваться В. Скоттом... Такое сочувствие, согласие нельзя назвать подра-

¹⁰⁴ Московский телеграф, 1827, ч. 13, отд. 1, № 1, стр. 9.

¹⁰⁵ Об источниках этого эпиграфа см.: Б. Томашевский. Пушкин, кн. 1. М.—Л., Изд. АН СССР, 1956, стр. 505—506.

жанием: оно, напротив, невольная, но возвышенная *стачка* (не умею вернее назвать) гениев, которые как ни отличаются от сверстников своих, как ни зиждательны в очерке действия, проведенном вокруг их провидением, но все в некотором отношении подвластны общему духу времени и движимы в силу каких-то местных и срочных законов. Каждый мыслящий человек определит дух времени, свойственный каждой эпохе: но мы, чтобы не увлечься вдаль, оставили это выражение неопределенным». ¹⁰⁶

Цензурные условия мешали Вяземскому сказать прямо, что под «духом времени» он подразумевал оппозиционные устремления своей эпохи. Но для передового читателя, равно как и для правительства, было и так понятно, что имел в виду Вяземский, выставляя знаменем века поэзию Байрона и ссылаясь в дальнейшем изложении на «Персидские письма» Монтескье.

Вяземский неустанно пропагандировал на страницах «Московского телеграфа» поэзию Байрона и всячески старался связать имя великого английского поэта с именем Пушкина. Еще в 1825 г. в прибавлении к статье Вальтера Скотта «Характер лорда Байрона», автором которого Т. Г. Цявловская справедливо считает Вяземского, ¹⁰⁷ была напечатана выдержка из стихотворения Пушкина «Прощание с морем» («К морю»), которое в то время еще не было опубликовано. В своем послесловии Вяземский, проводя мысль о «стачке гениев», подчеркивал свободолюбивый дух обоих поэтов.

Заслуга Вяземского в пропаганде в России творчества Байрона неоспорима. Благодаря его стараниям в «Московском телеграфе» перепечатывались сообщения и мемуарные свидетельства о Байроне из западноевропейской прессы. В анонимном послесловии к переводной статье «Свидание с Байроном в Генуе», принадлежность которого Вяземскому устанавливается библиографической записью С. Д. Полторацкого, ¹⁰⁸ Вяземский энергично защищал поэта от клеветы; борясь против искажения облика Байрона, Вяземский приводит слова из письма г-жи Беллок: «...советую тому, кто пожелает судить Байрона хорошо, прилежно изучать его в том, что он написал». ¹⁰⁹ В примечании к этому послесловию Вяземский сообщил высказывание Пушкина о творчестве Байрона: «Автор „Онегина“ остроумно и оригинально называет Дон-Жуана изнанкою Чайльд-Гарольда». ¹¹⁰

Как понимать этот афоризм Пушкина? Думаем, что Пушкин говорил о двух сторонах поэзии Байрона: о лирической стихии, которая переполняет «Чайльд-Гарольда», и о сатире, громко про-

¹⁰⁶ Московский телеграф, 1827, ч. 14, отд. 1, № 7, стр. 195—196.

¹⁰⁷ Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. М.—Л., Изд. АН СССР, 1956, стр. 191.

¹⁰⁸ ГБЛ, ф. 233, к. 80, № 10, л. 18.

¹⁰⁹ Московский телеграф, 1827, ч. 13, отд. II, № 3, стр. 119.

¹¹⁰ Там же, стр. 111.

звучавшей в «Дон-Жуане», а также о взаимозависимости этих двух начал в творчестве Байрона.

В 1827 г. Вяземский напечатал в «Московском телеграфе» стихотворение «Байрон», в котором писал:

Отважный исполин, Колумб новейших дней,
Как он предугадал мир юный, первобытный,
Так ты, снедаемый тоскою ненасытной
И презря рубежи боязненной толпы,
В полете смелом сшиб Иракловы столпы:
Их нет для гения в полете непреклонном!

Как страшно-сладостно в наречьи сердцу новом
Нас пробуждаешь ты молниеносным словом,
И мыслью, как стрелой перуного огня,
Вдруг освещаешь ночь души и бытия!¹¹¹

Эпиграфом к этому стихотворению Вяземский взял прозаический перевод 97-й строфы из третьей песни «Чайльд-Гарольда»: «Если бы я мог дать тело и выход из груди своей тому, что наиболее во мне, если бы я мог извергнуть мысли свои на выражение и таким образом душу, сердце, ум, страсти, чувство слабое или мощное, все, что я хотел бы некогда искать, и все, что ищу, ношу, знаю, чувствую и *выдыхаю*, еще бросить в одно слово, и будь это одно слово перун, то я высказал бы его; но, как оно, теперь живу и умираю, не расслушанный, с мыслью совершенно безголосною, влагая ее как меч в ножны».¹¹²

Мысли Байрона оказались на редкость созвучны раздумьям Вяземского: их пессимизм прямо соотносился с мрачными размышлениями Вяземского, не видевшего в России сильной оппозиции, которая могла бы заставить самодержавие считаться со своими требованиями.

Вяземский хотел посвятить Байрону критический этюд — 9 июля 1827 г. он писал И. И. Козлову: «Мои Вурон n'est encore rien qu'en idée. J'attends de nouveau matériaux pour me mettre à l'ouvrage».¹¹³ По всей вероятности, не отсутствие материалов помешало Вяземскому осуществить его замысел, а сознание того, что будет невозможно опубликовать такую статью. Два года спустя, в 1829 г., А. И. Тургенев предлагал Вяземскому переводить по корректурным листкам биографию Байрона, написанную Томасом Муром; однако и этот план не был исполнен по цензурным при-

¹¹¹ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 196—197.

¹¹² Там же, стр. 195.

¹¹³ Русский архив, 1886, № 2, стр. 185. — Замысел этой работы возник еще в 1824 г. «Я сам брюхат смертью Байрона, провою, но ожидаю инструментов, чтобы вернее сделать операцию. Пришли же, что имеешь», — писал Вяземский А. И. Тургеневу. 26 июля 1824 г. (Остафьевский архив, т. III, стр. 62).

Перевод: Мой Байрон все еще только замысел. Ожидаю новых материалов, чтобы приняться за дело (франц.).

чинам.¹¹⁴ Интерес к Байрону сохранился у Вяземского и в последующие годы: он собирал автографы английского поэта и в 1838 г. посетил Нью-Стедское аббатство.¹¹⁵

Прославление Байрона на страницах «Московского телеграфа» было оценено правительством как проявление крамольного духа вольнолюбия. За нападками Д. Н. Блудова на Байрона как на властителя дум того времени скрывается и осуждение общественной позиции Пушкина и Мицкевича; «стачка гениев», выступавших против деспотии и насилия, вызывала гнев и испуг властей.

В письме Д. Н. Блудова отмечены также преувеличенные похвалы Жан-Жаку Руссо в переводной статье «американца Франклина»¹¹⁶ и высказано недовольство появлением в «Московском телеграфе» статьи французского экономиста Жана Батиста Сея «Сущность политической экономии».¹¹⁷

Содержание всех рассмотренных нами статей, обнаружение в них острых политических намеков и иносказаний позволило Д. Н. Блудову не без основания сделать вывод о том, что «Московский телеграф», руководимый Н. А. Полевым и Вяземским, не выполняет предначертаний правительства и продолжает проповедовать оппозиционные взгляды.

Сопоставим содержание письма Д. Н. Блудова с оценкой деятельности Вяземского, появившейся в 1828 г. в «Московском вестнике»: «В прошедшем году Телеграфа весьма было видно деятельное участие одного из остроумнейших наших писателей, к<нязя> Вяземского, которого отсутствие, к сожалению читателей Телеграфа, слишком заметно в первых книжках сего года. Большая часть лучших стихотворений принадлежали ему или им были доставлены. Хотя мысли к<нязя> Вяземского не всегда справедливы, часто странны, но это мысли, а не общие места, которыми так богат изд<атель> Т<елеграфа>. С к<нязем> Вяземским не всегда можно согласиться; но он заставляет мыслить — и этого довольно. Ему обязан Телеграф разборами *Сонетов Мицкевича*, *Цыганов Пушкина*, *статьей о Тальме*, которая была очень кстати, стихами Жуковского и Батюшкова, иностранной перепискою из Дрездена, весьма любопытною, сообщением известий о многих новых иностранных книгах, отрывками из биографии Каннинга, остроумными насмешками Журнального сыщика и проч.»¹¹⁸

¹¹⁴ Архивные материалы об этом начинании опубликованы М. П. Алексеевым в статье «Томас Мур, его русские собеседники и корреспонденты» (в кн.: *Международные связи русской литературы*. М.—Л. Изд. АН СССР, 1963, стр. 270—271).

¹¹⁵ Об этом см.: М. П. Алексеев. *Автографы Байрона в СССР*. ЛН, т. 58, М., 1952, стр. 960—976, 993—997.

¹¹⁶ *Московский телеграф*, 1827, ч. 13, отд. II, № 4, стр. 133—150.

¹¹⁷ Там же, отд. I, № 1, стр. 33—57; № 2, стр. 101—121.

¹¹⁸ *Московский вестник*, 1828, ч. 8, стр. 89—90.

Суждение «Московского вестника» почти дословно совпадает с мнением Пушкина, высказанным в его письме к М. П. Погодину: «В Т<елеграфе> похвально одно ревностное трудолюбие— а хороши одни статьи Вяземского— но зато за одну статью Вяземского в Тел<еграфе> отдам три дельные статьи М<осковского> вестн<ика>. Его критика поверхностна или несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны, он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться: важное достоинство особенно для журналиста!».¹¹⁹

Этот эпистолярный отзыв был использован в обзорной статье М. П. Погодина, вероятно при участии и по указанию Пушкина. Доказательством его участия в формулировании отзыва о Вяземском, помимо приведенных нами текстуальных совпадений, служит исчерпывающая осведомленность рецензента «Московского вестника» о деятельности Вяземского в «Московском телеграфе». Все эти подробности были сообщены М. П. Погодину, конечно, Пушкиным, который имел точную информацию из первых рук. Кроме того, слова о статьях Н. А. Полевого («но это мысли, а не общие места, которыми так богат издатель Телеграфа») также совпадают с мнением Пушкина. Таким образом, порицающему суждению правительства о Вяземском-журналисте противостояло хвалебное мнение Пушкина на страницах «Московского вестника».

Письмо Блудова к Вяземскому— документ первостепенной важности; в нем правительство ясно и безоговорочно высказало свое враждебное отношение к передовой литературе того времени. Именно это «увещательное» письмо явилось одной из причин, побудившей Вяземского отойти от журнальной деятельности в конце 1827 г.¹²⁰

¹¹⁹ Пушкин, т. XIII, стр. 341. Письмо от 31 августа 1827 г.

¹²⁰ Кроме того, между Вяземским и Н. А. Полевым начались финансовые нелады. 8 ноября 1827 г. Вяземский писал жене: «Как ты думаешь, даст ли мне Полевой хоть на сапоги за годовую работу мою для Телеграфа? Перед отъездом объяснись с ним» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3267, л. 181). По-видимому, объяснение с Н. А. Полевым было неприятным. Как бы то ни было, к началу 1828 г. отношения между ними настолько обострились, что Вяземский вынужден был прибегнуть к посредничеству Баратынского. 24 марта 1828 г. Вяземский, находясь в Петербурге, писал Баратынскому: «За несколько дней писал к вам, любезнейший Евгений Абрамович, и поручал вашей дружбе дипломатическую сделку, от имени моего, с Н. А. Полевым. Ныне прошу вас быть посредником между им и мною в деле чисто журнальном. Вот стихи и проза, которые может он употребить для Телеграфа. Из письма <Я. Н.> Толстого для печати годится то, что заключается между означенными мною крестиками, выпустив только строки подчеркнутые мною».

«Козлов перевел все Крымские сонеты Мицкевича и два сонета из первой части. Он предлагает их Телеграфу, разумеется за деньги. Согласен ли Н. А. их купить и что может дать, разумеется наличными? Сделайте одолжение, узнайте и уведомяте меня. Перевод сонетов очень хорош.

В 1825—1827 гг. «Московский телеграф» был органом дворянской и примыкавшей к ней, нарождавшейся разночинной оппозиции, причем в первую очередь журнал выражал чаяния и стремления дворянского вольномыслия; идейным руководителем журнала в эти годы был Вяземский. Подобная характеристика первого периода «Московского телеграфа», отражающая, как было показано в настоящей главе, реальное положение дел и распространенная в научной литературе, была недавно подвергнута пересмотру. Авторы учебника «История русской журналистики XVIII—XIX веков» утверждают, что в эти годы «общественная позиция „Московского телеграфа“ и его издателя еще не определилась». ¹²¹ Позвоительно спросить, почему же тогда правительство считало, что журнал является оппозиционным органом? Противопоставляя «Московский телеграф» последующих лет первым годам его существования, авторы учебника пренебрежительно заявляют, что в 1825—1827 гг. «и по составу сотрудников, и по направлению это был типично дворянский журнал». ¹²² Аргументация довольно странная, так как в то время все журналы, за исключением проправительственных органов «торгового» направления, были дворянскими. Проблема заключается в том, чтобы расчленить дворянские журналы на консервативные (например, «Вестник Европы») и на прогрессивные, к которым безусловно следует отнести «Московский телеграф». Союз Вяземского с Н. А. Полевым оказался возможным именно потому, что они оба находились в оппозиции к режиму Николая I. Затем, осознав себя защитником прав «среднего сословия», Н. А. Полевой разошелся с Вяземским; в этом проявилась социальная дифференциация внутри оппозиционного движения. Блок распался, и «Московский телеграф» стал органом разночинной оппозиции.

Расхождения между дворянской и разночинной оппозицией наиболее рельефно проявились в различной оценке деятельности Карамзина. Хронологически эта полемика относится к 1828—

«Простите. Скоро ли дадите нам бал?»

«Мой сердечный поклон Д. В. Давыдову. Скажите ему, что Киселев сюда приехал третьего дня, но что с ним я еще не видался. Здесь многие говорят о войне, турецкой, но некоторые и о мире. Письмо Давыдова я по принадлежности доставил. Наконец видел я госпожу Павлищеву. Муж ее не показался мне павлином; может быть, в нем достоинства сокровенные, но по наружности и на первый прием в нем мало обольстительного. Впрочем, она весела, и отец уже менее хнычет. В.» (ИРЛИ, шифр 21745/СЛб. 14). Дипломатическая сделка — регулирование денежных расчетов. В ответном письме Баратынский сообщил, что Н. А. Полевой обещал заплатить Вяземскому наличными 3000 рублей, а на остальную сумму своего долга выдать расписку (Старина и новизна, кн. II, 1902, стр. 51; это письмо Баратынского следует датировать апрелем 1828 г., а не 1830 г.).

¹²¹ История русской журналистики XVIII—XIX веков. Под ред. А. В. Западова. М., Изд. «Высшая школа», 1963, стр. 179.

¹²² Там же.

1829 гг. и выходит за рамки темы «Вяземский и „Московский телеграф“». Но по своему существу этот идейный поединок завершает собою окончательный разрыв Вяземского с Н. А. Полевым, и поэтому естественно включить его в настоящую главу.

В № 4 «Московского вестника» за 1828 г. (цензурное разрешение 20 февраля) М. П. Погодин поместил свою статью «Нечто против мнения Н. М. Карамзина», написанную еще в 1823 г. Эта статья воодушевила историка Н. С. Арцыбашева, который в 1822—1823 гг. выступил с критикой исторических трудов Карамзина в «Казанском вестнике».¹²³ С осени 1828 г. в «Московском вестнике» стали появляться статьи Н. С. Арцыбашева «Замечания на Историю государства Российского», критиковавшие отдельные неточности и слог Карамзина. Прочитав первую статью Н. С. Арцыбашева, Вяземский был взбешен — он послал в «Московский телеграф» сатирическую «Быль», в которой критиков Карамзина назвал «ареопагом сов», а историографа — «отважным зодчим». В декабре 1828 г. «Быль» появилась на страницах журнала Н. А. Полевого.

Выступление Н. С. Арцыбашева против Карамзина было лишь первой ласточкой. Гораздо более существенным и принципиальным был поход против «Истории государства Российского», предпринятый Н. А. Полевым. Если в конце 1828 г. он защищал Карамзина от нападок Н. С. Арцыбашева, то в июне 1829 г. Н. А. Полевой уже выступил с развернутой критикой историографа. Поводом для написания статьи Н. А. Полевого послужило окончание выхода в свет «Истории государства Российского». Н. А. Полевой не критиковал отдельные частности, заключающиеся в труде Карамзина, а осудил всю его историческую концепцию, объявив ее устаревшей. Н. А. Полевой писал: «Для нас, нового поколения, Карамзин существует только в истории литературы и в творениях своих. Мы не можем увлекаться ни личным пристрастием к нему, ни своими страстями, заставляющими некоторых современников Карамзина смотреть на него неверно».¹²⁴ Порицая защитников Карамзина, Н. А. Полевой имел в виду в первую очередь Вяземского. Указав, что Карамзин родился 60

¹²³ Первое выступление Н. С. Арцыбашева против Карамзина относится к 1821 г., когда в «Вестнике Европы» (№№ 18—19) появилась его статья «О свойствах царя Иоанна Васильевича». Вяземский писал А. Ф. Воейкову 19 октября 1821 г.: «Каков Каченовский в своем 18-м №? Теперь недостает только защищать ему моровую язву <17>71 года, и верно защитит, если Карамзин дойдет до нее. О такой гнусности и шутить не хочется: общее презрение и без помощи остроумия прибывает имена таких людей к позорному столбу» (Русская старина, 1904, январь, стр. 116—117). Оправдывая жестокости Ивана Грозного, Н. С. Арцыбашев писал, что «бояре были причиною слабостей государя, бессмертия достойного, они исказили свойства монарха добродетельного и героя неустрашимого» (Вестник Европы, 1821, № 19, стр. 191).

¹²⁴ Московский телеграф, 1829, ч. 27, № 12, стр. 470.

лет назад и выступил на литературном поприще более 40 лет назад, Н. А. Полевой продолжал: «Хронологический взгляд на литературное поприще Карамзина показывает нам, что он был литератор, философ, историк прошедшего века, прежнего, не нашего поколения».¹²⁵

Н. А. Полевой подверг решительной переоценке всю литературную деятельность Карамзина: «Какие достоинства имеют теперь для нас сочинения, переводы и труды Карамзина, исключая его Историю? Только историческое, сравнительное. Карамзин уже не может быть образцом ни поэта, ни романиста, ни даже прозаика русского. Период его кончился. Легкая проза Жуковского, стихи Пушкина выше произведений в сих родах Карамзина. Удивляемся, как шагнул в свое время Карамзин, чтим его заслугу, почетно вписываем имя его в историю литературы нашей, но видим, что его русские повести нерусские; его проза далеко отстала от прозы других новейших образцов наших; его стихи для нас проза; его теория словесности, его философия для нас недостаточны. Так и должно быть, ибо Карамзин не был гений огромный, вековой: он был человек большого ума, образованный по-своему, но не принадлежал к вечно юным исполинам философии, поэзии, математики».¹²⁶

Критикуя «Историю государства Российского», Н. А. Полевой утверждал, что «в целом объеме оной нет одного общего начала, из которого истекали бы все события русской истории: вы не видите, как история России примыкается к истории человечества; все части оной отделяются одна от другой; все несоразмерны<...> Карамзин нигде не представляет вам духа народного, не изображает многочисленных переходов его от варяжского феодализма до деспотического правления Иоанна и до самобытного возрождения при Минине. Вы видите стройную, продолжительную галерею портретов, поставленных в одинаковые рамки, нарисованных не с натуры, но по воле художника, и одетых также по его воле. Это летопись, написанная мастерски, художником таланта превосходного, изобретательного, а не *История*».¹²⁷

Опираясь на труды Нибура, Тьерри, Гизо и Баранта, работы которых, по свидетельству Ксенофонта Полевого, Н. А. Полевой усиленно штудировал в 1828 г., он противопоставил точке зрения Карамзина свою теорию исторического развития России, завоевание варягами славян и финнов; варяжский феодализм и его истребление; особый феодализм удельного периода; распад уделов; монгольское иго; создание деспотического государства; век самозванцев, низвергнувший деспотизм; благодетельное самодержавие Романовых. Резюмируя свою точку зрения, Н. А. Полевой

¹²⁵ Там же, стр. 472.

¹²⁶ Там же, стр. 474.

¹²⁷ Там же, стр. 486.

писал: «... с Мининым началась История России, как Государства; с Петром — как Государства Европейского».¹²⁸

Эти идеи были положены Н. А. Полевым в основу его «Истории русского народа», первый том которой вышел в 1829 г. Дворянской концепции Карамзина Н. А. Полевой противопоставил свою схему исторического развития России, созданную под влиянием французской романтической историографии.

Коренной пересмотр деятельности Карамзина был неприемлем для Вяземского. Отныне Н. А. Полевой из союзника писателей пушкинского круга становится их идейным противником. Размежевание дворянской и третьесословной оппозиции привело вскоре к ожесточенным схваткам между «Московским телеграфом» и «Литературной газетой» Дельвига.

¹²⁸ Там же, стр. 488.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

БЕЗ ПЕЧАТНОГО ОРГАНА (1828—1829 ГОДЫ). «МОЯ ИСПОВЕДЬ». ПЕРЕВОД «АДОЛЬФА»

Уход Вяземского из «Московского телеграфа» совпал с изменением направления журнала. Как отмечено В. Г. Березиной, «1828-м годом начинается новый период в издании „Московского телеграфа“ (1828—31 гг.), который становится выразителем интересов русской буржуазии, причем буржуазии промышленной. „Московский телеграф“ этого периода в полном смысле слова является журналом Николая Полевого, бывшего не только редактором-издателем, но и ведущим сотрудником, статьи и рецензии которого определяли все направление журнала».¹ С течением времени к разногласиям общественного характера присоединились расхождения по литературным вопросам: к началу 1830-х годов Н. А. Полевой становится одним из знаменосцев правого романтизма, а Вяземский, будучи «истинным» романтиком, начинает все более скептически относиться к этому направлению.

Время между уходом из «Московского телеграфа» и началом сотрудничества в «Литературной газете» Дельвига — трудные, мучительные годы для Вяземского. После поражения декабристов на Сенатской площади передовая дворянская интеллигенция оказалась между двух огней: справа ее атаковали журналисты правительственной ориентации, слева — выходцы из новых общественных группировок.

Впрочем, разногласия вскрылись позднее, в середине 1829 г. Пока же, в конце 1827 г., у Вяземского созрел план ежекварталь-

¹ В. Березина. Литературно-общественная позиция Н. Полевого в «Московском телеграфе». 1825—31 гг. Диссертация. Л., стр. 12. По этому вопросу см. также: Вл. Орлов. 1) Николай Полевой — литератор 30-х годов. В кн.: Н. Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов. Изд. писателей в Ленинграде, 1934, стр. 11—76; 2) Пути и судьбы. Изд. М.—Л., «Советский писатель», 1963, стр. 181—317.

ного издания, которое дополняло бы «Московский телеграф». 12 ноября 1827 г. он писал А. И. Тургеневу: «Пока ты в Париже, если ты решительно не хочешь переломить себя и заняться журнализмом, то заставляй <Я. Н.> Толстого писать под руководством своим или надзором письма для „Телеграфа“ <...> Я хотел бы, кроме журнала, издавать „Современник“ по третям года, соединяющий качества „Quarterly Review“ и „Annuaire historique“. Я пустил это предложение в Петербург к Жуковскому, Пушкину, Дашкову».² Название пушкинского «Современника» связано с этим неосуществленным замыслом Вяземского.

Однако обстоятельства складывались неблагоприятно для Вяземского — неделю спустя он сообщал А. И. Тургеневу: «Я хлопоту о журнале, а между тем, вероятно, мое журналистическое и авторское поприще кончится с нынешним годом. Здесь дан нам в цензоры Аксаков, который воевал против меня под знаменами Каченовского, а ныне греется под театральными юбками Кокошкина, Загоскина и всей кулисной сволочи, явно восстающей против меня и „Телеграфа“. Если не заставят Аксакова образумиться, то положу перо: делать нечего».³

В доносах на «Московский телеграф» подчеркивалось, что Вяземский настроен резко оппозиционно: «Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной песне: *Негодование*, служившей катехизисом заговорщиков», — читаем мы в доносе от 19 августа 1827 г.⁴

Доносы, нелады с С. Т. Аксаковым, финансовые, а возможно, и иные трения с Н. А. Полевым — все это, вместе взятое, побудило Вяземского отойти от журналистики. Перед отъездом в деревню он писал Жуковскому: «Если ты мне, мой добрый стряпчий, что-нибудь состряпаешь хорошего в тяжбе моей с Аксаковым, то возврати пиесу мою с замечаниями „если разрешено будет ее напечатать“ прямо к Полевому, потому что меня уже письмо твое здесь не застанет. В конце месяца неотменно выезжаю из Москвы. А ко мне пиши в Пензу для доставления в село Мещерское <...> В. 22-го ноября 1827».⁵

Речь шла о статье «Поживки французских журналов в 1827 году», которая после длительных цензурных мытарств была напечатана в «Московском телеграфе» (1828, ч. 22, стр. 128—149). Это была последняя статья Вяземского в журнале Н. А. Полевого. Участие Вяземского в «Московском телеграфе» 1828 г. озна-

² Остафьевский архив, т. III, стр. 166.

³ Там же, стр. 168. — О жалобе Вяземского на С. Т. Аксакова см.: С. И. Машинский. Из истории цензурной деятельности С. Т. Аксакова. (По новым материалам). Изв. Отд. языка и литературы АН СССР, т. XVIII, № 3, 1959, стр. 246.

⁴ М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. 2. СПб., 1889, стр. 388.

⁵ ИРЛИ, Собрание Онегина, № 27.985/СС1644, л. 24.

меновано, кроме того, еще одной публикацией: он отдал в журнал перевод Батюшкова из трагедии Шиллера «Мессинская невеста», сопроводив его примечанием: «Следующий отрывок найден в бумагах поэта, коего долговременное молчание донныне оплакиваемо Русскими Музами, и потому он драгоценен. Вероятно, отрывок сей еще не совершенно был исправлен и может похвастаться опытным упражнением в переводе. В нем не видать последней отделки великого мастера, но виден отпечаток руки поэтической и встречается много превосходных мест. Может быть, он неудовлетворителен для славы поэта, уже основанной на других памятниках, более блестящих; но без сомнения удовлетворит он любопытству и вниманию читателей: сообщая отрывок сей Телеграфу, имею их удовольствие в виду. В.» (Московский телеграф, 1828, ч. 19, № 1, отд. 1, стр. 34).

Уехав в деревню, Вяземский писал оттуда 1 января 1828 г. А. И. Тургеневу: «Нынешним годом издам свои сочинения и, что выручу, то и проезжу. Мне в таком случае можно будет сказать, что выезжаю на Хвостове, на Булгарине и на других дураках, которых я запряг в свои рифмы. Как мне любить цензуру? Она отпрягает у меня моих лошадей. Нынешний год отпускаю лошадей в поле на траву, и журнальной гоньбы у меня не будет: я отказался от деятельного участия в „Телеграфе“ и только иногда прокатываться буду на вольных. Между тем я все-таки остаюсь патроном „Телеграфа“, и если что у тебя будет под рукою, то доставляй мне с Толстым или Геро...» Полевой просил меня о продолжении посредничества моего между ним и ими».⁶

План Вяземского издать свои сочинения оказался неосуществим, по-видимому по цензурным соображениям; сотрудничество его в «Московском телеграфе» прекратилось; посредничество между Н. А. Полевым и его корреспондентами во Франции постепенно замирало. Правда, разрыв с «Московским телеграфом» не был крутым, еще некоторое время Вяземский полагал, что журнал Н. А. Полевого — наилучший в России, и считал своим долгом поддерживать его. 21 июля 1828 г. он писал С. Д. Полторацкому: «Где ты теперь обитаешь, где машешь мой европейский телеграф? Придай ветра московскому. Он так запоздал, что ни на что не похоже. Скоро август на дворе, а он еще только что маем нам улыбается».⁷

Однако дальнейшее изменение литературно-общественной позиции Н. А. Полевого, критика им «Истории государства Российского» Карамзина, а также отказ Н. А. Полевого от выступлений против журналов булгаринского толка вызвали окончательное

⁶ Осташевский архив, т. III, стр. 173. — Толстой Яков Николаевич (1791—1867) — русский литератор, живший в Париже; Геро (Эро) Эдм Исахим (1791—1836) — французский литератор.

⁷ Новь, 1885, т. 3, № 9, стр. 89.

охлаждение Вяземского к «Московскому телеграфу». В приписке к статье «Письма из Парижа» он вспоминал в 1875 г.: «Подобные мелкие журнальные неприятности (подделки под «Журнального сыщика», — М. Г.), а более всего крутой поворот в литературном направлении самого издателя побудили меня совершенно отстраниться от всякого участия в „Телеграфе“» (I, 259).

Друзья Вяземского восприняли отъезд его в деревню как бегство, как вынужденное оставление журнального поприща — Д. В. Давыдов писал ему 20 июля 1828 года: «... в тебе я уже и теперь вижу Карла Пятого, заточенного в келье и слушающего заживо о себе панихиду и надгробное слово».⁸

Подневольное положение Вяземского, вынужденного искать убежища в деревне, не являлось чем-то из ряда вон выходящим — 1 июля 1829 г. Жуковский писал Д. П. Северину: «С Карамзинными выдаюсь раз в неделю: то есть обедаю у них по воскресеньям. С другими всеми редко, когда бог сведет <...> Тургенев (А. И., — М. Г.) живет для изгнанного брата. Пушкин бродит по русскому свету и, где теперь, не знаю. Вяземский закопался в пензенскую деревню Кологривого».⁹

Характеризуя передовых дворянских писателей, избежавших декабрьской катастрофы, А. И. Белецкий справедливо отметил: «Вырисовывается понемногу изолированное положение Пушкина и небольшой группы поэтов — друзей и учеников возле него, отказавшихся от старомодного классицизма и оставшихся при поэтике своеобразного „истинного романтизма“, где острые углы и ломаные линии новой школы смягчены были воздействием трезвой классической традиции».¹⁰

Разгром декабристского движения показал неспособность дворянских революционеров сломить самодержавие. Последующий период развития характерен уменьшением удельного веса дворянской оппозиции и ростом оппозиции разночинной в различных ее проявлениях (то более демократической, то более буржуазной). Идеология третьего сословия стала теснить главенствовавшее прежде в умственной сфере дворянство. Особенно явственно этот процесс обнаружился в области исторических взглядов.

В 1830 г. Пушкин посвятил «Бориса Годунова» «драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина». Своим посвящением Пушкин подчеркнул, что в политике вокруг имени Карамзина его симпатии на стороне историографа.¹¹ В том же году

⁸ Старина и новизна, кн. 22, 1917, стр. 32.

⁹ Русская старина, 1902, № 4, стр. 139—140.

¹⁰ А. И. Белецкий. Очередные вопросы изучения русского романтизма. В сб.: Русский романтизм, Л., изд. «Academia», 1927, стр. 20.

¹¹ Мы здесь не входим в рассмотрение вопроса о соотношении официальной точки зрения на Карамзина и позиции Пушкина. Об этом см.: Б. С. Мейлах. Из политической биографии Пушкина после восстания декабристов. В сб.: Проблемы современной филологии. К семидесятилетию академика В. В. Виноградова. М., Изд. «Наука», 1965, стр. 427—431.

Пушкин и Вяземский выступили в «Литературной газете» со статьями, направленными против «Истории русского народа» Н. А. Полевого. Не входя в разбор исторических взглядов Н. А. Полевого и отсылая читателей к статьям С. Руссова, напечатавшего свою критику на «Историю русского народа» в «Славянине», Вяземский дал ясно понять, что он целиком отвергает книгу Н. А. Полевого: «Есть лжедмитрии и в литературе, и они незаконно облачаются на время доспехами и багряницею законной власти. „История русского народа“ служит тому новым доказательством» (II, 145).

Выступая в защиту Карамзина, Пушкин писал в своей статье о книге Н. А. Полевого: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами — хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным. Где рассказ его не удовлетворителен, там недоставало ему источников: он не заменял их своеобразными догадками». ¹² Указав, что первый том «Истории русского народа» «писан с удивительной опрометчивостью», Пушкин иронически заметил, что Н. А. Полевой «с неограниченным энтузиазмом молодого неопита» следовал за образом мнений Баранта и Тьерри.

В статье о втором томе «Истории русского народа» (статья осталась в черновике) Пушкин хотя и более благожелательно отозвался о труде Н. А. Полевого, тем не менее отвергал его историческую концепцию. В противовес Н. А. Полевому Пушкин утверждал, что феодализма в России не было; он считал, что Н. А. Полевой некритически воспринял идеи французских историков: «Гизо объяснил одно из событий христианской истории: европейское просвещение <...> Вы поняли великое достоинство фр<анцузского> историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории христианского Запада». ¹³ Здесь не место разбирать исторические взгляды Пушкина. Для нашей темы важно лишь отметить, что Пушкин, равно как и Вяземский, возражал против перенесения на русский исторический процесс выводов, полученных французскими историками на материале истории западноевропейских государств.

Выступления Пушкина и Вяземского против Н. А. Полевого вызвали протест Жуковского; последний писал Вяземскому: «Когда ты возвратишься, матушка? Привози и Пушкина с женою.

¹² Пушкин, т. XI, стр. 120.

¹³ Там же, стр. 127.

Да перестань связываться с Полевым. Чего доброго, он еще вздумает или уже вздумал, что век Карамзина уступил его веку. Я еще не заглянул в нужник его второго тома; но читал невзначай его объяснение в Телеграфе и выходку против аристократов литературы. Досадно, что газета ваша не удержалась и вступила в бой с этими замаранными пролетерами так называемой русской литературы. Пользы нет, а вы запачкались».¹⁴

Сохраняя вслед за Карамзиным олимпийское спокойствие и позицию невмешательства в литературно-общественные дискуссии, Жуковский призывал своих друзей отказаться от полемики с Н. А. Полевым. Между тем для Пушкина и Вяземского подобная позиция была неприемлема. Защита Карамзина Пушкиным и Вяземским — примечательное явление в общественной жизни того времени. В условиях последекабрьской реакции, при усиливающейся изоляции Пушкина и его литературных соратников, имя Карамзина, бескорыстного и смелого защитника своих взглядов, стало их знаменем, их идеологическим оплотом как против представителей булгаринского «торгового» направления, так и против издателя «Московского телеграфа». Имя Карамзина символизировало для писателей пушкинского круга те счастливые времена, когда они твердо надеялись на то, что конституционное преобразование страны — дело ближайших лет. По своим политическим устремлениям их точка зрения на Карамзина противостояла также официозному культу историографа, культу, который, по мысли Николая I, должен был укреплять его режим.

В апреле 1828 г. Вяземский предпринял первую попытку вернуться на государственную службу: он хотел при содействии П. Д. Киселева получить место при Главной квартире русских войск. 20 апреля 1828 г. Бенкендорф известил Вяземского, что Николай I «высочайше повелеть мне изволил уведомить вас, что он не может определить вас в действующей против турок армии по той причине, что отнюдь все места в оной заняты».¹⁵

В те же дни Николай I отказал Пушкину в его просьбе быть свидетелем русско-турецкой войны. 30 апреля Вяземский писал Г. А. Римскому-Корсакову: «Пушкина не с чем поздравить: после долгих проволочек, ему отказали в просьбе ехать свидетелем войны, только об этом он и просил. С горя просился он хоть в Париж, и тут почти ему отказали. Матушка Россия, как настоящая матушка, не спускает с глаз детей своих и при каждом случае дает чувствовать, что матерняя лапа ее так и лежит у нас на плече».¹⁶

¹⁴ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1909, л. 209. — Письмо Жуковского без даты. По содержанию оно относится к концу февраля—сердине мая 1831 г.

¹⁵ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 309.

¹⁶ ЦГАОР, ф. 109, 1 экспедиция III отделения, 1828, № 506, ч. II, л. 5. Выписка из письма Вяземского к Г. А. Римскому-Корсакову «под кувертом к князю В. Ф. Гагарину в Москву».

Между тем над Вяземским собиралась новая гроза. Осенью 1828 г. фон Фок составил записку о намерении Пушкина, Вяземского, В. Ф. Одоевского, И. В. и П. В. Киреевских и некоторых других писателей издавать с 1829 г. в Москве политическую газету «Утренний листок».¹⁷ В адрес Вяземского, помимо его политической неблагонадежности, было выдвинуто обвинение в развратном образе жизни. Возмущенный Вяземский писал правительству, что оно «слишком легко доверяет выдумкам клеветы» (II, 100).

На самом деле к замыслу издавать «Утренний листок» ни Пушкин, ни Вяземский, ни другие писатели, названные в записке фон Фока, никакого отношения не имели. Как явствует из секретного донесения Д. В. Голицына от 3 октября 1828 г., за № 135 на имя П. А. Толстого, «Утренний листок» предполагал издавать экзекутор Московской гражданской канцелярии, титулярный советник П. И. Иванов.¹⁸ Затем он же затеял издание «Ежедневного вестника», но снова получил отказ.¹⁹ П. И. Иванов действительно не отличался нравственным поведением и вскоре, 30 марта 1829 г., растратив 30 тысяч рублей казенных денег, застрелился.²⁰

Еще до непосредственного обращения к Николаю I, Вяземский, желая оградить себя от вздорных обвинений, написал письмо Д. В. Голицыну с просьбой довести его содержание до сведения царя. Д. В. Голицын переслал письмо Вяземского к Бенкендорфу, который не счел нужным представлять его царю; отвечая Д. В. Голицыну 7 ноября 1828 г., Бенкендорф пояснил, что неудовольствие Николая I вызвано литературной деятельностью Вяземского, а не его частной жизнью.²¹

Положение Вяземского в эти дни было настолько критическим, что у него даже возникла мысль об эмиграции: 18 ноября он отправил письмо А. И. Тургеневу с просьбой отыскать родственников по материнской линии, ибо «может быть, и придется мне искать гражданского гостеприимства в Ирландии».²²

Впрочем, мысль об эмиграции была мимолетной; пришлось искать компромисса; Вяземский был вынужден пойти на перемирие с правительством. Но это было именно перемирие, а не капитуляция; такой вывод естественно напрашивается при чтении «Записки о князе Вяземском, им самим составленной», напечатанной в полном собрании его сочинений под заглавием «Моя испо-

¹⁷ Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Пгр., 1922, стр. 45—49. — Там же напечатана записка Д. В. Дашкова, опровергавшая вымыслы фон Фока и его агентуры (стр. 49—51).

¹⁸ ЦГАОР, 1 экспедиция III отделения, 1828, № 506, ч. II, л. 11 об.

¹⁹ Там же, л. 21.

²⁰ Там же, л. 27.

²¹ Переписку между Вяземским, Д. В. Голицыным и Бенкендорфом по этому вопросу см.: П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 310—318.

²² Остафьевский архив, т. III, стр. 182.

ведь». Написанная в конце 1828 и в начале 1829 г., она была подана им Николаю I.

Оправдывая либеральный образ мыслей, Вяземский в то же время обвинял Александра I в крутом изменении его политики: «С Тропавского конгресса решительно начинается новая эра в уме императора Александра и в политике Европы. Он отрекся от прежних своих мыслей; разумеется, пример его обратил многих. Я (хотя это местоимение тут и очень неуместно, но должно же употребить его, когда идет дело обо мне) остался, таким образом, приверженцем мнения уже не торжествующего, а опального» (II, 91).

Смело и независимо выступая в защиту либерализма, Вяземский отстаивал право иметь собственное мнение о внешней и внутренней политике государства. Исключительно четко это убеждение высказано Вяземским в записи, которая справедливо датируется В. С. Нечаевой январем 1829 г., т. е. как раз временем, когда писалась «Моя исповедь»: «Напрасно думают, что желание разрешения нескольких прав гражданских и политических, принадлежащих человеку, члену образованного общества, есть признак неприязни к властям, возмутительного беспокойства: ни мало, мы желаем свободы умственных способностей своих, как желаем свободы телесных способностей, рук, ног, глаз, ушей, подвергаясь взысканию закона, если во зло употребим или через меру эту свободу. Рука — орудие, верно, пагубное для ближних, когда она висит с плеча разбойника, но правительство не велит связывать руки всем, потому что в числе прочих будут руки и убийственные. В обществе, где я не имею законного участия по праву того, что я член оною общества, я связан. Читая газеты, видя, что во Франции, в Англии человек пользуется полнотою бытия своего нравственного и умственного, видя там, что каждая мысль, каждое чувство имеет свой исток и применяется к общей пользе, я не могу смотреть на себя иначе, как на затворника в [остроге] тюрьме, которому оставили употребление одних неотъемлемых способностей и то с ограничениями; а свобода его в том заключается, что он для службы острога ходит, бренча цепями, по улице за водою, метет улицы и проч. или собирает милостыню для содержания тюрьмы».²³

Это глубокое убеждение в правоте своего либерального образа мыслей пронизывает все страницы «Моей исповеди». Вяземский настаивал на том, что он имеет право и даже считает себя обязанным в ряде случаев выступать с критикой верховной власти: «В припадках патриотической желчи при мерах правительства, не согласных, по моему мнению, ни с государственною пользою, ни с достоинством русского народа; при назначении на важные места людей, которые не могли поддерживать возвышенного бремени, на них возложенного, я часто с намерением передавал сто-

²³ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 83—84.

ряча письмам моим животрепещущее соболезнование моего сердца; я писал часто в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает чрез перехваченные письма, что есть, однако же, мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего» (II, 105).

Выставляя себя представителем независимого общественного мнения, Вяземский шел наперекор Николаю I, требовавшему от всех беспрекословного повиновения и послушания. Более того, выступая против раболепия, против подобострастного пресмыкательства перед правительством, Вяземский с возмущением восклицал: «Верю, что отблески мысли должны казаться кометами в общем затмении русской переписки, в общем оцепенении умственной деятельности; но неужели равнодушие есть добродетель, неужели гробовое бесстрашие к России может быть для правительства надежными союзниками?» (II, 105—106).

Оправдательная записка Вяземского «Моя исповедь» по сути дела была обвинительным актом, осуждавшим русское самодержавие. При чтении этой записки кажется, что речь идет об отношениях между двумя суверенными государствами — настолько «Моя исповедь» не похожа на обычное прошение о принятии на службу провинившегося ранее чиновника. Всей своей запиской Вяземский давал понять, что, по его мнению, не он провинился, а правительство виновно перед ним. Касаясь своего участия в «Московском телеграфе», Вяземский писал: «... правительство, стесняя мои литературные занятия, лишает меня таким образом общего права пользоваться моею собственностью на законном основании. Такое нарушение справедливости, без сомнения, не входит в намерения правительства, но не менее того истекает из мер, им принимаемых» (II, 98). Таков был ответ Вяземского на письмо правительства об оппозиционном направлении «Московского телеграфа» — он требовал условий для независимого литературного труда.

«Моя исповедь» — ценный памятник русской общественной мысли. По независимости суждений, непоколебимой и последовательной защите выношенных годами политических взглядов она имеет себе немного аналогий в русской публицистике XIX в. Ее тактическая линия совпадает с показаниями Грибоедова на следствии по делу декабристов: «Позиция оскорбленной невинности была сопровождается замечательно выдержанным тоном „полной“ и „смелой“ откровенности. <...> Откровенным признанием вольных разговоров о правительстве Грибоедов как бы парировал улику, которая была бы основана на изложении его мнений».²⁴

²⁴ М. В. Нечкина. Грибоедов и декабристы. Изд. 2-е. М., Изд. АН СССР, 1951, стр. 500.

«Моя исповедь» не удовлетворила Николая I; она была оставлена без ответа.

1 марта 1830 г. Вяземский приехал в Петербург; по сведениям, полученным от А. Ф. Голицына, служившего при великом князе Константине Павловиче, ему стало ясно, что требуется написать на имя великого князя «покаянное» письмо. Не понимая, в чем он должен был «каяться» перед Константином Павловичем, сердившимся на него с 1821 г., Вяземский отправил ему дипломатически составленное послание: «Я нарочно ничего ясного не сказал, — писал он жене, — потому что ничего нет ясного ни в споре, ни в примирении нашем». Кроме того, Вяземскому пришлось написать еще одно письмо Николаю I; выразив «раскаяние» в том, что в прошлом он навлек на себя гнев царя, он вместе с тем писал о незаслуженных им оскорблениях. Наконец, Николай I назначил его чиновником по особым поручениям при министре финансов Канкрине.

Но и определив Вяземского на службу, Николай I не перестал сомневаться в его политической лояльности — в письме к жене Вяземский сообщал 12 апреля 1830 г.: «Государь, встретясь однажды с Жуковским, кажется у императрицы, сказал ему: Пушкин уехал в Москву. Зачем это? <...> Жуковский отвечал, что он не знает причины отъезда его. Государь: „Один сумасшедший уехал, другой сумасшедший приехал“». ²⁵ Другим сумасшедшим, т. е. оппозиционером, Николай I именовал Вяземского.

Назначение на службу в Министерство финансов Вяземский воспринял крайне болезненно; служебную лямку он тянул с отвращением — 13 декабря 1832 г. он писал Жуковскому: «Вот сюжет для русской фантастической повести *dans les mœurs administratives*: чиновник, который сходит с ума при имени своем, которого имя преследует, рыбит в глазах, звучит в ушах, кипит на слоне; он отплевывается от имени своего, принимает тайно и молча другое имя, например начальника своего, подписывает под этим чужим именем какую-нибудь важную бумагу, которая идет в ход и производит значительные последствия; он за эту неумышленную фальшь подвергается суду, и так далее. Вот тебе сюжет на досуге. А я по суеверию не примусь за него, опасаясь, чтобы не сбылось со мной».²⁶

Словно предугадывая петербургские повести Гоголя, Вяземский предлагал Жуковскому «гоголевский» сюжет.

Служба равняла всех под казенный ранжир; для Вяземского это было пыткой, порождало неосуществленные замыслы чинов-

²⁵ Звенья, т. 6, 1936, стр. 229—230. — Уместно привести утверждение П. Бартенева, что после смерти Пушкина в его бумагах искали улики, которые изобличали бы Вяземского в причастности к декабристскому движению (Русский архив, 1901, т. 2, стр. 206).

²⁶ Русский архив, 1900, кн. 1, стр. 367.

Перевод: из чиновничьих нравов (франц.).

ничей фантазмагории, усиливало интерес к тем произведениям, в которых правдиво показана суровая изнанка жизни.

9—10 мая 1833 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Недаром судьба свела тебя со Стендалем: в вас есть много сходства, но тебя не станет написать „Rouge et noir“, один из замечательнейших романов, одно из замечательнейших произведений нашего времени. Того и смотри, что ты не читал его. Я Стендаля полюбил с „Жизни Россини“, в которой так много огня и кипятка, как и в самой музыке ее героя». ²⁷ Оценка эта совпала с отзывом Пушкина, который в мае 1831 г. писал Е. М. Хитрово: «Возвращаю вам, сударыня, ваши книги, и покорнейше прошу прислать мне второй том „Красного и черного“. Я от него в восторге». ²⁸

Знаменателен отзыв Вяземского о Бальзаке, роман которого «Отец Горио» он аттестовал как «одно из лучших произведений последней нагой французской литературы. Так от него и несет потом действительности; так все мозоли, все болячки общественного тела и выставлены в нем напоказ». ²⁹

Психологизм романа А. Мюссе «Исповедь сына века» заслужил одобрение Вяземского — 23 января 1836 г. он писал А. И. Тургеневу: «Я в восторге от „L'enfant du siècle“. Немного сбивается на „Адольфа“, но это не беда <...> Альфред Мюссе решительно головою выше в современной фаланге французских литераторов. Познакомься с ним и скажи ему, что мы с Пушкиным угадали в нем великого поэта, когда он еще шалил». ³⁰ Вяземский имеет в виду первый поэтический сборник А. Мюссе «Испанские и итальянские повести» (1830), отмеченный Пушкиным в специальной рецензии (напечатана посмертно).

Психологическое раскрытие душевной жизни героев, которое получает развитие в реалистической литературе, зарождалось в недрах романтизма. Пристальное внимание к психологизму свойственно роману Б. Констана «Адольф» (1816), избранному Вяземским для перевода на русский язык. Хваля Б. Констана за ясность и естественность сюжета, Вяземский писал в предисловии к роману: «Автор не прибегает к драматическим пружинам, к многосложным действиям, к сим вспомогательным пособиям театрального, или романического, мира <...> Вся драма в человеке, все искусство в истине <...> во всех наблюдениях автора так много истины, пронизательности, сердцеведения глубокого, что, мало за-

²⁷ Остафьевский архив, т. II, стр. 233. — Первое французское издание «Жизни Россини» вышло в 1823 г. Ранее отрывки из него печатались в журналах, в частности в России в 1822 г. в «Сыне отечества»; об этом см.: А. Менье. К вопросу о Стендале в России. В сб.: Русско-европейские литературные связи. К 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева. М.—Л., Изд. «Наука», 1966, стр. 104—109.

²⁸ Пушкин, т. XIV, стр. 166. Подлинник по-французски.

²⁹ Остафьевский архив, т. III, стр. 268—269. Письмо к А. И. Тургеневу от 8 сентября 1835 г.

³⁰ Остафьевский архив, т. III, стр. 289.

боясь о внешней жизни, углубляешься во внутреннюю жизнь сердца».³¹

В своем посвящении Пушкину Вяземский писал: «Прими мой перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф, приношу великому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему».³²

Трудность задачи Вяземского-переводчика заключалась в том, что ему приходилось создавать русский «метафизический» язык для передачи психологических оттенков и художественных нюансов подлинника. Прочитав перевод Вяземского, Баратынский писал ему: «Чувствую, как трудно переводить светского Адольфа на язык, которым не говорят в свете, но надобно помнить, что им будут когда-нибудь говорить и что выражения, которые нам теперь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными».³³

В этом же письме Баратынский писал Вяземскому: «Вы победили великие трудности в вашем переводе, но ежели вы мне позволите сказать мое мнение: живо покоренные красотой оригинала, как всякий хороший переводчик, вы наложили на себя слишком строгую верность переложения».³⁴ Отмеченная Баратынским особенность переводческой манеры Вяземского являлась его принципиальной установкой. Сравнивая свой перевод, который он называл подчиненным, с переводами Карамзина и Жуковского, Вяземский писал в предисловии к роману: «Переводы независимые, то есть пересоздания, переселения душ из иностранных языков в русский, имели у нас уже примеры блестящие и разве только что достижимые: так переводили Карамзин и Жуковский. Превзойти их в этом отношении невозможно, ибо в подражании есть предел неминуемый. Переселения их не отзываются почвою и климатом родины. Я, напротив, хотел испытать, можно ли, повторяю, не насильствуя природы нашей, сохранить в переселении запах, отзыв чужбины, какое-то областное выражение».³⁵

Вяземский выступил сторонником точного перевода, сохраняющего своеобразие и аромат подлинника.

Предстоящему выходу в свет перевода «Адольф» Пушкин посвятил заметку в «Литературной газете», которая была задержана цензурой на том основании, что этот роман якобы числился в индексе запрещенных иностранных книг. Правда, заметка Пушкина была в конце концов дозволена к печати, однако появление перевода Вяземского сильно задержалось. 6 апреля 1831 г.

³¹ Б. К о н с т а н. Адольф. СПб., 1831, стр. XIII—XIV.

³² Там же, стр. V.

³³ Старина и новизна, 1902, кн. 5, стр. 50.

³⁴ Там же, стр. 48.

³⁵ Б. К о н с т а н. Адольф, стр. XXVI—XXVII.

П. А. Плетнев писал Вяземскому: «Имею честь известить вас, почтеннейший и любезнейший Петр Андреевич, что с божиею помощью началось печатание Адольфа. Но беспрестанно и теперь встречаются останки. Цензор подписал, по убеждению г. Сербиновича, листа на два печатных. Их набрали, и опять ждем, когда придется продолжение оригинала. По вашему желанию, я, сколько было можно в здешних типографиях, старался издание сделать во всем сходным с французским. <...> Те места, в которых вы сошлись с телеграфским переводчиком, переменял еще в рукописи г. Сербинович, прося меня, буде найду нужным, еще делать перемену в корректуре. Я старался, сколько умел, не вредить переменами вашему тексту. Но важнейшие перемены, которые вы встретите даже в вашем предисловии и посвящении, сделал Василий Андреевич Жуковский, который просматривал последнюю корректуру всякого листа».³⁶

Перевод романа с трудом прошел петербургскую цензуру. А. В. Никитенко записал 25 февраля 1831 г.: «„Адольфа“ перевел князь Вяземский: цензура затруднялась пропустить этот роман, потому что он — сочинение Бенжамена Констан! Сколько труда стоило мне доказать председателю цензурного комитета, человеку, впрочем, образованному, что одно имя автора еще не есть статья, оскорбляющая правительство или грозящая России революцией».³⁷

«Адольф» поступил в продажу в начале июня 1831 г.,³⁸ а весь тираж был закончен печатанием лишь в сентябре.³⁹

Пolemика вокруг перевода Вяземского началась задолго до его появления в печати. В первом номере «Литературной газеты» за 1830 г. анонимно была напечатана заметка Пушкина:

«Князь Вяземский перевел и скоро напечатает славный роман Бенж. Констан. „Адольф“ принадлежит к числу двух или трех романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно,
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

«Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона. С нетерпением ожидаем появления сей книги. Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность мета-

³⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2551, лл. 5—6. — Письма Вяземского П. А. Плетневу об «Адольфе» см.: ОРЯС, 1897, т. II, № 1, стр. 90—99.

³⁷ А. В. Никитенко. Дневник, т. 1, Гослитиздат, 1955, стр. 102.

³⁸ Северный Меркурий, № 69, 1831, стр. 279—280.

³⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2551, л. 7.

физического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы». ⁴⁰

Заметка в «Литературной газете» вызвала скептический отклик в «Московском вестнике», написанный М. П. Погодиным: «Этот перевод, разумеется, будет приятным явлением, но не важным событием в истории русской словесности, как сказано в „Литературной газете“. Важными событиями могли называться первая ода Ломоносова, словарь Академии, стихотворения Жуковского, разборы Мерзлякова, легкие стихи Богдановича и Дмитриева, История Карамзина, сцена Пушкина у Самозванца с Пименом, — а перевод, самый изящный, краткой, положим, философской повести, после многих переводов Карамзина в этом же роде, никак не может получить такого почетного титла. (Заметим еще, что князь Вяземский так оригинален, так негибок, что не скроется ни в каком переводе, а это достоинство писателя — уже недостаток в переводчике)». ⁴¹

Отзыв М. П. Погодина, в достаточной мере сдержанный и чопорный, свидетельствует о том, что проблема «метафизического» языка, столь остро ощущавшаяся как первостепенная для развития русской прозы Пушкиным, Вяземским и Баратынским, была ему чужда. Между тем сознание важности этой проблемы, а отнюдь не дружеская приязнь, побудило Пушкина дать высокую оценку переводу Вяземского, который он читал еще в рукописи. И не случайно, конечно, Пушкин характеризовал героя Б. Констан строками из своего романа в стихах; в этом сближении явственно ощущается общность психологических черт Адольфа и Евгения Онегина.

Все эти аспекты, столь важные для Пушкина при оценке перевода «Адольфа», были вне критической «досягаемости» М. П. Погодина. В меньшей степени подобная постановка вопроса была чужеродной для издателя «Московского телеграфа», напечатавшего в своем журнале колючий и задиристый отзыв о переводе Вяземского. «Советуем г-ну переводчику, — писал с издевкой рецензент «Московского телеграфа», — при следующем издании сей книги исключить первые страницы предисловия, где идет рассуждение о причинах, по коим не был переведен на русский *Адольф*. Может быть, эти причины очень остроумно присканы, но жаль, что *Адольф* был переведен на наш язык два раза, прежде, нежели явился труд кн. Вяземского. Первый перевод напечатан в Орле, в губернской типографии, в 1818 году, под заглавием: *Адольф и Елеонора, или опасность любовных связей, истинное происшествие*; а другой — в Московском телеграфе 1831 года». ⁴²

⁴⁰ Пушкин, т. XI, стр. 87.

⁴¹ Московский вестник, 1830, № 3, стр. 315—316.

⁴² Там же, 1831, ч. 41, № 20, стр. 532.

По мнению рецензента «Московского телеграфа», Вяземский из рук вон плохо перевел «Адольфа»: «Пламенный, глубокий, красноречивый Б. Констан говорит по-русски каким-то ломаным языком, на который наведен лак сумароковского времени <...> Перевод кн. Вяземского нехорош: тяжел, неверен, писан дурным слогом».⁴³

Рассуждения о «метафизическом» языке были восприняты рецензентом как безосновательная претензия переводчика и послужили поводом для обвинения Вяземского в том, «что он хочет быть Петром Великим русского языка, создать его и подарить нам в виде Минервы, взрослой при рождении. Благодарим за труд, но смеем уверить г-на переводчика, что его предприятие похоже на затеи алхимиков».⁴⁴

Вряд ли можно думать, что рецензия «Московского телеграфа» являлась лишь очередным полемическим «туром» между Н. А. Полевым и писателями пушкинского круга. Расхождение в оценке перевода «Адольфа» носило принципиальный характер, отражало различный подход к языку художественной литературы. В отличие от Н. А. Полевого Пушкин и его литературные соратники ощущали глубинные процессы, подспудно нараставшие в русской прозе, процессы, исподволь подготовлявшие появление русского классического романа, богатого психологическими нюансами, наполненного философской проблематикой исконных начал жизни. Именно в этой исторической перспективе следует воспринимать прозорливые суждения Пушкина, Баратынского и Вяземского о значении перевода «Адольфа» для судеб русского литературного языка.

Однако «Адольф» оставил след в отечественной словесности не только как эксперимент, способствовавший созданию «метафизического» языка. Как мы видели, Пушкин сопоставил Адольфа с Онегиным. А. Ахматова в блестящей статье «„Адольф“ Бенжамена Констан в творчестве Пушкина»⁴⁵ убедительно доказала, как многообразно было влияние этого романа на Пушкина: «Евгений Онегин», «Каменный гость», отрывок повести «На углу маленькой площади» — таковы произведения, различные по своей жанровой природе, в которых исследовательница справедливо обнаруживает воздействие романа Б. Констан.⁴⁶

⁴³ Там же, стр. 542, 544.

⁴⁴ Там же, стр. 538.

⁴⁵ Временник Пушкинской комиссии, вып. 1. М.—Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 91—114.

⁴⁶ Д. Д. Благой отметил «близость к Адольфу двух первых парижских глав Арапа Петра Великого» (Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. 1826—1830. М., Изд. «Советский писатель», 1967, стр. 255). Верные и тонкие наблюдения о Вяземском-переводчике и Вяземском-теоретике перевода в сопоставлении со взглядами Пушкина см.: О. Холмская. Пушкин о переводе. Уч. зап. 1-го Моск. пед. инстр. иностр. языков, т. XIII (кафедра перевода), 1958, стр. 69—83.

Итак, не случайно Вяземский выбрал для перевода «Адольфа», и не случайно он посвятил Пушкину свой перевод этого романа: Вяземский-переводчик оказался на основном направлении литературных интересов Пушкина.⁴⁷

⁴⁷ Внимание Вяземского и Пушкина к «Адольфу» усиливало также слухами о том, что Б. Констан писал свою героиню с мадам де Сталь. Подготавливая перевод «Адольфа» к новому изданию в собрании своих сочинений, Вяземский сделал приписку к предисловию, которая не попала в печатный текст: «За давностью времени, могу теперь сказать яснее то, что сказано темно в одном месте предисловия моего. Многие думали, и думали не без некоторого основания, что Адольф — сам Б. Констан, а Элеонора — знаменитая г-жа Сталь. Весь роман не что иное, как эпизод из сердечной жизни одного и другой. С того времени, что перевод мною написан и напечатан, я в глаза не видал его. Нет его и теперь под глазами моими. Заочно и издали благословляю его на новый путь. Пусть идет он себе в первобытном виде и с первородными грехами, которые в нем найдутся. Прибавлю, что в самой рукописи сделаны были Баратынским некоторые изменения слов, впрочем незначительные. О самой книге еще одно замечание, одна особенность. Перевод был напечатан в числе шести сот экземпляров. Издание, кажется, разошлось: но разошлось оно и со мною. За исключением пяти или шести экземпляров, дошедших до меня, о прочих не доходило до меня ни слуха, ни духа, ни копейки. Как это случилось, не знаю: никого в этом не виню; и даже не мог бы припомнить в точности, кого тут обвинять. Вношу сюда это автобиографическое сведение, чтобы показать, кому ведать о том пожелается, как вел я свои хозяйственно-литературные делишки. Югенгейм. 1876» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1043, л. 16). Историки французской литературы не пришли к единому мнению о прототипе Элеоноры (см.: G. Rudler. *Adolphe de Benjamin Constant*. Paris, 1935; библиография на стр. 183—184).



ВЯЗЕМСКИЙ И «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»

20 декабря 1829 года Баратынский писал Вяземскому «Дельвиг мне пишет, что вы вместе с ним издаете „Литературную газету“: правда ли это? И как хорошо, ежели это правда! Что бы вы ни издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником малосильным, но усердным».¹

Сам Вяземский полагал, что его участие в «Литературной газете» не идет вровень с деятельностью в «Московском телеграфе». Однако А. И. Дельвиг (двоюродный брат издателя газеты) называет Вяземского, вместе с Пушкиным, ревностным сотрудником этого издания. В своих воспоминаниях А. И. Дельвиг писал: «В конце 1829 года эта мысль (издать газету, — М. Г.) созрела и ее разделяли Пушкин, Жуковский, Крылов, князь Вяземский, Баратынский, Плетнев, Катенин, Дельвиг, Розен и многие другие. Таким образом, появилась мысль об издании с 1830 года „Литературной газеты“».²

Вокруг нового печатного органа сплачиваются передовые дворянские писатели. Именно в это время, на рубеже 1820-х и 1830-х годов, выступают как единая общественная сила те писатели, которых историки литературы обычно называют писателями пушкинского круга. Из перечня имен, приводимых А. И. Дельвигом, видно, что объединение шло в первую очередь по признаку отталкивания от социально враждебных литературных группировок различного толка — от «Северной пчелы» до «Московского телеграфа».

Статьи Вяземского появились в первых же номерах «Литературной газеты». В конце января 1830 г. Пушкин, исполнявший

¹ Старина и новизна, кн. 5, 1902, стр. 47.

² А. И. Дельви́г. Полвека русской жизни, т. 1. М.—Л., изд. «Academia», 1930, стр. 129.

в это время обязанности редактора газеты (Дельвиг был в Москве), писал Вяземскому: «Очень благодарю тебя за твою прозу — подавай ее поболее».³

Переехав в марте 1830 г. в Петербург, Вяземский с увлечением работал в «Литературной газете». 20 марта он писал жене: «Что слышно о Баратынском? Пушкину надобно написать к нему и заставить его непременно работать прозою для газеты. Нужно нам поддержать ее плечами нашими».⁴ 25 апреля он просил А. И. Тургенева присылать заграничные корреспонденции: «Пиши литературные письма для „Газеты“ нашей и присылай ко мне; пиши, хотя не письма, а так, кидай на бумагу свои литературные впечатления и пересылай ко мне, а мы здесь это сошьем. Надобно же оживлять „Газету“, чтобы морить „Пчелу-пьявку“, чтобы поддержать хотя один честный журнал в России».⁵

Тот же общественный рефрен звучит в письме Пушкина к Вяземскому: «Дельвиг в самом деле ленив, однако ж его Газета хороша, ты много оживил ее. Поддерживай ее, покамест нет у нас другой. Стыдно будет уступить поле Булгарину».⁶

Пушкин и Вяземский всячески старались поддержать «Литературную газету», печатая на ее страницах свои критические статьи и стихотворения. Между тем многие статьи помещались в «Литературной газете» анонимно, что вынудило исследователей проделать кропотливую работу по их атрибутированию. В последние годы в трудах В. В. Виноградова⁷ и особенно Е. М. Блиновой⁸ Вяземскому приписано авторство ряда рецензий и заметок. Во многих случаях предложенная аргументация убедительна, и, таким образом, возникла возможность расширить раздел «dubia» статей Вяземского в «Литературной газете». По всей вероятности, Вяземскому принадлежат: в 1830 г. раздел «Смесь» (№ 18, 27 марта, стр. 146), рецензии на издание сочинений Фонвизина и Хемницера (№ 22, 16 апреля, стр. 178; № 44, 4 августа, стр. 64; № 45, 9 августа, стр. 71), рецензия на сочинения Ф. Булгарина (№ 46, 14 августа, стр. 79—80; № 47, 19 августа, стр. 87—88); в 1831 г. рецензия на альманах «Денница» (№ 15, 12 марта, стр. 122—124). Хотя эти добавления не меняют нашего общего представления об участии Вяземского в «Литературной газете», они показывают, что его сотрудничество было более деятельным, чем об этом можно было судить до последнего времени.

В статьях Вяземского, опубликованных на страницах «Литературной газеты», рассматривались вопросы развития литературы

³ Пушкин, т. XIV, стр. 61.

⁴ ЛН, т. 16—18, М., 1934, стр. 804.

⁵ Остафьевский архив, т. III, стр. 194.

⁶ Пушкин, т. XIV, стр. 87.

⁷ В. В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей. М., Гослитиздат, 1961, стр. 399—410.

⁸ Е. М. Блинова. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830—1831. Указатель содержания. М., изд. «Книга», 1966.

и ее социальной значимости: «История литературы народа, — писал Вяземский, — должна быть вместе историею и его общежития. Только в соединении с нею может она иметь для нас нравственное достоинство и поучительную занимательность. Если на литературе, рассматриваемой вами, не отражаются движения, страсти, мнения, самые предрассудки современного общества, если общество, предстоящее наблюдению вашему, чуждо владычеству и влиянию литературы, то можно заключить безошибочно, что в эпохе, изучаемой вами, нет литературы истинной, живой, которая не без причины названа выражением общества».⁹

В «Письме из Парижа», напечатанном в 1827 г. в «Московском телеграфе», Вяземский обосновывал мысль о взаимовлиянии общества и литературы, исходя из исторического опыта французской словесности. Применительно к социальной жизни Франции аргументировать этот тезис не представляло особых затруднений. Однако задача значительно осложнялась, когда в отрывке из монографии о Фонвизине, только что процитированном нами, подобная проблема переносилась на русскую почву. Здесь вступали в силу специфические условия отечественного исторического процесса, вынуждавшие Вяземского утверждать, что не во все эпохи наблюдается взаимное соответствие между этими двумя компонентами: «Между творением замечательным и народом, коего общество еще не готово для литературы или литература еще не готова для общества, нет также обоюдности глубокой и постоянной».¹⁰

Уклоняясь, по цензурным условиям, от откровенного разговора о причинах этого несоответствия, Вяземский не побоялся, однако, сказать, что отечественная литература, несмотря на имена Ломоносова, Державина, Карамзина, Дмитриева, Озерова, Крылова, Жуковского и Пушкина, еще не является полным выражением русского общества: «Какое может быть на народ влияние литературы, не имеющей эпопей, театра, романов, философов, публицистов, моралистов, историков: ибо один историк, и то историк отечества своего, как ни сильно выразил ум свой в творении своем, но действие его все должно же быть односторонне и ограничено самыми пределами поприща его».¹¹

Итак, Вяземский ставил вопрос о литературе в широком смысле слова, включающей в себя научную прозу и публицистику. Насколько было допустимо в подцензурной печати, критик давал понять читателю, что неблагоприятные общественные условия сковывают развитие многих литературных жанров. Как мы видим, отрывки из историко-литературного исследования о Фонвизине содержали острейший публицистический «запал», намеки на то, что далеко не все совершенно и благополучно под скипетром императора всероссийского.

⁹ Литературная газета, 1830, т. 1, № 2, стр. 11.

¹⁰ Там же, стр. 11—12.

¹¹ Там же, стр. 12.

В публицистическом плане заслуживает внимания и высказывание Вяземского о путях развития отечественной образованности. Соотношение национального и европейского начала в формировании культуры является одним из коренных вопросов общественной мысли. Значение этого вопроса и различные попытки его разрешения стали особенно животрепещущими после реформ Петра I. Можно без преувеличения сказать, что на протяжении последних столетий эта проблема особенно волновала умы. Неоспорим передовой характер решения этого вопроса Вяземским: «... чтоб быть Европейцем, должно начать быть Русским», — писал он.¹² Вяземский отвергал равным образом и национальную исключительность, и подражательный европеизм. Лишь в органическом синтезе национального и европейского видел критик необходимый залог для всестороннего развития отечественной культуры. В исторической перспективе решение, предложенное Вяземским, полемизировало как с триединой формулой Уварова (самодержавие, православие и народность), так и с односторонним подходом будущих славянофилов и западников.

Обоснование тезиса об общественном назначении литературы, включение в понятие литературы публицистических, философских и исторических жанров, вывод об отставании отечественной литературы от потребностей общества, мысль о необходимости сочетания русского и европейского начал для успешного развития культуры — все эти положения придавали первостепенное значение статьям Вяземского в «Литературной газете».

Общие положения, высказанные Вяземским в отрывках из монографии о Фонвизине, органически сочетались с энергичной пропагандой сатирического жанра. Вспомним, что когда в 1827 г. Вяземский высказал в «Московском телеграфе» сожаление о том, что первым классическим сочинением в нашей литературе были не сатиры, а оды, то С. П. Шевырев разразился статьей «Замечания на замечание к<н.> Вяземского о начале русской поэзии»,¹³ в которой, не поняв публицистической подоплеку слов Вяземского, с настойчивостью, достойной лучшего применения, доказывал, что эта мысль противоречит всем историко-литературным соображениям. Перед нами два различных взгляда на литературные явления: педантичный подход С. П. Шевырева, не допускавший ни малейшего уклонения от «трезвой» исторической истины, и злободневная публицистичность Вяземского, парадоксальные суждения которого освещали неожиданным светом литературные и общественные явления. Конечно, Вяземский понимал, что сатира не могла быть «повивальной бабкой» русской литературы, и тем не менее брошенная им мысль как бы подсказывала читателю, какого важнейшего элемента недоставало отечественной словесности.

¹² Там же, № 17, стр. 135.

¹³ Московский вестник, 1827, № 3, стр. 201—208.

Отметим, что Пушкин в одном из набросков плана истории русской литературы писал: «Отчего первые стихотворения были сатиры? Их успех etc». В выдвижении на первый план сатирических жанров проявилась общность взглядов Пушкина и Вяземского. Пропагандой сатиры отмечены многие критические статьи Вяземского — от «Московского телеграфа» до пушкинского «Современника».

Имея доступ к неопубликованным сочинениям Фонвизина, Вяземский напечатал в «Литературной газете» его сатирический «Разговор у княгини Халдиной». «Северная пчела» не преминула высказать сомнение в принадлежности этого произведения Фонвизину. В защиту авторства «смелого властелина сатиры» выступил Пушкин: «... кто хотя немного изучал дух и слог Фонвизина, тот узнает тотчас их несомненные признаки и в „Разговоре“ <...> Прочитав „Разговор у княгини Халдиной“, пожалеешь невольно, что не Фонвизину досталось изображать новейшие наши нравы».¹⁴

Последняя фраза Пушкина метила, конечно, в Ф. Булгарина, стремившегося по мере своих сил монополизировать нравственно-сатирический жанр в современной литературе. Выступая за традиции истинной сатиры, сотрудники «Литературной газеты» последовательно разоблачали фальшивый характер «сатирических» писаний Ф. Булгарина. В рецензии на его сочинения Вяземский писал: «Хорошо быть гонителем пороков и проповедником благонравия; полезно даже искоренять дурные привычки и, для пользы образованности и вкуса, осмеивать глупости и странности. Худо только то, когда сатирик лозою своей стегает по воздуху: когда он оуждает пороки, небывалые в народе, или осмеивает странности, им самим выдуманые. Что, если бы какой иностранец заговорил китайцам, что они не соблюдают постов, установленных нашею церковью, или стал бы подшучивать над тем, что они слишком много танцуют и любят гоняться за европейскими модами? Такие или подобные нравственно-сатирические обвинения бывали, однако ж, у нас, и именно в статьях г. Булгарина. <...> Он писал как человек, не коротко знающий Россию и русских; и плодом сего ложного о них понятия был нравственно-сатирический роман: *Иван Выжигин*, в котором более, нежели в других своих сочинениях, автор относит к общим нравам народа те пороки и странности, коих едва ли встречается несколько печальных примеров».¹⁵

Таким образом, подымая на щит сатиру Фонвизина, Вяземский, помимо задач историко-литературного плана, ставил перед собой четкую публицистическую задачу — борьбу против измельчания сатиры, против приспособления ее к нуждам господствовавшего политического режима. Рассуждения о сатире — истинной или

¹⁴ Пушкин, т. XI, стр. 96.

¹⁵ Литературная газета, 1830, т. 2, № 47, стр. 88.

мнимой — были ареной острейших полемических схваток между «Литературной газетой» и «Северной пчелой».^{15а}

Общие положения, высказанные Вяземским в напечатанных в «Литературной газете» извлечениях из монографии о Фонвизине, непосредственно примыкали к его трактовке проблем современного литературного развития и в первую очередь к его оценке французского романтизма.

На протяжении ряда лет спор романтиков с классиками бушевал в западноевропейской и русской печати. Однако постановка вопроса о романтизме в 1820-е годы и в начале 1830-х годов имеет существенные различия. Конец 1820-х годов ознаменован триумфальным шествием романтизма: в декабре 1827 г. вышло из печати знаменитое предисловие В. Гюго к драме «Кромвель»; 25 февраля 1830 г. в Париже с исключительным успехом прошла премьера драмы В. Гюго «Эрнани»; Французская Академия, цитадель классицизма, вынуждена была открыть двери своего святилища для сторонников романтизма.

В России, как и в Западной Европе, общественное мнение решительно и бесповоротно берет сторону романтиков. В брошюре «О Борисе Годунове» (1831) помещик просвещает учителя словесности захолустного уездного городка: «Побывал бы ты в Петербурге или в Москве. Дали бы тебе знать! Да теперь непризнающих романтизм считают наравне с богоотступниками!».¹⁶

Вяземский внимательно следил за успехами романтизма. 25 апреля 1830 г. он писал А. И. Тургеневу: «Я читал „Hernani“ и им довольно недоволен. Тут вижу я романтизм в одних ломаных стихах и в мокром плаще. Люблю Гюго как лирика и то, разумеется, не везде, а драматик он плохой <...> Я люблю французов в романтической прозе „La conspiration de Mallet“, из „Soirées de Neuilly“, „Les états de Blois“, виноват: даже и в „L'âne mort et la Femme guillotinée“, „Fragoletta“, но в стихах их романтизм несносен».¹⁷

Это в частном письме к другу. А вот и публичное признание в статье «О Ламартине и современной французской поэзии»: «Поэзия французская и вообще литература находится ныне в необычном кризисе, который по крайней мере изучать полезно».¹⁸

В своем недовольстве «Эрнани» Вяземский был не одинок. Начать с того, что во Франции, как отмечено Б. В. Томашевским, «и в среде романтиков раздавались голоса против „Эрнани“. Это были голоса прозаиков: Жюль Жанена и Бальзака. В этих отзывах сказался раскол между драматургией и романом в борьбе

^{15а} Подробнее об этом см.: В. Ф. Переверзев. Пушкин в борьбе с русским плутовским романом. Временник Пушкинской комиссии. I. М.—Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 164—188.

¹⁶ Русская старина, 1890, № 10, стр. 448.

¹⁷ Остафьевский архив, т. III, стр. 193.

¹⁸ Литературная газета, 1830, т. 2, № 47, стр. 65.

этих жанров за литературную гегемонию».¹⁹ Следует лишь добавить, что в единоборстве этих жанров проявилась крепнущая тенденция к реализму, при котором роман вскоре занял доминирующее положение в литературе.

В середине 1830 г. в «Литературной газете» появилась анонимная заметка об «Эрнани», в которой в свою очередь была приведена в русском переводе (в сокращении) французская анонимная рецензия из «Revue Française».²⁰ И русский, и французский приговоры, несмотря на внешне беспристрастный тон, были в достаточной мере суровы. Е. М. Блинова приписывает эту заметку Дельвигу и в комментариях ошибочно утверждает, что Вяземский «снисходительно одобрял романтическую трагедию Гюго».²¹ Между тем, как мы уже имели возможность убедиться, Вяземский, равно как и автор заметки в «Литературной газете» об «Эрнани», весьма сдержанно отзывался об этой шумевшей трагедии. Во всяком случае, кто бы ни был автором этой заметки, она выражала общее мнение основных сотрудников «Литературной газеты» о трагедии Гюго.

По-видимому, в какой-то мере было общим в пушкинском кругу и предпочтение французской романтической прозы. В частности, обращает на себя внимание совпадение мнения Пушкина и Вяземского о романе Жюль Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина». В конце апреля 1830 г. Пушкин писал В. Ф. Вяземской: «Вы правы, находя, что *Осел* прелестен. Это одно из самых замечательных сочинений настоящего времени».²²

Итак, можно смело утверждать, что французский романтизм не воспринимался Пушкиным и Вяземским как единое литературное направление. Они ощущали меньшую приверженность современной французской прозы канонам романтизма и всячески приветствовали отход от романтической ортодоксии. Это касалось и практики, и теории романтизма. Недаром ближе всего с воззрениями Вяземского на романтизм соотносились эстетические взгляды Стендаля, а не Фридриха Шлегеля. Более того, рассуждения Фридриха Шлегеля вызывали критику Вяземского — во второй части статьи «О Московских журналах», которая не появилась в «Литературной газете» по цензурным условиям, он писал: «В изыскании начал классической и романтической поэзии, в начале двойкой природы нашей: *вещественной* и *духовной*, *внешней* и *внутренней* и так далее, видно более мистицизма, чем лучезарной критики. Неужели трагическое творение *Эдипа* менее религиозно, менее отвлеченно в общем понятии и в применении к веку своему, чем создание *Иоанны д'Арк*? И взирающему с сей

¹⁹ Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., изд. «Советский писатель», 1960, стр. 472.

²⁰ «Литературная газета», 1830, т. 2, № 37, стр. 6—8; № 38, стр. 12—16.

²¹ Е. М. Блинова. Ук. соч., стр. 171—172.

²² Пушкин, т. XIV, стр. 81. Подлинник по-французски.

точки зрения почему Софокл должен казаться классиком, а Шекспир романтиком?» (II, 131—132).

Как справедливо отметил Н. А. Степанов, эти строки Вяземского метили в Надеждина, утверждавшего вслед за Фридрихом Шлегелем, что «классицизм берет свое начало в вещественной природе человека, а романтизм — в духовной сфере».²³

Сложность отношения Вяземского к французскому романтизму не исчерпывается рассмотренными аспектами; на восприятие им романтизма, и в частности романтической поэзии, влияли не только литературные пристрастия, но и политические мотивы. И в этом нет ничего удивительного, так как мы уже знаем, что Вяземский неоднократно декларировал взаимовлияние литературы и общества. Именно под этим углом зрения он рассматривал поэзию Ламартина и близких к нему французских романтиков: «В эпохи, следующие за грозами народными, в эпохи усталости, близкой к охлаждению, к беспечности, к дремоте нравственной, они (Шатобриан и Ламартин, — М. Г.) нашли способ сладостно и задумчиво возбуждать тихие движения сердца, вызывать его из среды существенности, все испытавшей, все поглотившей и в избытке своем поглощенной самой собою, в сферу ощущений спокойных и созерцательных, отделить его от земли, на которой ничего уже нового ему не предстояло, и обратить его к новым упованиям, к новым потребностям. Шатобриан явился после революции; Ламартин — после военного и антипоэтического владычества Наполеона, сжавшего Францию и потрясшего ее после падением колосса своего».²⁴

В этом нарочито сдержанном отзыве можно обнаружить и признание неизбежности, детерминированности историей элегического тона поэзии Шатобриана и Ламартина, и скрытое сожаление, что поэзия стала послушной служанкой сменявшихся политических режимов. Впрочем, в последнем отношении позиция Вяземского была неоднолинейной и свидетельствовала, что проблема зависимости литературы от общества решалась им не в абстрактном плане, а учитывая особенности того или иного общества. Эта мысль ясно высказана им в заметке о речи Ламартина при избрании его во Французскую Академию: «Нельзя не пожалеть, что во Франции политические, то наполеоновские, то бурбонские, мнения отражаются и в самих мнениях чисто-литературных. То есть нельзя не пожалеть в смысле искусства: в другом, в высшем, но не отвлеченном отношении, в отношении государственном, напротив, должно оценить с справедливостью это присутствие постоянное главных политических мыслей, придающее всему жизнь гражданственную».²⁵

²³ Очерки по истории русской журналистики и критики, т. 1. Изд. ЛГУ, 1950, стр. 392.

²⁴ Литературная газета, 1830, т. 2, № 47, стр. 86.

²⁵ Там же, т. 1, № 29, стр. 235.

Широкая постановка вопроса о зависимости литературы от общества, от господствующего политического режима потенциально включала в себя и возможность противоположного решения, антагонизма между словесностью и правительством. Несколько лет спустя Пушкин писал в «Современнике» о Шатобриане: «Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властью, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты перов, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью».²⁶

Эта же дилемма продажности или независимости литературы возникала и ранее, в 1830 г., во времена полемики «Литературной газеты» с другими печатными органами.

«Северная пчела», «Сын отечества и Северный архив», «Вестник Европы», «Галатей», «Московский телеграф» обрушились на орган передовых дворянских писателей. «Литературная газета» попала между двух огней: справа ее обстреливали журналы проправительственной ориентации, слева — «Московский телеграф», отражавший интересы и взгляды нарождавшегося третьего сословия.

Седьмая глава «Евгения Онегина» была недоброжелательно встречена журнальными рецензентами. Раскритиковав эту главу, Ф. Булгарин спрашивал Пушкина, почему, дескать, он не воспевает «великие подвиги русских современных героев»,²⁷ науськивая тем самым правительство на поэта. Подобное же обвинение в адрес всех участников альманаха «Северные цветы на 1830 год» было брошено в другой рецензии Ф. Булгарина: «Наши победы, наша слава, геройская война и знаменитый мир не одушевили ни одного поэта!».²⁸

В фельетонной рецензии на седьмую главу «Евгения Онегина» Надеждиной, отказав Пушкину в способности мыслить и утверждая, что содержание этой главы сводится к забавной болтовне, не упустил случая задеть заодно и Вяземского: «Явление „Бахчисарайского фонтана“, снабженное лихим предисловием от известного автора предисловий к приятельским сочинениям, произвело такую тревогу в нашем литературном муравейнике, какой не производила в Германии Клопштокова „Мессиада“».²⁹

В журнале «Сын отечества и Северный архив» Вяземского

²⁶ Пушкин, т. XII, стр. 144—145.

²⁷ Северная пчела, 1830, № 35.

²⁸ Там же, № 5.

²⁹ Вестник Европы, 1830, № 7, стр. 196. — Рецензия не подписана. Аноним утверждает, что ему же принадлежит рецензия на альманах «Северные цветы» (Вестник Европы, 1830, № 12, стр. 162—166), подписанная инициалами «NN», обычным псевдонимом Н. И. Надеждина в «Вестнике Европы». Словомательно, и анонимная рецензия написана им.

титоловали П. Коврижкиным (по ассоциации с вяземскими пряниками), сочинителем тысячи и одного предисловия. В пародии «Запоздалое предисловие к Альдебарану» в уста Коврижкина-Вяземского вложены издевательские слова о Пушкине: «Берегитесь! Другой приятель мой, также старый дворянин, прозвищем Ряпушкин, превосходящий подражаниями Вальтер-Скотта и Вашингтона Ирвинга, уже более десяти лет занимается статистикой и физической географией передних в знатных домах. Поднимаясь беспрестанно на дыпочки, он, верно, вскоре возвысится, и тогда будет вам другая беда, когда в исчислении жителей передних он не покажет издателей Альдебарана».³⁰

Даже журнал Раича не удержался от нападков на Пушкина и его литературных друзей — в «Галатее» было раскритиковано введение Вяземского к «Крымским сонетам» Мицкевича (в переводе И. И. Козлова); о писателях пушкинского круга в журнале говорилось с явной неприязнью: «С некоторого времени у нас в литературе, не во гнев некоторым сказать, ввелся Венецианский Аристократизм: все решается в совете *Десятерых*».³¹

Опровергая это обвинение, Вяземский писал: «У нас можно определить две главные партии, два главных духа, если непременно хотеть ввести междоусобие в домашний круг литературы нашей, и можно даже означить двух родоначальников оных: Ломоносова и Тредьяковского. К первому разряду принадлежат литераторы с талантом; к другому — литераторы бесталанные.³² Мудрено ли, что люди, возвышенные мыслями и чувствами своими, сближаются единомыслием и сочувствием? Мудрено ли, что Расин, Мольер, Депрео были друзьями? Прадоны и тогда называли, вероятно, связь их духом партии, заговором аристократическим. Но дело в том, что потомство само пристало к этой партии и записалось в заговорщики. Державин, Хемницер и Капнист, Карамзин и Дмитриев, Жуковский и Батюшков, каждый в свою эпоху совре-

³⁰ Сын отечества и Северный архив, 1830, № 16, стр. 246. — Двумя номерами ранее в том же сатирическом цикле «Альдебаран» была помещена едкая пародия на отрывки из «Фонвизина», печатавшиеся в «Литературной газете». В этой пародии «Введение в биографию Патрикенча» также были намеки на литературный аристократизм: «Словесность наша, стиснутая насильственным напряжением умов в тесном круге общества неотборного, едва ли может назваться выражением точным образа мыслей лучшего круга, в котором Дидерот в 18-м веке тщетно искал представителей неподложных народного быта» (Сын отечества и Северный архив, 1830, № 14, стр. 113—114).

³¹ Галатее, 1830, № 2, стр. 112—113.

³² В полемических целях Вяземский преувеличил бездарность Тредьяковского; более объективна его запись от 29 октября 1830 г.: «А, право, напрасно бедного Тредьяковского закидали так грязью. Его правила о стихосложении вовсе не дурны. Его мысль, что язык наш должен образоваться употреблением, что научат нас (то есть должны бы) искусно им говорить и благоразумнейшие министры и проч. — очень справедлива. Он чувствовал, что письменный язык один есть мертвый» (П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 200—201).

менники и более или менее совместники, были также сообща главами тайного заговора дарования, вкуса против безвкусия, изящности против посредственности и ничтожества».³³

Полемизируя с журналами и в то же время предупреждая возможные обвинения со стороны III Отделения, Вяземский так охарактеризовал союз аристократии дарований против бездарной посредственности: «Такие естественные, необходимые по закону нравственной природы, союзы утешительны и назидательны. Знаем, что для них утешительнее было бы видеть раздор между людьми, коих соединило само Провидение, освятив их печатью благородства и избрав их орудиями благоволения своего к человечеству; но, по счастью, события не оправдывают злонамеренных упований завистливой посредственности».³⁴

Утверждения Вяземского предназначались не только журналистам, но и Бенкендорфу. Нет сомнения в том, что намеки Вяземского были поняты и по достоинству оценены шефом жандармов: вторая часть статьи не была дозволена цензурой к печати. В этой части статьи, опубликованной лишь много лет спустя в собрании сочинений Вяземского, дана резкая критика журнальных мнений, соединивших понятия литературного аристократизма с социальным происхождением писателей. Вяземский утверждал, что принадлежность писателя к тому или иному сословию не может сама по себе служить основанием для порицания или одобрения: «Хорошо и почтенно образоваться самоучкою или выучиться многому на медные деньги, но не должно придавать осмеянию тех, которые, по милости божией, воспитаны были на золотые или хотя на ассигнационные, потому что в этом ничего нет смешного <...> Дворянство не дает дипломов на ум и просвещение, но не есть же оно синоним глупости и невежества. <...> Каждое звание, как часть государственного общества, имеет свое относительное достоинство. Когда начали у нас упрекать одного писателя (Н. А. Полевого, — М. Г.) купеческим званием его, то нынешние же так называемые аристократы выставили на позор несообразность и непристойность подобных упреков. Дело не в звании, в котором родился: *On ne se choisit pas son père*,³⁵ как говорил Ламот в оде своей к Руссо, но в том, как носишь свое звание. И дворянин дворянину, и купец купцу розница. Есть и дворяне, которые дворяне по одной грамоте, и купцы, которые купцы по одной гильдии» (II, 161—163).

³³ Литературная газета, 1830, т. 1, № 23, стр. 182.

³⁴ Там же. — В тексте, напечатанном в «Литературной газете», были пропущены, видимо по требованию цензуры, после слова «назидательны» следующие строки: «Они заключаются не в силу обдуманного договора с его гласными и негласными статьями. Эти союзы делаются сами собою. Карамзин и Дмитриев были друзьями и, так сказать, основателями новой школы, единомышленниками, единоверцами. исключительно потому, и просто потому, что один был Карамзин, а другой Дмитриев. И так далее» (II, 157).

³⁵ *Перевод: Собственного отца не выбирают (франц.).*

В «Литературной газете» печатались также редакционные статьи, посвященные опровержению обвинений в литературном аристократизме.

Журнальная борьба, которую вел Булгарин против «Литературной газеты», была столь яростной, что Вяземский даже заподозрил III Отделение в закулисных действиях. В статье «Объяснения некоторых современных вопросов литературных» он писал: «Если верить некоторым указаниям (курсив мой, — М. Г.), то в литературе нашей существует какой-то дух партий, силятся восстановить какую-то аристократию имен. Указания эти повторяются отголосками журнальными (курсив мой, — М. Г.), но нигде не объясняются убедительными доказательствами, а мнения без ясных улик остаются предубеждениями, предрассудками, не заслуживающими веры».³⁶

Но вряд ли III Отделение «спустило с цепи» Булгарина на «Литературную газету»; скорее всего Вяземский недооценил возможности Булгарина, который, желая смести с лица земли конкурента, возглавил журнальную полемику. Конечно, он учитывал осторожное отношение Бенкендорфа к писателям пушкинского круга, знал, что правительство, напуганное участием многих знатных дворян в декабрьском восстании, с опаской следит за деятельностью Пушкина и его друзей: именно поэтому Булгарин и рискнул бросить обвинение в литературном аристократизме. Но само III Отделение не было заинтересовано в обсуждении сословных вопросов (хотя бы и в литературном аспекте) на страницах журналов. При необходимости оказать давление на «Литературную газету» в распоряжении шефа жандармов были более действенные средства — вызов в III Отделение, к чему он и не замедлил прибегнуть, когда в газете Дельвига было напечатано четверостишие Казимира Делавиня. По воспоминаниям двоюродного брата издателя «Литературной газеты», Бенкендорф пригрозил сослать в Сибирь Пушкина, Вяземского и Дельвига.³⁷

Наряду с обвинениями в литературном аристократизме, Булгарин не гнушался пасквильными намеками, направленными против участников «Литературной газеты», и в первую очередь против Пушкина. Обороняясь от недостойных намеков «Северной пчелы», Пушкин напечатал заметку «О записках Видока», в которой сравнил Булгарина с полицейским сыщиком, назвав его человеком «без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями». Каламбурно³⁸ обыгрывая фамилию французского сы-

³⁶ Литературная газета, 1830, т. 1, № 23, стр. 182.

³⁷ А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни, т. 1. М.—Л., изд. «Академия», 1930, стр. 155—156.

³⁸ О каламбурах Вяземского см.: Е. П. Ходакова. Каламбуры у Пушкина и Вяземского. В сб.: Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху, М., изд. «Наука», 1964, стр. 285—333.

щика Видока, упомянутого в заметке Пушкина, и русское слово «видок», т. е. свидетель, Вяземский в десятой главе «Фонвизина» писал о политических доносчиках: «Убегая с открытого поля битвы, поруганные и уязвленные победителем, они не признают себя побежденными; если стрелы их не метки и удары не верны, то они имеют в запасе другое оружие, потаенное, ядовитое, имеют свои неприступные засады, из коих поражают противников своих наверное. Сей язвы литератур и обществ, которые их терпят потому, что и в божием творении пресмыкаются ядовитые гады и, следовательно, нужны в общем плане создания, к счастью и чести своей, не знала старинная литература наша. Если кто хотел бы, опровергая нас, защитить современную литературу от наших обвинений, мы могли бы отвечать ему выпискою из Словаря Академии Российской: „Что ты запираешься? Есть на то видоки!“» (V, 167; последняя фраза восстановлена по рукописи). Так смыкается линия Пушкина и Вяземского, направленная на разоблачение Булгарина.

Полемика «Литературной газеты» с «Северной пчелой» как негласным официозом была предметом изучения многих исследователей.³⁹ Для нашей темы необходимо лишь подчеркнуть, что выступления Вяземского соответствовали позиции редакционного ядра «Литературной газеты» и что они взаимосвязаны с полемическими статьями Пушкина.

Особенностью литературной полемики 1830 г. было то, что против «Литературной газеты» объединились журналы «торгового направления» и оппозиционный «Московский телеграф». Если в 1825—1827 гг. Вяземский сотрудничал с Н. А. Полевым, то к 1830 г. положение круто изменилось: осознав свою враждебность дворянству, Н. А. Полевой, начав с критикой Карамзина, стал затем наносить удары по всей дворянской культуре.

«Новый живописец» (приложение к «Московскому телеграфу») за 1830 г. переполнен пародиями на Пушкина, Вяземского, Дельвига и Баратынского. Песенное творчество Дельвига было осмеяно в пародиях, подписанных «Феокритов», как иронически величали Дельвига за его пристрастие к античным размерам стиха. Баратынский насмешливо именовался «Гамлетов». Там же за пародийным псевдонимом «Шолье-Андреев»⁴⁰ печатались злые выпады против Вяземского. Так, например, в куплетах «Иголки», пароди-

³⁹ Сжатый обзор и библиографию по этому вопросу см. в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., изд. «Наука», 1966, стр. 220—221.

⁴⁰ Шолье Гильом (1636—1720) — французский поэт, автор анакреонтических стихов. В этом псевдониме сказалась устойчивость поэтической репутации Вяземского: «Шапель Андреевич» назвал его Пушкин еще в 1816 г. Шапель (1626—1686) — французский поэт, близкий Шолье по характеру творчества.

руя стихотворение Вяземского «Всякий на свой покрой» (1822), писалось:

У всякого своя игла,
И всякий шьет своим манером:
Охота Клима забрала —
Прослыть в поэзии Вольтером.
Но едкой критики иглой
Его истыкали без счета,
Он поперхнулся остротой —
А все острить берет охота!

Что Клим? Не русская игла,
В нем только русская обделка:
У Музы Климовой была
Заемная с Депрео сделка;
Вольтера страшно он щечил,
В чужое смело нарядился.
Теперь язык он прикусил —
Иголкой критик подавился.⁴¹

Здесь все характерно: и упреки в том, что Вяземский «щечил», т. е. украдкой живился за счет Вольтера, и намек на сделку с Буало-Депрео. О влиянии Вольтера на Вяземского мы уже говорили; о связи его творчества с «Сатирами» Буало будет особо сказано в главе о поэзии Вяземского. Так что имена Буало и Вольтера не случайны и не вызывают удивления. Поражает лишь то, что в пылу полемики издатель «Московского телеграфа» считал, что все средства хороши для уязвления противника. Сам Н. А. Полевой не стеснялся строить свою концепцию русской истории, опираясь на труды французской романтической историографии. Зависимость же поэзии Вяземского от французских образцов стала в пародии «Нового живописца» отправной точкой для обвинений националистического толка.

По сути дела, аналогичные обвинения были выдвинуты Н. А. Полевым в адрес всех писателей пушкинского круга в его фельетоне «Слава, нас учили — дым»: «Карамзин умел выучить нас писать, научил и читать, приохотил Европу к своему творению. Европа повадилась читать гениев: он угодил ее повадке. Байрон высказан у нас лучше подлинника, а Дельвиг, конечно, вышибет рапиру у лучшего элегиста и идиалиста Европы. Правда, трагедия наша не столкнет Шекспира с его жертвенника, где теперь молятся ему поклонники романтизма, но приволье стихов Языкова не даст нам пожалеть о Муровых мелодиях. Пусть только не втесняются к нам с своевольным нахальством из нижних рядов, да выучатся хлопать в театре нашим водевилям, то мы заведем Благородное Собрание Литературы».⁴²

⁴¹ Новый живописец, 1830, № 8, стр. 134.

⁴² Там же, № 12, стр. 214—215. — Слова о водевилях, по-видимому, запоздалый намек на водевиль Вяземского и Грибоедова «Кто брат, кто сестра».

Н. А. Полевой не стесняясь иронизировал над Пушкиным («Байрон выказан у нас лучше подлинника»), Дельвигом, Вяземским и Языковым: несмотря на их претензии, им, дескать, далеко до вершин мировой поэзии, хотя они, следуя по стопам Карамзина, пишут в первую очередь не для России, а для Европы. Наибольшая сила удара в заключительной фразе Н. А. Полевого — в обвинении писателей пушкинского круга в аристократизме, в стремлении высокомерно отгородиться от общего потока отечественной литературы.

Оценивая пародии «Нового живописца» и позицию Н. А. Полевого, А. А. Морозов пишет: «Его пародии не столько дискредитировали враждебную ему дворянскую поэзию, сколько выставляли его самого критическим резонером, раздражающим и неубедительным. Полевой размахнулся слишком широко. Вышедшие из социально враждебного ему лагеря поэты создавали значительные художественные ценности. Все же пародии Полевого сыграли положительную роль, указывая на узость и идейное обеднение дворянской поэзии после разгрома декабристов, на опасность измельчания и эпигонства».⁴³

Если на страницах журналов «торгового направления» обвинение в литературном аристократизме преследовало цель уничтожить опасного совместника, то в пародиях «Московского телеграфа» это же обвинение звучало как прямая критика дворянской культуры.

Союз между Булгариным и Н. А. Полевым в их дружных нападках на писателей пушкинского круга вызвал отповедь со стороны Вяземского. В «Отрывке из письма к А. И. Г<отовцев>ой» он заметил: «В политических сношениях журнальных кабинетов видим мы нередко, после продолжительных браней, союзы насильственные, худо и на скорую руку, по обстоятельствам слепленные; но вслед за этими мировыми сделками не может быть уважения ни между примирившимися, ни со стороны, потому что оружия, употребленные воевавшими, были недостойны образованных и честных противников. О литературном состоянии нашей республики писмен говорить почти нечего; но можно и должно бы написать обозрение нравственного состояния литературы нашей. Литературу называют выражением общества: следует вступить за общество, избличая лживость выражения поддельного и оскорбительного для чести ее. Литература наша, то есть журнальная, то воинственная, то рыночная, не есть выражение общества, а, разве, некоторых темных закоулков его».⁴⁴

Эти строки писались Вяземским еще в конце 1829 г. — альманах «Денница» был разрешен к печати 12 декабря. Таким образом,

⁴³ А. А. Морозов. Русская стихотворная пародия. В кн.: Русская стихотворная пародия (XVIII—начало XX в.), Л., изд. «Советский писатель», 1960, стр. 48.

⁴⁴ Денница. Альманах на 1830 год, стр. 133—134.

высказанная им точка зрения предшествовала ожесточенной полемике вокруг «Литературной газеты». И тем не менее письмо к А. И. Готовцевой непосредственно примыкает к этой полемике, предвосхищает и объясняет ее. Впрочем, не нужно было обладать пророческим даром, чтобы предвидеть события: ведь полемические наскоки на «Литературную газету» были заранее подготовлены той расстановкой социальных сил в журналистике, которая сложилась после декабрьской катастрофы.

«Отрывок из письма к А. И. Г<отовцев>ой» и некоторые другие статьи Вяземского больно заделали его противников, которые без промедления обрушились на него. В защиту Вяземского выступил Пушкин. Он писал: «Некоторые журналы, обвиненные в неприличности их полемики, указали на князя Вяземского, как на зачинщика брани, господствующей в нашей литературе. Указание неискреннее. Критические статьи к<н.> Вяземского носят на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мыслями, но они заставляют мыслить. Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым понятиям, он невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения (discussion) и ловкостью самого софизма. Эпиграмматические же разборы его могут казаться обидными самолюбию авторскому, но к<н.> Вяземский может смело сказать, что личность его противников никогда не была им оскорблена; они же всегда преступают черту литературных прений и поминутно, думая напасть на писателя, вызывают на себя негодование члена общества и даже гражданина».⁴⁵

Критическая деятельность Вяземского в «Литературной газете» была естественным продолжением его журнальной работы в «Московском телеграфе». Утверждение гражданственности литературы и первостепенной роли сатирических жанров, вопрос о классицизме и романтизме, полемика с журналами булгаринского толка — все эти темы характерны для статей Вяземского, печатавшихся как на страницах «Московского телеграфа», так и в «Литературной газете». Но если в годы сотрудничества с Н. А. Полевым Вяземский сражался только с печатными органами проправительственной ориентации, то, участвуя в «Литературной газете», он полемизировал как с журналами «торгового направления», так и с оппозиционным «Московским телеграфом».

Отзвуки полемики на два фронта мы находим и в капитальном произведении Вяземского, написанном в основном в эти годы, — в его монографии о Фонвизине.

⁴⁵ Пушкин, т. XI, стр. 97.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«ФОНВИЗИН»

Начало занятий Вяземского творчеством Фонвизина относится к 1818—1819 гг., когда он написал обличительную статью «О злоупотреблении слов», в тексте которой привел отрывок из неопубликованной в то время «Придворной грамматики» Фонвизина.

В 1823 г. в письме к издателю «Сына отечества» Вяземский просит читателей сообщать ему документы, рукописи, сведения о жизни и творчестве сатирика.¹ С той же просьбой он обращается к своим друзьям и знакомым — А. А. Бестужеву, И. И. Дмитрию, А. И. Тургеневу, А. Я. Булгакову, Н. Б. Юсупову, П. В. Мятлеву (отцу поэта И. П. Мятлева), Г. Кластерману и другим, — либо лично общавшимся с Фонвизиным, либо имевшим материалы о нем в семейных архивах.²

По первоначальному замыслу Вяземский предполагал написать предисловие к изданию сочинений Фонвизина, которое собирался выпускать П. П. Бекетов (двоюродный брат И. И. Дмитриева).

В Остафьевском архиве сохранились автографы Фонвизина и разнообразные исторические бумаги, собранные Вяземским за многие годы.³ Привлечение большого количества биографических, творческих и историко-литературных материалов привело к тому, что предисловие значительно разрослось: вместо введения к сочинениям сатирика Вяземский написал монографию, в которой личность и творчество Фонвизина были искусно вставлены в ши-

¹ Сына отечества, 1823, ч. 88, № 37, стр. 163—167.

² Русский архив, 1868, стлб. 615, 643—645; 1879, кн. 2, стр. 104—105; Старина и новизна, кн. 2, 1898, стр. 184—190; ИРЛИ, ф. 196, № 31; ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, №№ 2046, 2234.

³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, №№ 1144—1159. — Кроме того, ряд рукописей Фонвизина и некоторые другие материалы из Остафьевского архива ныне переданы в фонд Фонвизина (ЦГАЛИ).

рокую раму екатерининского времени. В конце 1830 г. первая редакция «Фонвизина» была закончена.

Весной 1832 г. Вяземский внес исправления в текст монографии, однако по неизвестным для нас причинам воздержался от передачи рукописи в цензуру. Он ограничился опубликованием седьмой главы под названием «О нашей старой комедии» в альманахе Е. Ф. Розена «Альциона на 1833 год».⁴

1832 год — знаменательный год в творческой истории «Фонвизина», ибо в это время на рукописи были сделаны многочисленные пометы Пушкиным, Сербиновичем, А. И. Тургеневым, П. А. Плетневым и другими лицами, имена которых пока не установлены. Речь идет об уникальной рукописи «Фонвизина», которая сохранилась в коллекции Петербургского цензурного комитета.⁵ Пушкину принадлежит свыше 30 текстовых помет. Кроме того, в ряде случаев имеются основания полагать, что ему также принадлежат NB, подчеркивание карандашом отдельных слов, карандашные скобки в тексте, карандашные отчеркивания на полях и отметки ногтем.⁶

В исследовании «Новонайденный автограф Пушкина» выявлена внутренняя связь этих помет с творчеством и воззрениями Пушкина. В данной главе пометы Пушкина будут использованы в несколько другом аспекте — в их соотносимости с творчеством и взглядами Вяземского.

Монография Вяземского — исследование сатирического жанра русской драматической литературы. Выходя за рамки биографии и критического разбора сочинений Фонвизина, она представляет собой первую попытку изложения истории русской комедии XVIII в. В то же время она является ценным источником по истории русского Просвещения XVIII в. Кроме того, письма Фонвизина из-за границы позволили Вяземскому высказать свою точку зрения на житейские, нравственные принципы французских философов. Эти три узловых вопроса — история русской комедии, русское Просвещение XVIII в., энциклопедисты — и будут нами рассмотрены при анализе «Фонвизина».

Две основные причины, по мнению Вяземского, препятствовали расцвету русской комедии: ее подражательный характер и неразвитость общественных отношений.

Вяземский утверждал: «Наша драма — подкидыш. Перенесенная к нам с чужой почвы, она похожа на те деревья, которые, по

⁴ Альциона на 1833 год (цензурное разрешение 18 октября 1832 г.).

⁵ ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 25, № 1903.

⁶ Подробный разбор помет Пушкина, его отношение к монографии Вяземского, а также подробности ее творческой истории см.: Новонайденный автограф Пушкина. Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине». Подг. текста, статья и комм. В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона. М.—Л., изд. «Наука», 1968.

вырубке, втыкают в землю уже в полном их развитии. Конечно, хозяину нет труда ходить за ними, возвращать, расправлять их: дерево как дерево; но та беда, что в нем нет прозябения: оно увядает, сохнет, и хотя кое-где и пробивается на нем уцелевшая зелень, но не ждите от него ни тени, ни плода, ни отпрысков. Вы хотели иметь декорацию, комнатную рошу, и имеете ее; но корни, но произрастительная сила не у вас: они остались на родине» (V, 112).

Против слов Вяземского «Наша драма подкидыш» Пушкин написал на рукописи: «Прекрасно». Мысль Вяземского совпала с размышлениями Пушкина. В статье «О ничтожестве литературы русской» (1834), которую он набрасывал два года спустя после чтения с карандашом в руках «Фонвизина», Пушкин писал: «В начале 18-го столетия французская литература обладала Европою. Она должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние». ⁷ Этот тезис был для Пушкина столь важен, что до рассмотрения отечественной литературы он счел нужным обратиться к истории французской словесности за последние столетия. Хотя статья осталась незаконченной, по сохранившимся планам можно судить о том выводе, к которому пришел Пушкин: «Вольтер и великаны не имеют ни одного последователя в России; но бездарные пигмеи, грибы, выросшие у корня дубов, Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, m-me Жанлис — овладевают русскою словесностью». ⁸ Непосредственно о комедии в этой статье Пушкин не писал, но она, конечно, не представляла для него исключения — об этом свидетельствует его помета «Прекрасно» на рукописи Вяземского.

Однако главная причина отставания русского театра, по мнению Вяземского, заключалась не в ее иноземной родословной, а в неразвитости общественных отношений: «Должно полагать, что и нравы наши не драматические. У нас почти нет общественной жизни: мы или домоседы, или действуем на поприще службы. На той и на другой сцене мы мало доступны преследованиям комиков: на первой — из уважения к семейным тайнам; на второй — из уважения, которое обязаны мы иметь к предметам государственным, и, наконец, потому, что злоупотребления чиновников более подлежат ведению Правительствующего Сената, нежели комедии <...> Стройный, правильный, выравненный, симметрический, одноветвный, цельный Петербург может некоторым образом служить эмблемою нашего общежития. Без надписей, без номеров на домах трудно было бы отличить один дом от другого. В людях что Иван, что Петр; во времени что сегодня, что завтра: все одно и то же; нет разности в приметах лиц и званий. Воспитание почти у всех одинаковое, поприще общее» (V, 116). Отсутствие серьез-

⁷ Пушкин, т. XI, стр. 269.

⁸ Там же, стр. 495—496.

ных общественных потребностей нагляднее всего проявляется в том, что «у нас краугольный камень, связь и ключ общества — карты. Они, за зеленым сукном, уравнивают звания, возрасты, полы, глупость и ум, образованность и невежество, честность и корыстолюбие <...> Батюшков говорил, что для представления комедии в русских нравах должно поставить на сцене столько ломберных столов, сколько уместиться может» (V, 117).

Отражая оппозиционный характер взглядов Вяземского, подобное объяснение выходило за пределы историко-литературной проблематики и непосредственно вторгалось в область современной публицистики. Понятно, что и в русской комедии XVIII в. Вяземский прежде всего ценил ее злободневность; именно за это качество он ценил пьесы Сумарокова: «Он часто переносил горячий памфлет в свои холодные комедии. Он иногда угадывал Бомарше. Ученый критик скажет, что эти отступления не у места в комедии, и сошлется в том на Аристотеля и других законоискусников; умный читатель прочтет их с удовольствием и будет ссылаться на них, как на разрядный архив некоторых тогдашних обыкновений, как на вывеску ума и эпохи писателя» (V, 122). Последовательно проводя свою точку зрения, Вяземский приветствовал обличительный характер русской комедии XVIII в.: «Мы упомянули выше о сатирическом и личном направлении комедии нашей: она пользовалась правами, откровенностию, свободою, которые ныне не были бы допущены нравами нашими. Тем более можем мы обратиться в пользу свою нескромности ее и своевольства. К чести нашей старой комедии заметим, что она не в бровь, а в самый глаз колола пороки и злоупотребления, не щадя ни их, ни промышляющих ими. Такие открытые нападения мало благоприятствуют искусству, которое, содействуя и самой истине, должно быть несколько лукаво <...> Зрителям голая правда невыгодна, ибо тогда простота в ущерб удовольствию, но нам, отдаленным судиям, нам истина дороже удовольствия, и чем нравы обнаженнее, чем выражение их грубее, тем лучше: ибо тем достовернее могут быть наши наблюдения и исследования. Главные пружины комедии нашей были злоупотребления судей и домашней, то есть помещичьей, власти. И в этом отношении она есть, в некотором смысле, политическая комедия, если нужно ее обозначить каким-нибудь особенным родом» (V, 130—131).

С этим же мерилom Вяземский подходит к комедиям Фонвизина, подчеркивая их публицистический накал и крайнюю злободневность: «Влияние, произведенное комедией Фонвизина, можно определить одним указанием: от нее звание бригадира обратилось в смешное нарицание, хотя сам бригадирский чин не смешнее другого» (V, 135).

Таким образом, в рассуждениях Вяземского явно вырисовываются два аспекта проблемы: воспитательная роль старой комедии, и в первую очередь комедий Фонвизина, и ее историческое

значение как первоклассного памятника нравов и обычаев общества.

Оценка старой комедии как исторического документа указывает на эволюцию взглядов Вяземского. Как ни устойчиво было в основных чертах его мировоззрение, время неизбежно накладывало свой отпечаток и вносило существенные коррективы в его воззрения. Просветительский историзм, свойственный ему с молодости, обогащался новыми напластованиями, впитывал в себя опыт исторических школ первых десятилетий XIX в. Элементы социально-исторического мышления, осложнявшие прямолинейный характер просветительского историзма, вызвали интерес к проблеме исторического источника. В этой постановке вопроса обращение к старой комедии как документу эпохи — лишь частный случай, демонстрирующий углубление историзма Вяземского. В конце IV главы «Фонвизина» он писал: «Все еще вчерашнее, все сегодняшнее, а еще более все завтрашнее». Против этого места Пушкин пометил: «Прекрасно». Это положение Вяземского, совпавшее с историческими раздумьями Пушкина, теоретически обобщивало жанр «Фонвизина», проясняя точку зрения автора на предмет исследования и отбор материала. В этом отношении принципиальное значение имеет следующее высказывание Вяземского: «Житницы преданий наших пусты, и если надеяться на жатву для наших романов, исторических комедий, биографий лиц и общества, то разве на ту, которая зеленеет еще в глазах наших. <...> Признаюсь, большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы я за несколько томов записок, за несколько Несторских летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история» (V, 34). Исходя из этой установки, Вяземский усиленно насыщает и иногда даже перенасыщает «Фонвизина» различного рода документальными источниками. Помимо основного текста монографии, густо прослоенного эпистолярными и иными материалами, Вяземский в приложениях к «Фонвизину» напечатал 37 писем сатирика к П. И. Панину, 4 письма к сестре, 54 письма разных корреспондентов к Фонвизину, 6 писем к И. И. Шувалову, некоторые переводы Фонвизина, две его записки о «Толковом словаре славяно-русского языка», материалы о пребывании Дидро в Петербурге, несколько биографических документов (родословная, записка о службе Фонвизина, указ о прикомандировании его к Елагину) и другие материалы.⁹ Обогащенный документальным

⁹ Последующие исследователи обнаружили некоторые неточности и купюры в публикациях Вяземского; сохранившиеся в его архиве автографы Фонвизина позволили исправить ошибки и восстановить пропуски. Об этом см.: Д. И. Фонвизин, Собр. соч. в двух томах, т. 2, Сост., подг. текста и комм. Г. П. Макогоненко. М.—Л., Гослитиздат, 1959, стр. 634—635. О роли «Фонвизина» как документированной биографии и его общую оценку см.: П. Н. Берков. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века, ч. 1. Изд. ЛГУ, 1964, стр. 80—82.

знанием эпохи, Вяземский сумел показать жизнь и творчество Фонвизина в органической связи с его эпохой. И хотя в первой главе он утверждал, что «в обществе не дознался я отголоска Фонвизина и в самом Фонвизине отыскал мало отпечатков общества» (V, 13), вся его книга красноречиво свидетельствует об обратном.

Вяземский придавал первостепенное значение письмам как историческому источнику. Можно думать, что книга Босвелла «Жизнь Сэмюэля Джонсона», насквозь пропитанная эпистолярными материалами, оказала на него заметное влияние. Позднее в статье «О письмах Карамзина» (1866) Вяземский дал классическое определение эпистолярного жанра: «Письма — это самая жизнь, которую захватываешь по горячим следам ее. Как семейный и домашний быт древнего мира, внезапно остывший в лаве, отыскивается целиком под развалинами Помпеи, так и здесь жизнь нетронутая и нетленная, так сказать, еще теплется в остывших чернилах» (VII, 135). Однако воздействие книги Босвелла не было решающим фактором; она лишь дала наглядный пример, лишь показала, как письмо может служить источником в жанре биографии исторического лица; первопричина подобного отношения Вяземского к эпистолярности кроется в развитии жанра дружеского письма в кругу арзамасского братства. Как справедливо пишет М. П. Алексеев, «в начале XIX столетия письма русских литераторов представляли собою важный фактор общего литературного развития; эти письма выходили за сравнительно узкие пределы бытового средства связи, приобретая тогда особую функцию, как и вся рукописная литература, живее и полнее отображавшая умственные запросы русского общества, чем подцензурная печать».¹⁰ Проецируя отношение к собственной переписке на эпистолярное наследие XVIII в., Вяземский выработал свою точку зрения на письмо как исторический источник.

В осмыслении историко-литературного процесса Вяземский, помимо писем, придавал большое значение рассказам современников, крылатым словам, анекдотам, «мелочам» быта. Сожалея, что ему не удалось заполучить от лиц, знавших Фонвизина, пересказ его остроумных бесед, Вяземский с досадой восклицал: «Скорее найдешь человека, готового вспомнить масти и козыри игры, которая сдана ему была во время оно Фонвизиним или графом Марковым, нежели острое слово, слышанное им от того или другого» (V, 166). Эта же мысль в более общем виде была им высказана в другом месте «Фонвизина»: «Наша народная память незаботлива и неблагодарна. Поглощаясь суетами и сплетнями нынешнего дня, она не имеет в себе места для преданий вчерашнего» (V, 13), — против которого Пушкин написал: «Прекрасно». Отме-

¹⁰ М. П. Алексеев. Письма И. С. Тургенева. В кн.: И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем в 28 томах, Письма, т. 1, М.—Л., Изд. АН СССР, 1961, стр. 17.

тим, что этот отрывок из «Фонвизина» входил в текст, напечатанный в начале 1830 г. в «Литературной газете», следовательно, его надо датировать 1829 г., а ведь именно в то время Пушкин в «Путешествии в Арзрум» высказывал подобное суждение. Это совпадение указывает на то, что мысли Вяземского и Пушкина шли в одном направлении.

Насыщение «Фонвизина» эпистолярными и мемуарными материалами превратило эту книгу в редчайший первоисточник для всех последующих исследователей жизни и творчества сатирика.

От «Фонвизина» тянется нить к мемуарным статьям Вяземского 1860-х—1870-х годов и к его работе публикатора ценнейших материалов по истории русской культуры первой половины XIX в. в «Русском архиве».

Значительное место в «Фонвизине» отведено воссозданию атмосферы екатерининского царствования. Взгляд на эпоху Екатерины II как на время успехов русского Просвещения сложился у Вяземского еще в 1810-е годы. В статье «О письме Екатерины II к Сумарокову» (1818) Вяземский писал: «Не умею придумать великолепнейшего и поучительнейшего зрелища как пример владыки народа, с престола братски подающего руку писателям, образователям народов. И в сем священном зрелище Екатерина играет первое лицо. Возьмите ее переписку с избраннейшими писателями ее века <...> Лучшими успехами своими на поприще ума обязаны мы движению, данному ею; оглянемся без предубеждения: где и что были бы мы, если вычесть из гражданственного и политического бытия России тридцать четыре года ее деятельного царствования? Как желательно, чтобы у нас собрали, так сказать, частные памятники ума и великодушия Екатерины! В других красноречивых памятниках ее славы искал бы я государя; в сих скромных, но не менее красноречивых для внимания наблюдателей искал бы я человека. Они утвердили бы иных в справедливой народной гордости, а других, может быть, со временем уверили бы, что они напрасно опираются в любви своей к отечеству на вражде к просвещению и образованности, считая их чуждыми и пагубными для нас новизнами» (I, 61—62).

Это идеализированное представление о царствовании Екатерины II Вяземский пронес через всю жизнь. Вместе с тем в похвалах Екатерине II проступает полемический подтекст, противопоставление ее взгляда на просвещение гонителям образованности во времена Александра I.

Во взглядах Вяземского эпоха Екатерины II была органическим продолжением царствования Петра I. 13 июля 1826 г. он отметил в «Записной книжке»: «Генрих IV ревностно покровительствовал успехи земледелия и садоводства. Как наш Петр, он имел на все время. Мы не только покоимся под сению славы, им насажденной в России, но и под тенью дерев, насажденных им. Новая, то есть настоящая, Россия есть точно творение его мысли всеобъясней.

Царствование Екатерины споспешествовало созрению. Другие царствования ничего не насадили, а разве только простригли чашу: иное очистили, но зато и многое погубили и извели самые соки. Теперь во многом нужен новый Петр, то есть новый зиждитель. После Екатерины след был еще горячий, теперь остыл».¹¹

Размышления о русской истории XVIII в. неотделимы для Вяземского от оценки современных событий. Слова о том, что «нужен новый Петр», были явным упреком только что воцарившемуся на троне Николаю I, от правления которого Вяземский не ожидал ничего хорошего. Выражение «После Екатерины след был еще горячий, теперь остыл» было осуждением царствования Александра I, не оправдавшего своей политикой возлагавшихся на него надежд. Это постоянное противопоставление времен Петра I и Екатерины II эпохе Александра I и Николая I отражает неприятие Вяземским политических и нравственных основ современной политики. С исключительной четкостью он выразил эту мысль в записи, сделанной 3 ноября 1830 г.: «Как мы пали духом со времен Екатерины, то есть со времени Павла. Какая-то жизнь мужественная дышит в этих людях царствования Екатерины, как благородны сношения их с императрицею; видно точно, что она почитала их членами государственного тела. И самое царедворство, ласкательство их имело что-то рыцарское: много этому способствовало и то, что царь была женщина. После все приняло какое-то холопское уничтожение. Вся разность в том, что вышние холопы барствуют пред дворнею и дают ее, но пред господином они те же безгласные холопы. Возьмите, например, Панина и Нессельроде, этого холопа карла, не говоря уже в нравственном смысле, ибо он в нем и не карла, а какой-то изверженный зародыш <...> При Павле, несмотря на весь страх, все еще в первые годы велись несколько екатерининские обычаи; но царствование Александра, при всей кротости и многих просвещенных видах, особливо же в первые годы, совершенно изгладило личность. Народ онемел и спал с голоса. Все силы оставшиеся обратились на плутовство, и стали судить о силе такого-то или другого сановника по мере безнаказанных злоупотреблений власти его. Теперь и из преданий вывелось, что министру можно иметь свое мнение. Нет сомнения, что со времен Петра Великого мы успели в образовании, но между тем как иссохли душою».¹²

Таким образом, замысел «Фонвизина» имел двойную оппозиционную направленность: Вяземский привлекал внимание читателя не только к сатирическому жанру русского театра, но и ко всей эпохе Екатерины II, противопоставленной современности в качестве идеальной нормы, достойной подражания. Такой «урок царям» — изображение идеального монарха для навидания совре-

¹¹ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 125.

¹² Там же, стр. 202—203.

менным правителям — был вполне в духе просветительства — в этом отношении Вяземский продолжал давнюю традицию, идущую от Фенелона.

Вяземский не пожалел красок для возвеличения царствования Екатерины II; в первой главе «Фонвизина» он писал: «Сие царствование — громкое, великолепное, восторженное — имело в себе много лирического <...> Первенствующие лица, явившиеся на сцене его, были размера исполинского, героического: они рисуются пред глазами нашими, озаренные лучами какой-то чудесности, баснословности, напоминающие нам действующие лица гомеровские. Это живые выходцы из Илиады. Предоставляя истории оценивать каждого по достоинству, нельзя не сознаться, что Орловы, Потемкины, Румянцовы, Суворовы имели в себе что-то поэтическое и лирическое в особенности» (V, 6).

После такого торжественного зачина Вяземский написал панегирик Екатерине II, особо отмечая ее деятельность в области просвещения: «...ум ее был отверзт ко всем возвышенным впечатлениям и способен на все усилия. В числе предметов, занимавших деятельность его, успехи образованности и просвещения были целью ее особенной заботливости. Она не только уважала ум, но любила, не только не чуждалась его, но снисходила к нему, но, так сказать, баловала и щадила неизбежные его уклонения». Против последней фразы на рукописи «Фонвизина» имеется помета Пушкина «Прекрасно». В несколько измененном выражении это суждение Вяземского было развернуто Пушкиным в статье «Александр Радищев». Упрекая последнего в том, что он упустил возможность представить верховной власти свои социальные проекты, Пушкин писал: «...само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы — чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».¹³ В первоначальной редакции окончание фразы звучало так: «...не пугаясь малодушно их смелости и не оскорбляясь невежественно их откровенностью».¹⁴ Первоначальный текст раскрывает политический смысл идеализации «просвященного абсолютизма» Екатерины II: апофеоз ее был обвинительным приговором правительству Николая I, которое «малодушно» пугалось смелости писателей и «невежественно» оскорблялось их откровенностью.

Приведенный материал доказывает, что концепция царствования Екатерины II в «Фонвизине» и в творчестве Пушкина 1830-х годов была полемически заострена против режима последекабрьской реакции. И в то же время возвеличение эпохи Екатерины II и

¹³ Пушкин, т. XII, стр. 36.

¹⁴ Там же, стр. 355—356.

просвещенного дворянства того времени было направлено против взглядов издателя «Московского телеграфа». Чем резче проявлялся антидворянский характер воззрений Н. А. Полевого, чем отчетливее он выступал против сословных барьеров, тем все более и более ширилась пропасть между дворянской и разночинной оппозициями, тем последовательнее высказывались Вяземский и Пушкин в защиту дворянских просветительских идеалов.¹⁵

Западноевропейская проблематика «Фонвизина» также отражала пульс современной жизни. Однако если своей концепцией века Екатерины II Вяземский полемизировал с правительством Николая I и с Н. А. Полевым, то его спор по материалам зарубежных писем сатирика был спором внутри оппозиционного лагеря передовых дворянских писателей.

Немногочисленные свидетельства современников донесли до нас отголоски споров внутри пушкинского круга в начале 1830-х годов. Записная книжка Вяземского этих лет, а также дневники и письма А. И. Тургенева подтверждают острый характер полемики, связанной в первую очередь с различной оценкой польских событий 1830—1831 гг.¹⁶

Глава «Фонвизина» о зарубежных письмах сатирика содержит скрытую полемику между Вяземским и Пушкиным, и пометы Пушкина по этой главе — продолжение разногласий, начавшихся ранее. Критическому мнению Фонвизина о французах Вяземский противопоставил суждение английского историка Эдуарда Гиббона, что вызвало энергичную реплику Пушкина на полях рукописи: «Сам ты Гиббон». Помета против цитаты из Гиббона — наиболее ясный случай. Расхождения по вопросам современной политики сквозят почти во всех пометах Пушкина, относящихся к этой главе. Критические замечания Фонвизина о нравах Западной Европы, его суждения о том, что во многих отношениях русская жизнь предпочтительнее западноевропейской, вызывают у Вяземского обвинения Фонвизина в пристрастии, в том, что его письма из-за границы «писаны будто с кафедры, во услышание и трепет грешников». Этим письмам Вяземский противопоставляет положительную оценку европейской жизни в «Письмах русского путешественника» Карамзина, писанных, как он заявляет, «без педантства, без догматической важности».

Полемическая запальчивость Вяземского с особой силой обнаруживается в его изложении писем Фонвизина о Вольтере: «Крики упоенной публики в театре: vive Voltaire! кажутся ему

¹⁵ Подробнее об этом см.: Новонайденный автограф Пушкина, стр. 87—97.

¹⁶ Об этом см.: П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 214—215; письмо А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу от 11 августа 1832 г.: ЖМНП, 1913, март, стр. 18; М. Гиллельсон. Пушкин в дневниках А. И. Тургенева. Русская литература, 1964, № 1, стр. 126—127.

неблагоприятными, и вместо того, чтобы в лице его участвовать в торжестве, приносящем честь всем авторским заслугам, он, как будто чуждый сим заслугам, дивится, что народ может гордиться своим писателем и приносить ему дань удивления и любви».

Возражая Вяземскому, Пушкин написал на полях его рукописи: «Описание Вольтерова торжества в Ф. В. превосходно и есть исторический документ. О Вольтере Ф. В. везде отзывывается не только с уважением, но и с явной симпатией». Письма Фонвизина полностью подтверждают точку зрения Пушкина: «Лишь только заметила она (публика, — М. Г.), что Вольтер в ложе, то начала аплодировать и кричать, потеряв всякую благопристойность: „Vive Voltaire!“. Сей крик, от которого никто разуместь не мог, продолжался близ трех четвертей часа».¹⁷ Никакого неудовольствия или осуждения в словах Фонвизина «потеряв всякую благопристойность» не чувствуется — просто он отметил, что восторг публики перешел границы обычного поведения. Однако для Вяземского, тщательно выискивавшего в письмах Фонвизина критические суждения о Западной Европе, этих слов оказалось достаточно для обвинения сатирика в недоброжелательности к Вольтеру.

Итак, перед нами намеренно односторонняя интерпретация писем Фонвизина, «осовременивание» исторического материала, проецирование его на текущие споры о России и Западной Европе, и самый материал — здесь лишь повод, но не первопричина. Однако, не являясь первопричиной, он тем не менее весьма существен и не может быть выключен из анализа; отнюдь не безразлично, на какой именно арене разыгралась острая схватка между Пушкиным и Вяземским. В этом отношении значительный интерес представляет для нас их полемика о Даламбере и Кондорсе. Комментируя письмо Фонвизина, Вяземский пишет: «Почтешь ли следующий отзыв отзывом литератора: „Из всех ученых более всех удивил меня Даламберт: я воображал лицо важное, почтенное, а нашел премерзкую фигуру и преподленькую физиогномию!“». И хотя в этой характеристике явно чувствуется недоброжелательный подтекст (особенно если учесть всю совокупность высказываний Фонвизина о французских энциклопедистах), Пушкин пишет на полях рукописи: «Отзыв очень любопытен и вовсе не оскорбительный. — Даламбер» и Кондорсет имели подленькую наружность. Первый был известен своим буфонством». Пушкин настаивает, что особенности внешнего облика Даламбера, указанные Фонвизиным, верны. Но, конечно, не в этих частностях суть спора. Чтобы представить себе картину сражения, необходимо включить в поле зрения весь комплекс высказываний Фонвизина о французских просветителях XVIII в.

¹⁷ Д. И. Фонвизин, Собр. соч., т. 2, М.—Л., Гослитиздат, 1959, стр. 448.

Еще в конце 1827 или в самом начале 1828 г. Вяземский занес в записную книжку следующую заметку: «Действие французской литературы на умы 18-го века: ум был достоинство, держава; цари искали союза с ним <...> Даламберт: Фон-В<изин> оклеветал его. Искательства его и других энциклопедистов были не подлость, а политические домогательства: им нужен был союз дворов и вельмож, чтобы утвердить свое положение; тем более что во Франции они угрожаемы бывали правительством. Даламберту, верно, были нужны не деньги».¹⁸ Вяземский имеет в виду письмо Фонвизина к П. И. Панину от 18 (29) сентября 1778 г. В пересказе Вяземского это письмо Фонвизина имело следующий вид: «Даламберта, Дидерота, Мармонтеля описывает он шарлатанами, обманывающими народ за деньги, таскающимися по передним вельмож для испрашивания милостыни». Пушкин подчеркнул слова «таскающимися по передним вельмож для испрашивания милостыни» и на полях поставил NB. Можно не сомневаться, что это подчеркивание служило опорным пунктом возражений Пушкина Вяземскому.

Таким образом, обозначается несколько аспектов, вокруг которых концентрируется полемика. Один из них — явственно звучащий в подтексте — сравнительная оценка социальной жизни России и Западной Европы; Пушкин вслед за Фонвизиним возражает против безоговорочного предпочтения последней, к чему склонен Вяземский. Второй — о этических нормах поведения французских энциклопедистов, и в частности об их взаимоотношениях с Екатериной II; эта проблематика непосредственно связана с вопросом о зависимости или свободе писателя на материале XVIII в. Третий аспект непосредственно корреспондируется с уточнением общественной позиции Фонвизина.

Все эти аспекты исторической проблематики тесно переплетены с политическими спорами Пушкина и Вяземского тех лет. Для установления этой «переключки времен» обратимся к дневнику Н. А. Муханова — 4 июля 1832 г. он записал: «Приехал к Пушкину. Видел у него Плетнева и статую Екатерины, весьма замечательную. Мысли его самые здравые: анти-либеральные, анти-полевые, ненавидит дух журналов наших. Обещал быть ко мне на другой день. Он очень созрел». И далее запись 5 июля: «Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его. Он издавать ее намерен с сентября или октября; но вряд ли успеет. Нет еще сотрудника. О Погодине. Он его желает: хочет мне дать к нему поручение. О Вяземском он сказал, что он человек ожесточенный, айги, который не любит Россию, потому что она ему не по вкусу».¹⁹

¹⁸ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 113.

¹⁹ Русский архив, 1897, кн. 1, стр. 657. Уточнено по рукописи: Отдел письменных источников Государственного исторического музея, ф. 117, № 81, лл. 52 об.—53.

Это очень важное свидетельство, вскрывающее современную подоплеку спора Пушкина и Вяземского на страницах «Фонвизина». Прозападническая ориентация Вяземского отразилась, как мы имели возможность убедиться, на его негативной оценке заграничных писем Фонвизина. Именно эта ориентация, с которой Пушкин был несогласен, и привела к тому, что он, подыскивая летом 1832 г. сотрудника для своей газеты, отдавал предпочтение не своему давнишнему другу Вяземскому, а Погодину, известному своим интересом к «коренным началам» русской жизни.

Между тем прозападническая позиция Вяземского была не столь безусловной и категорической, как это казалось Пушкину в разгар спора. В этом отношении небезынтесна полемика на полях рукописи между Вяземским и А. И. Тургеневым о значении побед Петра I. Вяземский писал: «Общество наше, гражданственность наша образовались победами. Не медленными, не постепенными успехами на поприще образованности; постоянными трудными заслугами в деле человечества и просвещения — нет: быстро и вооруженною рукою заняли мы почетное место в числе Европейских держав. На полях сражений купили мы свою грамоту дворянства. При громах Полтавской победы совершилось наше, уже неоспориваемое водворение в семейство Европейское».²⁰ Эти рассуждения вызвали отповедь А. И. Тургенева, «западническая» ориентация которого была более последовательной, нежели у Вяземского. Вот пометы А. И. Тургенева против этого места: «Человечество ничего еще не приобрело от побед наших, а кое-что наша гражданственность выиграла»; «Выиграло ли [просвещение] человечество от того, что не земляки Густава Адольфа — Героя Европы и Просвещения, — а Петр Первый остался победителями при Полтаве? Радуйся и гордись про<свеще>нию, но не за человечество».

Таким образом, в спорах того времени о преимуществах России и Западной Европы можно выделить по крайней мере три точки зрения, причем Вяземский, если сопоставить его позицию со взглядами Пушкина и А. И. Тургенева, занимал промежуточное место, и естественно, что он заслуживал упреки как от «русофильствующего» Пушкина, так и от настроенного в «западническом» духе А. И. Тургенева.

В свете этих споров, которые были связаны с раздумьями о судьбах России, становится понятной полемика Пушкина с Вя-

²⁰ Ср. с мнением Вольтера о Полтавской битве: «Оба соперника рисковали, но в неодинаковой степени. Если бы Карл лишился жизни, которою дорожил, одним героем стало бы меньше, и только. Прекратилось бы опустошение украинских областей и рубежей литовских и русских; в Польше водворилось бы спокойствие, а с ним и законный король, уже примирившийся с царем, своим благодетелем ... Но если бы погиб царь, с ним были бы погребены громадные труды, полезные всему человеческому роду» (Вольтер, Избр. произв., Гослитиздат, 1947, стр. 563).

земским на рукописи «Фонвизина». Пушкин стремится показать достоверность критических суждений Фонвизина о Западной Европе; в подтексте все время звучит противопоставление его Вяземскому. В этом плане спор по поводу энциклопедистов является частным проявлением общих расхождений. Защищая Фонвизина от обвинений в националистическом пристрастии (пометы о Даламбере, Кондорсе и Вольтере), Пушкин в то же время несогласен с апологетическим отношением к ним со стороны Вяземского. Если Вяземский оправдывает заискивание французских философов перед Екатериной II, то Пушкин осуждает их этическую позицию.

Как мы видели, основные вопросы, поднятые в «Фонвизине» (история русской комедии, отечественное просвещение XVIII в., французские энциклопедисты), имели и историко-литературное значение, и публицистическое звучание, проецируясь на современные события. Если добавить, что идеализация «века Екатерины» была одновременно заострена и против правительства Николая I, и против буржуазно-оппозиционных взглядов Н. А. Полевого и его единомышленников, то становится очевидным, что «Фонвизин» дает возможность уточнить место передовой дворянской оппозиции в общественном движении 1830-х годов; пометы же на рукописи монографии проясняют картину идейных споров внутри пушкинского круга в начале этого десятилетия.





ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПУБЛИЦИСТИКА 1831—1833 гг.

Внешняя жизнь Вяземского в 1830-е годы определялась службой в министерстве финансов.

Вспоминая в «Литературной исповеди» об отце, Вяземский писал:

Из детства он меня наукам точным прочил,
Не тайно ль голос в нем родительский пророчил,
Что случай — злой колдун, что случай — пестрый шут
Пегас мой запряжет в финансовый хомут
И что у Канкринна в мудреной колеснице
Не пятой буду я, а разве сотой спицей;
Но не могли меня скронтить под свой аршин
Ни умный мой отец, ни умный граф Канкрин.¹

Вяземский выражал желание служить в Министерстве народного просвещения или в Министерстве юстиции, но Николай I велел причислить его к Министерству финансов; материальные соображения вынуждали тянуть служебную лямку.

8 августа 1830 г. Вяземский был определен членом общего присутствия Департамента внешней торговли, командирован в Москву и назначен членом Комиссии по устройству выставки российских изделий; год спустя, 5 августа 1831 г., получил звание камергера, а в декабре 1833 г. был назначен вице-директором Департамента внешней торговли.²

Поздравляя Вяземского со званием камергера, Пушкин писал ему 14 августа 1831 г.:

Любезный Вяземский, поэт и камергер...
(Василья Львовича узнал ли ты манер?)
Так некогда письмо он начал к камергеру,

¹ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 328. — Канкрин Егор Францевич, граф, министр финансов.

² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 648, лл. 11—17. Формулярный список о службе коллежского советника князя Вяземского.

Украшенну ключом за верность и за веру)
Так солнце и на нас взглянуло из-за туч!
На заднице твоей сияет тот же ключ.
Ура! хвала и честь поэту-камергеру —
Пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру.

В том же письме Пушкин выражал беспокойство, что Асмодей-Вяземский перестал подвизаться на литературном поприще. Действительно, служба отнимала много времени; Вяземский принимал участие в «Коммерческой газете», издававшейся Министерством финансов, писал статьи специального характера: «Взгляд на Московскую выставку» (II, 175—182), «О Московских праздниках» (II, 183—185), «Записка об успехах промышленности» (Старина и новизна, 1904, кн. 8, стр. 12—20), «О торговле России после польского восстания 1831 года» (Русский архив, 1899, кн. 1, стр. 181—183), «Тариф 1822 года» (Библиотека для чтения, 1834, т. III, отд. 3, стр. 133—160).

Пожалуй, только глава из монографии о Фонвизине в «Альционе на 1833 год» да несколько стихотворений в альманахах напоминали публике о Вяземском-литераторе. На первый взгляд казалось, что литературно-общественная деятельность Вяземского пришла к концу. Между тем именно в начале 1830-х годов им были написаны значительные публицистические произведения, которые по праву можно назвать политической прозой.

Июльская революция во Франции, польские события 1830—1831 гг., отделение Бельгийского королевства от Голландии, русская помощь Турции против Египта — все это осложнило внешнеполитическую ситуацию. В исторической перспективе политика Николая I привела в конце концов к жестокому поражению в крымской войне 1854—1855 гг. Но в начале 1830-х годов только наиболее дальновидные современники могли предугадать, что политика, основанная исключительно на силе оружия, не сможет принести окончательную и прочную победу, что общественное мнение, с которым не хотело считаться русское правительство, с каждым годом становится все более могучей силой. Среди ближайших помощников Николая I таких дальновидных людей не оказалось. Так, например, А. Х. Бенкендорф, оказывавший сильное влияние на политику тех лет, спокойно и даже самодовольно писал в 1832 г. о польских делах, полагая, что Россия, «предоставив оппозиции горланить в Париже и Лондоне», должна презирать «их разглаговольствования» и продолжать «развивать и проводить в действие свои планы».³

Диаметрально противоположной точки зрения придерживался Вяземский. 14 сентября 1831 г. после взятия Варшавы, он записал: «Что было причиной всей передраги? Одна — что мы не

³ Н. К. Шильдер. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. Т. II. СПб., 1903, стр. 647—648.

умели заставить поляков полюбить нашу власть. Эта причина теперь еще сильнее, еще ядовитее, на время можно будет придавить ее; но разве правительства могут сосидать на один день: век мой — день мой. Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее, следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить царство Польское. <...> Пускай Польша выбирает себе род жизни. До победы нам нельзя было так поступить, но по победе очень можно. Но такая мысль слишком широка для головы какого-нибудь Нессельроде».⁴

Вмешательство западноевропейской прессы обострило польский вопрос. Резкие выступления Лафайета и некоторых других депутатов во французском парламенте побудили Пушкина написать стихотворение «Клеветникам России».⁵ В декабре 1831 г. Пушкин, Вяземский, Жуковский, А. И. Тургенев, Д. В. Давыдов и Чаадаев⁶ горячо обсуждали польский вопрос. Дневниковые записи А. И. Тургенева и документы из Остафьевского архива позволяют выяснить подробности этих собеседований. Вяземский и А. И. Тургенев осуждали Д. В. Давыдова и Жуковского, которые оправдывали действия русских войск. Возмущаясь жестокостями, имевшими место в Польше, Вяземский стремился смягчить репрессии против поляков. Узнав о взятии польской столицы, он писал 7 октября 1831 г. Е. М. Хитрово: «Что делается с Петербургом после взятия Варшавы? Именем бога (если он есть) и человечно-

⁴ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 212—213. — Высказывая мысль о предоставлении Польше независимости, Вяземский имел в виду королевство Польское, без украинских, белорусских и литовских земель. Об этом см.: С. С. Ланда. Мицкевич накануне восстания декабристов. В кн.: Литература славянских народов, вып. 4. М., Изд. АН СССР, 1959, стр. 159. По теме «Вяземский и Польша» см. также: Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов. Уч. зап. Тартуского унив., вып. 98, 1960, стр. 50—112; С. С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России... — Пушкин и его время, вып. 1. Л., Изд. Гос. Эрмитажа, 1962, стр. 72—82, 184—210, 212—227; G. Wytrzeb. P. A. Viazemskij und Polen. Wiener Slavistisches Jahrbuch, 1957/58, B. VI, SS. 46—72; S. Fiszman. Archiwalia Mickiewiczowskie. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1962, str. 44—64.

⁵ Об этом см.: Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Л., Изд. АН СССР, 1927; V. Lednicki. Pouchkine et la Pologne. Paris, 1928; В. А. Францев. Пушкин и польское восстание 1830—1831 гг. Пушкинский сборник, Прага, 1929, стр. 65—208.

⁶ На основании неопубликованной записки Чаадаева Ф. И. Берелевич следующим образом охарактеризовал его позицию: «... осуждая польское восстание как революционный акт, Чаадаев — за полное равноправие поляков, за предоставление им возможности всестороннего развития в пределах России» (Ф. И. Берелевич. П. Я. Чаадаев и польское восстание 1830 года. Доклады и сообщения ист. фак. МГУ, вып. 8, 1948, стр. 29).

сти (если она есть) умоляю вас: распространяйте чувства прощения, великодушия и сострадания. Мир жертвам!».⁷

К польскому вопросу имеет прямое отношение нерасшифрованная до сих пор запись в дневнике А. И. Тургенева от 9 декабря 1831 г.: «... на аукционе Власова, откуда с Пушкиным к Чаадаеву: о статье Вяземско<го>».⁸ Какая же статья Вяземского была предметом обсуждения Пушкина, Чаадаева и А. И. Тургенева? Ответ на этот вопрос дает запись А. И. Тургенева от 1 ноября 1831 г.: «У Вяземского читал письмо к нему Бенкендорфа» о переводе статьи о взятии Варшавы: классический документ».⁹

Из двух записок Бенкендорфа к Вяземскому следует, что последний передал шефу жандармов французский журнал со статьей о Польше. Журнал был представлен Николаю I; царь распорядился перевести статью на русский язык. Бенкендорф попросил Вяземского быть переводчиком, ибо, как он писал, «статья действительно прекрасна и заслуживает того, чтобы при переводе были сохранены отличительные черты оригинала».¹⁰

В Остафьевском архиве сохранился перевод этой статьи, писанный рукой Вяземского. В начале первой страницы заголовок: «Извлечение из парижского журнала: „la Mode“». Статья восхваляла поведение царских войск, взявших Варшаву; французский журналист утверждал, что якобы их вступление в польскую столицу произошло при идиллических обстоятельствах, что якобы не было разбито «ни одной тарелки, ни одного окна», что русская администрация никого не арестовала и не сослала в Сибирь. Панегирик Николаю I был искусно использован в статье для нападок на Лафайета, требовавшего от французского правительства оказать помощь Польше. Статья заканчивалась словами: «О гг. Лафайет с товарищами! Чего не дали бы вы за младенца, заживо проглоченного казаками, сими северными вампирами. Но вы увидите, что нам скоро придется учиться у башкиров законам народного права и общежития: что ни говори, а это хоть кого так взбесит!».

На первой странице рукописи, слева, надписано старческим почерком Вяземского: «Переведено по просьбе Бенкендорфа и по желанию императора» Николая. Перевод напечатан в каком-то моск<овском> журнале. Двор был тогда в Москве».¹¹ Делая эту приписку по прошествии многих лет, Вяземский ошибся: перевод был напечатан не в московском журнале, а в «Северной пчеле»,¹² в газете, враждебной Пушкину и Вяземскому. Конечно, Булгарин не посмел ослушаться Бенкендорфа. Впрочем, не исключено, что он не знал, кто был переводчиком статьи; она напечатана без указа-

⁷ Русский архив, 1895, кн. 2, стр. 110. Подлинник по-французски.

⁸ ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 130.

⁹ Там же, л. 116 об.

¹⁰ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1441, лл. 7—8. Подлинник по-французски.

¹¹ Там же, № 1026, лл. 1—2.

¹² Северная пчела, 1831, № 253.

ния имени переводчика и могла быть получена в редакции газеты переписанной почерком писца.

Журнал «la Mode» был органом крайних роялистов, сторонников свергнутой в 1830 г. старшей линии династии Бурбонов. В противовес французской правительственной прессе, которая осуждала политику России в отношении Польши, «la Mode» выступил с защитой Николая I, сочетая ее с выпадами против Лафайета, поддерживавшего Луи-Филиппа. Роялисты, писавшие в «la Mode», рассчитывали, что в случае международного конфликта русские войска помогут восстановить власть старшей линии Бурбонов. Таким образом, появление прорусской статьи в «la Mode» объясняется борьбой французских политических группировок.

Иное значение имело появление перевода этой статьи в «Северной пчеле». Вяземский, инициатор перевода, полагал, что публикация этой статьи в России предотвратит в какой-то мере репрессии в отношении участников польского восстания, продиктует более гуманную линию поведения царской администрации в Польше. Он недооценил двуличие Николая I, который, распорядившись напечатать перевод этой статьи, в то же время ссылал в Сибирь польских повстанцев.

Каково же было отношение Пушкина к переводу этой статьи? Хотя в нашем распоряжении нет прямых свидетельств, можно думать, что Пушкин одобрил этот тактический шаг Вяземского. Пушкин терпеть не мог Лафайета, считая его одним из застрельщиков антирусской пропаганды во Франции; выпады против него в статье «la Mode» должны были вызвать сочувствие Пушкина.

Имеется и второй, не менее существенный довод в пользу того мнения, что перевод статьи был одобрен Пушкиным. Стремление Вяземского направить правительство на путь гуманного отношения к полякам совпадало с позицией Пушкина. Вспомним строки из «Бородинской годовщины»:

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Пушкин, вспоминая о Мицкевиче, мечтал «о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», а Вяземский в статье о сонетах Мицкевича писал: «Братья, которых история часто представляет новым примером фивской вражды, должны бы, кажется, предать забвению среднюю эпоху своего бытия, ознаменованную семейными раздорами, и сдаться в чертах

коренных своего происхождения и нынешнего соединения. Журналистам польским и русским предоставлена обязанность изготовить предварительные меры семейного сближения» (I, 327).¹³

Июльская революция во Франции и польские события 1830—1831 гг. оказали решительное влияние на внутреннюю политику Николая I. Особенно отчетливо это проявилось в усилении цензурного гнета. Цензурный устав 1828 г. менее стеснительный, нежели устав 1826 г., возбудил толки о том, что Николай I намерен насаждать просвещение. Но не успел новый устав появиться на свет, как он стал обрастать инструкциями и указами, которые сильно ограничивали его применение. Более того, бывали случаи, когда благополучно прошедшие цензуру издания запрещались Бенкендорфом и Николаем I. Цензурная политика правительства решительно опровергала надежды на просветительский курс, и естественно, что она стала предметом полемики между писателями пушкинского круга и верховной властью. Первые столкновения относятся ко времени «Литературной газеты», когда ряд статей, предназначавшихся для этого издания, был запрещен цензурой, а сам Дельвиг подвергся, как известно, третированию со стороны Бенкендорфа.

После закрытия «Литературной газеты» Пушкин и его друзья лишились своего печатного органа. В середине октября 1831 г. Пушкин писал Вяземскому в Москву: «Похлопочи о Сев<ерных> дв<етах>, пришли нам своих стихов и проз, да у Языкова нет ли чего? я слышу, они с Киреевским затевают журнал; с богом! Да будут ли моды? важный вопрос. По крайней мере можно будет нам где-нибудь показаться — да и Косичкин этому рад. А то

¹³ Три десятилетия спустя, перейдя на консервативные позиции, Вяземский оправдывал действия русских войск по усмирению польского восстания 1863 г. В анонимной брошюре «La Question Polonaise et M. Pelletan» (1864), отвергая обвинения французских публицистов, он писал: «Русское правительство, напротив, заслуживает некоторого порицания за проявленные им вначале терпимость и непредусмотрительность: крутые меры, принятые вовремя, избавили бы от суровых мер, к которым силою обстоятельств вынуждены были прибегнуть позднее» (стр. 24—25). Наряду с оправданием политики Александра II Вяземский задним числом взял под свою защиту мероприятия Николая I в отношении Польши, пытаясь доказать, что восстание 1830—1831 гг. было вызвано непониманием польским народом своего цветущего состояния под скипетром русского императора (там же, стр. 40—42). В конце брошюры значится, что она написана в феврале 1864 г. в Остафьеве. Как видно из письма Вяземского к С. П. Шевыреву от 17 (29) февраля 1864 г., он отправил рукопись этой брошюры в редакцию газеты «le Nord», однако там она пролежала без движения три месяца, после чего Вяземский вынужден был печатать ее отдельно. Подробнее об этом см.: П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. III, СПб., 1885, стр. 496—500; Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки, СПб., 1898, стр. 117—119. — Пьер-Клеман-Эжен Пеллетан (род. 1813) — французский литератор и политический деятель, находившейся в оппозиции к режиму Наполеона III. 28 января 1864 г. в своей речи на заседании Законодательного корпуса касался, во враждебном России тоне, польского вопроса.

куда принужден он был приютиться! в Телескоп! легко сказать!». ¹⁴ 22 октября 1831 г. Вяземский писал в ответ Пушкину: «Мы на днях окрестили в шампанском Европейца». ¹⁵

С января 1832 г. журнал И. В. Киреевского «Европеец» стал выходить. Успело выйти два номера, и журнал был запрещен по личному распоряжению Николая I. Негодуя на правительственной произвол, Пушкин писал И. В. Киреевскому: «Запрещение вашего журнала сделало здесь большое впечатление; все были на вашей стороне, то есть на стороне совершенной безвинности; донос, сколько я мог узнать, ударил не из Булгаринской навозной кучи, но из тучи». ¹⁶ Запрещение «Европейца» не прошло бесследно. За издателя журнала заступились Жуковский и Вяземский. Среди бумаг Остафьевского архива сохранился черновик пространныго письма Вяземского к Бенкендорфу. В этом письме, помимо защиты И. В. Киреевского, Вяземский высказал свою точку зрения на общие вопросы цензурной политики:

«В наше время правительство должно быть, с одной стороны, сильным и непреклонным, с другой стороны, настолько же справедливым и умеренным в проявлениях своей власти. Меры воздействия являются предметом размышлений, и всякая суровость, если она не продиктована настоятельной необходимостью и не имеет священного отпечатка закона, является не только несправедливостью, но и ошибкой. Я подвожу итог сказанному: речь идет как о вопросе совести, так и о рассмотрении вопроса с точки зрения правительства. Что касается первого, то я свидетельствую, что редактор журнала лично неповинен в преступных намерениях, в которых его обвиняют.

«В отношении второго: 1. Решения подобного рода несомнестимы с наличием цензуры и, следовательно, они не могут соответствовать пожеланиям правительства, которое должно не только властвовать, но и путем законности своих решений заставить замолчать всех тех, кто наиболее заинтересован в том, чтобы жаловаться на суровость мер, принятых правительством.

«2. Принимая во внимание малое количество наших писателей и недостаток движения нашей литературы, в то время как число читателей увеличивается и потребность в чтении растет все более и более, всякое покушение на право опубликования своих мыслей, соответственно с существующим законом, является весьма чувствительным покушением, которое имеет далеко идущие последствия, и результат его совершенно противоположен результату, к которому стремится правительство, т. е. успокоению умов и предупреждению

¹⁴ Пушкин, т. XIV, стр. 233.

¹⁵ В. Б. Сандомирская. Неопубликованное письмо П. А. Вяземского к Пушкину. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л, Изд. АН СССР, 1960, стр. 430.

¹⁶ Пушкин, т. XV, стр. 26.

злоупотреблений. Всякое запрещение газеты, журнала, который читался бы лишь определенным кругом читателей, становится делом, занимающим всех, и предметом общих разговоров.

«3. Наши литераторы, как и публика вообще, полагают, что наша цензура очень строга, что цензоры чрезвычайно трусливы и мелочны и, следовательно, всякая мера, принятая правительством и усугубляющая строгость цензуры, носит характер пристрастия.

«И 4. В этом случае в частности все те читатели данного журнала, с которыми мне случилось беседовать, отнюдь не разделяют того впечатления, которое этот журнал произвел на правительство, считают этот журнал совершенно безвредным и приписывают досадное истолкование статей, в нем содержащихся, какому-либо злонамеренному обвинению автора его врагами, которых он приобрел, опубликовав несколько лет тому назад весьма резкие критические статьи против некоторых наших журналистов».¹⁷

Письмо не датировано, но несомненно относится к первой половине февраля 1832 г., когда был запрещен «Европеец».

Неожиданный удар, обрушившийся на журнал И. В. Киреевского, сильно взволновал писателей пушкинского круга — они справедливо усмотрели в действиях правительства покушение на свое и без того стесненное цензурой положение. 14 февраля Пушкин писал И. И. Дмитриеву: «Вероятно, вы изволите уже знать, что журнал „Европеец“ запрещен вследствие доноса. Киреевский, добрый и скромный Киреевский, представлен правительству сорванцом и якобинцем! Все здесь надеются, что он оправдается и что клеветники — или по крайней мере клевета устыдится и будет изобличена».¹⁸

Конечно, Пушкин знал, что его письма подвергаются перлюстрации, и все-таки не удержался, чтобы не писать черным по белому о своем негодовании. Впрочем, правительство и так понимало, что мысли, изложенные Вяземским в его энергичном письме к шефу жандармов, отражали общее настроение литераторов пушкинского круга. Достаточно было внимательно прочесть выводы третий и четвертый, сделанные Вяземским от имени писателей и читателей журнала «Европеец».

В дни, когда разразилась буря над «Европейцем», у Пушкина происходила очередная стычка с Бенкендорфом: III Отделение запросило, на каком основании он дал напечатать в альманахе «Северные цветы на 1832 год» стихотворение «Анчар», минуя цензуру Николая I. Шеф жандармов усмотрел в стихотворении Пушкина дерзкое иносказание. В черновике неотправленного письма к Бенкендорфу Пушкин с раздражением писал: «... обвинения в применениях и подражаниях не имеют ни границ, ни оправданий, если

¹⁷ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1219. Подлинник по-французски. Полный перевод этого письма см.: Русская литература, 1966, № 4, стр. 121—123.

¹⁸ Пушкин, т. XV, стр. 12.

под слов<ом> *дерево* будут разуместь конституцию, а под словом *стрела* самодержавие». ¹⁹

Обвинения, выдвинутые против Пушкина и Киреевского, аналогичны: правительство силилось найти тайный смысл как в статьях И. В. Киреевского, так и в стихотворении Пушкина. На самом деле ни Пушкин, ни Киреевский не призывали ниспровергать существующий строй, в чем их пытались обвинить; но их неустанная забота о просвещении России и неразрывно связанная с этим доктрина просвещенной монархии были, враждебны деспотизму Николая I.

Объяснение Пушкина по поводу «Анчара» доказывает, что его имя стояло рядом с именем И. В. Киреевского во время закрытия «Европейца». Тем большее значение приобретает в наших глазах письмо Вяземского к Бенкендорфу: в своих общих выводах о стесненном положении русской литературы Вяземский выступал в защиту всего круга передовых писателей, и в том числе Пушкина.

Указывая на недостаточное движение литературы, Вяземский осуждал как действия обычной цензуры, так и правительственные мероприятия в этой области: «Наши литераторы, как и публика вообще, полагают, что наша цензура очень строга, что цензоры чрезвычайно трусливы и мелочны, и, следовательно, всякая мера, принятая правительством и усугубляющая строгость цензуры, носит характер пристрастия». Эти строки вызывают в памяти «Послание цензору» Пушкина:

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?²
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.

О варвар! кто из нас, владельцев русской лиры,
Не проклинал твоей губительной секиры?²⁰

Помимо острейшего вопроса о цензуре, в письме Вяземского к шефу жандармов утверждалось, что, запрещая статьи, одобренные цензурой, верховная власть нарушает закон, иными словами, поступает незаконно: «Если можно быть наказанным за действие, одобренное законом, то это ослабит безграничное доверие, которое следует питать к законности». Этот постулат Вяземского был осно-

¹⁹ Там же, стр. 14.

²⁰ Это стихотворение Пушкина было, в свою очередь, написано под влиянием Вяземского: «Сопоставление „Послания цензору“ Пушкина и „Послания М. Т. Каченовскому“ Вяземского позволяет сделать два вывода: 1) на осуществленный в 1822 г. замысел „Послание цензору“ Пушкина могло натолкнуть „Послание М. Т. Каченовскому“ Вяземского; и 2) оба эти произведения направлены против официальной литературной политики» (Б. Мейлах. Пушкин и русский романтизм. М.—Л., Изд. АН СССР, 1937, стр. 72).

ван на идеале «законной» просвещенной монархии, который противоречил как догме, так и практике самодержавия Николая I.

Пушкин придавал большое общественное значение выступлениям в защиту «Европейца» — 11 июля 1832 г. он писал И. В. Киреевскому: «Жуковский заступился за вас с своим горячим прямодушием; Вяземский писал к Бенкендорфу смелое, умное и убедительное письмо. Вы одни не действовали, и вы в этом случае кругом не правы. Как гражданин, лишены вы правительством одного из прав всех его подданных; вы должны были оправдываться из уважения к себе и, смею сказать, из уважения к государю; ибо нападения его не суть нападения Полевого или Надеждина. Не знаю: поздно ли; но на вашем месте я бы и теперь не отступился от сего оправдания».²¹

Письмо Пушкина свидетельствует о том, что он с живейшим участием следил за мужественными выступлениями Вяземского и Жуковского в связи с запрещением «Европейца», что он целиком был на их стороне и считал, что они выполняют свой гражданский долг, решительно протестуя против произвола и беззакония верховной власти.

Письмо Бенкендорфу о запрещении «Европейца» было значительным, но не единственным политическим документом, написанным Вяземским в эти годы.

19 февраля 1833 г. Лафайет произнес во французском парламенте речь, в которой резко осуждал политику русского правительства в Польше. Это выступление вызвало очередной взрыв антирусских настроений в Западной Европе. Русское правительство хранило молчание. 17 марта газета «Journal de Francfort» напечатала редакционную статью, в которой осуждалось молчание русской прессы перед лицом обвинений, заполнявших западно-европейские журналы и газеты. «Политика молчания может быть понята только в салонах», — писала газета, — «народы ее не понимают, и в результате подобного молчания во многих слоях общества в Западной Европе появляются многочисленные противники России, причем эти противники рекрутируются не только из рядов революционеров, но и из простого народа».

Мысли о печати, высказанные в этой статье, совпали с размышлениями Вяземского. В конце марта или в первых числах апреля 1833 г. он написал обширную записку «О безмолвии русской печати» и передал ее для ознакомления П. И. Полетике; последний вернул ему рукопись со следующим письмом: «Прочитав в сию минуту весьма занимательную вашу записку, я возвращаю вам оную при сем, любезнейший князь, с объявлением, что я совершенно разделяю мысли ваши насчет необходимости усилить действие книгопечатания у нас. — Я советую вам дать ход записке вашей, но отобрав предварительно мнения от Дашкова и

²¹ Пушкин, т. XV, стр. 26.

Блудова, как судей просвещенных, к вам искренно доброжелательствующих. Весь ваш от души и сердца П. Полетика. 12 апреля 1833 г. С. П. бург».²²

Хотя отсутствуют прямые доказательства, что Вяземский дал ход своей записке, однако соображения косвенного порядка дают основание предполагать, что она стала известна в правительственных кругах.

В этой записке, написанной по-французски, Вяземский утверждал, что в современную эпоху правительства не могут обойтись без помощи прессы, ссылаясь на исторический опыт Екатерины II и Наполеона как на яркий пример дальновидного отношения к печати, призывал правительство выпускать «на русском языке журнал под своим руководством, с двойной целью: этот журнал должен был бы стать посредником между Европой и Россией, между правительством и народом <...> Все талантливые люди присоединились бы к подобному предприятию: оно собрало бы и поглотило бы в своей деятельности все индивидуальные деятельности, которые теперь проявляют себя изолированно, разобщенно, не сознавая своего призвания; видя, что правительство обходится без них, они иногда противостоят ему и критикуют его. Подобный журнал сразу же парализовал бы все фрондирующие и противоречащие элементы среди молодых литераторов, так как открытое правительством поприще для талантов удовлетворило бы честолюбию всех и дало бы возможность развивать способности на законном основании. <...> Правительство должно не только внушать к себе уважение вовне, путем политики своего кабинета, но также и с помощью общественного мнения».²³

Аналогичные мысли изложены Вяземским и в другой рукописи, написанной по-русски.²⁴

Конечно, мысль о том, что правительство пойдет на поводу у наиболее просвещенных писателей, некогда близких к деятелям декабристского движения, была утопичной и несбыточной. Но тем не менее именно эта мысль определяла отношение Пушкина и его друзей к правительству в начале 1830-х годов. В июле 1831 г. Пушкин писал Бенкендорфу: «С радостью взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению».²⁵ Таков же был и план Жуковского, предлагавшего издание печатного

²² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5083, л. 164.

²³ Полный перевод этой записки см.: Русская литература, 1966, № 4, стр. 125—127.

²⁴ ИРЛИ, ф. 309, № 5017.

²⁵ Пушкин, т. XIV, стр. 283—284

органа под своей эгидой в начале 1832 г.²⁶ Таким образом, предложения Пушкина, Жуковского и Вяземского об издании журнала, равно как и неосуществленный проект пушкинской газеты «Дневник», являлись звеньями единой цепи: передовые дворянские писатели пытались побудить правительство издавать журнал, желая стать официальными глашатаями просветительских идей.

Замысел правительственного журнала был неразрывно связан с внешнеполитическими задачами. Польский вопрос был в центре внимания оппозиционной западноевропейской прессы. В той же черновой записке к Бенкендорфу, которую мы только что цитировали, Пушкин писал: «Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго растрavляемая завистью, соединила всех нас против польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной, бешеной клеветой. Конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны <...> Пускай дозволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет».²⁷ Сопоставление записки Пушкина 1831 г. и меморандума Вяземского 1833 г. «О безмолвии русской печати» указывает на то, что, несмотря на имевшиеся между ними расхождения по польскому вопросу в 1830—1831 гг., они в конце концов сошлись на единой точке зрения — на необходимости разъяснить в печати внешнеполитические акции.

Однако правительство не приняло предложений Пушкина, Жуковского и Вяземского — оно предпочло остаться с «Северной пчелой».²⁸

В меморандуме «О безмолвии русской печати» примечательны высказывания Вяземского об отношении к прессе Екатерины II и Наполеона: «Даже в те времена, когда всемогущество прессы не было в действительности провозглашено так, как ныне, власть охотно пользовалась этим оружием. Наполеон умел властвовать, и он, который для утверждения власти более сильного поставил под штыки всю Европу, не считал, однако, унижительным для защиты своего дела сражаться на арене журналистики. Екатерина II также с огромным успехом пользовалась печатью.<...> Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все выдающиеся политические и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Даламбер и многие другие писали как бы под

²⁶ Об этом см. мою статью «Письма Жуковского о запрещении „Европейца“» (Русская литература, 1965, № 4, стр. 114—124).

²⁷ Пушкин, т. XIV, стр. 283.

²⁸ В одном отношении правительство, по-видимому, воспользовалось советами Вяземского, и именно это косвенно свидетельствует о том, что его меморандум был доведен до сведения высоких должностных лиц — правительство прервало молчание и стало отвечать на нападки иностранной оппозиционной прессы (см.: Journal de Francfort, 1833, 27 Mai, 26—27 Août).

ее диктовку и были глашатаями ее политических воззрений, ее побед и завоеваний».

По-видимому, подобная точка зрения была распространена в кругу передовых дворянских писателей. Достаточно вспомнить, 1830 г., Пушкин, противопоставляя невежеству господствующего класса в России умственную деятельность западноевропейских государственных лиц, в первую очередь упоминает Наполеона-газетчика.²⁹

Общая аргументация Вяземского, лежащая в основе его высказываний об Екатерине II, имела тем большую убедительность, что ее отношение к западноевропейской прессе действительно во многом способствовало закреплению военных и дипломатических успехов России. Дальновидность ее внешнеполитических акций была особенно разительна на фоне политики Николая I, ориентировавшейся в первую очередь на военную мощь. Нетрудно заметить, что хвалебная оценка этой стороны деятельности Екатерины II полемически соотносилась Вяземским с современностью, с неповоротливой политикой Николая I в области печати.

Публицистика Вяземского 1831—1833 гг. дает богатый материал для уточнения его общественной позиции этих лет, помогает яснее представить формы оппозиции передовых дворянских писателей режиму Николая I.

Мысли, изложенные Вяземским в его письмах к правительству, продолжали волновать его и в последующие годы, и в частности во время его первого заграничного путешествия.

11 августа 1834 г. Вяземские выехали в Германию, а оттуда — в Италию. У дочери Пашеньки открылась чахотка, и поездка была предпринята по настоянию врачей. Медицина оказалась бессильной: 11 (23) марта 1835 г. в Риме Вяземский потерял дочь; в мае он вернулся в Петербург.

Итальянское путешествие Вяземского, его встречи, знакомства и впечатления получили подробное освещение в монографии Н. Каухчшвили.³⁰ В приложениях к своему труду исследовательница напечатала письма Вяземского, написанные во время его странствия по Европе.

14 (26) октября 1834 г. он писал из Ганау: «В журнале моем, который передам печати, будет при сей верной оказии много философических суждений о книгопечатании, две-три эпиграмматические выходки на Полевого и Булгарина и проч(ие) и проч(ие) и все то, что при таком случае сказать можно и даже должно, когда дело идет о том, чтобы раскормить книгу, которую выводишь на рынок для продажи».³¹

²⁹ Пушкин, т. XII, стр. 195.

³⁰ N. Kauchtschischwili. L'Italia nella vita et nell'opera di P. A. Vjâzëmskij, Milano, 1964.

³¹ Ibid., p. 271.

В том же письме, делясь своими впечатлениями о памятнике Гутенбергу в Майнце, Вяземский восклицал: «Жаль, что памятник человека, который более всех способствовал *гласности*, не стоит в городе на *гласном месте*, на площади, а напротив, как будто таится за оградой на тесном дворе, хотя и принадлежащем публичному сапо, и, впрочем, воздвигнутый на том самом месте, где стоял дом его».³²

По всей вероятности, «философические суждения о книгопечатании» развивали бы мысли Вяземского о печати, о возрастающей роли прессы в жизни современного общества, словом, он собирался вернуться к обсуждению этой злободневной проблемы, о которой он с такой настойчивостью писал в письме к Бенкендорфу о запрещении «Европейца» и в своем меморандуме «О безмолвии русской печати».

Одним словом, Вяземский хотел написать книгу путевых очерков. 14 (26) января 1835 г. он сообщал из Рима: «Дожить до моих лет сиднем, там вдруг переехать Европу из одного края на другой и все-таки ничего не видеть, ни до чего, так сказать, не дотронуться, это уже чересчур оскорбительно, и судьба во зло употребила власть, которая дана ей, смеяться над людьми. Если мне написать путешествие свое, то оно в самом деле может быть очень замечательно и оригинально исчислением всего того, что я не видал. Назову книгу мою: *промахи моего путешествия*, а эпитафией выберу: *по усам текло, а в рот не попало*».³³

Жаль, что Вяземский не осуществил своего намерения. Письма из Италии показывают, что его своеобразный слог в сочетании с острой наблюдательностью позволил бы ему живо и занимательно поведать о своих впечатлениях. Очарованный римским карнавалом, он сумел так выразительно передать заражающее веселье южной толпы, что на память невольно приходят страницы «Былого и дум», на которых Герцен с такой эмоциональной насыщенностью также изобразил итальянский карнавал.

Хотя заграничные письма Вяземского 1834—1835 гг. посылались его сыну Павлу, по существу они адресованы петербургским друзьям, как это обычно было в пушкинском кругу. Вряд ли можно сомневаться в том, что Жуковский и Пушкин читали эти увлекательные письма. Тем ценнее публикация их итальянской исследовательницей.

Разыскания Н. Каухчишвили воссоздают широкий круг лиц, с которыми Вяземский общался в Италии. Помимо многочисленной русской колонии (Брюллов, Бруни, Кипренский, Зинаида Волконская, А. И. Тургенев, Л. К. Вильегорская и другие), среди итальянских встреч Вяземского необходимо назвать Стендаля, почитателем которого Вяземский был еще с 1820-х годов, худож-

³² Ibid.

³³ Ibid, p. 288.

ника О. Верне, археолога и дипломата Бунсена, писателей Сильвио Пеллико и Мадзони (его встрече с Вяземским посвящена специальная статья Н. Каухчишвили, напечатанная в 1962 г. в журнале «Аевит»), полиглота кардинала Дж. Мезофанти, поэта Джузеппе Белли, либреттиста Джузеппе Ферретти, художника и скульптора Пинелли, переводчика стихов Пушкина и Державина графа М. Риччи, путешественника маркиза Джузеппе Пуччи, с которым Вяземский был знаком с 1822 г. (они виделись на нижегородской ярмарке), политического деятеля графа Луиджи Серристери.

Итальянские встречи Вяземского способствовали установлению личных контактов со многими деятелями культуры. Наряду с многочисленными знакомствами А. И. Тургенева они вовлекали пушкинский круг писателей в интеллектуальное общение с передовой общественностью Западной Европы.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ВЯЗЕМСКИЙ И ПУШКИНСКИЙ «СОВРЕМЕННИК»

Отсутствие собственного печатного органа болезненно воспринималось писателями пушкинского круга. Журналы «торгового триумвирата» по-прежнему вызывали резкое неодобрение Вяземского. С некоторой симпатией он встретил появление «Московского наблюдателя». 1 августа 1835 г. он писал А. И. Тургеневу: «„Московский наблюдатель“ слаб и тощ; только и есть дельного, что письма какой-то Эоловой Арфы, да критики Шевырева, который очень подобрел и сложился умственно. Другие, вероятно, все наблюдают да ничего не пишут, потому-то Зубков и прозвал журнал „Московский надуватель“. Письма Эоловой Арфы хороши, но кое-что в них и лишнее; да и к чему, когда письмо подписано Эолова Арфа, печатать в заглавии „Письмо А. И. Тургенева“. Тут нет смысла. Вообще, в журнале этом мало сноровки и такта. Жаль! Вероятно, он не удержится».¹ Последующие книжки «Московского наблюдателя» все больше разочаровывали Вяземского: «Жаль, а „Наблюдатель“ не жилец, то есть жаль потому, что была надежда иметь нам хотя один честный журнал, хотя и приходилось сказать: „К черту и честь, как нечего есть“. А в иной книжке, право, бывало не во что зуб вонзить», — писал он 25 октября 1835 г. А. И. Тургеневу.²

Петербургские передовые литераторы ощущали настоятельную потребность иметь свой журнал. На протяжении 1830-х годов Вяземский с вниманием и сочувствием следил за попытками Пушкина стать во главе печатного органа. Еще 3 июня 1832 г. Вяземский писал И. И. Дмитриеву: «В литературном мире, за исключением общепризнанного позволения, данного Пушкину, — издавать газету и с политическими известиями, нет ничего нового. Но и это важ-

¹ Остафьевский архив, т. III, стр. 273.

² Там же, стр. 275.

ное событие, ибо подрывает журнальный откуп, снятый Гречем с Булгариним». ³ Вяземский понимал, какое благотворное влияние мог оказать Пушкин на развитие русской журналистики. Л. Павлищев, сын сестры Пушкина, писал по этому поводу: «...покойный князь Петр Андреевич Вяземский во время своих частых посещений моей матери летом 1856 года, когда она, живя на даче Лесного института, была близкой его соседкой, высказал ей в одной из бесед, которой я был очевидным свидетелем, мысль, что перо Александра Сергеевича, если бы он управлял ежедневным печатным органом, не замедлило бы облагородить русскую повременную литературу, придав ей настоящий, а не фальшивый русский характер, так как главная газета „Северная пчела“, следовательно, и другие журналы были монополией корчивших из себя русских поляка Булгарина, немца Греча, и исполняли концерты по камертону немца же Бенкендорфа, да и не совсем русского Дубельта, где же тут могло настоящей Русью пахнуть?» ⁴

Как известно, издавать газету Пушкину не удалось. ⁵ Тем не менее Пушкин не оставлял мысли создать свой печатный орган. 29 декабря 1835 г. Вяземский сообщал А. И. Тургеневу: «Я читал твое письмо в субботу у Жуковского, который сзывает по субботам литературскую братью на свой олимпийский чердак. Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc., etc. Все в один голос закричали: „Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!“» ⁶ Таким журналом для писателей пушкинского круга стал с 1836 г. «Современник».

Вяземский деятельно участвовал в издании «Современника»: печатал на его страницах свои стихотворения, критические статьи, привлекал к сотрудничеству других писателей, заботился о том, чтобы журнал сообщал читателям новости европейской жизни. 8 апреля 1836 г. он писал А. И. Тургеневу в Париж: «Пушкин просит тебя, Христа и публики ради, быть отцом-кормилицею его „Современника“ и давать ему сосать твои полные и млекоточивые груди, которые будут для него слаще птичьего молока. <...> Жаль, что не успею отправить к тебе первую книжку „Современника“: она выйдет в субботу, а курьер едет завтра, в четверг. Твои <— —> тут сидят несколько сжаты ценсурным корсетом, но все еще задора довольно. Разумеется, пуще всего нужно литературности и невинной уличной и салонной жизни. Политика, то есть газетная политика, не годится, или умеренно, потому что дозволен

³ П. А. Вяземский. Письма к И. И. Дмитриеву. М., 1868, стр. 35.

⁴ Л. Павлищев. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890, стр. 285.

⁵ Об этом см.: Н. К. Пиксанов. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник» (1831—1832). В кн.: Пушкин и его современники, вып. V. СПб., 1907, стр. 82—109.

⁶ Остафьевский архив, т. III, стр. 281.

только журнал литературный; но историческую политику милости просим».⁷

Хотя А. И. Тургенев остался недоволен тем, как Вяземский «препарировал» его письма для первого тома «Современника»,⁸ он вскоре дал согласие на печатание в журнале своих писем-корреспонденций. Помимо первого тома, «Хроника русского» А. И. Тургенева была помещена в четвертом, пятом и седьмом томах «Современника».⁹

Печата корреспонденции А. И. Тургенева, Пушкин и Вяземский противопоставляли бедной духовными запросами жизни казенного Петербурга кипучую жизнь французской столицы, богатую общественными, литературными и театральными событиями. Даже урезанные царской цензурой письма А. И. Тургенева представляли несомненную ценность для передового русского читателя: они были «окном в Европу», способствовали расширению умственных интересов читающей публики.

Стихотворения Тютчева также попали в «Современник» через Вяземского. И. С. Гагарин писал 12 (24) июня 1836 г. в Мюнхен Тютчеву: «...намедни я передаю Вяземскому некоторые стихотворения, старательно разобранные и переписанные мною. Через несколько дней захожу к нему невзначай около полуночи и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнуты.<...> Через день ознакомился с ними и Пушкин. Я его видел после того, и, говоря об них со мною, он дал им справедливую и глубоко прочувствованную оценку».¹⁰ И в дальнейшем Вяземский покровительствовал Тютчеву и заботился о помещении его стихотворений в «Современнике». В 1837 г. Вяземский писал А. А. Краевскому: «Вот несколько стихотворений Тютчева для второй книжки. Пе-

⁷ Остафьевский архив, т. III, стр. 312—313.

⁸ 20 мая (1 июня) 1836 г. А. И. Тургенев писал Вяземскому и Жуковскому: «Сию минуту прочел я „Современник“: я еще весь в жару и в бешенстве. Никогда я не ожидал от вас такой легкости, едва ли не преступной, и неосмотрительности — разве я позволяю вам печатать все ничтожности и личности» (АН, т. 58, М., стр. 128). Однако напечатанное во втором томе «Современника» редакционное объяснение полностью его удовлетворило. Кто написал это объяснение — неизвестно. Ю. Г. Оксман полагает, что его автором надо считать Пушкина (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 6, М., Гослитиздат, 1962, стр. 505). В академическое издание Пушкина оно не входит. Учитывая то обстоятельство, что публикация «Хроники русского» была подготовлена для «Современника» Вяземским, естественно предположить, что объяснение по этому поводу написано им же. Это не исключает возможности правки редакционного объяснения Пушкиным.

⁹ Корреспонденции А. И. Тургенева, печатавшиеся в пушкинском «Современнике» (равно как и в других журналах), недавно были собраны в кн.: А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.—Л., Изд. АН СССР, 1964.

¹⁰ Цит. по кн.: К. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., Изд. АН СССР, 1962, стр. 82—83. Подлинник по-французски.

решите, не напечатано ли которое из них в прошлом году, и поместите их в том же виде и с той же подписью, как и прежние. Возвратите мне списки».¹¹

Пушкин придавал большое значение участию в журнале П. Б. Козловского: в первом томе «Современника» он поместил его статью о «Парижском Математическом ежегоднике». По воспоминаниям Вяземского происхождение этой статьи таково: «В то время получил я из Парижа „Annuaire du bureau des longitudes“,¹² издаваемый под особенным надзором ученого Араго. Я предложил князю Козловскому написать на эту книгу рецензию для „Современника“. Охотно и горячо ухватившись за мое предложение, продиктовал он несколько страниц, которые, без сомнения, памяты читателям „Современника“. Это была первая попытка его на русском языке, и попытка самая блистательная <...> Новый писатель с первого раза умел найти и присвоить себе слог, что часто не дается и писателям, долго упражняющимся в письменном деле. Ясность, краткость, живость были отличительными чертами сего слога. Нет сомнения, что Пушкину со временем удалось бы завербовать князя Козловского в постоянные писатели и сотрудники себе» (II, 292).

В некрологе «Князь Петр Борисович Козловский» (1840) Вяземский запечатлел для потомства привлекательный облик этого одаренного человека, сотрудника пушкинского «Современника»: «Дар слова был в нем такое же орудие, такое же могущество, как дар поэзии в поэте, дар творчества в художнике.<...> Вопросы истории, политики современной, науки и литературы, общежития, нравственности равно отзывались в нем, равно потрясали тонкие и раздражительные фибры его интеллектуальности и разрешались внезапными, светлыми и живыми импровизациями. Все соединилось, чтобы дать слову его жизнь, силу и краску.<...> вопреки отзыву Талейрана, что слово есть маска мысли, в нем слово было живой, горячий отпечаток мысли его, какая ни была бы сия мысль» (II, 286—287).

Далее Вяземский писал о том, что П. Б. Козловский был строгий классик, придававший остракизму всех современных поэтов, за исключением Пушкина и Байрона; что он был знаток римских авторов, почитатель Ювенала. Это было давнее увлечение П. Б. Козловского; еще 27 декабря 1821 г. он писал из Вены Н. И. Тургеневу: «Ты видишь, что перо мое омочено в чернильнице Ювенала, которого я всякий день читаю и всегда больше люблю,

¹¹ Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки. СПб., 1898, стр. 67.

¹² «Парижский математический ежегодник» был выслан Вяземскому А. И. Тургеневым 29 января (10 февраля) 1836 г. (см.: А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники, стр. 69). Следовательно, статья П. Б. Козловского была написана в феврале 1836 г., перед самой сдачей первого тома «Современника» в типографию.

особливо когда попадутся по утра какие-то рабства». ¹³ Как мы видим, античная литература была для П. Б. Козловского не предметом педантичного, схоластического изучения, а живым явлением, материалом для раздумий на современные темы.

По словам Вяземского, «в литературных беседах своих с Пушкиным настоятельно требовал он (П. Б. Козловский, — М. Г.) от него перевода любимой своей сатиры Ювенала: Желания. И Пушкин перед концем своим готовился к этому труду» (II, 293). Речь шла о десятой сатире Ювенала, посвященной тщете безмерных желаний богатства, власти и славы. Пушкин перевел несколько строк этой сатиры и, по-видимому, решил отступить; в незаконченном послании к П. Б. Козловскому он писал:

Ценитель умственных творений исполненных,
Друг бардов английских, любовник муз латинских,
Ты к мощной древности опять меня манишь

Я приготовился бороться с Ювеналом,
Чьи строгие стихи, неопытный поэт,
Стихами перевести я было дал обет.
Но, развернув его суровые творенья,
Не мог я одолеть пугливого смущенья...

Вяземский замышлял большой труд о П. Б. Козловском; в Остафьевском архиве хранятся материалы, собранные им с этой целью; почти все эти эпистолярные и иные материалы до сего времени остаются неопубликованными. Своеобразная фигура Козловского безусловно заслуживает монографического исследования. ^{13а}

В начале 1836 г. в Петербург приехал Кольцов; он познакомился с сотрудниками «Современника». Посылая А. И. Тургеневу в Париж только что появившийся на книжных прилавках сборник стихотворений Кольцова, Вяземский писал 23 января 1836 г.: «Шевырева не посылаю, а вместо „Истории поэзии“ вот настоящая поэзия: Кольцов — воронежский мещанин, торгующий скотом, до десяти лет учившийся грамоте в училище и с того времени пасущий и гонящий стада свои в степях. Он здесь по делам отца своего. Дитя природы, скромный, чистосердечный!». ¹⁴

¹³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5083, л. 304.

^{13а} В содержательной статье «Князь П. Б. Козловский и декабристы» В. В. Пугачев утверждает, что Вяземский в некрологе «постарался значительно смягчить либерализм Козловского» (Уч. зап. Горьковского унив., 1963, вып. 58, стр. 479). Между тем Вяземский не классифицировал воззрения П. Б. Козловского; ему было важно воссоздать умственный облик этого сотрудника «Современника», запечатать индивидуальные черты его личности. О П. Б. Козловском см. также: В. В. Ерофеев. «Современник» Пушкина в журнально-литературном движении 30-х годов XIX в. (Канд. дисс. 1952, стр. 87—191); Глеб Струве. Русский европеец. Материалы для биографии и характеристики П. Б. Козловского. Сан-Франциско, 1950.

¹⁴ Остафьевский архив, т. III, стр. 289.

Вяземский принял горячее участие в запутанных делах Кольцова и всячески помогал ему в его судебных хлопотах. В некрологе Кольцова Белинский отметил, что писатели пушкинского круга «изъявили ему свое участие даже оказанием помощи в делах его, — и в этом случае Кольцов особенно хранил признательную память к князю Вяземскому».¹⁵

Участие Вяземского в «Современнике» ознаменовано также несколькими критическими статьями, в первую очередь большой статьей о «Ревизоре». 19 января 1836 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Вчера Гоголь читал нам новую комедию „Ревизор“ <...> Читает мастерски и возбуждает un feu roulant d'éclats de rire dans l'auditoire. Не знаю, не потеряет ли пиеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает. Он удивительно живо и верно, хотя и карикатурно, описывает наши mœurs administratives. Вигель его терпеть не может за то, что он где-то отозвался о подлой роже директора департамента. У нас он тем замечательнее, что, за исключением Фонвизина, никто из наших авторов не имел истинной веселости».¹⁶

Постановка «Ревизора» вызвала бурю негодований: Ф. Ф. Вигель, Булгарин и многие другие осыпали Гоголя градом литературных и политических обвинений. В статье о «Ревизоре» Вяземский, отвергая их наветы, писал о том, что сатирический талант Гоголя является прямым наследником сатиры Фонвизина, Капниста и Грибоедова: «Большая часть русских комедий — также дело для нее (для публики, — М. Г.) постороннее: это снимки с картин чужой или вымышленной природы. В подобных снимках может идти дело о искусстве художника в исполнении, но нет речи о жизни, о верности, о природном сочувствии. Тем более комедия, выходящая из круга сих заимствований, вымыслов, или подделок, должна произвестись общее, сильное и разнородное впечатление. Мало было у нас подобных комедий: „Бригадир“, „Недоросль“, „Ябеда“, „Горе от ума“ — вот, кажется, верхушки сего тесного отделения литературы нашей. „Ревизор“ занял место вслед за ними».¹⁷

Обвинения против «Ревизора» Вяземский делил на три разряда — на обвинение литературного порядка, нравственного характера и политического вольнодумства — и последовательно все их опровергал. Оспаривая мнение тех, которые полагали, что язык

¹⁵ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 573. Об этом см. также: А. В. Кольцов, Сочинения, т. II, М., изд. «Советская Россия», 1958, стр. 16—17, 110—112, 175—177, 209—210; М. И. Гиллельсон. Кольцов в письмах П. А. Вяземского и А. А. Писарева. Уч. зап. Горьковского унив., вып. 57, 1962, стр. 302—303.

¹⁶ Остафьевский архив, т. III, стр. 285. — Об отношениях Вяземского и Гоголя см.: G. Wytrzens. Vjazemskij und Gogol. Wiener Slavistisches Jahrbuch, 1955, V. IV, SS. 83—96.

Перевод: взрывы хохота среди присутствующих (франц.).

¹⁷ Современник, 1836, т. 2, стр. 287.

в комедии Гоголя низок, Вяземский писал: «В „Ревизоре“ есть карикатурная природа: это дело другое. В природе не все изящно; но в подражании природе неизящной может быть изящность в художественном отношении<...> Говорят, что язык низок. Высокое и низкое высоко и низко по сравнению и отношению: низкое, когда оно на месте, не низко: оно в пору и в меру.<...> Мы полагаем, что где есть природа и истина, там везде может быть и изящное подражание оной. А там уже дело вкуса, или правильнее вкусов, избирать любое для подражания и в подражаниях».¹⁸

Защищая «Ревизора» от мелочных стилистических придирок, Вяземский писал о слоге Гоголя: «Главное в писателе есть слог: если он имеет выразительную физиономию, на коей отражаются мысль и чувства писателя, то сочувствие читателей живо отзывается на голос его. Может быть, *словоловы* и правы, и язык г. Гоголя не всегда безошибочен; но слог его везде замечателен».¹⁹

Отвергнув обвинение литературного порядка, признав слог Гоголя образцовым, Вяземский обращался ко второй группе упреков, которые бросались «Ревизору», а именно в безнравственности комедии, в отсутствии в ней положительных персонажей. Зло и остроумно высмеивал Вяземский ревностных блюстителей «нравственности»: «Не должно забывать, что есть литература взрослых людей и литература малолетних: каждый возраст имеет свою пищу. Конечно, между людьми взрослыми бывают и такие, которые любят быть до старости под указкою учителя; говорите им внятно: вот это делайте! а того не делайте! за это вам скажут: пай дитя; поглядят по головке и дадут сахарцу. За другое: фи, дитя; выдерут за ухо и поставят в угол! Но как же требовать, чтобы каждый художник посвятил себя на должность школьного учителя или дядьки? На что вам честные люди в комедии, если они не входили в план комического писателя?».²⁰

С тезисом о безнравственности было связано обвинение автора в политической неблагонадежности, крики о том, что «Ревизор» — клевета на Россию, а Гоголь — враг родины. Оправдывая Гоголя от подобных опасных обвинений, Вяземский писал: «Конечно, чувство патриотической щекотливости благородно: народное достоинство есть святая, оскорбляющаяся малейшим прикосновением. Но при этих чувствах не должно быть односторонним в понятиях своих. При излишней щекотливости вы стесняете талант и искусство, стесняете самое нравственное действие благонамеренной литературы. Комедия, сатира, роман нравов исключаются из нее при допущении подобного чувства в безусловное и непреложное правило».²¹

¹⁸ Там же, стр. 290—292.

¹⁹ Там же, стр. 295.

²⁰ Там же, стр. 298.

²¹ Там же, стр. 308.

Блестящая статья Вяземского о «Ревизоре» не была по достоинству оценена Белинским; она была воспринята им не по существу, а в полемическом ключе, что объясняется предшествующими событиями. После выхода первого тома «Современника» Белинский писал о Вяземском: «...избавь нас, боже, от его критик, как и от его стихов».²² Какие статьи Вяземского имел в виду Белинский? Скорее всего он подразумевал выступления Вяземского в газете Дельвига в защиту литературной аристократии. По-видимому, Белинский опасался, что статьи, написанные в этом духе, смогут осложнить для него полемику с «Московским наблюдателем».

В примечании к статье о «Ревизоре» Вяземский на резкость Белинского ответил резко; завязался узелок журнальной полемики. Белинский не замедлил отрицательно отозваться о «Современнике»: «Но увы! вторая книжка вполне обнаружила этот дух, это направление; она показала явно, что „Современник“ есть журнал „светский“, что это петербургский „Наблюдатель“...» разборы „Ревизора“ г. Гоголя и „Наполеона“, поэмы Эдгара Кине, подписанные литерою В., должны совершенно уронить „Современник“».²³ В выпадах Вяземского против мнимого демократизма «торгового» направления Белинский увидел лишь защиту литературной олигархии: «Ужели меньше садиться в кресла и свободно говорить в гостиной есть патент на талант литературный или поэтический?», — иронизировал Белинский по поводу статьи о «Ревизоре».²⁴ Правда, в 1842 г. Белинский использовал эту статью для борьбы с «Северной пчелой», сочувственно процитировав насмешки Вяземского над словоловами-пуристами; но это не отменяло его отрицательный отзыв 1837 г.

Отвергнутая в пылу полемики Белинским, статья Вяземского о комедии Гоголя была одобрена Чернышевским, который писал в 1856 г.: «По смерти Пушкина, друзья его продолжали быть и друзьями Гоголя как человека и почитателями его таланта. Из этих людей двое, князь Вяземский и г. Плетнев, были журналистами, и оба они очень верно понимали произведения Гоголя. Все написанное ими о нем принадлежит к числу лучшего, что только было написано о Гоголе».²⁵

Если в статье о «Ревизоре» Вяземский был вынужден по тактическим соображениям приглушить свою точку зрения на сатиру, то вскоре в пятом томе «Современника» он опубликовал восьмую главу «Фонвизина», где историческое отдаление позволило ему высказаться с большей ясностью и определенностью.

Анализируя комедии Фонвизина, Вяземский писал: «В комедии „Недоросль“ автор имел уже цель важнейшую: гибельные

²² В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. II, 1953, стр. 183.

²³ Там же, стр. 234—237.

²⁴ Там же, стр. 235.

²⁵ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 3, 1947, стр. 127.

плоды невежества, худое воспитание и злоупотребления домашней власти выставлены им рукою смелою и раскрашены красками самыми ненавистными. В „Бригадире“ автор дурачит порочных и глупцов, язвит их стрелами насмешки; в „Недоросле“ он уже не шутит, не смеется, а негодует на порок и клеймит его без пощады: если же и смешит зрителей картиною выведенных злоупотреблений и дурачеств, то и тогда внушаемый им смех не развлекает от впечатлений более глубоких и прискорбных» (V, 135).

В восьмой главе «Фонвизина» Вяземский раскрыл свое истинное понимание общественной значимости сатирического жанра. Подобный же взгляд на русскую сатиру разделял и Пушкин.

В 1836 г. приближался 25-летний юбилей Отечественной войны 1812 г. Многие материалы, напечатанные в пушкинском «Современнике» (записки Н. А. Дуровой, записки Дениса Давыдова, «Ночной смотр» Жуковского, «Полководец» и «Отрывки из неизданных записок дамы» Пушкина), были связаны с этой памятной датой. Сегуя, что из-за цензурных козней мемуарная статья Давыдова о взятии Дрездена не может быть сразу напечатана, Пушкин писал ему: «А жаль, что не тиснули ее во 2-м № „Современника“, который весь будет полон Наполеоном».²⁶ Пушкин имел в виду записки Н. А. Дуровой и две статьи Вяземского: «Наполеон и Юлий Цезарь» и «Наполеон. Поэма Э. Кине». Впрочем, обе статьи Вяземского стояли несколько особняком, лишь именем Наполеона соприкасаясь с темой французского нашествия на Россию: сама эта тема не была предметом его рассмотрения. Вяземский дал суммарную восторженную характеристику личности Наполеона и его писательского дарования.

Вокруг имени Наполеона разгорались напряженные и страстные споры. Все, кто был недоволен правлением Луи-Филиппа (если не считать ультрароялистов, сторонников старшей ветви Бурбонов), противопоставляли ему времена Наполеона. В хоре голосов, хваливших корсиканца, слышались голоса демократической оппозиции (Беранже, Э. Дебро, Ш. Лепаж и др.) и голоса ярых бонапартистов. Слышались не только голоса: в 1835 г. бонапартист Фиески организовал покушение на Луи-Филиппа. Через год жители Тулузы возбудили прошение о переносе останков Наполеона во Францию; правительство ответило отказом, а пять лет спустя вынуждено было согласиться; стремясь вырвать знамя Наполеона из рук недовольных, Луи-Филипп устроил в декабре 1840 г. пышную церемонию: перенесение праха Наполеона с острова святой Елены в Париж, в Пантеон. В стихотворении «Последнее новоселье» Лермонтов отразил колебания французского общественного мнения, переменчивость соотечественников к своему императору.

²⁶ Пушкин, т. XVI, стр. 121—122.

В русской печати тех лет суждения о Наполеоне разноречивы; хотя журналисты обращали внимание преимущественно на пользу, принесенную его правлением, мотивы положительной оценки исторической роли Наполеона разительно отличаются друг от друга: издатель «Московского телеграфа» Н. А. Полевой хвалил Наполеона за разрушения остатков феодального строя в завоеванных им странах, а издатель «Северной пчелы» Ф. В. Булгарин — за укрощение французской революции.

В статье «Наполеон и Юлий Цезарь» Вяземский не дает политической оценки деятельности Наполеона. И тем не менее характеристика завоевателя Европы («жизнь его есть эпопея», II, 244) поразительно злободневна: чем выше вознесен Наполеон, тем по контрасту незначительнее становится фигура Луи-Филиппа, не названного, но незримо присутствующего в статье Вяземского. Известно, что Пушкин и Вяземский порицали режим Луи-Филиппа, и естественно, что на страницах их печатного органа появились статьи с высокой оценкой Наполеона: ведь это был единственный способ выказать свое отношение к французским делам. Прямая критика иностранного политического режима, даже если этот режим не вызывал одобрения Николая I, была категорически запоедена, и цензура Министерства иностранных дел тщательно следила за тем, чтобы журналы не нарушали этого предписания. Другое дело — история. Здесь не возбранялось давать оценки, которые опосредствованно, при соотнесении с современностью, могли быть восприняты как косвенное порицание.

В статьях Вяземского о Наполеоне имеется еще одна существенная особенность: Вяземский настойчиво подчеркивает моральную стойкость Наполеона в последние годы жизни. «Многие удивлялись, как Наполеон мог пережить славу и державу свою, как мог он не избавиться собственным жертвоприношением от унижений и продолжительного мученичества падения своего?.. Удивление легкомысленное и суетное! Наполеон должен был иметь такую веру в судьбу свою, столь чудесную и беспримерную, что он не мог отчаиваться до последней минуты: должен был ждать и не сходить с лица земли, пока земля носила его. Иначе Наполеон не был бы Наполеоном» (II, 230—231).

Тема душевной стойкости была кровно близка Пушкину и Вяземскому в 1830-е годы, когда их собственная судьба складывалась далеко не так, как им того хотелось. В стихах Пушкина этих лет, в его рецензии на книгу Сильвио Пеллико, в его высказываниях о Радищеве и Карамзине взволнованно и настойчиво звучит эта тема.

Итак, статья «Наполеон и Юлий Цезарь» насквозь публицистична. Совсем иную задачу поставил себе Вяземский в статье «Наполеон. Поэма Э. Кине»; это критический этюд, изложение историко-литературных взглядов.

Критикуя классицизм, Вяземский обратил внимание на отставание эволюции художественной формы от тех преобразований, которые до неузнаваемости изменили святую святых словесности — ее содержание: «Конечно, литература версальская, академическая, литература монархии Людовика XIV и даже литература мятежного XVIII века, которая при всей отважности и разрушительности в понятиях и системах своих свято почитала неприкосновенность существовавших форм, которая в Вольтере имела посягателя на все предания, за исключением преданий Деpero и Расина, — эта литература имела в себе что-то слишком условное, исключительное, выделанное до расслабления, до истощения самой природы» (II, 246).

Схожие мысли мы встречаем в незаконченной статье Пушкина «О ничтожестве литературы русской» (1834): «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя. . .» Вольтер, великан сей эпохи, овладел и стихами, как важной отраслю умственной деятельности человека. Он написал эпопею с намерением очернить кафолицизм. Он 60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о законности средств, заставил он свои лица кстати и некстати выражать правила своей философии». ²⁷

Кризис классицизма привел к зарождению романтизма: «Новые умы, — говорит Вяземский, — почувствовали сей недостаток, сей недуг, сию смерть того, что перешло им в наследство. < . . . > Жизни, жизни хотят они! во что бы то ни стало жизни, хотя судорожной, иступленной, но жизни новой, чтобы не сбивалась на прежнюю, уже совершившую круг действия своего и оборвавшую на сем пути все цветы, все плоды, все семена будущей жатвы» (II, 246—247).

Отдавая предпочтение романтизму перед классицизмом, Вяземский не закрывал глаза на несоответствие эстетического идеала романтиков требованиям современной литературы: «Должно сознаться, что в сущности нынешняя французская литература ближе к природе и правдоподобнее, нежели прежняя; но в выражении своем она все еще изысканна, натянута и в самом выборе стихий своих держится более уклонений, исключений природы, нежели постоянного и правильного явления сил ее» (II, 247).

Итак, Вяземский порицал романтиков за пристрастие к исключительным сюжетам, за стремление брать образцом для своих произведений не типическое, а из ряда вон выходящее, экзотическое: «Странны свойства сей новой литературы: то откровенна она до наготы и до наглости, то самую наготу прикрывает бесполезными украшениями! Она *татуирует* себя, как будто совестясь показаться в состоянии непорочности и пренебрегая между тем бла-

²⁷ Пушкин, т. XI, стр. 271—272.

гопристойно завесить свое грешное тело. Это дикая островитянка, которая является к вам голая, но с серьгами в ноздрях» (II, 247).

Главный недостаток романтического искусства Вяземский усматривал в том, что оно чуждо простоты: «Хочет ли новая литература попасть на простоту? Она не запросто проста, а с усилием. <...> Будьте просты, не думая о простоте, не зная, что вы просты: тогда узнают и убедятся в том другие. Истина и простота — вот две главные стихии поэзии; в них талант отыщет силу и возвышенность» (там же).

Выставляя эти требования, Вяземский ориентировался на творчество Пушкина, которое, воплощая более совершенный эстетический идеал, способствовало кристаллизации взглядов «истинных» романтиков на искусство.

Пропаганда сатирических жанров, критика классицизма и романтизма, осмысление новых художественных средств — такова проблематика рассмотренных нами статей Вяземского в «Современнике». Перечень тем и направление, в котором они развивались, указывают на то, что деятельность Вяземского в эти годы была закономерным завершением его критических статей 1820-х годов и его выступлений в «Литературной газете». Последовательная защита своих литературных воззрений характерна как для Вяземского, так и для Пушкина. Указывая на постоянство взглядов основного ядра сотрудников «Современника», Пушкин писал в середине 1836 г.: «...он (редактор, — М. Г.) вполне признает справедливость объявления, напечатанного в „Северной пчеле“: „Современник“, по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением „Литературной газеты“». ²⁸ Конечно, подчеркнутая категоричность этого утверждения Пушкина в какой-то степени объясняется полемическим заданием — необходимостью «осадить» Булгарина. Но даже введя «поправочный коэффициент» на полемику, нельзя сомневаться в том, что по своей основной мысли эта декларация издателя «Современника» соответствовала его восприятию собственной позиции и позиции его литературных соратников.

Однако было бы ошибочно полагать, что вторая половина 1830-х годов не выдвинула новых проблем. В этой связи необходимо в первую очередь остановиться на остро полемическом выступлении Вяземского, одобренном Пушкиным, но не появившемся в «Современнике» по цензурным условиям. Речь идет об открытом письме министру народного просвещения С. С. Уварову по поводу диссертации Н. Г. Устрялова. Прочитав полемический демарш Вяземского и сделав на нем свои пометы, Пушкин писал ему: «Письмо твое прекрасно. Форма М<илостивый> г<осударь>, или О *etc.*, кажется, ничего не значит, главное: дать статье как можно

²⁸ Современник, 1836, т. 3, стр. 331.

более ходу и известности. Но, во всяком случае, цензура не осмелится ее пропустить, а Уваров сам на себя розог не принесет. Бенкендорфа вмешать тут мудрено и неловко. Как же быть? Думаю, оставить статью, какова она есть, а впоследствии времени выбирать из нее все, что будет можно выбрать — как некогда делал ты в Литературной Газете со статьями, не пропущенными Щегловым».²⁹

Хотя письмо Пушкина не имеет даты, его правильно датируют декабрем 1836 г. 18 декабря А. И. Тургенев писал И. С. Аржевитинову: «Посылаю диссертацию Устрялова, которая возбудила справедливое негодование в почитателях Карамзина, и Вяземский напечатает в 4 № Современника пылкое опровержение против речей Устрялова и кольнет протектора его — Уварова».³⁰ Это уточняет датировку письма Пушкина к Вяземскому, относя его на 19—20 декабря — А. И. Тургенев был в курсе дел «Современника», и если бы Пушкин раньше принял решение не печатать открытое письмо Вяземского, то он безусловно знал бы об этом. Итак, во второй половине декабря 1836 г., за месяц до смерти, Пушкин считал, что открытое письмо Вяземского к Уварову «прекрасно». Естественно, что подобная оценка побуждает нас подробнее остановиться на этом эпизоде, не получившем освещения в работах пушкинистов.

14 сентября 1836 г., по определению Совета Петербургского университета, была подписана к печати книга «О системе прагматической русской истории. Рассуждение, написанное на степень доктора философии Николаем Устряловым». Вышедшая из типографии во второй половине октября, она не поступала в продажу; по сути дела это был автореферат диссертации, который был роздан отдельным лицам по указанию автора. Предвидя, что его книга, содержащая резкую критику Карамзина-историка, вызовет раздражение Пушкина, Н. Г. Устрялов прибег к дипломатии: он послал Пушкину дарственный экземпляр,³¹ а в сопроводительном письме обратился к издателю «Современника» с просьбой: «... благоволите пройти об ней молчанием в Современнике».³²

Н. Г. Устрялов не ошибся — в пушкинском кругу, как видно из письма А. И. Тургенева к И. С. Аржевитинову, его книга вызвала негодование. В ноябре 1836 г. Вяземский писал Пушкину: «Хочешь ли для своего Современника ученую рефутацию бро-

²⁹ Пушкин, т. XVI, стр. 211.

³⁰ ИРЛИ, Р-III, оп. 1, № 2026, л. 14 об. Цит. по копии письма А. И. Тургенева.

³¹ В библиотеке Пушкина сохранились два экземпляра этой книги Н. Г. Устрялова: одна с надписью на имя Пушкина, вторая — с надписью на имя Мих. Ю. Вильгорского. По мнению Б. Л. Модзалевского, подчеркивания и немногочисленные пометы во втором экземпляре принадлежат Вяземскому (Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина. В кн.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, стр. 107—108, № 399).

³² Пушкин, т. XVI, стр. 178.

шюрки Устрялова? Мне читали начало опровержения, и оно будет очень дельное, но дописать его хотят только, если уверятся, что оно будет напечатано».³³ О какой «ученой рефютации» писал Вяземский, точно неизвестно; возможно, что он имел в виду возражения М. А. Коркунова, преподававшего в то время историю в Московском университете, но хлопотавшего о переходе на службу в Археографическую комиссию. Это предположение основано на письме М. А. Коркунова к М. П. Погодину: «... я было, еще при жизни Пушкина, написал разбор устряловской брошюры, но так как теперь «Современник» не принимает критики, то моя статья положится ко многим другим таковым же».³⁴ По-видимому, «ученая рефютация» М. А. Коркунова не удовлетворила Пушкина, и было решено, что в защиту Карамзина выступит Вяземский. Таково, на наш взгляд, возникновение его открытого письма к С. С. Уварову. Однако, прежде чем перейти к разбору «пылакого опровержения» Вяземского, необходимо вкратце охарактеризовать основные положения, выдвинутые Н. Г. Устряловым в его диссертации.

Н. Г. Устрялов, пользовавшийся протекцией С. С. Уварова, был представителем официозной историографии. Несмотря на его уверения, что он, в противовес Карамзину, будет исследовать не жизнь отдельных князей и царей, а изучать законы развития общества, он по существу придерживался принципа, что самодержавие и православие являются двумя коренными особенностями русского государственного строя. Даже в удельном периоде он подчеркивал элементы не разобщенности, а единства в общественном устройстве России. Если отвлечься от полемики по частным вопросам, то не трудно заметить, что Н. Г. Устрялов лишь подновлял и уточнял концепцию, изложенную Карамзиным. Так, например, явно с учетом обострения польско-русских отношений после событий 1830—1831 гг. Н. Г. Устрялов считал необходимым дать подробный очерк истории южной России, доказывать исконную близость литовских земель с русскими и, на основании призыва литовского княжеского рода в Польшу, обосновывать историческую неизбежность присоединения Польши к России. Это были отдельные поправки к концепции Карамзина, а не ее ниспровержение, как пытался представить Н. Г. Устрялов.³⁵ Вместо того чтобы объявить себя учеником Карамзина, уточняющим и развивающим его исторические взгляды, Н. Г. Устрялов обрушился с решительной критикой на его труды: «Лучшее, полнейшее из сочинений, объясняющих древнюю судьбу нашу, „История государства Российского“, многим, даже не взыскательным, читателям

³³ Там же, стр. 195.

³⁴ Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 5. СПб., 1892, стр. 42—43.

³⁵ Об исторических взглядах Н. Г. Устрялова см.: Очерки истории исторической науки в СССР, т. I. М., Изд. АН СССР, 1955, стр. 321—323.

стало казаться не удовлетворительным: говорят, что при всей красоте повествования, оно наполняет ум какими-то несвязными картинками, часто образами без лиц, еще более неправильными очерками; что в нем напрасно будет искать развития жизни общественной, успехов законодательства, промышленности. Одним словом, все постигают высокое значение исторического знания, и все говорят в один голос, что Россия не имеет своей Истории».³⁶

Комментируя эти слова Н. Г. Устрялова, Вяземский писал: «Не станем разбирать удивительное *gescendo* наглости и нелепости всех этих выражений, в коих автор не умел даже сохранить логический порядок мыслей. Он, например, ссылается для подкрепления мнения своего на авторитет *невыскаательных читателей*, следовательно неспособных судить о достоинстве творения. Далее, признает *красоту* повествования и говорит, что оно наполняет ум какими-то несвязными картинками, образами без лиц и проч. В чем же может заключаться красота повествования, если не в ясности и связи соображений и в верности передачи их другим? Какое отсутствие здравого смысла в докторе философии!» (II, 223).

Возражая Н. Г. Устрялову, Вяземский утверждал, что появление труда Карамзина «в 1818 году было истинно народным торжеством и семейным праздником для России», что страна, «долго не знавшая славного родословия своего, в первый раз из книги сей узнала о себе, ознакомилась с стариною своею, с своими предками, получила книгою сею свою народную грамоту, освященную подвигами, жертвами, родною кровью, пролитую за независимость и достоинство имени своего» (II, 216). Выдающимся памятником отечественной истории считал труд Карамзина и Пушкин. В статье «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1827) он писал: «Появление „Истории государства Российского“ (как и надлежало быть) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц, чего не ожидал и сам Карамзин. Светские люди бросились читать историю своего отечества. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».³⁷

Выступая вслед за Пушкиным в защиту Карамзина, Вяземский в открытом письме к С. С. Уварову полемизировал с различными учеными и общественными деятелями, критиковавшими «Историю государства Российского». В первую очередь Вяземский указал на антагонизм исторических взглядов декабристов и Карамзина: «Судии не могли простить Карамзину, что он историограф, следовательно, по словам их, наемник власти; что он монархический

³⁶ Н. Г. Устрялов. О системе прагматической русской истории. СПб., 1836, стр. 3.

³⁷ Пушкин, т. XI, стр. 57. — Подробнее об отношении Пушкина к «Истории государства Российского» см.: В. Э. Вацуро. «Подвиг честного человека». Прометей, № 5, 1968, стр. 9—51.

писатель, — следовательно запоздалый, не постигающий духа и потребностей времени (фразеология тогдашняя, которая и ныне в употреблении); они толковали, что Карамзин сбивается в значении слов, что он *единодержавие* смешивает с *самодержавием* и вследствие того ложно приписывает возрастающую силу России началу самодержавия, и проч. и проч. <...> Самый IX том, в котором Карамзин с откровенным негодованием благородной души живописал яркими красками тиранию ослепленного царя, самый сей том должен был усилить к нему вражду противников мнения его» (II, 217—218).

Изложение спора декабристов с трудом Карамзина вызвало два замечания Пушкина. Он предложил усилить характеристику Ивана Грозного, приписав против последней фразы: «Мучителя». Заканчивая разбор мнения декабристов, Вяземский резюмировал: «И самое 14 декабря не было ли впоследствии времени, так сказать, критика вооруженною рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным, то есть *Историю Государства Российского*, хотя, конечно, участвующие в нем тогда не думали ни о Карамзине, ни о труде его» (II, 218). Пушкин очертил эту фразу и написал: «Не лишнее ли?». Политически бестактный вывод Вяземского насторожил Пушкина.³⁸ Опираясь на такое суждение, правительство могло приравнять любого критика Карамзина к категории государственных преступников; при наличии неумеренных выражений отповедь Н. Г. Устрялову могла быть использована III Отделением в своих целях. Это не входило в расчеты ни Пушкина, ни Вяземского.

Далее Вяземский писал о критических выступлениях Лелевеля, «Московского телеграфа» и «Телескопа». Касаясь критики Н. Г. Устряловым исторических воззрений Н. А. Полевого, Вяземский восклицал: «К стыду классического учения, коего университет должен быть стражем, г. Устрялов не усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полевого: стройное творение одного и хаотический недоносек другого! И столь двусмысленно или просто сбивчиво опутал собственное мнение свое оговорками, пошлыми фразами и перифразами, что по истине не знаешь, кому из двух отдает он преимущество!» (II, 225—226).

Лаконичность Вяземского в отношении Н. А. Полевого не удовлетворила Пушкина, который против этого места написал: «О Полевом не худо было напомнить и пространнее. Не должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести, — не говорю уже о плутовстве подписки, что касается управы благочиния, а не Академии наук» (II, 225).

³⁸ См.: ЛН, т. 16—18, М., 1934, стр. 606.

Такой резкий отзыв Пушкина об «Истории русского народа» Н. А. Полевого требует объяснения. Правда, Пушкин никогда не разделял основных положений его книги. Но в статье о втором томе труда Н. А. Полевого (осень 1830 г.) он высказывался значительно сдержаннее и объективнее. Чем же было вызвано ожесточение Пушкина против Н. А. Полевого в 1836 г.? Неоднократные нападки издателя «Московского телеграфа» (равно как и Ксенофонта Полевого) на Пушкина и его литературных соратников не прошли, конечно, бесследно. Но в 1834 г. «Московский телеграф» был запрещен, и Н. А. Полевой лишился публичной трибуны. Полемика с Н. А. Полевым прекратилась, и казалось, что время могло сгладить неприязненное отношение Пушкина к бывшему издателю «Московского телеграфа». Между тем случилось обратное. Это указывает на то, что должна была быть более близкая по времени причина, которая вывела Пушкина из равновесия. «В 1835—1836 гг. Полевой является фактическим издателем „Живописного обозрения“, где поместил статью „Памятник Петру Великому в Петербурге“, вызвавшую одобрение Николая I; не исключено, что выраженное в этой статье сомнение в возможности современных историков оценить величие Петра было намеком и на исторические занятия Пушкина».³⁹ Кроме того, было известно, что Н. А. Полевой пытался в конце 1835 и в начале 1836 г. получить доступ в архивы для занятий историей Петра, но получил отказ, так как «историографом Петра» был уже назначен Пушкин. Итак, сначала Н. А. Полевой пытался соперничать с Карамзиным, теперь — с Пушкиным. Понимая, какие трудности предстоят ему при написании, а также при попытке опубликовать «Историю Петра», Пушкин болезненно воспринимал любые известия, которые ставили под сомнение ценность подготовляемого им труда или могли осложнить его положение как историка. Надо думать, что именно это обстоятельство обусловило резкость слов Пушкина по адресу Н. А. Полевого на полях открытого письма Вяземского.

Вяземский полагал, что исследования, вышедшие после труда Карамзина, направляют историческую науку по ложному пути: «Мелочная критика, ничтожные изыскания, нелепая фразеология высших взглядов, потребностей и духа времени искажают нашу историю. Университеты начали требовать какой-то подвижной истории, то есть хотят перекраивать ее, смотря по изменениям господствующего образа мыслей и страстей современного поколения. Исторический скептицизм переходит к современному нигилизму» (II, 220).

Мелочная критика, ничтожные разыскания — намек на работы Н. С. Арцыбашева; нелепая фразеология высших взглядов, потребностей и духа времени — характеристика исторических тру-

³⁹ Пушкин. Письма последних лет. Отв. ред. Н. В. Измайлов. Л., Лен. отд. изд. «Наука», 1969, стр. 450. Комментарий В. Э. Вадура.

дов Н. А. Полевого; исторический скептицизм — школа М. Т. Каченовского в Московском университете.

Закономерным результатом исследований, проводившихся в духе «скептической школы», Вяземский объявил «Философическое письмо» Чаадаева: «Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма Чаадаева, помещенного в *Телескоп*. Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками. Оно просто естественный и созревший результат направления, которое дано исторической нашей критике. <...> Письмо Чаадаева не что иное в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин» (II, 221).

Здесь вскрываются некоторые особенности письма Вяземского, наличие в нем острого полемического подтекста. Как показывает изучение архива С. С. Уварова, слова Вяземского «напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками» метили в министра народного просвещения. В его архиве имеется специальное дело о запрещении «Телескопа». Там хранится французский черновик его докладной записки, в которой подробно анализируется обстановка в Москве, способствовавшая появлению «Философического письма» Чаадаева. Намекая на М. Ф. Орлова и Чаадаева, С. С. Уваров писал о том, что на московское общественное мнение пагубно влияют лица, связанные с событиями 14 декабря, которым правительство разрешило жить в Москве. Далее С. С. Уваров утверждал, что в Москве благодатная почва для их «зловредного влияния»; что в древней столице, удаленной от государственной деятельности, мероприятия правительства встречают сильное противодействие независимого общественного мнения; что Москва переполнена выходцами из различных классов; что там проживает много купцов, промышленников и иностранцев; что в Московском университете учится вольномыслящая молодежь, притекающая туда со всех концов страны. Аргументация С. С. Уварова сводилась в конечном счете к тому, что «Философическое письмо» Чаадаева было отголоском 14 декабря.⁴⁰

⁴⁰ Отдел письменных источников Гос. исторического музея, ф. 17, № 39, лл. 14—19. Ср. записи в дневнике сенатора К. Н. Лебедева: «Москва есть глава оппозиции Петербурга, следовательно правительства, которого он есть средоточие и вершина. Странное дело! Эти провинциалы, которые так просты, так малодушны, эти старосветские помещики живут, только тем и дышут, чтобы судить и рядить о действиях правительства, о наших внешних отношениях, и все это в невыгодную сторону. <...> Провинциалы готовы разметать все места по камню, молодежь готова согнать всех директоров и управляющих. <...> Письмо писано г. Чаадаевым, приятелем генерала Орлова (Михаила) и прочих, памятных по своему уму, образованию и подозрению в 14-м декабря. Это ропот на современность, выраженный главою пощипателей. <...> № журнала рвут по рукам» (Русский архив, 1910, кн. 2,

Хотя версия С. С. Уварова не была официально декларирована правительством — Николай I предпочел избежать публичного упоминания о восстании на Сенатской площади и объявил Чаадаева сумасшедшим — тем не менее именно она, надо полагать, была принята в высших сферах за истинное объяснение позиции Чаадаева. Как видно из открытого письма Вяземского, эта версия была известна в пушкинском кругу. Отводя политический донос С. С. Уварова, Вяземский в полемических целях объявил историческую концепцию Чаадаева следствием идей «скептической школы», которой покровительствовало министерство народного просвещения, и тем самым обвинил в появлении «Философического письма» самого Уварова.

Однако, несмотря на полемический характер статьи Вяземского, она в какой-то мере отразила и существенные черты его общественной позиции. Защищая Карамзина от нападок Устрялова, он продолжал свою политику отстаивания и утверждения тезиса об органическом развитии русского просвещения; Карамзин, по его мнению, в принципе мог быть подвергнут критике, но этому должно было предшествовать усвоение положительного потенциала «Истории государства Российского». С точки зрения Вяземского, время для критики Карамзина еще не наступило, так как русское просвещение не достигло должного для этого уровня. Реальная обстановка заставляла Вяземского прибегать в защите «Истории государства Российского» к приемам полемического характера. Не исключена возможность, что некоторая «официозность» тона письма и является одним из таких приемов и что Вяземский пытался достигнуть своей цели под покровом формулировок правительственного толка.

Положительная оценка Пушкиным этой статьи (отсутствие принципиальных возражений в его пометах и похвальный отзыв в письме к Вяземскому) позволяет предполагать, что поэт был согласен с некоторыми теоретическими положениями этого документа (ср. с его известным письмом к Чаадаеву от 19 октября 1836 г.). С другой стороны, несомненно, что для него, как и для

стр. 361—362). Запись в дневнике К. Н. Лебедева свидетельствует о том, что версия Уварова была распространена в обществе. В данном случае не имеет решающего значения, слышал ли К. Н. Лебедев о докладной записке С. С. Уварова или пришел самостоятельно к аналогичному выводу. Важно подчеркнуть, что эта версия отражала точку зрения реакционного лагеря. Подобная интерпретация «Философического письма» консерваторами не вызывает удивления. Вспомним, что в декабре 1835 г. на московской сцене шла премьера памфлетной пьесы М. Н. Загоскина «Недовольные», в которой, по наущению правительства, были выведены в окарикатурном виде Чаадаев, М. Ф. Орлов, Н. Ф. Павлов, В. Ф. Одоевский в обзоре «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» — обзор был напечатан во втором томе «Современника» за 1836 г. — дал резкую отповедь этой пьесе. Подробнее об этом см.: Т. И. Усаккина. Памфлет М. Н. Загоскина на П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова. В сб.: Декабристы в Москве, изд. «Московский рабочий», 1963, стр. 162—184.

Вяземского, письмо было тактическим ходом в борьбе с Уваровым, и именно поэтому он считал необходимым «дать ему как можно более ходу и известности».⁴¹ Понимая, что по цензурным условиям опубликовать открытое письмо невозможно («Уваров сам на себя розог не принесет»), Пушкин полагал нужным всяческими путями распространять в обществе основные положения этого документа.

Таким образом, в декабре 1836 г. Пушкин и Вяземский вновь выступают как единомышленники в литературно-общественной борьбе: у них общие противники и общие методы отражения нападок идеологов правительственного лагеря.

Эта общность не исключала, однако, того, что по частным вопросам между Пушкиным и Вяземским, по-видимому, возникали трения.

Осенью 1836 г. Пушкин передал Белинскому через П. В. Нащокина свое желание видеть его сотрудником «Современника».⁴² Нам неизвестно, знал ли об этом Вяземский; во всяком случае трудно предугадать, как назревавшая ситуация могла отразиться на участии Вяземского в «Современнике». Впрочем, не исключено, что в журнале Пушкина могли бы одновременно сотрудничать Вяземский и Белинский. Достаточно вспомнить, что в «Литературной газете» Дельвига благодаря усилиям Пушкина сотрудничали давнишние литературные противники — Вяземский и Катенин. Большая широта взглядов позволяла Пушкину ограничивать «сектантские» тенденции Вяземского и спланировать вокруг того или другого журнального начинания широкий круг литераторов.

К тому же история взаимоотношений Пушкина и Белинского не так легко поддается интерпретации. Отрывочные и скудные сведения приводят порой исследователей к далеко идущим, гипотетическим построениям, что отнюдь не способствует выяснению истины. Наиболее полная сводка материалов (как прямых, так и косвенного порядка) и их подробный анализ даны в обстоятельной статье И. В. Сергиевского «Пушкин и Белинский».⁴³ Многие наблюдения автора верны; он справедливо отмечает некоторые точки соприкосновения во взглядах Пушкина и Белинского. Верно понимая расстановку социальных сил, И. В. Сергиевский с полным основанием утверждает, что столкновения с Н. А. Полевым и Ф. В. Булгариным «невольно настраивали его (Пушкина — М. Г.) настроенно по отношению ко всякому демократизму вообще».⁴⁴ Тем значительнее тот факт, что в голосе Белинского Пушкин услышал голос молодой демократической России.⁴⁵

⁴¹ Пушкин, т. XVI, стр. 211.

⁴² Там же.

⁴³ И. Сергиевский. Избранные работы. Статьи о русской литературе. М., Гослитиздат, 1961, стр. 215—330.

⁴⁴ Там же, стр. 328.

⁴⁵ Там же, стр. 330.

Этот верный вывод вдумчивого исследователя был за последние годы трактован столь расширительно, что произошло смещение истинных исторических пропорций и соотношений.

Не собираясь решать мимоходом эту сложную проблему, отметим лишь, что факты, имеющиеся в нашем распоряжении, допускают различные толкования. Для примера сошлемся на отзыв Пушкина о Белинском в «Письме к издателю»: «Жалею, что вы, говоря о „Телескопе“, не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного».⁴⁶ Эта характеристика, как правило, трактуется односторонне. Безусловно, она свидетельствует о сочувственном отношении Пушкина к Белинскому. Но нельзя забывать и того, что вслед за похвалою таланту Белинского Пушкин счел необходимым публично отметить насторожившие его недостатки молодого критика. Для нашей темы особенно важно обратить внимание на слова Пушкина о том, что он желал бы видеть в Белинском «более уважения к преданию, более осмотрительности». Нам кажется, что этот упрек Пушкина должен заставить задуматься любого непредвзятого исследователя.

Наконец, не следует забывать, что Пушкин приглашал Белинского сотрудничать в «Современнике» в 1836 г., когда тот еще был сторонником концепции «просвещенной монархии», т. е. по основным положениям своим еще не успел коренным образом разойтись с представителями передовой дворянской культуры.

Помимо переговоров с Белинским, расхождения между Пушкиным и Вяземским могла вызвать статья Ф. Ф. Вигеля о Польше. Последний писал Пушкину: «Я вам посылаю, почтеннейший Александр Сергеевич, как французский оригинал, так и русский перевод моей маленькой статьи; жаль мне будет, если читатели найдут ее слишком длиною. Ее участь вручаю вам, делайте что хотите. Перевод, даже карандашом мною исправленный, мне кажется еще слабее оригинала. — Не шадите моего самолюбия, скажите, дурно; но, если б, переделав, перекроив, вам вздумалось представить публике мой беглый труд, мне жаль было бы его окрестить его следующим именем: Быстрый взгляд на историю славян. Французский оригинал посылаю вам только для сравнения; он у меня один, возвратите мне его, сделайте милость, чтобы для знакомых мог я велеть снять с него копии».⁴⁷

⁴⁶ Пушкин, т. XII, стр. 97. — О полемике Пушкина с рецензией Белинского на книгу Н. А. Полевого «Русская история для первоначального чтения» см.: Г. М. Кок а. «Примечание о памятнике...». (Из журнальной полемики 1836 года). Русская литература, 1969, № 2, стр. 129—134.

⁴⁷ Пушкин, т. XVI, стр. 198.

Статья Ф. Ф. Вигеля не опубликована. Русский перевод ее находится в архиве П. А. Плетнева.⁴⁸ Это писарская копия с карандашной авторской правкой на восьми листах in folio, исписанных с обеих сторон. Окончание статьи (восемь нижних строк л. 7, а также полностью л. 7 об., л. 8—8 об.) перечеркнуто карандашной чертой. На первом листе сверху написано карандашом: «Статью эту я докладывал в Комитете, и он признал, что заключение, находящееся на двух последних полулистах, допущено быть не может. 15 августа 1836 года. А. Крылов».^{48а}

Немного ниже на полях тем же почерком: «О древней и новой России будет отправлено в Главное управление цензуры». Это цензор попутно сообщал Пушкину о судьбе записки Карамзина «О древней и новой России», которую Пушкин хотел напечатать в «Современнике».

Никаких исправлений или помет Пушкина на рукописи нет. Он считал возможным отправить рукопись в цензуру в том виде, в каком она была ему прислана автором.

Одобрив исторический очерк взаимоотношений России и Польши, цензура не сочла возможным пропустить последние страницы статьи, где говорилось о современном положении польского вопроса: тема была острая; публицистическая отповедь Ф. Ф. Вигеля могла вызвать нежелательные враждебные отклики в западноевропейской прессе.

Запрет печатать окончание статьи обесмысливал появление ее в печати, так как именно эти страницы представлялись Пушкину наиболее важными. «Если бы после изложенного здесь, — писал Ф. Ф. Вигель, — Франция вздумала поставить себя судьей этой продолжительной и кровавой фамильной ссоры, то благоразумнейшие и справедливейшие из сынов ее легко могут видеть, как смешна и даже опасна была бы принятая ею на себя роль. <...> Россия есть майорат славянского семейства, и никогда не позволим мы младшим захватить права первородства» (л. 8 об.).

Не трудно заметить, что Ф. Ф. Вигель переложил в прозу основную мысль стихотворения Пушкина «Клеветникам России» о том, что споры славян являются их внутренним делом:

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

⁴⁸ ИРЛИ, ф. 234, оп. 5, № 2. — Приношу благодарность В. Э. Вацуру, указавшему мне местонахождение этой статьи.

^{48а} В академическом Собрании сочинений Пушкина письмо Ф. Ф. Вигеля отнесено к ноябрю—первой половине декабря 1836 г.; на самом деле, исходя из пометы цензора А. Крылова, его следует датировать не позднее начала августа 1836 г.

Напоминая события Отечественной войны 1812 г., Пушкин предостерегал французскую оппозицию от вмешательства в польско-русские дела:

Так высылайте ж нам, витии,
Своих озабленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Сопоставление статьи Ф. Ф. Вигеля со стихотворением «Клеветникам России» позволяет утверждать, что позиция Пушкина в польском вопросе, вызывавшая горячие споры между ним и Вяземским в 1830—1831 гг., оставалась неизменной до конца жизни Пушкина. Что думал Вяземский в 1836 г. о польско-русских отношениях, нам неизвестно. Его меморандум «О безмолвии русской печати» (1833) дает возможность предполагать что его точка зрения несколько эволюционировала и что расхождения между ним и Пушкиным в этом вопросе уменьшались. Однако вряд ли их позиции стали тождественными, вряд ли Вяземский считал целесообразным привлекать внимание к польской проблеме печатанием такой резкой статьи. Во всяком случае наличие ее в портфеле «Современника» могло служить причиной трений между Пушкиным и Вяземским.

Говоря о расхождениях в кругу «Современника», необходимо остановиться на некоторых неосуществленных издательских проектах.

Ко времени участия Вяземского в пушкинском «Современнике» относится его замысел издания литературно-исторического сборника «Старина и новизна»; в четвертом томе «Современника» Пушкин поместил следующее извещение, составленное, очевидно, самим Вяземским:

«От редакции»

Спешим уведомить публику, что в начале будущего 1837 года выйдет в свет: *Старина и новизна, исторический и литературный сборник*, изданный к.н. > Вяземским.

В сей книге будут помещены многие любопытные материалы, относящиеся до истории нашей, извлеченные из бумаг графа Ивана Захаровича Чернышева, подаренные издателю сыном его графом Григорием Ивановичем. Между прочими статьями упомянем о письмах и рескриптах царевича Алексея Петровича, Екатерины II, графа Чернышева, об анекдоте о принце Бироне и проч. и проч., почерпнутые из других достоверных источников. Будут еще письма Екатерины II к вице-адмиралу принцу Нассау-Зигену, отрывок из собственноручных записок графа Ростопчина, воспоминание о графе Каподистрии и некоторых современных ему происшествиях. Литературное отделение будет также разнооб-

разно и составлено из отрывков из собственноручных записок Ив. Ив. Дмитриева, несколько писем Карамзина из повестей, разных стихотворений, писем о современной русской литературе, несколько глав из биографических и литературных записок о Фон-Визине и временах его, известия о первых трех песнях „Потерянного рая“, с английского прозою на русский язык переведенных нашим поэтом Петровым и ненапечатанных в собраниях творений его, и проч. и проч. В конце книги будут помещены разные снимки с рукописей, вошедших в состав сборника.⁴⁹

Письма о современной русской литературе, по-видимому, должны были быть написаны Вяземским, по типу обзоров «Письма в Париж», которые он в свое время печатал в «Московском телеграфе».

Обращение к Остафьевскому архиву позволяет несколько уточнить данные, приведенные в «Современнике».

В бумагах Вяземского сохранилась программа этого сборника. В литературной части он предполагал напечатать воспоминания Ф. В. Ростопчина,⁵⁰ отрывки из записок И. И. Дмитриева о Державине, Петрове и Карамзине, главы VII—XI своей книги о Фон-Визине, повесть В. А. Соллогуба «Три жениха», письма Карамзина (1803—1809), отрывок из стихотворной сказки Н. М. Языкова «Серый волк», свои стихотворения, стихотворения Ю. А. Нелединского-Мелецкого, шутивное стихотворение И. И. Дмитриева «Путешествие NN в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия» с биографическими объяснениями издателя о

⁴⁹ Современник, 1836, т. IV, стр. 299—300. — Почти дословно это извещение было перепечатано в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» (1837, № 3, стр. 28). Граф Г. И. Чернышев, отец декабриста Э. Г. Чернышева, умер в 1831 г.; его бумаги были в распоряжении Вяземского уже в начале 1829 г. — 28 февраля этого года он занес в записную книжку: «Перебрать бумаги Чернышева» (П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 144). Из этого явствует, что собрание исторических документов было начато Вяземским еще в 1820-е годы. «Воспоминания о графе Каподистрии и о некоторых современных происшествиях» Вяземский пытался напечатать в 1837 г. в «Современнике», но получил отказ от вице-канцлера графа Нессельроде, которому цензура переслала рукопись (Русская старина, 1903, апрель, стр. 166).

⁵⁰ Воспоминания Ф. В. Ростопчина были получены Вяземским от А. Я. Булгакова, которому он писал 9 декабря 1836 г.: «Как же ты не получил письма моего в ответ на доставление биографии Ростопчина? Я премного и преуниженно благодарил тебя и просил дозволения сказать, что это безделка Ростопчина, потому что имя его придаст вес ей и интерес и проч., и проч. Тут, помню, я еще много разговорился по этому случаю. Я ждал от тебя ответа, то есть разрешения. Я перевел биографию. Даром, что безделка, а перевести трудно. Мы с Жуковским задумывались над многими словами. Наш язык — богат, у которого слитки золота в подвалах, а нет гривенника в кармане, чтобы купить пряник» (ЦГАЛИ, ф. 79, оп. 1, № 39, л. 19).

В. Л. Пушкине, фольклорную «Анику и смерть». Кроме того, в этом сборнике должны были появиться новые стихотворения Пушкина: «Стихи для тебя переписываю», — сообщил Пушкин Вяземскому в декабре 1836 г.⁵¹ Какие именно стихотворения предназначал Пушкин для «Старины и новизны», неизвестно.

В историческом разделе Вяземский готовил к публикации грамоты великого князя Семюна Бекбулатовича, царей Иоанна, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, А. Макарова, П. Шаховского, П. Толстого, Юсупова, письма Екатерины II к принцу Нассау-Зиген, переписку И. Г. Чернышева с Екатериной II, письма Павла I к И. Г. Чернышеву.⁵²

Сохранились скудные сведения еще об одном неосуществленном издательском замысле Вяземского. 17 ноября 1836 г. В. Ф. Одоевский писал С. П. Шевыреву: «Вяземский хочет здесь издать „С<еверные> Цветы“, — кажется, будет недурная книжка».⁵³ В недатированном письме В. Ф. Одоевского к И. П. Сахарову, которое, по всей вероятности, относится к началу 1837 г., сказано: «Отрывок из вашей книги мы напечатаем в Северн<ых> Цветах, которые мы издаем с кн. Вяземским на нынешний год».⁵⁴

Итак, «Старину и новизну» Вяземский предполагал издать единолично, а «Северные цветы» выпустить совместно с В. Ф. Одоевским. Наряду с этими замыслами В. Ф. Одоевский и А. А. Краевский в то же время задумали издавать «Русский сборник». Естественно, возникает вопрос, чем были вызваны эти проекты и как они соотносились с пушкинским «Современником». Для ответа на этот вопрос надо вспомнить правовое положение «Современника».

Зная отрицательное отношение правительства к выходу в свет новых журналов, Пушкин в конце 1835 г. просил разрешения в «1836 году издать 4 тома статей: чисто литературных (как-то повестей, стихотворений и пр.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности, — на подобие английских трехмесячных Reviews».⁵⁵ Николай I по-

⁵¹ Пушкин, т. XVI, стр. 211.

⁵² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 948, лл. 11—17. — У Вяземского также имелись рукописные списки мемуаров, которые долгое время не могли быть опубликованы в России и которые впервые были напечатаны Герценом в изданиях Вольной русской типографии в Лондоне: «Записки императрицы Екатерины II», «Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника И. В. Лопухина», «Записки княгини Е. Р. Дашковой». Богатая историческая коллекция Вяземского, конечно, была доступна Пушкину. Чтение Пушкиным «Записок княгини Е. Р. Дашковой», хранившихся у Вяземского, документально подтверждается выпиской Пушкина о Радищеве (см.: Рукою Пушкина. М.—Л., изд. «Academia», 1935, стр. 589—593).

⁵³ Русский архив, 1878, кн. 2, стр. 58.

⁵⁴ ГПБ, ф. 678, № 42, л. 32 об.

⁵⁵ Пушкин, т. XVI, стр. 69

звонил, с тем, чтобы «означенное периодическое сочинение» проходило установленным порядком через цензуру.

В отличие от журналов на выпуск книг и альманахов не требовалось предварительного разрешения правительства. Но здесь имелись некоторые казуистические тонкости. Русская журналистика знала альманахи серийные, выходившие по книжке в год: «Мнемозина», «Полярная звезда», «Северные цветы»; но на них не объявлялась заранее подписка, и издатели не связывали себя никакими обещаниями касательно продолжения подписки на следующий год. «Современник» распространялся по подписке; следовательно, он должен был занять некое среднее положение между альманахом и журналом.

Как мы видим, правовое положение «Современника» с самого начала было двусмысленным. «Четыре тома статей» явно переросли в журнал; Пушкин выходил за рамки данного ему разрешения. «Враги Пушкина называли беспрестанно „Современник“ журналом — неспроста, — писал много позднее осведомленный В. Ф. Одоевский, — здесь было указано цензуре на то, что Пушкин делает нечто недозволенное, ибо „Современник“ был разрешен как сборник, а не как журнал».⁵⁶

Ради краткости журналом именовали «Современник» и в протоколах цензурного комитета. Но ни Уваров, ни Бенкендóрф, ни Николай I не забывали, что разрешение было дано лишь на «4 тома статей». В 1837 г. Жуковский представил в цензуру объявление о продолжении издания, указав в нем, что подписка на 1837 г. была открыта покойным Пушкиным. Главное управление цензуры потребовало возобновления высочайшего разрешения. Резолюция гласила: «Государь позволяет на 37-й год, хотя Пушкин не имел бы права назначать подписки, ибо позволение ему дано было только на 36-й год, как он и сам просил».⁵⁷

Всем было ясно, что правовое положение «Современника» неустойчиво, что в любое время правительство может не пролонгировать свое разрешение. По-видимому, учет этой реальной ситуации и способствовал появлению журнальных проектов в кругу сотрудников «Современника».

Правда, в специальной литературе высказывалось и другое мнение, а именно то, что «Русский сборник» должен был конкурировать с пушкинским «Современником». Мы знаем, что Пушкин не дал ответа на предложение В. Ф. Одоевского и А. А. Краевского о реорганизации и совместном издании ежемесячного «Современника». Однако, какие мотивы руководили Пушкиным в данном вопросе, неизвестно. Вполне вероятно, что он понимал нереальность получить разрешение на постоянный журнал. Кроме того, возможно, что его также не удовлетворяли предложенные

⁵⁶ Русский архив, 1864, стлб. 156.

⁵⁷ Дела III отделения об А. С. Пушкине. СПб., 1906, стр. 176.

ему денежные условия. Как бы то ни было, вряд ли это дает право умозаключать, что Пушкин отрицательно относился к проекту «Русского сборника». Ведь в случае запрета продолжить «Современник» в 1837 г., «Русский сборник», будь он разрешен, наряду с задуманными изданиями Вяземского («Старина и новизна», «Северные цветы»), мог бы стать прибежищем для Пушкина. Все это, однако, предположения. Между тем имеется один неопубликованный документ, который дает возможность сделать более обоснованные выводы, — это письмо Жуковского к министру народного просвещения С. С. Уварову.

«Князь Одоевский и Краевский просили меня передать вам приложенную бумагу, любезная Старушка, и желают, чтобы я был за них перед вами ходатаем, полагая (в чем я с ними согласен), что моя просьба не будет вами принята с равнодушием. Прошу вас прочитать их программу и дать им ваше благословение, а вместе и покровительство. Вы знаете и того и другого; следовательно, можете быть уверены, что цель их благородная, почетная и что они могут иметь успех в стремлении к ней. Покровительством им вы будете покровительствовать и весь еще пишущий Арзамас, ибо все наши сочлены, еще не отказавшиеся от пера гусяного, готовы им содействовать, в том числе и аз грешная Светлана. Вы же если не гусяным пером, то хотя гусяным криком, спасавшим литературный Капитолий и защищавшим сие святилище от нашествия галлов, будете все принадлежать Арзамасу. Прошу вас убедительно быть крестным отцом Русскому сборнику. Я сам хотел явиться к вам, но программа, мною вам посылаемая, получена мною за час до отъезда моего в Петергоф. Некогда самому; через неделю, когда поедем в Царское село, буду в Петербурге и тогда вас увижу. Дайте мне словечко в ответ. <...> Преданная вам Светлана».⁵⁸

Полное арзамасской терминологии и реминисценций того времени (Старушка — арзамасская кличка Уварова, Светлана — самого Жуковского), письмо Жуковского к Уварову представляет первостепенный интерес, так как дает нам косвенное свидетельство сочувствия Пушкина и Вяземского литературному начинанию В. Ф. Одоевского и А. А. Краевского. Прося покровительствовать «Русскому сборнику», Жуковский утверждал, что тем самым Уваров «будет покровительствовать и весь еще пишущий Арзамас, ибо все наши сочлены, еще не отказавшиеся от пера гусяного, готовы им содействовать». Кто же составлял в 1836 г. «пишущий Арзамас»? Пушкин, Вяземский, Жуковский, Денис

⁵⁸ Отдел письменных источников Гос. историч. музея, ф. 17, № 62, л. 18. — Двор переехал в Царское село около 9 сентября 1836 г. — см.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов, стр. 107. — Следовательно, письмо Жуковского к С. С. Уварову можно датировать концом августа или началом сентября 1836 г.

Давыдов. Впрочем, мнения последнего о «Русском сборнике» Жуковский мог и не знать, ибо Денис Давыдов не жил в столице и мог не быть в курсе этого проекта. Между тем о мнении Пушкина и Вяземского Жуковский безусловно должен был быть осведомлен: в противном случае он не стал бы писать Уварову, что арзамасцы готовы содействовать «Русскому сборнику».

Наши соображения о близости основного круга сотрудников «Современника» не являются неожиданными. Все они — и в особенности Пушкин, Вяземский и Жуковский — оставались литераторами одного круга, соединенными воспоминаниями многолетней дружбы, психологически живой традицией арзамасского братства, общностью социальной позиции. Высказывания Пушкина свидетельствуют о том, что он до конца жизни оставался на позициях дворянского просветительства.⁵⁹ Именно эта общественно-литературная платформа объединяла его с Вяземским, Жуковским, А. И. Тургеневым, В. Ф. Одоевским, П. Б. Козловским и другими сотрудниками «Современника». Конечно, наличие общей платформы не означало полной идентичности взглядов. Дальнейшие разыскания уточнят степень оппозиционности отдельных деятелей пушкинского круга, но это будут различные оттенки *внутри* дворянского просветительства 1830-х годов.⁶⁰

⁵⁹ Экономические воззрения Пушкина полностью подтверждают эту точку зрения: «Защита Пушкиным так же, как и <М. Ф.> Орловым, такого феодального института, как майорат, может показаться непонятной только на первый взгляд. Объяснить это нужно не только общими рассуждениями об элементах дворянской классовой ограниченности, присущей Пушкину и Орлову, как и всему поколению дворянских революционеров. Надо вспомнить, что многие политические мыслители и социологи того времени видели в майорате средство создания материально, а значит, и политически независимой аристократии, не раболепствующей перед абсолютистской властью, способной составить ей действительную оппозицию» (С. Я. Боровой. Об экономических воззрениях Пушкина в начале 1830-х гг. В кн.: Пушкин и его время, стр. 250—251).

⁶⁰ Ввиду специального характера темы «Вяземский и дуэль Пушкина» она не включена в монографию. Об этом вопросе см.: Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пгр., изд. «Атеней», 1924; П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3. М.—Л., ГИЗ, 1928, стр. 258—271; М. К. Светлова. Кому было написано письмо П. А. Вяземского о кончине Пушкина. Московский пушкинист, т. II. Под ред. М. А. Цявловского. М., изд. «Федерация», 1930, стр. 155—162; Н. Ф. Бельчиков. Незвестное письмо В. Ф. Вяземской о смерти Пушкина. Новый мир, 1931, № 12, стр. 188—193; Н. Ф. Бельчиков. П. А. Вяземский об авторе анонимного пасквиля на Пушкина. В кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 117—131.





ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПОЭЗИЯ ВЯЗЕМСКОГО (1810-е—1830-е ГОДЫ)

В «Автобиографическом введении» Вяземский писал: «С водворением Карамзина в наше семейство, письменные наклонности мои долго не пользовались поощрением его. Я был между двух огней: отец хотел видеть во мне математика; Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца. Он часто пугал меня этою участью. Берегись, говаривал он: нет ничего жалче и смешнее худого писачки и рифмоплета. Первые опыты мои таил я от него, как и другие проказы грешной юности моей. Уже позднее, и именно в 1816 году, примирился он с метроманиею моею. Александр Тургенев давал в Петербурге вечер в честь его. Все арзамасцы были на лицо: были литераторы и друго́го лагеря. Хозяин вызвал меня прочесть кое-что из моих стихотворений. Выслушав их, Карамзин сказал мне: „Теперь уже не буду отклонять вас от стихотворства. Пишите с богом“. На этом вечере познакомился я с Крыловым. Он также был один из благоприятливых слушателей и просил меня повторить чтение одного из стихотворений, которое наиболее понравилось ему. <...> С того дня признал я и себя сочинителем. И пошла писать! — то есть пиши пропало! скажет один из моих строгих критиков» (I, стр. XXXII).

Итак, Вяземскому было двадцать четыре года, когда Карамзин, наконец, благословил его писать стихи. Но и дав свое пастырское напутствие, Карамзин, надо думать, не был вполне уверен, что поэзия — истинная стихия Вяземского. Да и сам Вяземский в послании «К перу моему» (1816) признавался:

Язык мой не всегда бывает непорочным,
Вкус верным, чистым слог, а выраженье точным;
И часто, как примусь шутить насчет других,
Коварно надо мной подшучивает стих.¹

¹ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 92.

Поэзия Вяземского не укладывалась в рамки карамзинистской стилистики. «Школой гармонической точности» назвал Л. Я. Гинзбург школу Жуковского—Батюшкова—раннего Пушкина.² Исследовательница справедливо отметила, что Жуковский в стихотворном послании «К кн. Вяземскому» (1815 или 1816), критикуя стихи Вяземского «Вечер на Волге» (1815 или 1816) с позиции «школы гармонической точности», нашел в них грамматические ошибки, неточное словоупотребление, повышенную метафоричность и некоторые другие «оплошности».³ Однако Жуковскому не удалось завербовать Вяземского под знамена «школы гармонической точности». Время убедительно показало, что замеченные Жуковским «оплошности» (во всяком случае большая часть из них) на самом деле отражали принципиально иное отношение к слову и к стиху.

Хотя раннее поэтическое творчество Вяземского во многом традиционно — вместе с Батюшковым и молодым Пушкиным он отдал обильную дань «легкой» французской поэзии XVII—XVIII вв., культивируя ее приемы и образцы на отечественной почве — в то же время с первых же шагов на поэтическом поприще отчетливо проступает отличительная черта его творчества: он — поэт мысли, ради мысли и ее оттенков он готов жертвовать гармонией и гладкостью стиха, ради точности и афористичности мысли готов утяжелить стих. Именно поэтому в сфере «легкой» поэзии он не создал ничего примечательного; зато в сатирических жанрах, во всех тех областях поэтического творчества, где господствует ум, а не чувство, молодой Вяземский сумел сказать свое слово.

Вяземский был рационалистом, верным учеником просветителей XVIII в. Хотя он был на четверть века моложе Карамзина, его просветительская закваска была более стойкой, значительно менее подверженной предромантическим и романтическим веяниям. Писательская индивидуальность Вяземского, истоки его поэтики и стилистики коренятся в литературе XVIII в., и в первую очередь в том ее направлении, которое непосредственно связано с именем Вольтера, с культом разума.

Не случайно первый литературный успех принесли Вяземскому его язвительные эпиграммы — это был жанр, в котором охотно упражнялись французские авторы XVIII в. Повествуя о начале 1810-х годов, Ф. Ф. Вигель вспоминал: «В это же время в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед, и защитником Карамзина от неприятелей, и грозою пачкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их. <...> Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем

² Л. Я. Гинзбург. О лирике. М.—Л., изд. «Советский писатель», 1964, стр. 13—43.

³ Там же, стр. 28—30.

обуздать бранного духа, любовь же к нему возбуждаемого. А впрочем, что за беда? Дитя молодое, пусть еще тешится; а дитя куда тяжел был на руку. Как Иван-царевич, бывало, князь Петр Андреевич кого за руку — рука прочь, кого за голову — голова прочь».⁴

Эпиграммы Вяземского разили литературных и общественных ретроградов — А. С. Шишкова, П. И. Голенищева-Кутузова, А. Н. Грузинцева, Д. И. Хвостова, М. Л. Магницкого, М. Т. Каченовского и многих других. Наряду с эпиграммами Пушкина и Батюшкова, эпиграммы Вяземского были боевым оружием «Арзамаса» в борьбе с «Беседой». Когда в 1815 г., после первого представления комедии А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Лицецкие воды», в которой был карикатурно выведен Жуковский, шишковисты преподнесли автору лавровый венок, то Вяземский в ответ на демонстративное чествование А. А. Шаховского написал цикл эпиграмм под названием «Поэтический венок Шутовского, поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги».

Наиболее разкие эпиграммы Вяземского, которые по цензурным условиям нельзя было напечатать, распространялись в списках — лишь много лет спустя были опубликованы эпиграммы на А. С. Шишкова («Кто вождь у нас невеждам и педантам»), на М. М. Сперанского («На степени вельмож Сперанский был мне чужд»), на членов «Беседы» («Когда беседчикам Державин пред концом»), на М. Т. Каченовского («Иссохлось бы перо твое бесплодно»), на С. А. Ширинского-Шихматова («В двух дюжинах поэм воспеший предков сечи») и некоторые другие.

В 1810-е—1820-е годы эпиграмма стала агитационным средством борьбы дворянской оппозиции против самодержавия. Эпиграммы Пушкина и Вяземского входили в общий фонд нелегальной пропагандистской литературы декабристов. В этом плане особенно значительна эпиграмма на П. П. Свинына, в которой Вяземский едко высмеял прислужничество его перед Аракчеевым. Посетив Грузино, имение Аракчеева в Новгородской губернии, П. П. Свинын поместил в «Сыне отечества» подобострастную статью об этой поездке, которая начиналась льстивым стихотворным эпиграфом:

Я весь объехал белый свет,
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою, —
Дивился многому умом,
Но только в Грузиином
Был счастлив сердцем и душою,
И сожалел, что не поэт!

Прочитав в Варшаве эти вирши, Вяземский сообщил А. И. Тургеневу 13 октября 1818 г. свой эпиграмматический «перевод»:

⁴ Ф. Ф. Вигель. Записки, т. 1. М., 1928, стр. 348.

«Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин, —
 Мне кланяться развалинам бесплодным
 Пальмиры, Трои иль Афин?
 Пусть дорожит Парнаса гражданин
 Воспоминаньем благородным:
 Я не поэт, а дворянин,
 И лучше в Грузино пойду путем доходным:
 Тем, кланяясь, могу я выкланяться в чин».⁵

10 августа 1825 г. Пушкин писал Вяземскому: «... да нет ли стихов покойного поэта Вяземского, хоть эпиграмм? Знаешь ли его лучшую эпиграмму: *Что нужды? говорит расчетливый* etc. Виноват! я самовольно сделал в ней перемены, перемешав стихи следующим образом: 1, 2, 3—7, 8—4, 5, 6. — Не напечатать ли, сказав: *Нет, я в прихожую пойду путем доходным*, если цензура не пропустит осьмого стиха, так и без него обойдемся; главная прелесть: *Я не поэт, а дворянин!* и еще прелестнее после посвящения Войнарковского».⁶

Рылеев писал в своем посвящении Бестужеву:

Прими ж плоды трудов моих,
 Плоды беспечного досуга;
 Я знаю, друг, ты примешь их
 Со всей заботливостью друга.
 Как Аполлонов строгий сын,
 Ты не увидишь в них искусства:
 Зато найдешь живые чувства;
 Я не Поэт, а Гражданин.

Неизвестно, знал ли Рылеев эпиграмму Вяземского на П. П. Свиньина. Как бы то ни было, Пушкин был прав полагая, что после опубликования «Войнарковского» эпиграмма Вяземского стала «еще прелестнее». Пушкин предлагал Вяземскому так перестроить эпиграмму, чтобы наиболее афористическая строка была в конце:

«Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин, —
 Мне кланяться развалинам бесплодным
 Пальмиры, Трои иль Афин?
 И лучше в Грузино пойду путем доходным:
 Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин.
 Пусть дорожит Парнаса гражданин
 Воспоминаньем благородным:
 Я не поэт, а дворянин».

Перу Вяземского-сатирика принадлежат также несколько басен; среди них наиболее значительна басня «Доведь» (1817);

⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 129—130.

⁶ Пушкин, т. XIII, стр. 204. — Слова «нет ли стихов покойного князя Вяземского» — шутка Пушкина, вызванная тем, что в первой половине 1820-х годов Вяземский почти не писал лирических стихотворений.

она метила в Аракчеева и заканчивалась предостережением фавориту:

О доведи-временщики
На шахматном паркете!^{6а}
Не забывайте, что на свете
Игрушки царской вы руки.

Из ранних сатирических произведений Вяземского особо выделяется его смелое стихотворение «Сравнение Петербурга с Москвой» (1810), в котором, помимо нападок на высшие сословия («вор в звезде», «осел в суде»), на Государственный совет, осмеян Александр I:

У вас «авось»
Росии ось
Крутит, вертит,
А кучер спит.

Это язвительное стихотворение Вяземского многие годы ходило по рукам; впервые оно было напечатано Герценом и Огаревым в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» (Лондон, 1861).

В середине 1810-х годов Вяземский написал сатирический ноэль «Спасителя рождением», в котором предал вечному поношению деятелей «Беседы» (И. С. Захарова, П. М. Карabanова, А. А. Шаховского, С. А. Ширинского-Шихматова, Н. А. Львова, П. Ю. Львова, Д. П. Горчакова, Д. И. Языкова) и многих столпов александровского царствования: московского главнокомандующего Ф. В. Ростопчина, министра финансов Д. А. Гурьева, генерал-губернатора Сибири И. Б. Пестеля, министра внутренних дел О. П. Козодавлева, адмирала П. В. Чичагова, фельдмаршала П. Х. Витгенштейна, директора департамента внешней торговли М. А. Обрескова, московского митрополита Филарета.

По-видимому, ноэль Вяземского наряду с французскими образцами и ноэлями Д. П. Горчакова⁷ возбудил интерес Пушкина

^{6а} Доведь — шашка, прошедшая в дамки; в переносном смысле: пройти в дамки — означало получить высшую должность.

⁷ Помимо ноэлей, написанных Д. П. Горчаковым в 1780-е годы, Г. В. Ермакова-Битнер, следуя за свидетельством П. А. Ефремова, приписывает ему ноэль «Святки» (1815), в котором десять куплетов почти целиком совпадают с ноэлем Вяземского (см.: Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. Л., изд. «Советский писатель». 1959, стр. 632). Не опровергая доводов издателей стихотворений Вяземского, Г. В. Ермакова-Битнер утверждает, что было два ноэля, «в которых высмеивался Государственный совет, министры, — Д. Горчакова и П. Вяземского» (там же). Такое предположение можно было бы принять, если б тексты этих ноэлей значительно расходились между собой. На самом деле авторитетный список ноэля из бумаг А. И. Тургенева лишь более полный; только четыре куплета из списка П. А. Ефремова не находят себе подтверждения в списке А. И. Тургенева. Вопрос об авторстве этих четырех куплетов остается открытым.

к этому жанру: Пушкин написал ноэли «На лейб-гусарский полк» и «Ура, в Россию скачет».

Ноэль Вяземского до сего времени не имеет точной датировки. Первый публикатор ноэля П. И. Бартенов утверждал, что он писан не позже 1815 г. Л. Я. Гинзбург датирует ноэль 1814—1817 гг.⁸ Сохранилось письмо Жуковского к Вяземскому, доказывающее правоту П. И. Бартенева и позволяющее точно датировать ноэль 1814 г. Жуковский писал: «Я слышал, что ты написал русский Ноël, где множество злого остроумия. Поверь мне, что такого рода сочинения не сделают никогда чести и могут быть причиною несчастья <...> Твой Ноël есть пасквиль и пасквиль, достойный не только презрения, но еще и наказания. Ты нападаешь на честь и репутацию людей, поставленных самим государем на высокую степень. Заслуживают ли они это или нет — о том ни слова! Но твое ли дело — в двадцать лет быть обвинителем и, может быть, клеветником. Признаюсь, меня жестоко огорчила эта пиеса и для меня больно воображать, что теперь и такие люди, которые тебя не стоят ни по уму, ни по сердцу, имеют право нападать на твое доброе имя <...> Воейков опять у меня — или, лучше сказать, не у меня, а у своей невесты. Приехал к дружбе, а подле нее нашел и любовь. А поп с венцом <тут> как тут — он женится. Ты знаешь его невесту, Александру Андреевну Протасову».⁹ Жуковский вернулся в Муратово в середине апреля 1814 г., свадьба А. Ф. Воейкова с А. А. Протасовой состоялась 14 июля 1814 г., следовательно, письмо Жуковского надо датировать концом апреля—началом июля 1814 г. Естественно предположить, что ноэль стал известен Жуковскому вскоре после его написания, т. е. его нужно датировать началом 1814 г.

Помимо эпиграмм, басен и ноэлей, Вяземский охотно писал сатирические куплеты, которые точно охарактеризованы современным исследователем: «Вяземский разрабатывает подсказанную французской поэзией форму куплетов с повторяющимся, иногда варьирующимся припевом. Припев этот обычно является и заголовком стихотворения: „Пиши пропало“, „Да, как бы не так“, „Того-сего“, „Всякий на свой покрой“, „В шляпе дело“, „Семь пятниц на неделе“ и т. п. Стихотворения этого типа у Вяземского обычно строятся так, что куплеты, посвященные обличению общечеловеческих пороков (традиция, восходящая еще к XVIII в.), морализированию, довольно безобидному, чередуются с куплетами, резко злободневными, порой и прямо политическими».¹⁰

Многие из сатирических куплетов Вяземского были напечатаны Рылеевым и Бестужевым в «Полярной звезде». Эпистолярные материалы свидетельствуют о том, что для их опубликования

⁸ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 427—428.

⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1909, лл. 166 об.—167 об.

¹⁰ Л. Я. Гинзбург. П. А. Вяземский. В кн.: П. А. Вяземский. Стихотворения. Л., изд. «Советский писатель», 1958, стр. 32.

приходилось преодолевать сопротивление цензуры. В письме Жуковского к Вяземскому, написанном в октябре—ноябре 1823 г., мы читаем: «Вот что пишет ко мне Рылеев о твоих пиесах: „Вяземского пиес ни одной не пропускают решительно; я употребил все возможные меры и доводы — напрасно! <1 нрзб.> просит сделать замечания на бумаге. Кое-как проскочила басенка: Гвоздь и Молот, и то без нравоучения“. Я послал его письмо к Тургеневу, чтобы он взял пиесы у Рылеева и с ними пошел к князю. Тут уж просто скверная, нахальная личность. Но весьма вероятно, что жалоба не поможет. У князя его цензура infallible. Посмотрим, что сделает Тургенев. Есть ли не удастся, то сам напиши к князю».¹¹ Ходатайство А. И. Тургенева перед А. Н. Голицыным имело успех — в «Полярной звезде» на 1824 г. было напечатано несколько произведений Вяземского: «Гвоздь и молот», «Воли не давай рукам», «В шляпе дело», «Петербург», «Давным давно». Цензору А. Бирукову пришлось отступить перед нажимом А. И. Тургенева.

Сатирический талант Вяземского был по душе издателям «Полярной звезды» — 20 февраля 1825 г. Рылеев писал ему: «Вы <...> должны снова разить порок и обличать невежество своими ювеналовскими сатирами к удовольствию публики и к радости друзей и почитателей ваших и вашего дарования; к досаде Лужницких старцев и юношей, им растлеваемых <...> Вам не должно забывать, что, однажды выступив на такое прекрасное поприще, какое вы себе избрали, дремать не должно: давайте нам сатиры, сатиры и сатиры».¹²

Именно в сатире был особенно заметен оппозиционный взлет Вяземского. С. С. Ланда недавно обнаружил и опубликовал его поэтический отклик на испанскую революцию 1820 г.; это дружеское послание Вяземского к Н. И. Тургеневу под названием «Табашное послание», сочиненное в Варшаве в ноябре 1820 г. Как пишет исследователь, «в 1820 г. во Франции получили широкое распространение табакерки, исписанные конституционными текстами»;¹³ посылая такую либеральную табакерку в Петербург, Вяземский советовал Н. И. Тургеневу «во имя Хартии, свободы» набить ее «гишпанским табаком», чтобы «очистить мозг» «целительным чиханьем»

Всем двигающимся мощам
Сената, Английского клоба;
Всем губернаторам и Виц,
Всем баричам в бегах из гроба,
Иль из Обуховских больниц;
.....

¹¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1909, л. 18. — Нравоучение к басне «Гвоздь и молот» обнаружить не удалось.

Перевод: Непогрешима (франц.).

¹² ДН, т. 59, М., 1954, стр. 144—145.

¹³ С. С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. . . , стр. 190.

Всем государственным столбам,
Одервенелым в министерстве;
Всем государственным чинам,
Обабившимся в кавалерстве
И помрачившимся в звездах;
Всем государственным лакеям;
Всем первоклассным фалалеям
На государственных местах.¹⁴

По справедливому замечанию С. С. Ланда, под пером Вяземского дружеское послание перерастало в политический памфлет.

Сатирическая поэзия Вяземского была закономерным явлением в литературно-общественной борьбе того времени. Эволюция карамзинизма, наступление карамзинистов на литературных староверов привлекли внимание к сатире. Жуковский опубликовал «Критический разбор Кантемировых сатир, с предварительным рассуждением о сатире вообще» (1810); Батюшков написал «Видение на берегах Леты» (1809), «Певца в Беседе любителей русского слова» (1813), «Прогулка по Москве» (1811—1812), «Вечер у Кантемира» (1816);¹⁵ М. В. Милонов создал шесть сатир; А. Ф. Воейков напечатал «Сатиру к Сперанскому» об истинном благородстве» (1806), пустил по рукам ядовитый стихотворный памфлет «Дом сумасшедших». Если к этому перечню добавить сатирические произведения А. Е. Измайлова, В. Л. Пушкина, «Письмо к новейшему Аристофану» (1815) Д. В. Дашкова, «Видение в Арзамасе» (1815) Д. Н. Блудова, протоколы заседаний «Арзамаса» и, наконец, сатиру молодого Пушкина, то становится очевидным, насколько многолико и плодотворно было обращение карамзинистов к сатирическим жанрам; звеном этого литературного ряда и является сатира Вяземского.

Политическая лирика 1810-х—1820-х годов была поразительно разнообразна по своей жанровой природе, и естественно, что вольнолюбивые стремления Вяземского отразились не только в сатирических произведениях. В стихотворении «Петербург» (1818, опубл. 1824) Вяземский утверждал, что истинное величие России настоятельно требует освобождения крестьян от крепостной зависимости. 24 августа 1818 г. он писал А. И. Тургеневу о «Петербурге»: «... я на горах свободы такую взгромоздил штуку, что только держись, так Сибирью на меня и несет».¹⁶ Как видно из переписки Вяземского с А. И. Тургеневым, «Петербург» сразу же стал расходиться в списках.¹⁷ В «Полярной звезде» по требованию

¹⁴ Там же, стр. 190—191.

¹⁵ О сатире в прозе Батюшкова см.: Н. В. Фрийдман. «Прогулка по Москве» К. Н. Батюшкова (Батюшков и Грибоедов). Известия АН СССР, отд. лит. и языка, т. XXI, вып. 6, 1962, стр. 510—522.

¹⁶ Остафьевский архив, т. I, стр. 116.

¹⁷ Первоначальный текст «Петербурга» опубликован В. С. Нечаевой (см.: П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 137—141).

цензора «Петербург» был напечатан без последних сорока строк, что вызвало нареkanie Вяземского в его письме к Бестужеву: «Вы поступили со мною незаконно, выпустив меня на позор несчастным скопцом».¹⁸

Впервые заключительные строки «Петербурга» были напечатаны в 1935 г.:

Присутствую мечтой торжество великолепию,
Свободный гражданин свободныя земли!
О царь! судьбы своей признанию внемли.
И Александров век светилом незаконным
Торжественно взойдет на русский небосклон,
Приветствуя, как друг, сиянем благодатным
Грядущего еще не пробужденный сон.¹⁹

С цензурными же купюрами было напечатано в «Полярной звезде» «Послание к И. И. Дмитриеву, приславшему мне свои сочинения»; на полях рукописного сборника против этого стихотворения Вяземский написал: «Здесь несколько стихов выкинуто цензурою. Полного списка у меня нет. Нельзя ли справиться у Мих<аила> Алек<сандровича>, не найдется ли подлинник в бумагах Ив<ана> Ив<ановича>?».²⁰

В архиве братьев Тургеневых сохранился полный текст этого послания. Красный карандаш цензуры отмежевал десять строк в последней части стихотворения; после строки «Явись, и скипетр вновь ты первенства схвати» в списке из архива братьев Тургеневых читаем:

Державин, не одним ты с ним гордишься сходством,
Сложив почетный блеск, изящным благородством
И даром, прихотью не власти, но богов,
Министра пережил на поприще певцов.
Люблю я видеть в вас союзом с славой твердым
Чсть Музам и упрек сим тунеядцам гордым,
Князьям безграмотным по вольности дворян,
Сановникам, во тьме носящим светлый сан,
Вы постыдили спесь чиновничью раскола:
Феб двух любимцев зрел любимцами престола.²¹

¹⁸ Русская старина, 1888, № 11, стр. 323. Письмо от 20 января 1824 г.

¹⁹ П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 141.

²⁰ ГБЛ, ф. Муз., шифр 7291, стр. 289. — Михаил Александрович — Дмитриев, племянник И. И. Дмитриева.

²¹ ИРЛИ, ф. 309, № 1191а—15, л. 2. — Кроме того, после строки «Чем ниже упадет, тем выше вздернет нос» следовало:

Пред гением его Державин — лирик хилый;
В балладах вызвать рад он в бой певца Людмилы,
И если смельчака хоть словом подстрекнуть,
В глазах твоих пойдет за Лафонтеном в путь.

Певец Людмилы — Жуковский, автор баллады «Людмила» (1808), его соперник — П. А. Катенин, автор баллады «Ольга» (1816); обе баллады написаны на один сюжет.

Однако и после цензурного изъятия в этом обличительном стихотворении остались строки, которые врезались в память современников. С. Д. Полторацкий писал в библиографических заметках: «... стих 56-й сделался с тех пор поговоркой: „И вольнодумец тот, кто смеет рассуждать“; стих 83-й также: „Но истины язык не внятен для ушей“». ²²

Если «Петербург», «Послание к И. И. Дмитриеву» и другие произведения Вяземского печатались со значительными цензурными усечениями, то некоторые его стихотворения вовсе не могли быть опубликованы в то время. К таким произведениям, помимо «Сравнения Москвы с Петербургом», ноэля «Спасителя рождением», «Негодования», принадлежало «Поздравление В. Л. Пушкина на Новый год» (1820), в котором Вяземский желал того, чего не полагалось желать в царской России:

Пусть нашим цензорам дозволят
Дозволить мысли вход в печать;
Пусть баре варварства не холят
И не невежничает знать.
Будь в этот год, другим не равный:
Все наши умники умны,
Менандры невские забавны,
А Еврипиды не смешны,
Исправники в судах исправны,
Полковники не палачи,
Министры не самодержавны,
А стража света не сычи.
Пусть щук поболе народится,
Чтоб не дремали караси;
Пусть белых негров прекратится
Продажа на Святой Руси. ²³

Среди вольнолюбивых и полемических стихотворений Вяземского особого выделяется знаменитое «Послание к М. Т. Каченовскому» (1820), образчиком для которого послужило стихотворение Вольтера «De l'Envie». ²⁴ Заклеймив редактора «Вестника Европы» М. Т. Каченовского, с которым у него были особые счеты за нападки на Карамзина, Вяземский далее обличал весь лагерь литературных и общественных ретроградов:

²² ГПБ. Q.XVIII.25-11, л. 93.

²³ П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 162—163.

²⁴ С. Д. Полторацкий писал: «В № 5, март 1821, стран. 31—44 помещено: „Письмо к Редактору (Вестника Европы)“ с подписью: „Ф... Як... вь [Яковлев], 2 марта 1821 года“. В этом письме (13 стран. в 8 д.) любопытно в библиографическом отношении то, что послание кн. Вяземского к Каченовскому названо подражанием и в некоторых стихах переводом Вольтерова стихотворения: De l'Envie. Критик [Яковлев] приводит тому доказательства (замечу мимоходом, что стихи Вольтера De l'Envie составляют 3-ю речь о человеке, Discours en vers sur l'homme — они уже были переведены на русский, в прозе, что отмечено в моей вольтеровской русской библиографии)» (ГБЛ, ф. 233, к. 20, № 17).

В превратном их уме: свобода — своевольство!
Глас откровенности — бесстыдное крамољство!
Свет знаний — пламенник кровавый мятежа!
Паренью мысли — есть граничная межа,
И к ней невежество приставя стражей хищной,
Хотят сковать и то, что разрешил всевышний.²⁵

Цензура, конечно, не пропустила, этих строк. Кроме того, после правки А. И. Тургенева оказались изъятыми строки о Радищеве,²⁶ напечатанные впервые лишь в 1935 г.

С именем Радищева связывал Вяземский свое смелое, полное вольнолюбивого пафоса стихотворение «Негодование». В письме из Варшавы от 7 января 1821 г., посылая А. И. Тургеневу это стихотворение, Вяземский указывал на радищевскую направленность своих мыслей: «Угодил ли своим „Негодованием“ Николаю Ивановичу? Пусть возьмет он один список с собою в diligence и читает его по дороге. Только не доехать бы ему таким образом от Петербурга до Москвы, и далее, как Радищеву».²⁷

«Я заставил одного поэта, служащего в духовном департаменте, — отвечал ему А. И. Тургенев, — переписать твое „Негодование“. В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. „Дрожь берет при одном чтении, — сказал он, — не угодно ли вам поручить писать другому?“».²⁸

И впрямь, было чего опасаться верноподданному чиновнику-поэту при чтении стихотворения Вяземского, в котором автор называл негодование своим Аполлоном:

Насильством прихоти потоптаны уставы;
С ругательным челом бесчеловечной славы
Бесстыдство предсидит в собрании вельмож.

²⁵ П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 159.

²⁶ А. И. Тургенев писал Вяземскому: «...неумолимый Тимковский, кроме двух, мною выкинутых о Радищеве стихов, выкинул еще восемь, то есть два, предшествовавшие Радищеву, и начиная от стиха: „Свобода, своевольство“...» (Остафьевский архив, т. II, стр. 130).

²⁷ Там же, стр. 137. Замысел этого стихотворения и его заглавие связаны, по всей вероятности, с оценками в арзамасском кругу «Деревни» Пушкина и «Сибирякова» Вяземского. Г. М. Дейч и Г. М. Фридендер отметили, что Жуковский и А. И. Тургенев пытались противопоставить «Деревню» Пушкина более умеренному стихотворению Вяземского (об этом см.: Г. М. Дейч и Г. М. Фридендер. «Деревня» Пушкина и антикрепостническая мысль конца 1810-х годов. ЛН, т. 60, кн. 1, М., 1956, стр. 387—389). В этой связи приводится известное письмо А. И. Тургенева к Вяземскому от 3 сентября 1819 г.: «Вчера читал я княгине Голицыной стихи твои и был свидетелем Пушкина восхищения и ее одобрения. (...) Пушкин бесится, что ты отнял у него такой богатый сюжет, а я этому рад, ибо он пересолит бы самое негодование» (Остафьевский архив, т. I, стр. 303—304). Слова о негодовании запомнились Вяземскому и были, на наш взгляд, тем внутренним толчком, который, зародив в нем желание опровергнуть А. И. Тургенева, привел в конце концов к написанию «Негодования».

²⁸ Остафьевский архив, т. II, стр. 142. Письмо от 19 января 1821 г.

Отцов народов зрел господствующих страхом,
 Советницей владык — губительную лесть;
 Печальную главу посыпав скорбным прахом,
 Я зрел: изгнанницей поруганную честь,
 Доступным торжищем — святыню правосудья,
 Служенье истине — коварства торжеством,
 Законы, правоты священные орудья,
 Щитом могучему и слабому ярмом.
 Зрел промышляющих спасительным глаголом,
 Ханжей, торгующих учением святым,
 В забвенья бога душ — одним земным престолом,
 Кающихся трепетно, одним богам земным.
 Здесь у подножья алтаря,
 Там у престола в вышнем сане
 Я вижу подданных царя
 Но где же отечества граждане? ²⁹

Последние две строки, как справедливо отметил Ю. М. Лотман, представляют собой пересказ слов Фонвизина из «Рассуждения о непременных государственных законах»: «Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей». ^{29а}

Конституционная направленность «Рассуждения» Фонвизина была сродни политическим взглядам Вяземского, и естественно, что воздействие этого произведения, хорошо ему известного, обнаруживается в «Негодовании». Однако трактатом Фонвизина не исчерпывается влияние обличительной традиции XVIII в. на это программное стихотворение Вяземского. Невольно возникает сопоставление с одой Державина «Вельможа» и — как о том писал сам Вяземский — с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева. Достаточно перечитать главы «Спасская полесь» и «Зайцово», чтобы убедиться в том, что, описывая пороки господствующих сословий, Вяземский держал в памяти негодующие тирады «Путешествия» Радищева. Итак, «Негодование» написано вослед Фонвизину, Радищеву и Державину.

Несмотря на то что Вяземский в этом стихотворении, как и Пушкин в оде «Вольность», провозгласил идею союза закона и трона, все содержание «Негодования» служило делу революционизирования передового дворянства. Свободолюбивая патетика «Негодования» указывает, на какую высоту гражданского чувства был способен Вяземский в те годы.

²⁹ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 137—138.

^{29а} Д. И. Фонвизин, Собр. соч. в двух томах, т. 2, М.—Л., Гослитиздат, 1959, стр. 255. Ср.: Ю. М. Лотман. П. А. Вяземский и движение декабристов, стр. 99. В Остафьевском архиве хранится как список подлинного текста «Рассуждения» Фонвизина, так и его переделка декабристом Н. М. Муравьевым; об этом см.: К. В. Пигарев. «Рассуждение...» Д. И. Фонвизина в переработке Никиты Муравьева. ЛН, т. 60, кн. 1, М., 1956, стр. 361.

Именно с этим вольнолюбивым стихотворением Вяземского знакомил друзей А. И. Тургенев; 2 февраля 1821 г. он сообщал в Варшаву: «Ко мне ездят слушать „Негодование“, и я уже его вытвердил наизусть, но ни одной копии не выдал и не выдам».³⁰ Сам Вяземский не был столь осторожен и стремился пустить эту поэтическую инвективу по рукам. 24 мая 1821 г., находясь в Царском Селе, он просил А. И. Тургенева: «Да кстати, приготовь мне три списка моего „Негодования“, или не видать тебе никогда ни полустихия моего».³¹

В 1823 г. Вяземский предпринял попытку напечатать «Негодование» в «Полярной звезде» — 13 октября Бестужев писал ему: «Теперь принимаюсь за свою любезную любовницу, которая от вас, любезный Петр Андреевич, дожидается венеринного пояска, а я, как модный чичероне, благодарю вас за прежний ей подарок: „Негодование“. Это ужас как идет к красавицам».³² Но как ни хотелось Бестужеву поместить «Негодование», цензурный барьер оказался непреодолимым — сообщая о выходе «Полярной звезды», Бестужев писал Вяземскому в январе 1824 г.: «Цензура в этот раз натешилась над нами и над вами, как вы и видели по непомещенным пьесам».³³ Впервые «Негодование» было напечатано в «Собрании сочинений» в 1880 г. (с пропуском, по требованию П. П. Вяземского, 22 строк), а полностью — лишь в советское время (1923).

«Негодование» распространялось в списках: в донесении 1827 г. на Вяземского об этом стихотворении упоминается как о «катехизисе заговорщиков», т. е. декабристов. III Отделение точно определило идейный смысл стихотворения Вяземского — по своему тираноборческому пафосу «Негодование» — наиболее декабристское стихотворение Вяземского, перекликающееся с сатирой Рылеeva «К временщику», с гражданской лирикой В. Ф. Раевского.

Среди бумаг Вяземского сохранился его прозаический перевод на французский язык большей части (111 строк) «Негодования».³⁴ По всей вероятности, он предполагал переслать его за границу для опубликования во французской печати. Между тем отказ Жюльена напечатать присланную Вяземским статью показал ему, что и бесцензурная западноевропейская пресса остерегается ссориться с царским правительством — по-видимому, узнав об этом, Вяземский бросил переводить «Негодование». Если эти соображения правильны, то перевод «Негодования» следует датировать концом 1823 или самым началом 1824 г.

Поражение декабристов не поколебало оппозиционный дух Вяземского, а жестокая расправа над лучшими людьми России

³⁰ Остафьевский архив, т. II, стр. 153.

³¹ Там же, стр. 190.

³² ЛН, т. 60, кн. 1, М., 1956, стр. 208.

³³ Там же, стр. 210.

³⁴ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1010.

вызвала у него возмущение и гнев. Обуревавшие его чувства запечатлены в немногочисленных, но исключительно сильных по накалу гражданского чувства стихотворениях второй половины 1820-х годов.

Приговор по делу декабристов настиг Вяземского в Ревеле, где он жил с семьей только что умершего Карамзина. Потрясенный расправой, учиненной Николаем I над его друзьями и товарищами, Вяземский высказал овладевшие им чувства в стихотворении «Море». Земля, по словам поэта, «людей и времени раба», ее долей шутя играют «владыки, веки и судьба»; не под стать земле морская стихия — обращаясь к волнам, Вяземский писал:

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святости
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымится в ней;
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей.
Свирепых в злобе малодушной!³⁵

Стихи были пересланы из Ревеля в Михайловское. Пушкин, до которого дошел ложный слух о том, что декабрист Н. И. Тургенев арестован в чужих краях и доставлен в Петербург на корабле, тотчас ответил Вяземскому:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славись лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Страшный поэтический диалог под тенью петропавловских виселиц! «Море» удалось напечатать в «Северных цветах на 1828 год»; стихотворение Пушкина было опубликовано лишь посмертно.

Декабрьская катастрофа ожесточила Вяземского. В начале 1828 г. он написал стихотворение «Русский бог», в котором беспощадно осудил крепостническую Россию:

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.
.....
Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях.

³⁵ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 193.

Вот он, вот он русский бог.

Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он русский бог.³⁶

В последних строках содержался недвусмысленный намек на засилие при дворе потомков иноземных выходцев. В первую очередь это был выпад против Нессельроде и Бенкендорфа. Два года спустя Пушкин в «Моей родословной» повторил этот намек; сравнивая своего деда с предками Нессельроде, он писал:

И не был беглым он солдатом
Австрийских пудренных дружин...

«Русский бог» распространялся в списках. Впервые он был напечатан отдельным листком в Вольной русской типографии в Лондоне в 1854 г. Тогда же Н. И. Сазонов сделал немецкий перевод этого стихотворного памфлета для Карла Маркса; в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится этот перевод, написанный рукой Э. Дронке. Перевод прозаический и, по сведениям работников Института, в печати не появлялся.

Герцен высоко ценил агитационное значение «Русского бога», трижды напечатал его: отдельным листком, во второй книжке «Полярной звезды» (1856) и в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» (1861).

Не исключено, что в строке «Бог в особенности немцев» Вяземский имел в виду и самих Романовых. Ведь в его архиве, как известно, хранилась агитационная песня Рылеева «Царь наш — немец русский». Намеки Рылеева и Вяземского становятся понятными, если вспомнить, что Александр I и Николай I были сыновьями императора Павла и принцессы Вюртембергской, внуками герцога Гольштейн-Готторпского и принцессы Ангальт-Цербской.

Эквивоки Рылеева и Вяземского были подхвачены Герценом. В статье «Русские немцы и немецкие русские» (1859) он писал: «Скромно начинаясь подмастерьями, мастерами, гезелями, аптекарями, немцами *при детях*, она (немецкая часть правительствующей в России Германии, — М. Г.) быстро взползает по отлогой лестнице — до немцев *при России*, до ручных Нессельроде, цепных Клейнмихелей, до одноипостасных Бенкендорфов и двухипостасных Адлербергов (*filiiusque*). Выше этих *гор* и *орлов* ничего нет, т. е. ничего земного... над ними олимпийский венок немецких великих княжон с их братьями, дядюшками, дедушками».^{36а}

³⁶ Там же, стр. 216. См. также: С. А. Рейсер. «Русский бог». Известия АН СССР, отделение лит. и языка, т. XX, вып. 1, 1961, стр. 64—69.

^{36а} А. И. Герцен, Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. XIV. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 148—149.

Перевод: с сыном (лат.).

В 1828 г. Вяземский, помимо «Русского бога», написал еще два оппозиционных стихотворения; одно из них, написанное рукой Пушкина, впервые было напечатано Т. Г. Цявловской и М. А. Цявловским в 1935 г.³⁷ Другое стихотворение, написанное на том же листе бумаги почерком Вяземского, до последнего времени оставалось неизвестным:

Я Петербурга не люблю,
Но вас с трудом я покидаю,
Друзья, с которыми гуляю
И, так сказать, немножко пью.

Я Петербурга не люблю,
Но в вас не вижу Петербурга
И Шкурина, Невы Ликурга,
Я в вас следов не признаю.

Я Петербурга не люблю,
Здесь жизнь на вахт-парад похожа,
И жизнь натянута как кожа
На барабане.^{37а}

В начале этого стихотворения, в правом углу листа Пушкин отметил NB и подчеркнул свою помету.

Перед нами дружеский экспромт. Но как необычно последнее четверостишие, как оно выпадает из рационалистической поэзии Вяземского. Человеческое существование приравнено к вахт-параду, к николаевской муштре. Этот образ по ассоциации (парад—барабанщик—барабан) вызывает другой, более емкий и выразительный («И жизнь натянута как кожа на барабане»). Отсутствие рифмы придает дополнительную экспрессивность этому образу.

Обратимся теперь к стихотворению, опубликованному в 1935 г.; оно находится на том же листе бумаги и перед ним имеется позднейшая приписка Вяземского: «мои стихи, Пушкиным переписанные». Приводим полностью это стихотворение вместе с правкой Пушкина:

Казалось мне: [что] теперь служить могу
На здравый смысл, на честь настало время,
И [можно] без стыда несть можно службы бремя,
Не гнув спины, ни Совести в дугу,
И слугу стал просить я службы — Дали?
Да! черта с два! бог даст, мне отвечали.
Обчелся я — знать, не пришла пора
Дать ход уму, и мненьям не наемным.
[Вот как нельзя] Обчелся я: нам, братцы, людям темным
Судить впопад о правилах двора.

³⁷ Рукою Пушкина. Несоборные и неопубликованные тексты. М.—Л., изд. «Academia», 1935, стр. 511—512.

^{37а} ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1603. — Шкурин Александр Сергеевич — майор. обер-полицейстер Петербурга.

Комментируя запись этого стихотворения, М. А. Цявловский писал: «Это стихотворение Вяземского не опубликовано. Написано оно могло быть в то время, когда исключенный со службы (в Варшаве) в 1821 г. Вяземский, как политически „неблагонадежный“, был в опале у правительства до апреля 1831 г. Пушкин, общавшийся с Вяземским с сентября 1826 г., в 1826—1830 гг. и мог записать это стихотворение».³⁸ Между тем сопоставление обоих стихотворений с биографией Вяземского позволяет точно датировать время написания этих стихотворений — они относятся к концу апреля—началу мая 1828 г., когда Вяземский, получив отказ в месте при Главной квартире русских войск, готовился вернуться из Петербурга в Москву.

Последние две строчки Пушкину не понравились: он начал правку, предложил повторить оборот «Обчелся я», но не довел исправление до конца — оставалось еще заменить слово «впопад» другим выражением: в оригинале это слово то ли замарано, то ли вычеркнуто, но не заменено ничем.

Окончательный текст последних строк дан в письме Вяземского к Н. А. Муханову: «Скажите Пушкину непременно и пожалуйста немедленно: Вот как отнюдь нам, братцы, людям темным, нельзя судить <о правилах двора>. Отнюдь тем слово хорошее, что оно историческое. Он вам всё это объяснит» (РА, 1905, кн. 1, с. 328—329). Это был намек на Николая I, который отказал Вяземскому в назначении в Главную квартиру русских войск, мотивируя тем, что «отнюдь все места в оной заняты».

Листок с стихотворениями Вяземского, по-видимому, после смерти Пушкина был найден Жуковским в его бумагах и возвращен Вяземскому; затем многие годы он хранился среди бумаг Остафьевского архива.

Тема стихотворения Вяземского была близка Пушкину — достаточно вспомнить, что в 1836 г. в стихотворении «Из Пиндемонти» Пушкин писал:

Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливрен
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. . .

В том же психологическом и общественном ключе написана политическая инвектива Вяземского «К ним», впервые напечатанная Пушкиным, вопреки возражениям Жуковского, в январе 1830 г. в «Литературной газете» Дельвига. Сохранился первоначальный автограф этого стихотворения Вяземского с пометами

³⁸ Рукою Пушкина, стр. 512.

Пушкина;³⁹ некоторые замечания Пушкина Вяземский учел. Вверху справа написано рукой Пушкина: «Ради Христа, очисти эти стихи — они стоят „Уныния“». Последние две строфы Пушкин отчеркнул и написал против них: «Прекрасно». Вот эти строфы:

Сей дар для избранных бывает мздой и казнью,
Его ношу в груди, болящей от забот,
Как мать преступная с любовью и боязнью
Во чреве носит тайный плод.
Еще до бытия приял, враждой закона,
Он отвержения печать;
Он гордо ближними от их отринут лона,
Как бытия крамольный тать.

И я за кровный дар перед толпой краснею,
И только в тишине, и скрытно от людей,
Я бремя милое ледею
И промысл за него молю у алтарей.
Счастливы! Вы и я, мы служим двум фортунам.
Я к вашей не прошусь; моя мне зарекла
Противопоставлять волнению и перунам
Мир чистой совести и хладный мир чела.⁴⁰

Спустя четыре месяца после опубликования «К ним», в июне 1830 г. Пушкин написал сонет «Поэт», в котором, как и в стихотворении Вяземского, звучала неукротимая вражда к великосветскому обществу:

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной;
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Отразившись в сонете Пушкина, стихотворение «К ним» в свою очередь несет на себе явный след пушкинского творчества: ключевой художественный образ стихотворения Вяземского навеян исповедью Мазепы:

Тогда, смирясь в бессильном гневе,
Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее — как мать во чреве
Младенца носит...

Стихотворение «К ним» убедительно показывает, какими подспудными, взаимно нерасторжимыми разветвлениями связана поэзия Пушкина и Вяземского.

Стихотворение «К ним» — пограничная межа в политической лирике Вяземского, лебединая песня его либерализма. Эволюция его взглядов в последующие годы привела к уменьшению удельного веса гражданской тематики в его поэзии. Начиная с 1830-х го-

³⁹ Фотокопия чернового автографа «К ним» с пометами Пушкина воспроизведена в издании: П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, между стр. 204—205.

⁴⁰ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 217.

дов в его творчестве начинает преобладать философская, пейзажная и интимная лирика.

Политическая лирика молодого Вяземского — существеннейшая часть его поэзии 1810-х—1820-х годов; но она не исчерпывает его поэтического наследия этих лет. В ранней лирике Вяземского широко представлены послания, как дидактические, написанные александрийским стихом, так и шуточные дружеские послания различных ямбических размеров.

Дидактические послания Вяземского уходят своими корнями в поэтическую культуру XVII—XVIII вв., соприкасаясь с жанром сатиры. Так, послания «К перу моему» (1816) и «К В. А. Жуковскому» (1819) — это подражания-переделки сатир Буало (седьмой и второй). Именно сатиры Буало, а не его «Поэтическое искусство», ценились более всего в арзамасском кругу. Батюшков «перевел» на русские нравы первую сатиру Буало, отголоски его сатир (особенно девятой) заметны в первом напечатанном произведении Пушкина «Другу стихотворцу».⁴¹ Творчество молодого Буало, еще далекого от двора Людовика XIV, Буало-вольнодумца находило живейший отклик у арзамасцев.

Однако послания Вяземского, как правило, лишены сатирического накала Буало: понимая невозможность протиснуть сквозь цензурные рогатки выпады против литературных противников, Вяземский включал в свои послания лишь общие рассуждения о творчестве, сентенции об отличии произведений истинной поэзии от безжизненного эпигонского подражания. Правда, в середине 1810-х годов в послании к Жуковскому он смело нападал на Хвостова, Шишкова, Ширинского-Шихматова и Шаховского, но, по-видимому, не случайно это послание впервые было напечатано лишь в 1935 г. В архиве братьев Тургеневых сохранился текст этого послания с заменой личных имен на условные, литературные; но и в таком виде намеки на личности оставались столь явственными, что послание осталось лежать под спудом. Из всех посланий Вяземского исключение представляет лишь «Послание к М. Т. Каченовскому», напечатанное при содействии А. И. Тургенева. Несмотря на усечение некоторых строк, это было первоклассное боевое послание, заслуженно имевшее шумный успех у современников.

Из дружеских посланий Вяземского обращает на себя внимание послание к Федору Толстому (1818). Дуэлянт, скандалист, картежный игрок и вместе с тем одаренный, образованный человек, бывший на дружеской ноге со многими писателями, Федор Толстой был колоритнейшей фигурой того времени. Вяземскому удалось написать психологически верный портрет этого незаурядного иска-

⁴¹ О восприятии Пушкиным сатир Буало, о проведении им аналогий между борьбой Буало с традициями Пляды и литературными схватками карамзинистов с шишковистами см.: Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., изд. «Советский писатель», 1960, стр. 106—111.

теля приключений, участника кругосветного плавания адмирала Крузенштерна, дважды разжалованного за дуэли в солдаты и вернувшего себе офицерский чин бесстрашием в боях во время Отечественной войны 1812 г.:

Американец и цыган
На свете нравственным загадка,
Которого как лихорадка,
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай!
Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист;
Под бурей рока — твердый камень!
В волненьях страсти — легкий лист.⁴²

Последние две строки Пушкин хотел взять эпиграфом к «Кавказскому пленнику», и лишь ссора с Федором Толстым побудила поэта зачеркнуть эпиграф. «Понимаешь, — писал он Вяземскому, — почему не оставил его. Но за твои 4 стиха я бы отдал 3 четверти своей поэмы».⁴³ Желание Пушкина поставить две центральные строки этого психологически отшлифованного портрета эпиграфом к своей поэме указывает на то, что в образе Федора Толстого Вяземский изобразил черты того художественного типа, который волновал воображение Пушкина во время работы над «Кавказским пленником».

Значительное место в творчестве молодого Вяземского занимает пейзажная и медитативная лирика — стихотворения «Первый снег» (1819, напечатано 1822) и «Уныние» (1819, напечатано 1820) принесли ему славу лирического поэта. Продолжая державинскую традицию, Вяземский создал в «Первом снеге» вдохновенную картину русской природы:

Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой;
Там, темный изумруд посыпав серебром,
На мрачной сосне он разрисовал узоры.
Рассеялись пары и засверкали горы,
И солнца шар вспылал на своде голубом.
Волшебницей зимой весь мир преобразован;
Цепями льдыстыми покорный пруд окован
И синим зеркалом сравнялся в берегах.⁴⁴

Щедрым, размашистым пером изображена Вяземским зимняя прогулка:

Покинем, милый друг, темницы мрачный кров!
Красивый выходец кипящих табунов,
Ревнуя на бегу с крылатоногой ланью,

⁴² П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 114—115.

⁴³ Пушкин, т. XIII, стр. 70. Письмо от 14 октября 1823 г.

⁴⁴ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 130. — Н. О. Лернер отметил воздействие горацанской оды В. В. Капниста «Другу моему» на описание

Топоча хрупкий снег, нас по полю помчит.
Украшен твой наряд лесов сибирских данью,
И соболь на тебе чернеет и блестит.
Презрев мороза гнев и тщетные угрозы,
Румяных щек твоих свежей алеют розы,
И лилея свежей белеет на челе.

Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладости!
Кто в тесноте саней с красавицей младой,
Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой,
Жал руку, нежную в самом сопротивленьи,
И в сердце девственном впервой любви смятенья,
И думу первую, и первый вздох зажег,
В победе сей других побед прияв залог.
Кто может выразить счастливец упоенье?
Как вьюга легкая их окриленный бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвивая,
Сребристой пылью окидывает их.
Стеснилось время им в один крылатый миг.
По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопится, и чувствовать спешит.⁴⁵

Последнюю строку, как известно, Пушкин взял эпиграфом к первой главе «Евгения Онегина».⁴⁶ В марте 1823 г. Пушкин писал Вяземскому: «Благодарю тебя за письмо, а не за стихи: мне в них не было нужды — Первый снег я читал еще в 20 году и знаю наизусть».⁴⁷

В пятой главе «Евгения Онегина» Пушкин посвятил прочувствованные строки «Первому снегу»:

Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!

Г. А. Гуковский писал об этой строфе: «Это не столько комплимент Вяземскому, сколько полемика с поэтом того стиля, который

знымы в «Первом снеге» (в сб.: Звенья, V, М.—Л., изд. «Academia», 1935, стр. 115—118).

⁴⁵ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 130—131.

⁴⁶ В IX строфе первой главы (не включенной в окончательный текст «Евгения Онегина») содержалась еще одна реминисценция из «Первого снега»:

Прелестный опыт упреждая,
Мы только счастья вредим.
Незнание скроется, а с ним
Уйдет горячность молодая.

⁴⁷ Пушкин, т. XIII, стр. 59.

был осужден Пушкиным в образе Онегина и его среды. Отсюда и „высокая“ стилистика рядом с симпатией к облучкам, Жучкам и тулупам, звучащая почти пародийно, и изыск — „согретый вдохновенья богом“, и роскошный слог, и „неги“, имеющие к тому же разнообразные оттенки. Далее Пушкин прямо отказывается от манеры Вяземского, заодно и Баратынского. <...> Причина и основание этого отмежевания Пушкина ясны; следующая же строка раскрывает их:

Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму...

Здесь сформулирована тема Пушкина: настоящая, ненадуманная народность души, тема, чуждая и Вяземскому и Баратынскому». ⁴⁸

Сопоставим суждение Г. А. Гуковского с полемикой между Вяземским и А. И. Тургеневым по поводу «Первого снега». 22 ноября 1819 г. Вяземский, посылая А. И. Тургеневу это стихотворение, писал: «По моему мнению, эти стихи — мои выродки. Тут есть русская краска, чего ни в каких почти стихах наших нет. Русского поэта по физиономии не узнаешь. Вы все не довольны в этом убеждены, а я помню, раз и смеялись надо мною, когда называл себя отличительно русским поэтом, или стихомарателем; тут дело идет не о достоинстве, а о отпечатке; не о сладкоречивости, а о выговоре; не о стройности движений, а о народности некоторых замашек коренных». ⁴⁹

10 декабря 1819 г. А. И. Тургенев ответил Вяземскому: «Но почему же ты по этим стихам называешь себя преимущественно русским поэтом и находишь в нем русские краски? Эти стихи более других принадлежат блестящей поэзии французской: ты в них Делиль. Описание, манер — его, а не совершенно оригинальный». ⁵⁰ Отзыв А. И. Тургенева возмутил Вяземского: «Отчего ты думаешь, что я по первому снегу ехал за Делилем? Где у него подобная картина? Я себя называю природным русским поэтом потому, что копаюсь все на своей земле. Более или менее ругаю, хвалю, описываю русское: русскую зиму, чухонский Петербург, петербургское рождество и пр., и пр.; вот что я пою. В большей части поэтов наших, кроме торжественных од, и то потому, что нельзя же врагов хвалить, ничего нет своего. Возьми Дмитриева: только в лирике слышно русское наречие и русские имена; все прочее — всех цветов и всех голосов, и потому все без цвета и без голоса. Отчего Вольтер французее Расина? Тот боялся отечественного, как Уваров боится говорить по-русски; другой — напро-

⁴⁸ Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., Гослитиздат, 1957, стр. 213—214.

⁴⁹ Остафьевский архив, т. I, стр. 357.

⁵⁰ Там же, стр. 369—370

тив, хватался за все свое, пел Генриха, французских рыцарей и <— —> древними. Вот, моя милуша, отчего я пойду в потомство с российским гербом на лбу, как вы, мои современники, ни французьте меня».⁵¹

Отказывая Вяземскому в народности, Г. А. Гуковский повторил упрек А. И. Тургенева, вызвавший пламенное опровержение автора «Первого снега». Г. А. Гуковский не обратил внимание и на то, что, не вступая в соперничество с Вяземским и Баратынским, Пушкин написал «покамест», и это словечко было брошено им не на ветер: вскоре, осенью 1827 г., в седьмой главе «Евгения Онегина» Пушкин уже в несколько ином стилистическом ключе, нежели в пятой главе, писал о наступлении зимы:

Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.

В ноябре 1829 г. Пушкин продолжил состязание с Вяземским в стихотворении «Зимнее утро»:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись!

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

В это же время в стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне?...» Пушкин перефразировал строки из «Первого снега»:

Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

⁵¹ Там же, стр. 376—377.

И, наконец, в отрывке «Осень» (1833) снова отзвук стихотворения Вяземского:

Суровую зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под сободем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожая!

Как мы видим, Пушкин неоднократно возвращался к «Первому снегу» Вяземского. В зависимости от того или иного стилистического задания меняется взаимосвязь между стихами обоих поэтов. Стремясь живописать в пятой главе «Евгения Онегина» простонародную стихию русской деревни, Пушкин нарочито подчеркивает стилистическую полемичность своих стихов; но уже в седьмой главе романа он пишет в близком Вяземскому стилистическом ключе, достигая при этом значительно большей легкости и лаконичности. Наконец, в «Зимнем утре» Пушкин вступает в прямое поэтическое единоборство с Вяземским и побеждает его.

Многое привлекало Пушкина в «Первом снеге» — недаром, по его собственному признанию, он знал его наизусть. И прежде всего ему была родственна, близка общая тональность стихотворения Вяземского. Афористическая строка «И, жить торопится, и чувствовать спешит» точно характеризует душевное состояние Онегина в начале романа; в лирическом герое «Первого снега» Пушкин увидел прообраз своего будущего героя. Поэтическая находка Вяземского оказалась как нельзя кстати творцу «Евгения Онегина»: «Первый снег» Вяземского способствовал кристаллизации замысла романа в стихах.

Вслед за «Первым снегом» из-под пера Вяземского вылилось полное светлых и грустных раздумий «Уныние». В апреле 1820 г. Пушкин писал Вяземскому: «Круг поэтов делается час от часу теснее — скоро мы будем принуждены, по недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо. — И то хорошо. Покаместь присылай нам своих стихов; они пленительны и оживительны — Первый снег прелесть; Уныние — прелестнее».⁵² Видимо, весной 1820 г. под непосредственным впечатлением от чтения этих произведений Вяземского Пушкин написал его стихотворный портрет:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.⁵³

⁵² Пушкин, т. XIII, стр. 15.

⁵³ Впервые напечатано в «Полярной звезде на 1824 год», без раскрытия адресата, за подписью «х».

В проникновенном автопортрете, написанном Вяземским в «Унынии», для Пушкина и его современников вставал образ вольнолюбивого поэта, страждущего под гнетом произвола:

Уныние! вернейший друг души!
С которым я делю печаль и радость,
Ты легким сумраком мою одело младость,
И расцвела весна моя в тиши.

Я счастье знал, но молнией мгновенной
Оно означило туманный небосклон,
Его лишь взвидел взор, блистаньем ослепленный,
Я не жалел о нем: не к счастью я рожден.

Болтливья молвы не требуя похвал,
Я подвиг бытия означил тесным кругом:
Пред алтарем души в смиреньи клятву дал
Тирану быть врагом и жертве верным другом.

С улыбкою любви, в венках из свежих роз,
На пир роскошества влекли меня забавы;
Но сколько в нектар их я пролил горьких слез,
И чаша радости была сосуд отравы.

Уныние! все с тобой крепило мой союз;
Неверность льстивых благ была мне поученьем;
Ты сблизило меня с полезным размышленьем
И привело под сень миролюбивых муз.

Уныние! с коим я делю печаль и радость,
Единый друг обманутой души,
Под сумраком твоим моя угасла младость,
Пускай и полдень мой прокрадется в тиши.⁵⁴

Первый читатель этого стихотворения, А. И. Тургенев писал Вяземскому 17 декабря 1819 г.: «„Уныние“ также прекрасно. Есть стихи удивительные, например:

И яркою браздой прорезать мглу веков

Славолюбец запомнит этот стих с первого разу. В нем вся жизнь его и цель его жизни.

Забвеньем зарастет безмолвная могила —

смело и хорошо!

Святую ненависть к бесчестному зажгла
И чистую любовь к изящному и благу —

этими стихами можно зажечь любовь к поэзии и к поэту, который написал их. „Святая ненависть“ — прелестно!

Тирану быть врагом и жертве верным другом —

я повторил эту клятву в сердце своем, когда прочел стих. Он в меня врезался, ибо чувство сродное его приняло».⁵⁵

⁵⁴ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 134—136.

⁵⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 374—375.

«Уныние» воспринималось современниками сквозь призму вольнолюбивых и сатирических произведений поэта: то, что было договорено в «Унынии», угадывалось при соотнесении этого стихотворения со всем творчеством Вяземского — за его личной коллизией ощущалась трагедия общественная, глубокая неудовлетворенность передовых людей того времени политическим строем России.

В письмах Пушкина разбросано много восторженных отзывов о поэзии Вяземского. Пушкин находил в его стихах оригинальные мысли, замысловатые остроты, язвительные сравнения, умение

Смеяться весело над злобою ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой.

В сентябре 1825 г. Пушкин в письме к Вяземскому шутиливо и остроумно писал о близости их поэзии:

Сатирик и поэт любовный,
Наш Аристип и Асмодей,
Ты не племянник Анны Львовны,
Покойной тетушки моей.
Писатель нежный, тонкий, острый,
Мой дядюшка — не дядя твой,
Но, милый, — музы наши сестры,
Итак, ты все же братец мой.

С середины 1820-х годов в творчестве Вяземского все явственнее начинает ощущаться влияние поэзии Пушкина. В главе из путешествия в стихах «Станция» (1825) и в «Коляске» (1826) проступают разговорные интонации первых глав «Евгения Онегина». Воздействие пушкинского стиха сказывается в эти годы также в пейзажной и интимной лирике Вяземского — это воздействие можно отметить как в содержании стихотворений, так и в их форме. Пейзажная лирика Вяземского вбирает постепенно в себя философскую проблематику, поэтические сравнения становятся более точными и емкими. В стихотворении Вяземского «Дорожная дума» (1830) отразилась «однозвучной жизни шум» из стихотворения «Дар напрасный, дар случайный» (1828) и душевное настроение Пушкина, высказанное в «Зимней дороге» (1826). Как и у Пушкина, в стихотворении Вяземского мир вещественный приоткрывает завесу в мир духовный:

Колокольчик однозвучный,
Крик протяжный ямщика,
Зимней степи сумрак скучный,
Саван неба, облака!
И простертый саван снежный
На холодный труп земли!
Вы в какой-то мир безбрежный
Ум и сердце занесли.

И в бесчувственности праздной,
Между бдения и сна,

В глубь тоски однообразной
Мысль моя погружена.
Мне не скучно, мне не грустно, —
Будто роздых бытия!
Но не выразить изустно,
Чем так смутно полон я.⁵⁶

По-пушкински энергично звучит заключительный аккорд стихотворения Вяземского «Леса» (1830):

И из груди, как узник из твердыни,
Вотще кипел, вотще мой рвался стих.⁵⁷

Творческой транскрипцией «Бесов» Пушкина является стихотворение Вяземского «Еще тройка» (1834).⁵⁸

Под влиянием лирики Пушкина поэтические штампы, свойственные ранним образчикам любовной лирики Вяземского, уступают место глубоко прочувствованным, художественно отделанным миниатюрам. Вот набросок 1821 г.:

Где вы, черные очи,
Где вы, звезды мои?
Мне без вас — дни и ночи
Без надежд и любви.

На кого вы глядите?
Кого жжете огнем?
Для кого вы блестите
Мне знакомым лучом?

(III, 245).

Перед нами безликий трафарет; такие строки могли быть написаны кем угодно и кому угодно. Семь лет спустя на эту же тему Вяземский написал стихотворение «Черные очи», посвященное А. О. Россет-Смирновой:

Южные звезды! Черные очи!
Неба чужого огни!
Вас ли встречают взоры мои
На небе хладном бледной полночи?

Юга созвездье! Сердца зенит!
Сердце, любяся вами,
Южную негой, южными снами
Бьется, томится, кипит.

⁵⁶ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 220. — Впервые опубликовано: «Литературная газета», 1830, № 3, 11 января, стр. 20. Десять лет спустя Лермонтов в стихотворении «И скучно и грустно» (1840) вступил в спор с Вяземским: оба стихотворения написаны в минорном ключе, однако по сравнению с горечью стихотворения Лермонтова грусть Вяземского более просветленная, более пушкинская.

⁵⁷ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 222.

⁵⁸ О «дорожной теме» у Пушкина и Вяземского см.: М. П. Алексеев. Пушкин и наука его времени. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. М.—Л., Изд. АН СССР, 1956, стр. 88—100.

Тайным восторгом сердце объято,
В вашем сгорая огне;
Звуков Петрарки, песней Торквато
Ищешь в немой глубине.

Тщетны порывы! Глухи напевы!
В сердце нет песней, увы!
Южные очи северной девы,
Нежных и страстных, как вы!⁵⁹

Достаточно сравнить эти два стихотворения, чтобы убедиться, насколько возмужала лирическая струя поэзии Вяземского. Послание Вяземского к А. О. Россет-Смирновой вызвало стихотворный отклик Пушкина «Ее глаза (в ответ на стихи князя Вяземского)»:

Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей:
Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты! . . .
Потупит их с улыбкой Деяла —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

Вяземский не остался в долгу перед Пушкиным; вскоре он написал стихотворение «Слеза» (1829), которое по своей тональности вызывает в памяти пушкинский дифирамб А. А. Олениной:

Когда печали неотступной
В тебе подымется гроза
И нехотя слезою крупной
Твои увлажятся глаза,

Я и в то время с наслажденьем,
Еще внимательней, нежней
Любуюсь милым выраженьем
Пригожей горести твоей.

С лазурью голубого ока
Играет зыбкий блеск слезы,
И мне сдается: перл Востока
Скатился с светлой бирюзы.⁶⁰

⁵⁹ Там же, стр. 209—210.

⁶⁰ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 219. — В 1834 г. был издан романс В. А. Сабуровой, написанный на слова этого стихотворения (об этом см.: Б. Штейнпресс. Страницы из жизни А. А. Алябьева. М., Муз-

Отмечая влияние творчества Пушкина на совершенствование художественного мастерства Вяземского, необходимо указать, что это воздействие, как бы существенно оно ни было, не поколебало преобладания рационалистического начала в его поэзии. Если эпигоны целиком растворяются в образце, принятом ими для подражания, и вырабатывают поэтические клише, в которых измельчаются и стираются самобытные черты выдающихся творений, то влияние гения на талантливое, оригинальное поэта носит принципиально другой характер. Ярко выраженная индивидуальность Вяземского помогла ему оказать сопротивление всепокоряющей силе пушкинского стиха: он заимствовал и использовал только то, что не противоречило основным категориям его поэтического мышления. В этом отношении несомненный интерес представляет реакция Вяземского на критические замечания Пушкина, относящиеся к стихотворениям «Нарвский водопад» и «К ним».

Из трех замечаний Пушкина по поводу стихотворения «К ним» Вяземский принял только одно — против строчки «Новорожденному дар на зубок был нужен» Пушкин написал: «Княгиня права, что морщится», после чего Вяземский исправил этот стих: «В раскладке жребиев участок был мне нужен», уточняя свою мысль и сделав стих более гладким.

Однако остальные предложения Пушкина Вяземский не считал возможным использовать. В конце строк

Всмотритесь, истиной прочистите глаза:
Она утешит вас моею наготою,
Быть может, язвами, которыми гроза
Меня прожгла незримою стрелою,

Пушкин последние два слова взял в скобки и написал сбоку: «лишнее». Вяземский не исправил это место: видимо, он считал, что метафорическое выражение «истиной прочистите глаза», которое явно было в духе его стилистики, гармонирует с метафорой «незримою стрелою».

Показателен и второй случай — вместо «Ему подвластные он обрекает дни» Пушкин предложил написать «Он обрекает наши дни». Строка приобрела бы большую плавность, но утратила бы оттенок мысли, связанный с эпитетом «подвластные»; Вяземский предпочел оставить более тяжеловесный стих.

Летом 1825 г. Вяземский послал Пушкину стихотворение «Нарвский водопад». Похвалив некоторые строфы, Пушкин предложил внести ряд изменений; восьмую строфу посоветовал исклю-

издат, 1956, стр. 247). Ценные наблюдения о взаимовлиянии поэзии Пушкина и Вяземского см.: И. Н. Розанов. Князь Вяземский и Пушкин. М., 1915; П. М. Бидляй. Пушкин и Вяземский. Ежегодник Софийского унив., т. XXXV, вып. 15, 1939, стр. 1—50. — О воздействии посвящения «Евгения Онегина» на стихотворение Вяземского «Примите белые листы» (1830) см.: Е. М. Блинова. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина». М., изд. «Книга», 1966, стр. 158.

чить вовсе. Вяземский принял минимальное количество поправок, и только те, которые не противоречили его художественной системе. В первой строфе он уничтожил замеченную Пушкиным тавтологию (с гневом, сердитый), написав: «Несись с неукротимым гневом, Мязежной влаги властелин!». В четвертой строфе у Вяземского была строчка: «Твоих междуусобных вод»; Пушкин отметил, что эпитет «междуусобный» «не заключает в себе идеи брани, спора — должно непременно тут дополнить смысл». ⁶¹ Вяземский согласился с замечанием, исправив: «Междуусобных бурных вод». В седьмой строфе вместо забракованного Пушкиным выражения «питомец тайной бури» Вяземский поставил «созданье тайной бури». В последней строфе по совету Пушкина глагол «разгорится» Вяземский заменил глаголом «разразится».

Между тем наиболее существенные предложения Пушкина Вяземский не принял, так как, по его мнению, они нарушали его замысел. Отвечая Пушкину, Вяземский с непреклонной убежденностью восклицал: «Вбей себе в голову, что этот весь водопад не что иное, как человек, взбитый внезапную страстию. С этой точки зрения, кажется, все части соглашаются, и все выражения получают une argûte pens e, которая отзывается везде». ⁶²

Перед нами принципиальное расхождение между художественным мышлением Пушкина и Вяземского. Для Пушкина описание водопада представляло творческую цель само по себе, без каких бы то ни было применений и аллюзий; для Вяземского все стихотворение было развернутой метафорой, и в угоду этого второго плана — для него первостепенного — он готов был допустить неточности и натяжки, если при этом рельефнее проявлялась авторская мысль.

Став во многом учеником Пушкина в области стиха, совершенствуя свое поэтическое мастерство под могучим влиянием его творчества, Вяземский тем не менее в области художественного мышления остался в основном адептом классицизма. Хотя с середины 1820-х годов в его поэзии жанровая обособленность начинает уступать место новым видам лирики — пейзажной, интимной, философской, отражая общую закономерность развития русской поэзии того времени (на смену иерархии жанров классицизма пришли иные стилистические принципы и эстетические соотношения), тем не менее по своим существенным признакам поэзия Вяземского сохраняла рационалистический характер поэтики классицизма.

⁶¹ Пушкин, т. XIII, стр. 209.

⁶² Там же, стр. 223.





ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

НА ПЕРЕЛОМЕ (1840-е ГОДЫ)

В 1830-е годы прогрессивные литературно-критические воззрения Вяземского начинают приходить в противоречие с его общественной позицией. 27 августа 1833 г. он писал А. И. Тургеневу: «В летах молодости и мы должны иметь жар, запальчивость, резкость, односторонность, исключительность газеты; в летах опыта — хладнокровие, самопознание, суд, но и бесстрашность истории».¹ Заканчивая неделю спустя это письмо, Вяземский призывал А. И. Тургенева «у подножия памятника Карамзина совершить мировую с прошедшим».² Безысходная усталость слышится в его письме к А. И. Тургеневу от 1 августа 1835 г.: «Не сердись на меня, что пишу редко; право не пишется, да и не о чем писать. Никого не вижу, нигде не бываю, ничего нет живого в сердце и в жизни, также и в уме».³

Последующие годы не принесли ничего утешительного. Трагически отозвалась на Вяземском безвременная гибель Пушкина; он воспринял ее как тяжелый удар судьбы. В его стихах на смерть Пушкина нет публицистической запальчивости Лермонтова, обвинения виновников гибели поэта. Это — не политическая инвектива, а реквием. Чувство непоправимой утраты проникает в душу при чтении этого надгробного слова:

Я вас напутствую единым скорбным словом,
Затем, что скорбь моя превыше сил моих;
И, верный памятник сердечных слез и стона,
Вам затвердит одно рыдающий мой стих:
Что яркая звезда с родного небосклона
Внезапно сорвана среди бури роковой,
Что песни лучшие поэзии родной

¹ Остафьевский архив, т. III, стр. 250.

² Там же, стр. 252.

³ Там же, стр. 272.

Внезапно замерли на лире онемелой,
Что пал во всей поре красы и славы зрелой
Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней,
Который трепетом и сладкозвучным шумом
От сна воспрянувших пророческих ветвей
Вещал глагол богов на севере угрюмом,
Что навсегда умолк любимый наш поэт,
Что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет.⁴

Вскоре, в октябре 1837 г., в Москве скончался И. И. Дмитриев. Быстро редело литературное окружение Вяземского. Черный 1837 г. Вяземский заключил мрачным стихотворением «Я пережил и многое, и многих», в котором писал:

По бороздам серпом пожатой пашни
Найдешь еще, быть может, жизни след;
Во мне найдешь, быть может, след вчерашний, —
Но ничего уж завтрашнего нет.
Жизнь разочлась со мной; она не в силах
Мне то отдать, что у меня взяла
И что земля в глухих своих могилах
Безжалостно навеки погребла.⁵

В 1838—1839 гг. Вяземский совершил путешествие по Западной Европе: побывал в Германии, Франции и Англии. Наконец-то он посетил Париж, который с юных лет казался ему землей обетованной. Однако за протекшие годы изменилась Франция, изменился Вяземский. «Пятнадцать лет ранее, — пишет В. С. Нечаева, — он переживал французские парламентские бои, как свое личное, кровное дело, и, находя в них ответы на многие вопросы, поставленные русской жизнью, горячо аплодировал Б. Констану и другим. Теперь он высказывает опасение, что конечным результатом этих „передряг“ будет то, что „привалит... такое министерство, что только и будет кричать «Держи лево!» и все и всех перебьет“.⁶ Отвернувшись от Франции Луи-Филиппа, Вяземский противопоставлял ей консервативную Англию; которая, по его словам, «рай человеческий, рай рукотворный, умотворный, как Италия — рай небесный. Только эти две страны и стоят чего-нибудь, а все прочее хоть потопом залей».⁷

В 1840 г. на Вяземского снова обрушилось горе: умерла дочь Надежда; десятилетие началось сумрачно и печально. Свое настроение он излил в стихотворении «Смерть жатву жизни косит, косит» (1840), в котором писал:

Как много сверстников не стало,
Как много младших уж сошло,
Которых утро рассветало,
Когда нас знойным полднем жгло.

⁴ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 253.

⁵ Там же, стр. 252.

⁶ ДН, т. 31—32, М., 1937, стр. 15.

⁷ Там же, стр. 119.

А мы остались, уцелели
Из этой сечи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой.

Сыны другого поколения,
Мы в новом — прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим — в них сочувствий нет.

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.

Так, мы развалинам подобны,
И на распутии живых
Стоим, как памятник надгробный
Среди обителей людских.⁸

Эти строки вызвали сочувственный отклик Белинского: «...мы не можем без живой симпатии читать этих стихов, в которых отжившее свой век поколение, в лице одного из замечательнейших своих представителей, с такою грустною искренностью признает себя побежденным и, отказываясь делить интересы нового поколения, уже не обвиняет его за то, что оно живет жизнью тоже своего, а не чужого времени».⁹

Поправение Вяземского было исторически обусловлено: чем громче раздавались голоса вступающих на общественную арену разночинцев, тем консервативнее становились многие некогда оппозиционные дворянские писатели. Неумолимая логика общественного развития превращала оппозиционеров в консерваторов. Не избегал этой участи и Вяземский; в своих пометах на полях «Сочинений» Белинского он с раздражением писал: «Полевой реди Белинского, Белинский реди легион». В этой лапидарной формуле Вяземский предельно четко выразил классовую направленность своей идейной позиции, с беспощадной прямоотой высказал свое неприятие передовых общественных сил России.

Однако переход Вяземского на консервативные позиции был долгим и болезненным процессом. Отгородившись от разночинцев, он в то же время не нашел достаточного контакта и с противоположным общественным лагерем. К Николаю I и его окружению Вяземский продолжал питать неприязненные чувства.

⁸ П. А. Вяземский, Стихотворения, стр. 266—267. — Во всех изданиях это стихотворение ошибочно датируется 1841 г.; между тем цензурное разрешение на альманах «Утренняя заря на 1841 год», где оно было напечатано, помечено 30 октября 1840 г.

⁹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, 1955, стр. 436.

Его записные книжки 1840-х годов испещрены едкими замечаниями по адресу режима Николая I. Вот одна из характерных записей: «Для некоторых любить отечество — значит дорожить и гордиться Карамзиным, Жуковским, Пушкиным и тому подобными и подобным. Для других любить отечество — значит любить и держаться Бенкендорфа, Чернышева, Клейнмихеля и [подобное тому] прочих и прочего. Будто тот не любит отечества, кто скорбит о худых мерах правительства, а любит его тот, кто потворствует мыслью, совестью и действием всем глупостям и противозаконностям людей, облеченных властью?»¹⁰

В этих словах не трудно расслышать отзвук суждения Вяземского 1820-х годов о двух видах патриотизма, квасном и истинном. Это указывает на сложный характер его политической эволюции, на то, что на отдельных ее этапах в его сознании совмещались, казалось бы, несовместимые элементы.

Хотя Николай I не читал крамольных записей Вяземского, отношение властей к нему было по-прежнему настороженным — его накрепко приковали к ненавистной ему финансовой колеснице; в 1845 г. он был назначен управляющим Государственным заемным банком, в декабре 1848 г. пожалован орденом св. Станислава первой степени; получая эту награду 6 февраля 1849 г., Вяземский отметил: «Представлялся сегодня государю благодарить за Станислава. Кажется, с 39-го или с 40-го года не был я во дворце».¹¹ Случай беспрецедентный! Прожить в столице без малого десять лет, быть камергером, видным чиновником Министерства финансов — и не бывать на приемах в Зимнем дворце; нужны ли еще доказательства того, что Николай I видел в Вяземском своего недоброжелателя?

Реформы, проводимые правительством, вызывали недовольство Вяземского. Он критиковал свод законов 1842 г. за ущемление прав дворянства.¹² Энергичное возражение Вяземского вызвал указ 2 апреля 1842 г. об обязанных крестьянах, по которому предусматривалось прикрепление крестьян не к личности помещика, а к именным с обеспечением их определенным земельным участком: «Никто не сможет отрицать, что вопрос о рабстве является у нас наиболее важным вопросом, разрешения которого желают все просвещенные и благонамеренные умы. Но ведь следует подготовить основания и условия этого решения, а не бросать его, как бомбу, в толпу. Невозможно применить закон таким, каким он был опубликован, — вот действие правительства».¹³

25 июня 1844 г. Вяземский записал: «У нас самодержавие значит, что в России все само собою держится: при действии од-

¹⁰ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 275—276. Запись конца 1841 или начала 1842 г.

¹¹ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 301.

¹² Там же, стр. 278.

¹³ Там же, стр. 280. Подлинник по-французски.

них людей все рушилось бы давным давно». ¹⁴ Еще резче его запись от конца 1844 г.: «Вся государственная процедура заключается у нас в двух приемах: в рукоположении и в рукоприкладстве. Власть положит руки на Ивана, на Петра и говорит одному: ты будь министр внутренних дел, другому — ты будь правитель таких-то областей, а Иван и Петр подписывают имена свои под исходящими бумагами. Власть видит, что бумажная мельница в ходу, что миллионы нумеров вылетают из нее безостановочно, и остается в спокойном убеждении, что она совершенно права перед богом и людьми». ¹⁵

В записях Вяземского 1840-х годов даны злые, убийственные отзывы о высших государственных сановниках. Запись 24 мая 1844 г. метит в самого Николая I: «Людовик XIV говорил: „Государство — это я!“. Кто-то другой мог бы сказать еще более верно: анархия — это я!» ¹⁶

Образ Вяземского этих лет особенно отчетливо проступает в его письмах к Жуковскому. Пять из них опубликовано, ^{16а} а тридцать два письма еще остаются в рукописи. ^{16б} Отличаясь, как правило, превосходным эпистолярным стилем, эти письма раскрывают отношение Вяземского ко многим событиям политической, общественной и литературной жизни. Во многом они перекликаются с его записными книжками, во многом дополняют их.

В центре писем Вяземского — жгучие проблемы русской жизни, показ общественной и литературной атмосферы эпохи, судьба и творчество Жуковского.

На шестом десятке жизни Жуковский покинул Россию. Вдали от родного Белева, от Москвы и Петербурга он женился в 1841 г. на дочери немецкого художника Герхарда Рейтерна и поселился в Дюссельдорфе. 25 ноября 1842 г. Вяземский писал ему: «Постигаю твое счастье и благодарю Провидение, которое тебе его даровало. Тебе непременно должно было так дописать последнюю главу своей жизни. Дюссельдорф сливается прекрасными оттенками с Белевым. Промежуток есть блестящее и отчасти назидательное странствие, Одиссея, из коей вышел ты героически чист и невредим, — это прекрасно! Но пора было свернуть паруса и пристать к берегу. Все это вместе делает из твоей жизни полную и прекрасную эпопею, редкое и утешительное явление в наше время насильственных, обрывчатых событий. Ты кончаешь, как надобно было тебе кончить. Ты жил для России, живи теперь для себя, и это будет — жить для России. Можно быть русским

¹⁴ Там же, стр. 281.

¹⁵ Там же, стр. 283.

¹⁶ Там же, стр. 280. Подлинник по-французски.

^{16а} Русский архив, 1900, кн. 3, стр. 384—390; Русская старина, 1902, № 10, стр. 205—208.

^{16б} ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 2, № 20—21.

и не быть приписанным к русской земле. Я иначе понимаю патриотизм. Как ни желаю свидания с тобою, как ни желал бы дотянуть с тобою последние наши годы, но не зову тебя к нам. Живи себе там пока живется».

В свое время Вяземский, как мы помним, неоднократно укорял Жуковского за его близость ко двору. Теперь Вяземский полностью одобряет его уход в отставку и отъезд за границу. Вяземскому, конечно, было известно, что отставка Жуковского была вызвана в первую очередь его разочарованием в великом князе Александре Николаевиче; Жуковский понял, что, вопреки занятиям и наставлениям его, из наследника русского престола не выйдет «просвещенного» монарха. Для Жуковского это было жестоким ударом. Лишь личное счастье на чужбине отвлекло его от этой неудачи.

Во всех своих письмах Вяземский предостерегал Жуковского от возвращения на родину, полагая, что душающая атмосфера николаевского режима может пагубно сказаться на его творчестве. Так, например, в том же письме, которое мы только что цитировали, Вяземский оповещал Жуковского, что «в городе носят слухи о заготовлении нового закона, в силу коего отсутствующие, то есть заграничные, будут обложены значительным штрафом: кто говорит, что будут взимать с них 6-ю часть с их доходов, кто говорит, что 4-ю. Пока закона этого еще нет, позволительно сказать, что подобная мера была бы нелепая и варварская, но не ручаюсь, чтобы не приведена она была в действие, потому что многие понимают патриотизм по-своему и иначе, нежели я. Мой патриотизм держится школы Петра Великого. Надобно быть решительно китайцем или решительно европейцем, оградить себя наглухо от Европы непродолимою стеною или растворить ворота, а заваливать дорогу кирпичиками да указиками — все это ребячество и ничтожные усилия слабости».

До тех пор пока отношение Вяземского к государственному строю в России ограничивалось его записными книжками и письмами к Жуковскому, посылавшимися, как правило, с оказией, не представлялось особого труда высказывать свое мнение. Однако ситуация значительно осложнялась, когда появлялось желание выступить публично.

В 1843 г. вышла двумя изданиями книга французского литератора Адольфа де Кюстина «La Russie en 1839». Книга изобиловала резкими выпадами против России и русского народа. О ней появились отзывы во французской, английской и немецкой прессе. Ввоз ее в Россию был запрещен. За границей появились статьи и брошюры русских публицистов, опровергавших домыслы Кюстина. Наконец, статья Жирардена в «Journal des Débats» побудила и Вяземского взяться за перо. Враждебным выпадам Кюстина Вяземский противопоставил сочувственные строки о России в книге мадам де Сталь «Десять лет в изгнании»,

Статья была написана Вяземским по-французски, но не была им отправлена для опубликования. Указ от 15 марта 1844 г. «О дополнительных правилах на выдачу заграничных паспортов» возбудил его негодование, и он решил оставить статью под спудом; 21 марта 1844 г. он писал Жуковскому: «Я полагал, что я уже вовсе охладел к общественным делам и смотрел с каким-то безнадежным, но и равнодушным унынием на хроническую болезнь России. Но этот неожиданный взрыв взбудоражил меня и пробудил во мне уснувшие страсти. Честью клянусь, что в течение двух недель этот указ лежал на груди моей как удушье, не давал мне спать, мешал мне порядочно говеть. Я не мог опомниться от этого указа, который нас всех треснул по голове. <...> Неудовольствие и ропот против этой меры всеобщие, во всех званиях, начиная от государственных людей до мелких частных. Но, верно, не сыскалось ни одного человека, который осмелился бы решительно сказать о том кому ведать надлежит. Безгласность, низость, трусость, в которых погрязли все наши сановники, неимоверны. Ни один из них не понимает, что для самой пользы монархической, для самой пользы лица, которому они будто бы преданы, бывают случаи, в которые обязанность требует отказываться от участия в мерах, признаваемых пагубными. Каждый видит, что меры пагубны, но ни один из них не имеет духа отойти от зла, идти в отставку и протестовать добросовестно и в истинном смысле верноподданнически против направления, которое всех пугает. Никогда еще общее уныние не было так решительно и глубоко, как ныне. Всего не выскажешь, всей горечи не изольешь, и лучше наложить печать на уста и на сердце. Мудрено ли, что Европа вопиет против нас, когда мы во всем идем против течения. И счастливо еще, что Европа и все ее Кюстины и журналы врут и не знают половины того, что у нас делается, и судит криво и бестолково о том, что знают худо и поверхностно. Истина была бы гораздо хуже всех их вымыслов или обезображенных рассказов. <...> Я было написал довольно обширное и довольно удачное, — по свидетельству тех, которым прочел, — опровержение Кюстина и готовился отправить в Париж для напечатания. Но указ окатил меня холодной водою, и, вероятно, не решусь напечатать. Обстоятельства таковы, что честному и благомыслящему русскому нельзя говорить в Европе о России и за Россию. Можно повиноваться, но уже нельзя оправдывать и вступаться. Для этого надобно родиться Гречем».¹⁷

¹⁷ Французская статья Вяземского о книге Кюстина впервые опубликована лишь в наши дни — см.: M. Cadot. *L'image de la Russie dans la vie intellectuelle française (1839—1856)*. Paris, 1967, pp. 265—278; подлинник: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1036. — М. Кадо подверг рассмотрению многочисленные отклики на книгу Кюстина, в частности им учтены, помимо западноевропейской периодики, отзывы, статьи и брошюры Ксаверия Лабинского, М. А. Ермолова, Н. И. Греча, Сергея Убри, Я. Н. Толстого, Ф. Ф. Вигеля, Тютчева, Хомякова и Достоевского (M. Cadot. *Op. cit.*, pp. 223—264).

Эпизод с ненапечатанной статьей о книге Кюстина раскрывает нам сложность позиции Вяземского, стремившегося защитить Россию от резких и несправедливых выпадов французского публициста и боявшегося в то же время очутиться в одном ряду с такими апологетами самодержавия, как, например, Н. И. Греч.

«Записные книжки» Вяземского полны критическими замечаниями о политике Николая I. Непоследовательность правительства, понимавшего необходимость перенимать достижения Западной Европы в хозяйственном развитии и опасавшегося экономических нововведений, вызвала иронические отклики Вяземского. Однако проблема взаимоотношений России и Западной Европы становилась значительно существеннее, когда, не ограничиваясь осуждением правительственных мероприятий, она переносилась в сферу развития русской общественной мысли, в полемику с нарождавшимся славянофильством. «Наши москвичи, или москвитяне, говорят, делают дурачество, — писал он Жуковскому в феврале 1845 г., — носят какие-то славянские шапки, славянские армяки, все это из ненависти к западу. Как дурачество оно глупо, как серьезное мнение оно безумие. Боюсь, чтобы не попали они впросак. Предостереги и пожури их, но меня не выдавай. Москва уже все пересолит. Над ними нет никакого общественного контроля, и они упиваются пьяно друг другом. Уже была беда на „Европейце“. Теперь того и жди, что грянет беда на русского. Вдобавле москвич очень не дурак, но заставь его богу молиться, он также лоб себе *расквасит* и именно в сем случае расквасит от квасного патриотизма».

Вяземский не ошибся — начавшиеся вскоре гонения на славянофилов не прекращались до конца царствования Николая I. Но как бы ни относилось царское правительство к ним, это не могло повлиять на неприятие Вяземским их основных положений. 20 июля 1847 г. он писал Жуковскому: «Я рад, что ты освежился русским духом в беседе с Хомяковым, замечательно умным и приятным человеком. Хотя его народность и руссословие несколько отуманены немецким, или вообще нерусским направлением. Признаюсь, не понимаю, чего они хотят, то есть Хомяков и московская братия. <...> В подробностях они большею частью правы, но подведите все это под одно заключение, к одному знаменателю, и все это рассеется, испарится. Во всяком случае тут одно очень нехорошее начало: враждебство ко всему чужеземному. Это чувство гордости, но что-то вместе с тем и холопское. Наше время, время чужеземного владычества, по их мнению, дало, однако же, России 12-й год, Карамзина, Пушкина, если позволишь, и Жуковского. Нынешнее время, то есть их время, которое протестует против прежнего, что дало России? Ровно ничего. Оно умалило, сузило умы. Разумеется, и из этих словпрений что-нибудь да выйдет со временем. Оно объяснит и уравнивает вопросы, но не дай бог им торжества. <...> мы за-

паду многим обяваны. Думать, что мы и без него управились бы, образовались, все равно, что уверять, что, может быть, и без солнца было бы светло на земле. Боже упаси раболепствовать нам перед западом, жить одною жизнью его и действовать беспрекословно и необдуманно по одному его лозунгу. Но подавать ему руку, брать из руки его то, что нам подобает и пригодиться может, это дело благоразумия и последования общего закона. Выдумывать какое-то новопросвещение на славянских началах, из славянских стихий смешно и нелепо. Да и где эти начала, эти стихии? Отказаться от того просвещения, которое имеем, в чайнии другого просвещения, которое будет более к нам приновлено, то же, что ломать дом, в котором мы кое-как уже обжились и обзавелись, потому, что, по каким-то преданиям, гаданиям, ворожейкам, где-то, в какой-то потаенной, заветной каменоломне должен непременно скрываться камень самородок, из которого можно построить дивные палаты, перед которыми все нынешние дворцы будут казаться просто нужниками. Вот наши господа и ходят все кругом этого места, где, по их гаданиям и чутью, должен лежать этот клад: припевают, заговаривают, произносят разные заклятья и проклятья западу, а все ничего осуществить не могут. Один пар бьет столбом из-под обетованной их земли. Вот отчего и говорю, что эти отчаянные руссословы — более всего немцы и что коренная Русь, верно, их не понимает и не признает. Вот, например, Уваров тот другое дело: он запряг себя в тройку самодержавие, православие и народность и дует по всем по трем. А они чего хотят? Право, не знаю, да и они знают не более моего».

Критика Вяземским славянофильской доктрины остроумна и художественно изящна. Несмотря на давнее увлечение французской культурой, он счастливо избегает западнических увлечений; словом, в его суждениях нет ни славянофильской, ни западнической односторонности. И, пока речь идет об отражении взглядов Хомякова и его друзей, позиция Вяземского вполне убедительна. Но стоило ему, споря со славянофилами, коснуться более общих вопросов, как сразу же подспудно возникает его консервативная позиция, неприятие им демократических веяний современной эпохи. Когда он утверждает, что 1840-е годы ничего не дали России, то это не полемическое преувеличение, а его твердое убеждение в бесплодности новейшего направления в русской литературе.

В этих условиях пристальное внимание Вяземского к творчеству Жуковского не исчерпывалось дружеским характером их отношений, а имело, кроме того, вполне определенный общественный смысл: он противопоставлял его имя литературе 1840-х годов. Путь, выбранный Жуковским, казался Вяземскому идеальным; в его сознании тихая жизненная пристань Жуковского становилась символом независимости поэта от меркантильного и расчетливого века. «Хочу верить одному из того, что слышу о тебе,

а именно, что ты счастливейший из смертных, что жена и малютка твоя необыкновенно милые создания и что в твоём дюссельдорфском углу веет миром и благоденствием золотого века. Хотелось бы посмотреть на эту живую идиллию, лучшую поэму твоего создания, ибо нет сомнения, что без поэзии ты не смог бы устроить себе такую участь», — писал он Жуковскому 1 января 1844 г.

Уединение Жуковского, по мнению Вяземского, вполне гармонировало с той областью литературных занятий, которая стала его прибежищем в 1840-е годы. Вот начало письма к Жуковскому от 21 марта 1844 г.: «Спасибо за письмо от 9-го фев<аля>, и радуюсь, что ты доволен был моим письмом; твоё также перенесло меня под твой дюссельдорфский кров и дало полюбоваться твоим житьём-бытьём с женою и малюткою под благословением дедушки Гомера. Слюнки текут, глядя на это, а то здесь из нас текут только канцелярские чернила и желчь, глядя на все то, что кругом и над головою делается.

«Напрасно думаешь, что я смеюсь над твоим состязанием с Гомером. Милости просим и дай бог! Признаюсь, по мне лучше было бы, если ты занялся чем-нибудь другим, например романом в прозе, записками, воспоминаниями своими о Карамзине, Дмитриеве. Тут могла бы войти вся общественная, литературная жизнь последнего пятидесятилетия. Те же рассказы, та же Одиссея, или Россияда. Но дареному коню в зубы не смотрят. И Гомер твой пригодится, если не нам, то детям нашим, то есть если не нашей эпохе, то другой. Теперь наслаждаются твоим трудом и оценят его немногие на Руси, но я согласен с тобою, главное тут дело — твоё собственное, внутреннее, глубокое наслаждение».

Вяземский, конечно, понимал, что уходом в античность Жуковский отгораживал себя от современности. Но Вяземскому хотелось, чтобы Жуковский более действенно выразил своё неприятие новейшей литературы. Именно в этом смысл его обращения к Жуковскому с просьбой создать мемуарную эпопею последнего пятидесятилетия. Жуковский не внял его советам и неуклонно шёл по избранному им самим пути. Позднее в своих мемуарных статьях Вяземский попытался создать то, что он советовал Жуковскому. Однако большого мемуарного полотна он не написал; воспоминания Вяземского дробные, как бы «осколки разбитого вдребезги».

С годами отношение Вяземского к переводу «Одиссеи» Жуковским становилось сочувственнее. «... как не вздумалось тебе, готовясь переводить Одиссею, побывать в Греции, — дружески упрекал он Жуковского 17 ноября 1845 г. — С нынешними удобствами в переездах эта прогулка взяла бы у тебя недель шесть. А как труд твой от этого оживился бы и выиграл. Мертвая буква задышала бы и затрепетала в твоих глазах и под твоею рукою. Лицезрение воспеваемых тобою мест с лихвою заменило бы тебе

недостаток в непосредственном знании греческого подлинника, или, лучше сказать, копии, ибо настоящий, животрепещущий подлинник это сама Греция. Греческий язык огненною струею сошел бы на твою голову прямо в лучах аттического солнца, в теплом голубом наитии аттического неба».

И вслед за этим Вяземский предлагал Жуковскому: «Поедем в Грецию, заехав в Константинополь за Павлушею, который был уже два раза в Греции и в восхищении от нее. Он будет нашим чичероне, или правильнее, Демосфеном. Шутки в сторону, поедем. До возвращения в Россию легко можешь совершить эту поездку. Но ты скажешь: *mon siége est déjà fait*.¹⁸ Дела нет. Ты сам для себя лучше поймешь труд свой. Ты усвоишь воображению своему, памяти, пяти чувствам своим, не говорю уже о внутренних чувствах, образ красавицы, которую ты знал и списал только по портрету и тут же влюбился в нее. Что же будет, когда сожмешь ее в своих объятиях?».

Поездка в Грецию не состоялась, да и вообще обстоятельства сложились так неблагоприятно, что Вяземскому и Жуковскому не удалось больше свидеться.

Горячий спорщик и полемист, Вяземский тяжело переживал свою отчужденность от литературной жизни эпохи. Все было не по нем, все ему не нравилось, все вызывало его раздражение. Тогда же, в ноябре 1845 г., он писал Жуковскому: «Я очень удивился письму твоему Соллогубу о его Тарантасе. Конечно, в нем есть остроумие и дарование, — но более всего подражания Гоголю и, следовательно, недостатка в оригинальности. Ты, кажется, подобно Дидероту читаешь свое между строками печатных книг и добавляешь и воссоздаешь автора по своему подобию. В Соллогубе до сей поры нет ничего самородного, самобытного, задушевного, и, зная его, нельзя и надеяться того и в будущем. Он довольно ловкий, с некоторою живостью, с некоторыми блесками французский фельетон. Все это, прошу тебя, между нами. Впрочем, на голике настоящей литературы он все-таки приятное явление. Но не делай из него Вальтера Скотта, как „Москвитянин“ и москвичи делают из Гоголя какого-то Гомера. Что бедный Гоголь? Он, говорят, все хворает и ничего не пишет. Что за черная немочь напала на нашу литературу? Кого убьют, кто умрет, кто изнеможет преждевременно. Слава богу, что хоть ты держишься старой, богатырской породы и не унываешь. Твой Иван-царевич нас всех пленил. Даже Уваров говорил мне о нем с арзамасским чувством.

«Одно мое здесь литературное сочувствие и вообще приятное развлечение — это Тютчев, который очень умен, мил, мягок и общезжителен в обращении. Трудно теперь найти себе современников: кто слишком стар, кто слишком молод, ни с кем не встречаешься

¹⁸ Перевод: Мое суждение уже вынесено (франц.).

единомыслием и одиночувствием. И вообще все что-то в народе плоско и бесцветно, — или в некоторых членах нового поколения так все *ежевато* (еж) и пестро и татуировано. От них рябит в глазах и в мыслях».

В придирчивом отборе имен — Жуковский за границей, Тютчев в России — чувствуется глубокая отъединенность от современности. Естественно, что вхождение в новую эпоху, с которой у Вяземского не было контактов, болезненно отразилось на интенсивности его литературной деятельности. Пройдут годы, Вяземский обживется в новых условиях — и снова неистощимая творческая энергия проявится в лучших образцах его поздней лирики. Но это будет позднее. В 1840-е годы Вяземский пишет мало, а печатает и того меньше. Его стихотворения изредка появляются в «Отечественных записках», «Современнике», «Москвитянине», в альманахах «Утренняя заря», «Молодик на 1844 год», «Вчера и сегодня», в «Московском литературном и ученом сборнике». Наибольшую симпатию вызывает у Вяземского «Москвитянин»; 25 июня 1841 г. он пишет С. П. Шевыреву: «Читаю „Москвитянина“ с большим удовольствием, и вообще он здесь хорошо принят. Продолжайте, и мы будем иметь журнал. Только, ради бога, будьте осторожны, бдительны, зорки, догадливы. Помните припев Пушкина:

Не спи, козак: во тьме ночной
Чеченец бродит за рекой.

«То есть: жандармы бродят за рекой, или: Булгарин бродит за рекой. Ваша благонамеренность и добросовестность не спасут вас. Все можно перетолковать, а толкователи същутся. <...> Журналисту нужен необыкновенно тонкий такт».¹⁹

Какое противоречие с высказываниями Вяземского о журналистике в 1820-е годы! Тогда Вяземский утверждал, что журнал должен быть кулачным бойцом на площади; теперь он советовал С. П. Шевыреву быть тише воды, ниже травы — время «образумило» Вяземского.

В последующие годы Вяземский сохранил сочувственное отношение к «Москвитянину». В сентябре 1842 г. он переслал С. П. Шевыреву статью А. И. Левшина «Одна из прогулок русского в Помпеи...»; в октябре того же года он просил поместить в «Москвитянин» рецензию на книгу графа А. Сен-При „De la gouaüté“; ^{19a} редакция уважила просьбу Вяземского и поместила пространный анонимный отзыв на это сочинение (Москвитянин, 1843, № 11); Вяземский был посредником между М. П. Погодиным и Д. П. Бутурлиным в связи с полемикой в «Москвитянине»,

¹⁹ Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки. СПб., 1898, стр. 96.

^{19a} Там же, стр. 99.

вызванной книгой Д. П. Бутурлина «История смутного времени в начале XVII века».¹⁹⁶

Добрыми пожеланиями и посредничеством с другими литераторами ограничивалось, по сути дела, участие Вяземского в делах «Москвитянина». Как поэт Вяземский выступил в журнале лишь с небольшим циклом «Ночь в Ревеле». Посылая его М. П. Погодину, он писал 27 января 1844 г.: «Имею честь предстать перед „Москвитянином“ с повинною головою и давно обещанным оброком. Только попросите корректора пощадить меня. Гр. Ростопчина плачет об обидах, которые он ей нанес. О знаках препинания не спорю. Запятые и точки были всегда для меня точками преклонения. — Что это за Фет? Переводы его очень замечательны».²⁰ Похвала Вяземского относилась к переводам из Горация, напечатанным в первом номере «Москвитянина» за 1844 г.

Хотя критических статей Вяземского в «Москвитянине» не появлялось, он высказал свои суждения о языке в объявлении о подписке на памятник Крылову. Оно было напечатано в «Москвитянине» за подписями Уварова, Блудова, Дондукова-Корсакова, Плетнева и Ростовцева. Автором этого объявления был Вяземский. 29 января 1845 г. он писал А. И. Тургеневу «Посылаю тебе наше или мое объявление о памятнике Крылову».²¹ Сохранились черновые редакции этого объявления с правкой Вяземского.²²

В этом объявлении Крылов поставлен в один ряд с Ломоносовым, Державиным и Карамзиным. «Подобно трем поименованным писателям и Крылов неизгладимо врезал имя свое на скрижалях русского языка. <...> Крылов принадлежит всем возрастам и всем званиям. Он более, нежели литератор и поэт».²³

Имя Пушкина отсутствует в этом перечне. Вяземский разделял широко распространенное в те годы мнение, что новый русский язык ведет свою родословную от Карамзина. Преувеличение роли Карамзина, характерное для взглядов Вяземского, привело его к недооценке значения Пушкина в развитии литературного языка. В то же время выдвигание имени Крылова непосредственно после Карамзина, столь же парадоксально расходившееся с его отзывами о Крылове в 1820-е годы, искажало историко-ли-

¹⁹⁶ Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 6, СПб., 1892, стр. 121.

²⁰ ГБЛ, ф. Погодина /II, № 7/80. Опущена приписка Вяземского с просьбой прислать для Фарнгагена автографы Павла I, Александра I, Суворова, Кутузова, Багратиона, Милорадовича, Гоголя и Языкова.

²¹ Остафьевский архив, т. IV, стр. 308.

²² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1; № 679-6, лл. 4—21. — Утверждая объявление, Николай I решил выступить в роли стилиста: «Нахожу объявление несколько кудрявым, не крыловским; чем проще, тем лучше выразилась бы цель» (там же, л. 4).

²³ Москвитянин, 1845, № 1, смесь, стр. 17—19. Ср. с незаконченной статьей Вяземского «О смерти Крылова»; Сборник ОРЯС, т. XX, № 5, СПб., 1880, стр. 53—58.

тературную перспективу; как бы высоко ни ценить язык басен Крылова, творчество в одном жанре (к тому же периферийном) не могло оказать господствующего влияния на развитие языка: «...сфера языка Крылова сама по себе довольно ограничена, и потому не в ней русский язык мог достичь своего установления и не на басне остановиться», — справедливо писал в 1845 г. Белинский в рецензии на книгу В. А. Васильева «Грамматические разыскания». ²⁴ В той же рецензии Белинского устаревшим воззрениям Вяземского и других поборников Карамзина противопоставлена исторически справедливая точка зрения на значение Пушкина в становлении литературного языка: по словам Белинского, «Пушкин является полным реформатором языка». ²⁵ Принято считать, что Белинский, выступая с подобными заявлениями, полемизировал с Гречем и Булгариным; однако можно думать, что не только издателей «Северной пчелы» имел в виду Белинский — напечатанное в начале 1845 г. в «Москвитянине» объявление о подписке на памятник Крылову не могло пройти мимо него; вполне правдоподобно, что забвение заслуг Пушкина в документе, напечатанном от имени Академии наук, вызвало у Белинского желание восстановить истину; упомянутая нами рецензия была написана в середине 1845 г. ²⁶

«Москвитянин» имел некоторый успех у читателей лишь в первые годы своего существования; в 1846—1847 гг. журнал выходил нерегулярно и почти прекратил свое существование. Когда в конце 1847 г. редактор журнала М. П. Погодин дал объявление, что с нового года «Москвитянин» воскреснет для новой жизни и будет по-прежнему выходить раз в месяц, Вяземский с удовлетворением воспринял это известие; 27 ноября 1847 г. он писал Погодину: «Сердечно радуюсь возрождению „Москвитянина“ в первобытном виде. Желая ему здравия и долголетия. Этот журнал полезен и нужен в наше время. Должно противодействовать пагубному направлению нынешней журналистики <...> Если имя мое может вам пригодиться, то прошу выставить его в числе ваших сотрудников. Это будет для меня и приятно и лестно». ²⁷

²⁴ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, 1955, стр. 223.

²⁵ Там же, стр. 224. — Подробнее об этой рецензии Белинского см.: Ю. С. Сорокин. Язык Пушкина. В кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. Под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова и Б. С. Мейлаха. М.—Л, изд. «Наука», 1966, стр. 342—343.

²⁶ Первая публикация: Отечественные записки, т. XLI, № 8 (цензурное разрешение 30 июля), отд. VI, 1845, стр. 51—61.

²⁷ ГБЛ, ф. Погодина/II, № 7/81. Без указания даты опубликовано в книге: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 9. СПб., 1895, стр. 360—361. — В 1850-е годы Вяземский продолжал поддерживать «Москвитянина», напечатав в нем свои статьи «К. Н. Батюшков», «Путешествие князя А. Д. Салтыкова по Персии и Индии», а также снабжал журнал произведениями Батюшкова и Тютчева. Отметим, что когда в 1851 г. в «Московских ведомостях» появились статьи, критиковавшие «Фонвизина» Вяземского, то М. П. Погодин выступил в его защиту (Москвитянин, 1851, IV, стр. 231—232).

Пагубное направление нынешней журналистики, по убеждению Вяземского, проявлялось в печатных органах различной общественной ориентации — от «Отечественных записок» и обновленного «Современника» до журналов торгового направления Булгарина и Греча. Общественные группировки, возникшие в 1840-е годы, были чужды Вяземскому; ни славянофильские, ни западнические, ни тем более революционно-демократические воззрения не вызывали у него сочувствия. Общественная изоляция ощущалась Вяземским с каждым годом все более остро. Из всех журналов «Москвитянин» оказался ему наиболее близким. И хотя взгляды Вяземского не совпадали ни с «официальной народностью» С. П. Шевырева и М. П. Погодина, ни со славянофильскими устремлениями некоторых участников «Москвитянина», только этот журнал мог, по его мнению, противостоять журналам как натуральной школы, так и торгового направления.²⁸

Безвозвратно прошли времена Вяземского-журналиста. В 1840-е годы его имя фигурирует лишь в одном неосуществленном замысле — 19 февраля 1843 г. Н. А. Полевой писал композитору А. Н. Верстовскому: «Слышали ли вы о новом драматическо-музыкально-художественном журнале, который хотя и издавать Глинка, Одоевский и Вяземский? Программа его уже подана в цензуру».²⁹ Вряд ли, впрочем, Вяземский был инициатором этого проекта; скорее всего почин исходил от В. Ф. Одоевского и М. И. Глинки.

Как бы то ни было, пушкинский «Современник» оказался последним журналом, в котором Вяземский принимал деятельное участие. Правда, через три с половиной десятилетия он «воскреснет» на страницах «Русского архива», но это уже будет не Вяземский-критик, а Вяземский — мемуарист и публикатор.

Впрочем, публикатором Вяземский пытался стать еще в 1830-е годы. В главе «Вяземский и пушкинский „Современник“» был рассмотрен его проект издания сборника «Старина и новизна». В 1843—1844 гг. Вяземский вновь вернулся к этому замыслу. По его поручению А. В. Старчевский закончил 18 февраля

²⁸ На первый взгляд вызывает недоумение равнодушное отношение Вяземского к плетневскому «Современнику», который по своему консервативному направлению должен был бы, казалось, импонировать ему. Но здесь скорее всего решающими оказались мотивы личного характера: Вяземский не ценил Плетнева как критика, достаточно холодно относился к нему и при жизни Пушкина, а затем, надо думать, был раздосадован, что «Современник» полностью перешел под эгиду Плетнева.

²⁹ Цит. по кн.: В. Ф. Одоевский. Музыкально-литературное наследие. М., Музгиз, 1956, стр. 597. — Вяземский был знаком с М. И. Глинкой с середины 1830-х годов; 30 ноября 1835 г. он писал А. И. Тургеневу: «Глинка пишет новую оперу, т. е. Глинка-музыкант — русскую национальную оперу: „Ивана Сусанина“» (Остафьевский архив, т. III, стр. 279). После премьеры оперы в декабре 1836 г. на завтраке у А. В. Всеволожского был исполнен канон в честь Глинки, сочиненный Пушкиным, Вяземским, Жуковским и Михаилом Вильегорским на музыку В. Ф. Одоевского.

1843 г. составление подробного проспекта исторической части сборника, которая должна была включать письма и указы Петра I, письмо царевича Алексея Петровича, А. Макарова, кн. Юсупова, П. Толстого, кн. Трубецкого; следственное дело о царевиче Алексее Петровиче, обширные портфели Г. И. Чернышева, И. Г. Чернышева, И. И. Шувалова, биографию кабинет-министра А. П. Волынского со следственным делом, донесения Третьяковского в Академию наук; письма Екатерины II, отрывки из записок Ф. В. Ростопчина, О жизни и сочинениях А. Н. Радищева, соч. сына его, с примечаниями Вяземского, и некоторые другие материалы.³⁰ Литературная часть сборника осталась не распечатанной.

К концу 1844 г. материалы были приведены в порядок и подготовлены для цензуры. В бумагах Остафьевского архива сохранился список документов со следующей надписью: «Нижеозначенные рукописи, которые предназначено напечатать в сборнике под заглавием Старина и Новизна, верю представить в цензуру кандидату С.-Петербургского университета Альберту Викентьевичу Старчевскому для обратного ко мне доставления. К. Вяземский. 19 ноября 1844».³¹

По неизвестным причинам издание не состоялось.

На десять лет прервалась деятельность Вяземского-критика. Правда, острые споры, непрерывно возникавшие в 1840-е годы в литературной критике и проявлявшие все более и более свой публицистический характер, были постоянно в поле его зрения. Подспудно у него все время было желание вступить в полемику, изложить свой взгляд на основные проблемы, стоявшие в центре внимания представителей различных направлений русской общественной мысли. Но до поры до времени душевная апатия сковывала его. Лишь в конце 1840-х годов он написал статью «Языков и Гоголь» (1847), переписал заново последнюю главу монографии о Фонвизине (1846), начал писать статью «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (первоначальный вариант 1847 г.; опубликовано в переработанном виде в 1879 г.).

Однако, не имея сил вступить в бой самому, он уже в начале 1840-х годов призывал Жуковского изложить в печати их точку зрения на современные события. Понимая, что у них могут быть расхождения лишь в отдельных, незначительных частностях, он писал Жуковскому 21 ноября 1842 г.: «Ты, вероятно, получаешь „Москвитянина“ и читал „Мертвые души“. Мне часто приходило в голову, что тебе следовало бы написать на эту книгу рецензию и дать окончательный суд этому творению. Во-первых, любопытно было бы знать твое мнение и какое впечатление произвело на тебя

³⁰ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 948, лл. 1—10.

³¹ Там же, л. 18. — Письмо А. В. Старчевского к О. И. Костиевскому подтверждает, что рукописи были переданы в цензуру (ИРЛИ, ф. 583, № 234, л. 1).

в *чужбине* чтение этой книги, а во-вторых, иные так бранят ее, другие так превозносят, что нужен в этой разногласии приговор великого и полномочного судии. Молчание в таком случае людей, имеющих право и, следовательно, обязанность говорить, есть скорбный признак равнодушия нашего к отечественной литературе. Мы сами, удалившись от места действия и от непосредственного участия, виноваты в упадке ее. Мы без боя уступили поле Булгариним, Полевым и удивляемся и негодуем, что невежество и *свинтусы*, как говорит Гоголь, торжествуют. Тут раскрылось бы тебе прекрасное поприще: говоря о „Мертвых душах“, можно вдоволь наговориться о России и в рецензии на книгу написать рецензию на весь народ и весь наш быт. Одиссея Одиссею, да и матушка Россия чего-нибудь да стоит, хоть епитафии. Между тем Гоголю нужно услышать правду о себе, а не то от проклятий и акафистов не мудрено голове его и закружиться, да и закружилась. Не забывай, что у тебя на Руси есть апостольство и что ты должен проповедовать Евангелие правды и Карамзина за себя и за Пушкина».

Это письмо показывает, как субъективно воспринимал Вяземский распад пушкинского круга. Вяземский не понял исторической закономерности этого социального процесса, неизбежности того, что на смену их словесности пришла новая демократическая литература. Он полагал, что будь они энергичнее, не уступи без боя поле Булгариним и Полевым, и русская литература развивалась бы в другом направлении. Безусловно, Вяземский ошибался, и ошибка его чрезвычайно поучительна: когда речь идет о том, чтобы признать историческую обреченность своих взглядов, и дальновидные люди становятся близорукими.

Письма Вяземского к Жуковскому о написании основательной рецензии на «Мертвые души» была продиктована желанием противопоставить спорам западников и славянофилов точку зрения своего поколения на это капитальное творение Гоголя. 29 июля 1842 г. Герцен записал в дневнике: «Толки о „Мертвых душах“». Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это апотеоза Руси, Илиада наша, и хвалят, след(овательно), другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси и за то ругают. Обратное тоже раздвоилось антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда. Видеть апотеозу смешно, видеть одну анафему несправедливо».³² Как видно из письма К. С. Аксакова к Ю. Ф. Самарину от конца мая 1842 г., из «антиславянистов» на «Мертвые души» горячо нападал П. Я. Чаадаев.³³ В свою очередь «антиславянист» А. И. Тургенев защищал поэму Гоголя; в письме к своему двоюродному

³² А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. II, 1954, стр. 220.

³³ АН, т. 58, М., 1952, стр. 624.

брату И. С. Аржевитинову он писал 17 октября 1842 г.: «*Мертвые души* читал мне автор, лет 5 или шесть назад в Париже, отчасти; с тех пор я брался за них, но не имел времени кончить, а суждения слышу ежедневно. Это живая картина: не в бровь, а прямо в глаз. Язык всей или почти всей России, и он говорит им. Только последняя страница о тройке, которая опережает всю Европу, — гнусная лесть: но ее, вероятно, написал Гоголь для цензуры; как же ты не узнал в этой книге и Симбирска, и Москвы, и всего русского мира. Конечно, в авторе и в его книге — есть большие недостатки, но книга его пойдет в ряду с воспитателями нашими: с *Недорослем*, с *Бригадиром*, с *Горекм* от ума, с *Ревизором*; она еще важнее; не в слоге дело, а в сущности, в действительности этой поэмы. С души тянет и, следовательно, вырвет и мы на блевотину не возвратимся. Здесь не пропускали книги — в П^етер^бурге постыдились. Мысль принадлежит Пушкину: он завещал ее Гоголю».³⁴

Антикрепостническая направленность «Мертвых душ» была близка и понятна А. И. Тургеневу, с детства ненавидевшему рабство. Порицая лирическое отступление о тройке, он, конечно, исходил из полемических соображений. Достаточно перечитать статьи К. С. Аксакова и С. П. Шевырева о «Мертвых душах», чтобы понять, как перетолковывали в духе своих воззрений эти критики лирические страницы «Мертвых душ». Недаром Белинский писал, что «истинная критика „Мертвых душ“ должна состоять не в восторженных криках о Гомере и Шекспире, об акте творчества, о достоинствах Манилова, о неиспорченной русской натуре Селифана, о тройке и телеге: нет, истинная критика должна раскрыть пафос поэмы, который состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения».³⁵

В оценке «Мертвых душ» Вяземский был чужд западнической и славянофильской односторонности. В то же время его отношение к «Мертвым душам» было двойственное. Взятые сами по себе, вне контекста современной литературы, «Мертвые души» им одобрялись. Но тут же возникала оборотная сторона медали — Вяземский ощущал преемственность, внутреннюю связь обличительного пафоса «Мертвых душ» с критической направленностью произведений писателей натуральной школы. Это вызывало его противодействие. Несколько лет спустя в статье «Языков и Гоголь» он писал: «Он (Гоголь, — М. Г.) первый „Мертвыми душами“ дал оседлость у нас литературе укорительной, желчной и между тем мелко придиричливой. Все за ним, подбавляя за подлинником, бро-

³⁴ Русская литература, 1963, № 2, стр. 141.

³⁵ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI, 1955, стр. 430—431.

сились унижать, безобразить человека и общество, злословить их, доносить на них. Все лица, выводимые на сцену последователями его, подлежали на поверку или уголовному суду, или, по крайней мере, расправе съезжего дома» (II, 329).

Связь Гоголя с современной литературой Вяземский ощущал даже тогда, когда автор «Мертвых душ» во многом идейно расходился с новым поколением. В статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» (1846) Гоголь писал: «По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обставились так, чтобы сделать появление „Одиссеи“ почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всем, — охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких неперевавшихся идей, нанесенных политическими и прочими брожениями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои».³⁶

Казалось, что высказывания Гоголя идут в одном русле с размышлениями Вяземского; можно было думать, что он одобрит эту статью. Между тем выступление Гоголя вызвало двойные чувства у Вяземского; 26 сентября 1846 г. он писал Жуковскому: «Есть много хорошего в статье Гоголя о твоей Одиссее, но много и преувеличенного. Это замечательная и господствующая черта нашего времени: не довольствоваться истиною, а для большего эффекта ставить ее на ходули. Ожидать от появления перевода твоего тех последствий, которые он исчисляет, безрассудно и смешно. В хороших и худых выводах новому поколению мало того, что дважды два четыре, ему непременно нужно еще что-нибудь да прикинуть к тому. Они преувеличивают добро и зло и, при желании поразить сильнее, они сами, не ведая того, ослабляют силу убеждения. Это везде заметно в политике и в литературе. Все и всё имеют притязание на положительное, на существенное, на действительность: а на поверку выходит везде отсутствие истины или по крайней мере оболгание истины».

Вяземский, конечно, разделял и одобрял идейную направленность статьи Гоголя. Но верные, по его мнению, мысли были облеплены Гоголем в такую форму, что невольно вызвали сравнение с современной литературой. В утверждениях Гоголя, что «появление „Одиссеи“ произведет эпоху», «произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще», Вяземский слышал чуждую ему, воспитанному на творениях Карамзина и считавшему образцом ясный и сдержанный слог Пушкина, психологическую

³⁶ Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, М.—Л., Изд. АН СССР, 1952, стр. 238.

тональность. Именно это побудило его упрекнуть Гоголя в том, что в его преувеличениях сквозит «господствующая черта нашего времени».

Свои мысли о значении творчества Гоголя для литературы 1840-х годов Вяземский развил в статье «Языков и Гоголь». Центральным теоретическим вопросом этой статьи был вопрос о народности. Вяземский писал: «У иных, по странному противоречию, притязания на русскую народность облекаются в зыбкие призраки туманной немецкой философии, так что добрый русак, не посвященный в таинство гегелевского учения, и в толк не возьмет, как ему надлежит окончательно обруться. У других эти притязания высказываются в напряженной и пошлой восторженности. У третьих — в неуместной подделке простонародного языка, в прибаутках, в поговорках, которые очень живы и метки, когда они срываются с языка, но когда они на досуге навязываются в тишине кабинета, а оттуда переходят в официальную область печатной гласности, они притупляются и становятся приторными» (II, 310).

Упрек в гегельянстве имел в виду в первую очередь К. С. Аксакова, в диссертации которого о Ломоносове (1846) славянофильские идеи были облечены в гегельянскую форму; упрек «в напряженной и пошлой восторженности» подразумевал и Гоголя, его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», пророческий тон которой претил Вяземскому, вопреки даже тому, что это было выступление идейного союзника; обвинение «в неуместной подделке простонародного языка» метило в псевдонародную литературу, находившую прибежище в журналах «торгового направления» — от «Северной пчелы» до «Маяка».

Помимо уваровской интерпретации народности, выражавшей официальную правительственную трактовку этого вопроса, в 1840-е годы были распространены и другие точки зрения — от славянофильского преклонения перед стариной до антропологических построений Валериана Майкова. Вяземский был чужд всем этим воззрениям. Его точка зрения на народность, выработанная в 1820-е годы, осталась неизменной. Внешне эта позиция, равно отвергавшая славянофильские и западнические увлечения, имела сходство с позицией Белинского, который в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» также порицал односторонность западников и славянофилов. Однако внешнее сходство их позиций скрывало глубочайшее внутреннее противоречие, принципиальное расхождение между революционно-демократическим пониманием народности Белинским и трактовкой 1820-х годов Вяземского, которая, утратив к 1847 г. свою былую прогрессивность, стала консервативным анахронизмом.

Это расхождение не замедлило обнаружиться во второй части статьи Вяземского; она была посвящена книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» и содержала резкие выпады

по адресу Белинского, писателей натуральной школы и славянофилов. По мнению Вяземского, на Гоголе «лежала обязанность не двусмысленно, не сомнительно, а гласно и, так сказать, торжественно разорвать с частью своего прошлого, то есть не столько своего собственного прошлого, сколько того, которое ему придали, с одной стороны, безусловные и чрезмерные поклонники, а с другой — многочисленные и неудачные подражатели. <...> В некоторых журналах имя Гоголя сделалось альфой и омегой всякого литературного рассуждения. В духовной нищете своей, многие непризнанные писатели кормились этим именем как единым насущным хлебом своим. <...> Что люди, провозглашающие наобум какое-то учение западных начал, искали в Гоголе союзника и оправдателя себе, это еще понятно. Он был для них живописец и обличитель народных недостатков и недугов общественных. <...> Но что те, которые отказываются и предохраняют нас от влияния чужеземного, что те, которые хотят, чтобы мы шли к усовершенствованию своим путем, росли и крепили в собственных началах, чтобы те самые радовались картинам Гоголя, это для меня непостижимо. В картинах его, по крайней мере в тех однородных картинах, которые начинаются „Ревизором“ и кончаются „Мертвыми душами“, — все мрачно и грустно» (II, 313—316).

Уже через четыре дня после выхода номеров «Санкт-Петербургских ведомостей», в которых была напечатана статья Вяземского, 29 апреля 1847 г., Чаадаев писал ему из Москвы: «Вам, вероятно, уже известно, что на нее здесь очень гnevаются, но что теперь ни скажут о вашей статье, она останется в памяти читающих и мыслящих людей, как самое честное слово, произнесенное об этой книге».³⁷ Со своей стороны Чаадаев — убежденный противник славянофилов — упрекнул Вяземского в том, что тот недостаточным образом, по его мнению, обрушился на представителей этого учения.

Сам Гоголь, поблагодарив Вяземского за статью, был смущен нападками на Белинского: «Одно только меня остановило, — писал он 11 июня (н. с.) 1847 г. Вяземскому, — мне кажется, что выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападениях, особенно о тех, которые прежде меня выхваляли».³⁸ Как отметил Белинский в зальцбрунском письме к Гоголю, написанном 15 июля (н. с.) 1847 г., Вяземский, нападая на натуральную школу, развивал мысль Гоголя: «... ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош <...> их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк вашим сочи-

³⁷ Русский архив, 1866, стлб. 1086.

³⁸ Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XIII, М.—Л., Изд. АН СССР, 1952, стр. 321.

нениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главной мыслью вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, что князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его „вялый, влачащийся по земле стих“». ³⁹

Белинский привел на память строки Гоголя о поэзии Вяземского из письма «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», входившего в «Выбранные места из переписки с друзьями»: «...этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью». ⁴⁰

Белинскому была невыносима мысль о том, что Гоголь перешел в консервативный лагерь; он не терял надежду на возвращение Гоголя на прежние идейные позиции — в конце своего зальцбруннского письма он писал Гоголю: «...если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние». ⁴¹ Надежды Белинского не оправдались. Связанный крепкими дружескими узами и идейными устремлениями с кругом дворянских писателей, Гоголь эволюционировал вместе с ними. Его близость к консервативным воззрениям Вяземского 1840-х годов была не случайностью, а закономерным результатом эволюции этой общественной группировки. Эта идейная эволюция не была однозначной для всех дворянских и близких к ним писателей. Из них вышли западники и славянофилы, сторонники официальной народности и консерваторы, отрицательно относящиеся к николаевскому режиму. Но все они, вне зависимости от того общественного идеала, к которому они пришли в 1840-е годы, не разделяли революционно-демократических взглядов и не могли их разделять ни по своему социальному происхождению, ни по своим политическим и литературным воззрениям.

Одобрив книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», Вяземский в то же время считал, что Гоголь должен оставить не свойственный ему жанр проповеди и вернуться к художественному творчеству: «Пускай передаст он нам все нажитое им в эти последние годы в сочинениях повествовательных, или драматических, но чуждый этой исключительности, этого ожесточения, с которым он донныне преследовал пороки и смешные слабости людей,

³⁹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 219.

⁴⁰ Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 407.

⁴¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 220.

не оставляя нигде доброго слова на мир, нигде не видя ничего отрадного и одобрительного. Гоголь во многих местах книги своей кается в бесполезности всего написанного им — это неверно. Писанное им не бесполезно, а напротив, принесло свою пользу; но оно частью вредно, потому что многими было худо понято и употреблено во зло» (II, 328—329).

Статья Вяземского преследовала цель противопоставить Гоголя писателям натуральной школы, в которых автор видел своих политических противников, подрывающих устои дворянского общества.

Литературные воззрения Вяземского 1840-х годов изложены также в его статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (впервые напечатана в 1879 г.). Впрочем, использование этой статьи для характеристики критических взглядов Вяземского 1840-х годов требует предварительного текстологического анализа: сохранившиеся рукописи свидетельствуют о том, что при подготовке этой статьи к печати в 1870-е годы Вяземский существенно ее расширил и переработал.⁴² Помимо вставки целого ряда мест⁴³ Вяземский дописал начало второго раздела (II, со стр. 353 до слов на стр. 356: «... от Карамзина, Дмитриева, Пушкина, Баратынского»), значительно расширил третий и четвертый разделы, дописал окончание пятого раздела (на стр. 366 от фразы: «Распространившись здесь о Карамзине»), заново написал шестой, седьмой и восьмой разделы, в которых основное внимание было уделено оценке творчества Пушкина.

Значительно переработав статью в 1870-е годы, Вяземский никак не оговорил этого обстоятельства. Более того, небольшая приписка о Сент-Беве (II, 351), в которой было сказано, что она написана четверть века спустя, создавала впечатление, что весь остальной текст статьи относится к 1847 г. Эта датировка не вы-

⁴² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 981.

⁴³ Вот перечень этих вставок, соотнесенных с печатным текстом:

Стр.	От слов	До слов
348	У нас такой сложился порядок	если захочешь их пригнать
348—350	Он как-то и в семье своей	если не вполне оправдывается
351	Еще назвать могу	в члены представительного собрания
351—352	Везде из-под литературной	вовсе не литературное
353	Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и другие	от потомков своих
353	Ныне Пегас	не тот же Дон-Кихот
358—359	Лермонтов держался до конца	повторяемую мастерским художником
363	Ныне пользуются событиями	закладывается и у нас.
365	Кажется, Пушкиным было сказано	грудь кормилицы своей»

звала сомнений у исследователей. При последующем анализе в основу положен текст первоначальной редакции.

В статье Вяземского, за исключением упоминания вскользь о Гоголе да нескольких строк, посвященных Лермонтову, нет иных имен, кроме имен Карамзина и Пушкина. Новые писатели словно не существуют для автора. В то время когда Белинский писал о расцвете натуральной школы, Вяземский с демонстративной полемичностью отверг современную литературу: «Все, что ныне читается с жадностью, разве это литература в прежнем смысле этого слова? Священнослужение обратилось более или менее в спекуляцию и промышленность. Кто ныне пишет поэмы? Куда девалась трагедия? Сколько различных родов пиитики и статей литературного уложения пропало без вести! <...> История, роман, поэзия — все это перегорело в политический памфлет разных видов, целей и размеров» (II, 351—352).

Вяземский выступил с запоздалыми призывами повернуть вспять развитие словесности: «В литературе нашей еще должно господствовать единодержавие, или, по крайней мере, литературная власть должна быть принадлежностью сильной и умной олигархии. Литературная демократия, безначальство у нас никуда не годится» (II, 356—357). И далее он писал: «Наши предки очень благоразумно выразили пословицу: *Vox populi — vox Dei*: глас божий — глас народа. Оно то же, да не то же. Глас божий передается из века в век устами избранных, и тогда глаголы их усвоятся народом. Но глас народа, то есть толпы, не только не всегда бывает выражением вечной истины, но большею частию он голос предубеждений, голос лжи и слепых страстей. Это не глаголы, а слухи» (II, 357). Трудно вообразить метаморфозу более разительную! В молодости Вяземский кипел негодованием оттого, что в русском переводе эта пословица потеряла первоначальный смысл; теперь, отрекаясь от либеральных убеждений, он считает этот перевод благоразумным и правильным.

Консервативная позиция Вяземского была также причиной его отрицательного отношения к историческим школам на Западе и в России: «Исторические творения, как пишут их ныне Тьер, Ламартин, Луи-Блан, Мишле, даже литературные курсы, какие преподаются, например, парижскими профессорами, разве все это чистая и бескорыстная литература?» (II, 351).

Порицая французскую историографию за стремление протянуть через всю историю одну мысль, «один лозунг, на который откликались все события», Вяземский выставлял образцом исторический метод Карамзина. Между тем сам Вяземский писал, что идея монархизма красной нитью проведена им через всю историю (II, 364). Тем самым, опровергая самого себя, Вяземский подводил к мысли, что без центральной идеи не может быть создано ни одно значительное историческое произведение. Вопрос по сути дела заключался в том, *какая* главенствующая мысль принималась

в основу исторического процесса: монархизм Карамзина или идея французских историков о борьбе классов.

Полемика Вяземского с французскими историками была «трамплином» для нападков на русских историков, писавших после Карамзина: «Отечественная история обогатилась многими исследованиями и отдельными сочинениями. Их так много, мнения так различны и противоположны, что можно разве опасаться одного, чтобы излишними пояснениями не затемнили дела. Можно опасаться, чтобы грудами материалов не загромождали уже пробитой дороги. Много представлено смет и планов. В ожидании устройства новой дороги отвлекают от прежней. За спорами дело стало» (II, 362).

За два десятилетия, истекшие со смерти Карамзина, его труд много раз подвергался нападкам. В предшествующих главах говорилось о выступлениях Н. С. Арцыбашева, Н. А. Полевого, Н. Г. Устрялова против «Истории государства Российского». В 1830-е годы с критикой исторических взглядов Карамзина выступали также сторонники «скептической школы». С середины 1840-х годов возникает буржуазная «государственная школа»: к 1845 г. относится магистерская диссертация С. М. Соловьева «Об отношениях Новгорода к великим князьям», к 1846 г. — труд К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России».⁴⁴ Считая развитие государственности, правовых, юридических норм центральной проблемой исторического процесса, эти ученые также по существу полемизировали с концепцией Карамзина. В славянофильской статье П. В. Киреевского «О древней русской истории»⁴⁵ выдвигались на первый план общинные, родовые начала Древней Руси. Хотя автор не критиковал прямо Карамзина, Вяземский не мог не увидеть в этой работе принципиально иного подхода к истории России, нежели взгляд Карамзина. Резкие нападки вызвала норманнская теория призвания варягов, некритически принятая Карамзиным из летописных источников. Против этой теории выступили Ст. Руссов, П. Бутков, Ю. Венелин, Ф. Л. Морошкин, Н. В. Савельев-Ростиславич. Этот спор отозвался журнальной полемикой, в которой участвовали Белинский, Погодин, Самарин и др.⁴⁶

Новые исторические труды с различных общественных позиций полемизировали с исторической концепцией Карамзина, что вызывало противодействие Вяземского, ослепленного своей консервативной позицией и считавшего, что «за спорами дело стало».

В статье «Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина» дана характеристика творчества Лермонтова, единственного поэта,

⁴⁴ Современник, 1847, № 1. Датировано 23 февраля 1846 г.

⁴⁵ Москвитянин, 1845, № 3, отд. II, стр. 11—47.

⁴⁶ Литературу по этому вопросу см: История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография. М., изд. «Наука», 1965, стр. 50—53.

которого Вяземский удостоил чести упомянуть и сопоставить с Пушкиным.

Вяземский познакомился с Лермонтовым после смерти Пушкина и встречался с ним у Карамзиных, В. Ф. Одоевского, М. Ю. Виельгорского. Прочитав в рукописи «Тамбовскую казначейшу», он вместе с Жуковским помог ее появлению в «Современнике». Однако личность и поэзия Лермонтова были ему во многом чужды. Вяземский находил, что Лермонтов в обществе копирует Пушкина, и это раздражало его. Впоследствии, полемизируя с воспоминаниями В. П. Бурнашева, Вяземский писал: «Я никогда не был большим охотником до Лермонтова, но уверен, что он не был в состоянии сказать тех пошлостей, которые приписывает ему автор при первой встрече с ним и по поводу гусарской шинели и гражданского хитона и проч. и проч.»⁴⁷

Гибель Лермонтова вызвала следующую запись Вяземского: «В одно время с выпискою из письма Жуковского (о его женьтибе, — М. Г.) дошло до меня известие о смерти Лермонтова. Какая противоположность в этих участиях. Тут есть, однако, какой-то отпечаток Провидения. Сравните, из каких стихий образовалась жизнь и поэзия того и другого, и тогда конец их покажется натуральным последствием и заключением. Карамзин и Жуковский: в последнем отразилась жизнь первого, равно как и в Лермонтове отразился Пушкин. Это может подать повод ко многим размышлениям. — Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Лудвига-Филиппа: вот второй раз, что не дают промаха».⁴⁸

Отзыв Вяземского о гибели Лермонтова, сопоставленной со смертью Пушкина, исключительно ценен, так как исходит от хорошо осведомленного современника, понимавшего, что оба поэта пали жертвой николаевского режима. Кроме того, сравнение Жуковского с Карамзиным, а Лермонтова с Пушкиным — как по жизненной судьбе, так и в области творчества — показывает, что Вяземский чутко уловил глубокое общественное различие между ними. По сути дела, вольно или невольно, Вяземский высказал мысль о том, что Лермонтов — наследник Пушкина.

Критика С. П. Шевыревым произведений Лермонтова, напечатанная в «Москвитянине», не вызвала сочувствия Вяземского: «Вы были слишком строги к Лермонтову. Разумеется, в таланте его отзывались воспоминания, впечатления чужие; но много было

⁴⁷ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1210, л. 3.

⁴⁸ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 274. Ср. с отзывом в письме Вяземского к А. Я. Булгакову от 4 августа 1841 г.: «Мы все под грустным впечатлением известия о смерти бедного Лермонтова. Большая потеря для нашей словесности. Он многое уже исполнил, а еще более обещал. В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Лудвига Филиппа. Второй раз не дают промаха» (в сб.: М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. М., Соцэкгиз, 1939, стр. 67).

и того, что означало сильную и коренную самобытность, которая впоследствии одолела бы все внешнее и заимствованное». ⁴⁹ Мысль о том, что талант Лермонтова не смог развернуться во всю ширь, высказана Вяземским и в статье «Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина»: «Лермонтов имел великое дарование, но не успел, а может быть, и не умел вполне обозначить себя. Преждевременная смерть его оставила неразрешенным вопрос: заместил ли бы он Пушкина, или нет? Вероятно, нет. В природе Лермонтова не было всеобъемлемости и разнообразия природы Пушкина. В нем наравне с ним была поэтическая впечатлительность, восприимчивость и раздражительность, может быть, наравне с ним и высокое художественное чувство, но не было того глубокого взгляда, бесстрастия, равновесия, которые выказались так сильно в некоторых творениях Пушкина. Это мое мнение. Оно, может быть, и ошибочно. Но как бы то ни было, а в том, что Лермонтов успел сделать, он далеко не поравнялся с Пушкиным. О том, что мог бы сделать, судить определительно нельзя». ⁵⁰

Перерабатывая статью в 1870-е годы, Вяземский значительно усилил и расширил критическую часть отзыва: «Лермонтов держался до конца поэтических приемов, которыми Пушкин озаменовал себя при начале своем и которыми увлекал за собою толпу, всегда впечатлительную и всегда легкомысленную. Он не шел вперед. Лира его не звучала новыми струнами. Поэтический горизонт его не расширялся. Лермонтов остался русским и слабым осколком Байрона <...> Бури Пушкина были бури внутренние, бури Лермонтова — более внешние, театральные, заимствованные и, так сказать, заказные, то есть он сам заказывал их себе <...> В созданиях Пушкина отражается живой и целый мир. В созданиях Лермонтова красуется пред вами мир театральный с своими кулисами и суфлером, который сидит в будке своей и подсказывает речь, благозвучно и увлекательно повторяемую мастерским художником» (II, 358—359).

Чем дальше шли годы, тем более чуждой становилась Вяземскому поэзия Лермонтова, тем пристрастнее судил он о ней.

В чем причина «глухоты» Вяземского? Конечно, консерватизм его воззрений 1840-х и тем более 1870-х годов препятствовал справедливой и проникновенной оценке мятежной поэзии Лермонтова. Но это было не единственной и, пожалуй, не самой существенной причиной. Вспомним, что и в конце 1830-х годов, когда еще только начался отход Вяземского от прогрессивных взглядов, он не сблизился с Лермонтовым: между ними не возникло ни житейского, ни творческого контакта. Почему же он, сам талантливый поэт и верный ценитель поэзии Державина и Пушкина, не признал в Лермонтове великого поэта?

⁴⁹ Русский архив, 1885, кн. 2, стр. 307.

⁵⁰ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 981, л. 20—20 об.

Ко времени их знакомства Вяземскому исполнилось 45 лет; он был человек с устоявшейся психикой, присущей его поколению, со сложившимися литературными взглядами. Поэзия Пушкина, рождавшаяся на его глазах, стала его родной стихией: он свыкся, сжился со стихом Пушкина, сам стал писать, повинаясь влиянию его поэзии. Послепушкинская же поэзия, если не считать Тютчева и Языкова, начавших свой поэтический путь при Пушкине, осталась чужда Вяземскому. Правда, он иногда читал стихи Фета, А. К. Толстого, Аполлона Майкова. Но писать о них он не мог и не хотел. В его поздней лирике иногда слышатся интонации поэтов второй половины XIX в., но это были невольные заимствования; сознательно он никогда не принимал их творчество.

Таким образом, разность общественных воззрений и психологический фактор действовали в одном направлении: их совместное воздействие обусловило невозможность органического вхождения Вяземского в поэтический мир Лермонтова.

Статья «Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина», по-видимому, мыслилась Вяземским как ответ на статью Белинского, и в первую очередь на программную статью «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Однако противопоставить свой обзор статьям Белинского Вяземскому не удалось; незаконченная статья осталась лежать под спудом и после значительной переработки была опубликована лишь много лет спустя.

Свой взгляд на современную литературу и на журналистику 1840-х годов Вяземский высказал в «Фонвизине», опубликованном в полном виде в 1848 г. В главе, посвященной этой монографии, была прослежена история этого капитального произведения Вяземского до 1837 г. Теперь настало время рассмотреть судьбу «Фонвизина» в последующее десятилетие.

В эти годы были напечатаны три главы «Фонвизина»: глава XI — в альманахе А. Ф. Воейкова «Сборник на 1838 год» и главы IX и X — в альманахе «Утренняя заря», изданном в 1841 г. В. Владиславлевым.

В рецензии на «Утреннюю зарю» Белинский писал, что напечатанные главы «Фонвизина» «возбуждают сильное желание прочесть сочинение в целом: так велик интерес этих отрывков. В русской литературе нет ничего подобного в этом роде, — и нет сомнения, что только один князь Вяземский мог бы у нас написать историю литературы в отношении к обществу, так, чтоб это была история литературы и история цивилизации в России от Петра Великого до нашего времени. Из отрывков его „Биографии Фонвизина“, видно, как глубоко постиг он в этом отношении время великого царствования Екатерины Великой».⁵¹

В «Библиотеке для чтения» главы «Фонвизина» были обойдены молчанием: они вовсе не упомянуты в рецензии на «Утрен-

⁵¹ Отечественные записки, т. 14, № 1, отд. VI, 1841, стр. 3.

ною зарю», помещенной в журнале Сенковского,⁵² — отражались давнишние неприязненные отношения Вяземского с «Библиотекой для чтения», которые начали сглаживаться лишь в середине 1840-х годов. В 1844 г. в этом журнале появились следующие строки о «Фонвизине»: «К сожалению, это сочинение одного из остроумнейших наших писателей остается известным публике только по отрывкам из него, напечатанным в разных периодических изданиях».⁵³

Издавая в 1848 г. «Фонвизина» в полном виде, Вяземский коренным образом переработал XII главу, значительно ее расширил, изложил в ней свою историко-литературную концепцию, полемически заострив ее против отечественной журналистики 1840-х годов.

Обвиняя современную критику в забвении старины, в ниспровержении литературных авторитетов, Вяземский писал в новой редакции XII главы: «Только у необразованных, диких народов нет прошедшего. Для них век мой, день мой. Ниспровергая, ломая все прошедшее на своз, как уже отжившее и ненужное, вы сами, не догадываясь о том, обращаетесь к первобытной дикости. <...> Вы настоящие гасители, ибо покушаетесь потушить неугасимый свет, разлившийся искони и постепенно разливающийся из одного нетленного и все более и более питаемого светильника. Не только в области наук и искусства, но и в самой политике только те перевороты благонадежны и плодотворны, которые постепенны и необходимы. Главное условие прочности их есть то, чтобы они развивались из недр прошедшего, из святыни народной, из хранилища истории и опыта» (V, 192—193).

Суждение Вяземского о неразрывной преемственности прошедшего, настоящего и будущего, столь категорично сформулированное в новой редакции XII главы, содержалось и в предшествующих главах «Фонвизина», написанных в начале 1830-х годов, и, как мы видели, было полностью одобрено Пушкиным. В 1830 г. в «Опровержении на критики» Пушкин сам писал: «Образованный француз или англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим».⁵⁴

Однако диалектика исторического процесса такова, что одна и та же мысль, высказанная в разное время, приобретает различное общественное «наполнение»: в 1830-е годы эта концепция выражала оппозиционные настроения передового дворянства, обосновывая, по мысли Пушкина, тезис о независимости старинной аристократии от самодержавия, о ее направляющей роли в развитии страны; в 1840-е годы это же самое теоретическое построение

⁵² Библиотека для чтения, т. 45, отд. VI, 1841, стр. 1—10.

⁵³ Там же, т. 67, отд. VI, 1844, стр. 64.

⁵⁴ Пушкин, т. XI, стр. 162.

стало консервативным заслоном дворянской публицистики перед лицом новых общественных, исторически более прогрессивных и более демократических течений.

Заострение XII главы «Фонвизина» против современной журналистики, при оставлении неизменными предшествующих глав (в частности, главы, содержащей положительную характеристику французских энциклопедистов), привело к внутренней противоречивости труда Вяземского, что непосредственно отразилось на критических отзывах о монографии. В «Отечественных записках» А. Д. Галахов, дав в целом благожелательную оценку «Фонвизина», в то же время писал: «... вследствие неуместной полемики сочинение князя Вяземского распалось на две части, друг другу противоречащие: в первой он говорит, что старая литература наша не была выражением общества, что он отдал бы ее за несколько исторических записок того времени, а в другой он бранит писателей позднейшего времени, зачем они забыли эту самую литературу, зачем они не читают Хераскова, Петрова, Сумарокова».⁵⁵

А. Д. Галахов справедливо подметил, что ниспровержение литературных авторитетов, столь ясно проявившееся у Белинского и других критиков 1840-х годов, было начато в статьях самого Вяземского: он высказал немало горьких истин писателям XVIII в. Эти суждения Вяземского пришли в противоречие с его позднейшими взглядами на литературу.

В споре Вяземского с Фонвизиним о французских энциклопедистах западник А. Д. Галахов естественно взял сторону биографа: «Письма Фонвизина из-за границы всем известны. Мы знаем, как много верных заметок представляют они о жизни Западной Европы тогдашнего времени; с другой стороны, нельзя не заметить, что они были написаны человеком, находившимся в каком-то раздраженном состоянии. Вот эту-то вторую сторону писем прекрасно объяснил князь Вяземский».⁵⁶

Сочетание в книге Вяземского защиты французских энциклопедистов с нападками на современную журналистику вызвало также двойственное — правда, с других позиций, полярно противоположных «Отечественным запискам», — отношение к этому труду на страницах «Москвитянина». С. П. Шевырев выступил в защиту славянского языка и исконных русских начал, которым Вяземский, по мнению критика, не придавал должного значения. С другой стороны, осуждение демократической журналистики 1840-х годов получило полное одобрение С. П. Шевырева: «Слово биографа, перед окончанием книги, загорается чувством справед-

⁵⁵ Отечественные записки, 1848, ч. VIII, отд. V, стр. 11—12 (без подписи.) — В примечании к письму Я. К. Грота к П. А. Плетневу от 30 октября 1848 г. утверждается, что эта статья написана А. Д. Галаховым (в кн.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III, СПб., 1897, стр. 347). Содержание статьи подтверждает это свидетельство.

⁵⁶ Отечественные записки, 1848, ч. VIII, отд. V, стр. 7.

ливого негодования против тех *литературных скороходов*, которые бегут напоказ перед толпою за временем, кружась на одном и том же месте». ⁵⁷ С. П. Шевырев вступил в открытую полемику со статьей «Отечественных записок» о монографии Вяземского.

В «Санкт-Петербургских ведомостях» со статьей о «Фонвизине» выступил Я. К. Грот. Он защищал Фонвизина от нападок Вяземского и упрекал последнего в непоследовательности: «Князь Вяземский сам с справедливым негодованием осуждает известные явления нашей современной литературы. Бог знает, не было ли в тогдашней литературе французской чего-нибудь подобного или еще похуже; если так, то естественно, что представитель образования, еще юного и незараженного порчею, неизбежно в период дальнейшего развития, сильно был поражен тем, что видел, и в отзывах своих не сумел защититься от крайностей. Тем не менее негодование его несколько сродни тому, которое иногда овладевает пером его биографа, и в общем источнике их строгости мы находим их примирение». ⁵⁸ Я. К. Грот правильно нащупал «ахиллесову пяту» монографии Вяземского: высказывания о современной журналистике находились в противоречии со всем содержанием его труда о Фонвизине и в особенности с его защитой энциклопедистов.

Революционные события середины XIX в. придавали особую злободневность спорам об энциклопедистах; парадоксальность позиции Вяземского, автора «Фонвизина», заключалась в том, что он, порицая современные силы, стоявшие за прогресс, в то же время ратовал за французскую философию XVIII в. Три года спустя в «Московских ведомостях» появились статьи И. А. Фонвизина (племянника сатирика), который взял под защиту высказывания автора «Недоросля» об энциклопедистах.

В некоторых рецензиях на «Фонвизина» слышались отзвуки старинных литературных споров. Так, например, Е. Ф. Розен вспоминал о давних нападках Н. А. Полевого на «бесплодие» Вяземского; критика не смущало то, что Н. А. Полевой был уже в могиле. Однако Е. Ф. Розен полемизировал не только с мертвым Н. А. Полевым: отмечая «неумитное правосудие» Вяземского в оценке писем Фонвизина из Франции, он в своей рецензии задирает «Москвитянина»; делая выпады против «московских схоластов», Е. Ф. Розен воскрешал споры писателей пушкинского круга с московскими журналистами. ⁵⁹ Таким образом, в спорах вокруг «Фонвизина» отголоски журнальной полемики пушкинской поры переплетались с идейными разногласиями 1840-х годов. ⁶⁰

⁵⁷ Москвитянин, 1848, № 5, отд. II, стр. 50.

⁵⁸ Санкт-Петербургские ведомости, № 282 (15 декабря), 1848, стр. 1131.

⁵⁹ Сын отечества, 1848, № 6, отд. VI, стр. 1—23.

⁶⁰ Подробнее о судьбе «Фонвизина» в 1840-е годы и о полемике, вызванной выходом его в свет, см.: Новонайденный автограф Пушкина, стр. 105—119.

Судьба книги Вяземского оказалась сходной с судьбой ее автора: она пережила себя. В движении и противоборстве новых общественных сил и литературных проблем она осталась застывшим памятником предшествующего периода, не развивая, а консервируя пушкинские начала.

Статья «Языков и Гоголь», первоначальная редакция статьи «Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина», окончательная редакция XII главы «Фонвизина» подвели итог идейному развитию Вяземского с 1837 по 1847 г. За эти десять лет из рядов либеральной оппозиции жизнь отбросила его в лагерь тех консерваторов, которые, продолжая критиковать режим Николая I, в то же время оставались чужды всем новым общественным течениям.





ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ЗАКАТ ВЯЗЕМСКОГО

Консолидация новых общественных сил, быстрый рост разночинной интеллигенции, формирование революционно-демократической идеологии в России, революционное движение в странах Западной Европы — все это способствовало усилению консерватизма Вяземского. В 1848 г. он написал стихотворение «Святая Русь». Рубикон был перейден! Бывший вольнодумец и оппозиционер слагал стихи во славу самодержавия и православия.

Напуганное революционными событиями в Западной Европе, правительство решило усилить цензурные репрессии: 2 апреля 1848 г. был учрежден под председательством Д. П. Бутурлина секретный комитет по делам печати. Стремясь не отстать от новых веяний, министр народного просвещения С. С. Уваров приступил к подготовке нового цензурного устава; намечалось создать при Министерстве особый департамент цензуры, который, обладал бы большими полномочиями, нежели Главное управление цензуры. Впрочем, проект цензурного устава, внесенный С. С. Уваровым, был отклонен Государственным советом, да и сам он незадолго до рассмотрения проекта был уволен от должности. Между тем толки о новом цензурном уставе дошли до Вяземского и побудили его высказать свою точку зрения на цензуру.

20 апреля 1848 г. в Министерство народного просвещения было отправлено следующее письмо: «Действительный тайный советник Бутурлин, свидетельствуя свое совершенное почтение его сиятельству графу Сергию Семеновичу, имеет честь препроводить к нему, по повелению его императорского высочества государя наследника, записку о цензуре, составленную князем Вяземским, в коей его высочество изволил заметить некоторые полезные мысли».¹

¹ ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 2097, л. 7.

Записка Вяземского о цензуре до сего времени не была напечатана. Между тем она представляет несомненный интерес как программный документ, характеризующий общественную позицию Вяземского в конце 1840-х годов; кроме того, эта записка формулирует те основные положения, те исходные принципы, которыми позднее, в середине 1850-х годов, руководствовался Вяземский на посту товарища министра народного просвещения, когда цензура была под его ведомом. Вот текст этой записки.

«Мысль, когда она облекается в слово, а слово в печать, становится уже действием.

Каждое действие должно совершаться в пределах закона.

Цензура есть предупредительный закон против злоупотребления этого действия.

Цензура есть полиция мысли и слова, действующих посредством печати.

Надзору общей полиции предоставлены частные, отдельные, единовременные проступки. Обязанности цензуры гораздо важнее и выше: ибо каждое выражение вредного мнения, опасного направления, когда оно облечено силою печати, есть уже покушение всеобщее, не ограниченное ни пространством, ни временем. Худо устроенная, или худо действующая полиция нарушает благоденствие и безопасность жителей. Но непонятливая и ненадежная цензура может поколебать безопасность целого государства. Вред, от нее происходящий, действует не только на настоящее поколение, но заражает и будущие.

Из этого явствует, что цензура должна быть одна из важнейших отраслей верховного государственного управления.

Правила, коими руководствуется цензура, заключаются в цензурном уставе. Но цензурный устав, какой бы он ни был, как и всякий другой закон, не что иное, как мертвая буква. Дух его в применении, то есть в людях, которые применяют сей закон к действительности. Это особенно важно в отношении к письменности. Мысль неуловима, и слова могут быть двусмысленны. Самый либеральный цензурный устав может задуть всякое проявление даже и самых благонамеренных мыслей. В самом строгом уставе найдутся лазейки, чрез которые могут прокрасться мнения противозаконные и пагубное учение.

Следовательно: главное дело не в цензурном уставе, а в выборе цензоров.

Здесь заключается вся важность и вся трудность предстоящего вопроса.

Прежде, нежели приступить к возможному и лучшему разрешению сего вопроса, обратим внимание на положение, в котором ныне находятся цензура и цензоры наши.

Цензурный устав наш вообще удовлетворителен, но цензура наша не отвечает своему назначению. Во-первых, в ней нет един-

ства. До сих пор цензура у нас состоит под ведомством Министерства просвещения.

Между тем частные вопросы побудили правительство учредить отдельные цензуры по разным министерствам и отраслям правления. Это раздробление вредно в общем отношении и стеснительно для писателей в отношениях частных. Эти экстренные цензуры действуют произвольно, односторонне и неминуемо должны друг другу противоречить. Направление, допущенное одною из них, не всегда согласуется с другими. Из сего рождается сбивчивость, разномыслие. Цензура должна быть проникнута одним духом.

Общие, должностные цензуры наши большею частью люди темные, безгласные, мало образованные, чуждые обществу и не имеющие в нем ни значения, ни уважения. Кто не способен ни к какому другому роду службы, кто нуждается в прибавке к своему жалованию, тот ищет цензорского места и часто получает его. В звание цензора поступают также лица, поверхностно знакомые с одною частью литературы, так называемые литераторы без имени, без дарования, и только потому, что они грамотнее других.

Вообще должно быть принято за правило не определять цензорами людей, исключительно принадлежащих к так называемому классу литераторов.

На это две причины:

Первая: мелкие, малоспособные литераторы по связям своим, по опасению возбудить негодование сильных совладельцев своих не могут быть беспристрастны и независимы. Подавленные односторонним влиянием, они слишком снисходительны к одним и слишком самоуправны и придирчивы к другим. Дух литературных партий, лицепритие, мелкие своекорыстные побуждения отзываются в приговорах цензуры и нарушают ее достоинство.

Вторая: при нынешних предубеждениях, литераторы известные, с дарованием, не пойдут в цензора, потому что это звание слишком унижено в общем мнении.

Из этого следует, что правительство должно облагородить это звание.

Надежнейшим средством к этому признается: учреждение особенного высшего управления цензуры, самостоятельное, не подведомственное никакому министерству и коего власть истекала бы непосредственно и прямо из самой верховной власти.

Вверить это управление особенному совету, или комитету, подчиненному председателю.

Главнуправляющий над делами цензуры должен быть один из способнейших государственных людей, не только образованный и преданный пользе самодержца и его подданных, но человек, имеющий особенную доверенность государя, знающий виды и намерения его ко благу государства и согласно с ним поощряющий движение литературы или преграждающий уклонения ее от пред-

назначенного пути. Одним словом, главноуправляющий цензурою должен быть лицо правительственное и политическое.

В наше время часть, вверяемая управлению его, есть одна из важнейших и обширнейших частей общего государственного управления.

Нельзя не признать, что ныне, при общем стремлении умов *знать и толковать* и часто *знать поверхностно и криво толковать*, литература и вообще письменность есть одна из сил, наиболее двигающих общество, всемогущее оружие, охранительное или убийственное. Ныне обыкновенные, незначительные цензора, которые как сторожа смотрят за внешнею тишиною и порядком, недостаточны.

У нас донныне ограничивались недалководными запретительными средствами. Этого мало. Внимание обращено было на отдельные слова, которые резко бросались в глаза, но дух литературы ускользал от прозорливой попечительности. Эти запрещенные слова и выражения, разумеется, и не показываются в печати. Но смысл этих слов может притаяться под другими словами, и действие тоже. На каждое слово есть обиняк. Литература наша и особенно некоторые из петербургских журналов исполнены этих обиняков и намеков, прозрачных для смышленных читателей.

К сожалению, литература наша действует совершенно независимо от правительства и вне влияния его и высшего общества.

Власти, высшие лица не занимаются ею. Большая часть писателей это чувствует, этим пользуется и обращается к низшим слоям общества. Литература наша, а особенно журнальная, действует на молодежь и на *средний класс*, то есть на небогатых офицеров, на канцелярских чиновников, мелких провинциальных помещиков, а что всего прискорбнее, особенно переводами безнравственных французских романов, и на лакейские. Молодежь везде легковерна и уносчива. Средний класс везде враждебен установленному порядку, потому что он хотя и перешел с низшей ступени, но не взошел на высшую. Такова человеческая природа. При оценке положения своего редкий благодарит бога за то, что ему *хорошо* в сравнении с другими, которым *хуже*, но почти каждый негодует за то, что ему жить *худо* сравнительно с другими, которым *лучше*. На это *неравенство состояний* всеми возможными раздражительными мерами действует большая часть литературы нашей посредством романов и повестей.

Кстати заметить здесь о журнальной литературе нашей, что напрасно препятствуют у нас размножению журналов и газет. При существовании цензуры размножение это не может быть вредным. Напротив, вредна монополия журналов, предоставленная некоторым лицам. Иногда журнал имеет у нас до 4 и 5 тысяч подписчиков, следовательно, может быть до ста тысяч читателей. Это влияние на мнения дает журналам и журналистам вес и значение в обществе, которые им иметь не следует. Чем будет более

журналов, тем влияние будет раздробленнее и равновеснее. Стоит только умножить число цензоров и определить цензоров, исключительно занимающихся рассмотрением периодических изданий.

Вообще при учреждении высшего цензурного управления, составленного из людей почетных, деятельных, беспристрастных и независимых по состоянию своему и благородству своих правил и мнений, под председательством высшего государственного сановника, должно будет распределить точнее занятия цензоров, составив из них отделения по разным частям ученой и изящной литературы и специальных сочинений.

Между тем это высшее управление цензуры, это, так сказать, министерство мысли и духа народного, должно иметь во власти своей средство, не только предупреждающее злоупотребления, но и средства направлять движение литературы и удобрять обрабатываемое ею поле. Оно должно поощрять особенным покровительством, отличиями, денежными пособиями благонамеренные и возвышенные дарования, когда они нуждаются в пособиях, содействовать изданию полезных книг, иметь целью правильное образование нашей книжной торговли, которая находится в расстройстве и в упадке.

От разных министерств издаются весьма полезные и хорошие журналы, но специальные и, следовательно, однообразные и недоступные общему любопытству. Правительство, под ведением высшего управления цензурного, должно иметь свой всеобщий журнал политический и литературный, свою всеобщую ежедневную газету литературную и политическую, куда стекались бы все сведения, все указания, которые правительство хочет распространять в народе, и все литературные силы пишущего поколения.

Но в этом отношении должно держаться весьма строгой разборчивости в выборе орудий и органов своих. Наемные, бездушные прислужники и неловкие хвалители могут более повредить общей пользе, нежели двусмысленные покушения тайных недоброжелателей. При невнимании правительства и высших лиц к развитию у нас литературы и общественного мнения, правительство смотрит на многое не с настоящей точки зрения. Оно иногда мнимо опирается на формы, которые уже утратили свою силу, и оставляет в стороне свежие и бодрые силы, которые только и ждут призыва его, чтобы служить ему верою и правдою.

Не отказываясь от своих основных, коренных начал, за которые каждый истинный русский именем и совестью готов, особенно в наше время, стать грудью, как за свою личную собственность и святыню, правительство должно в известном размере и в определенных границах допустить некоторый простор для выражения мнений и для рассмотрения общественных вопросов, с тем только, чтобы эти мнения и разрешения вопросов согласовались с началами, признанными самим правительством.

Благодаря бога, у нас слова царь и народ еще нераздельны. Кто хочет служить царю, тот служит и народу. Кто хочет служить народу, тот вместе с тем служит и царю.

Нет сомнения, что при первом изъявлении воли своей правительство найдет в России довольно благонамеренных и надежных дарований, которые и по влечению своему и по обязанности охотно будут служить ему верными и усердными орудиями в деле народной образованности и в деле общего блага, устроенного на твердых началах, Промыслом указанных России, как на прочное основание ее могущества, процветания и славы».²

На полях записки Вяземского наследник отчеркнул карандашом места о том, что цензура не отвечает своему назначению; об учреждении высшего управления цензуры; об обиняках в петербургских журналах; о необходимости покровительствовать благонамеренным дарованиям; об издании правительственного журнала и газеты; о вреде неловких хвалителей; о невнимании высших правительственных лиц к литературе; о желательности дать известный простор «для выражения мнений и для рассмотрения общественных вопросов». Рядом с утверждением Вяземского, что увеличение числа журналов и газет может иметь благотворное влияние, наследник написал: «Я с этим не согласен».

Записка Вяземского о цензуре отразила его отрицательное отношение как к передовым демократическим журналам, так и к изданиям булгаринского толка. На протяжении многих лет Вяземский доказывал, что журналы «торгового» направления неуклюжими хвалебными отзывами дискредитируют правительство. Он постоянно настаивал на том, что, несмотря на внешнюю лояльность и подобострастие, среднее сословие (а ведь именно оно играло главную роль в органах «торгового» направления) враждебно дворянской государственности и что во главе прессы должны стоять образованные дворяне.

Генетически записка Вяземского о цензуре связана с его мемурандумом «О безмолвии русской печати». Однако за прошедшие пятнадцать лет Вяземский из рядов дворянской оппозиции перешел в ряды сторонников существующего строя; поэтому одна и та же мысль, содержащаяся в этих двух документах, об издании правительственного печатного органа имеет разный общественный смысл: если в меморандуме 1833 г. Вяземский предполагал с помощью подобного журнала провести социальные реформы, то в записке 1848 г. издание правительственного журнала должно было способствовать стабилизации режима Николая I.

Записка Вяземского о цензуре была умной консервативной мечтой, осуществить которую правительство не было готово; оно предпочло усилить до предела цензурный гнет. 19 июня 1850 г.

² Там же, л. 8—15.

Николай I утвердил новые штаты цензурного управления, увеличив расходы на цензуру в два с половиной раза: с 41 тыс. рублей в год до 104 тыс. рублей!³ Разросшееся цензурное ведомство и обладавший чрезвычайными полномочиями секретный бутурлинский комитет создали атмосферу цензурного террора, которая господствовала до конца царствования Николая I.

Не воспользовавшись запиской Вяземского о цензуре, правительство в то же время благосклонно отнеслось к тем мотивам, которыми он руководствовался при ее написании. Зимний дворец не замедлил оценить своего нового союзника; как уже упоминалось, в феврале 1849 г., после десятилетнего перерыва, Вяземский представлялся Николаю I и благодарил его за награждение орденом Станислава первой степени. Хотя официально орден был дан за службу в Министерстве финансов, можно не сомневаться в том, что не сомнительные заслуги Вяземского на посту управляющего Заемным банком, а его записка о цензуре и верноподданническое стихотворение «Святая Русь» получили одобрение русского самодержца: Николай I знал кого и когда жаловать!

В начале 1849 г. скончалась дочь Вяземского Мария Петровна Валуева. Удрученные внезапной кончиной дочери (она умерла от холеры), Вяземский и Вера Федоровна решают путешествовать. В июне 1849 г. они выехали из Остафьево в Константинополь, где в то время служил их сын Павел Петрович. По дороге Вяземский посетил места, связанные с осадой Трои (Письмо к С. Н. Карамзиной из Буюкдера: II, 400—409).

Прожив в Константинополе до весны, Вяземские 7 апреля выехали в Иерусалим; 12 мая они заказали обедню на Голгофе за упокой родных и друзей: в поминальном списке Вяземских — имена Пушкина, Дениса Давыдова, Баратынского, Карамзина, М. Ф. Орлова, В. Л. Пушкина, Ю. А. Нелединского-Мелецкого, Д. В. Дашкова, И. И. Дмитриева, А. И. Тургенева (IX, 255).

В июне 1850 г. Вяземские вернулись в Константинополь, а в конце года — в Россию. На обеде, данном в его честь в Москве, Вяземский произнес речь, которую можно назвать панихидой по самому себе: «Я старый москвич, и вы во мне видите и приветствуете один из уцелевших обломков старой, т. е. допожарной, Москвы <...> Я был питомцем Карамзина: теснейшие узы родства и сердца связывали меня с ним. У меня в Подмошковой, и на глазах моих, написал он несколько томов своего бессмертного творения. Нелединский, Дмитриев также ласкали меня, отроком, в доме отца моего. После, когда я возмужал, они удостаивали меня своей особенной приязни. На дружеских и веселых пирах обменивались мы с Денисом Давыдовым рифмами и бокалами. Я не дождал еще до глубокой старости, но грустно уже пережил многих друзей, многие литературные поколения. Пушкин, Баратынский,

³ Там же, № 2098, лл. 225—228.

Языков возрасли, созрели, прославились и сошли в могилу при мне. Во мне приветствуете вы старейшего друга нашего первого современного поэта, Жуковского, и другого поэта, еще живого, но, к сожалению, давно умолкшего, Батюшкова!» (II, 410—411).

В прошлое, только в прошлое устремлена речь Вяземского. Лучшие представители золотого века русской литературы названы им; но ни один писатель последующих поколений, выступавший на литературной арене в середине XIX в., не упомянут в его речи. Недаром Вяземский так любил посвященные ему стихи Баратынского, в которых тот назвал его «звездой разрозненной плеяды». Если в 1834 г., когда Баратынский писал это стихотворение, эти слова были еще во многом пророчеством — в это время еще были живы Пушкин, И. И. Дмитриев, сам Баратынский, — то к 1850 г. они стали грустной явью. «Звездой разрозненной плеяды» прожил Вяземский последние десятилетия своей жизни.

В эти годы сословные предрассудки Вяземского все сильнее и сильнее начинают проявляться в его высказываниях о литературе. Если в 1820-е—1830-е годы, отвергая нападки Н. А. Полевого, Булгарина и других журналистов на писателей пушкинского круга, Вяземский отрицал особую роль высших классов в литературном движении и усиленно подчеркивал, что борьба идет между аристократией талантов и бездарной посредственностью, вне зависимости от социального происхождения тех или иных писателей, то теперь он, опровергая свои старые суждения, писал в рецензии на книгу «Путешествие князя А. Д. Салтыкова по Персии и Индии» (1851): «Нельзя не заметить, что литературная деятельность наша — говоря здесь об одних умерших деятелях русского слова — начиная от князя Кантемира до Пушкина, сосредоточивалась преимущественно в высшем нашем сословии. Дейтельнейшие и блистательнейшие наши литературные знаменитости придали своим уже почетным и родовым именам блеск новой и личной славы. Если и бывали исключения, как например Ломоносов, то и эти исключения не долго оставались в стороне, но силою общего порядка входили в высший круг и наравне с другими пользовались их правами и преимуществами <...> Дворянство наше хорошо поняло и применило к действию прекрасный смысл французского изречения: дворянство обязывает (*noblesse oblige*) <...> Служба общественному благу мыслью и пером всегда признаваема была нашим правительством за действительную службу. Литературные заслуги наравне с другими вознаграждались от верховной власти поощрениями, пособиями и отличиями» (II, 419—420). В этом высказывании Вяземского история русской литературы представлялась в одностороннем и, следовательно, в ложном свете, отрицалось значение недворянских писателей, на долю которых Вяземский милостиво оставлял быструю ассимиляцию и переход их в ряды дворянского сословия (конечно, если они того заслуживали с точки зрения правительства). Возвеличи-

вая роль дворянства в формировании отечественной словесности, Вяземский по сути дела выступал против представителей натуральной школы, против демократизации русской литературы.

Первое заболевание вынудило Вяземского взять длительный отпуск и выехать за границу. 2 декабря 1851 г., находясь проездом в Париже, он стал свидетелем волнений во французской столице, связанных с государственным переворотом Наполеона III. Французские события произвели тягостное впечатление на Вяземского: Наполеона III он неизменно считал узурпатором, революционером на троне — в стихотворении «Проезд через Францию в 1851 году» он писал:

Измутился Улисс несчастной:
Да и теперь, как вспомню я
О вашей «Франции прекрасной»,
Коробит и тошнит меня.

(IV, 374).

1852—1854 гг. Вяземский провел за границей. Он жил в Дрездене, Карлсбаде, Праге, Вене, Венеции, Карлсруэ, Баден-Бадене, Веве, Берне и многих других городах Западной Европы. В его «Записных книжках» этих лет мелькают описания мест, которые он посетил; с любовью запечатлена Венеция и нравы ее жителей. В стихотворении «Венеция» (1853) он писал:

Если ж при ночном светиле
Окуется серебром
Базилика, Кампаниле
И дворец, почивший сном,
И крылатый лев заблещет
И спросонья, при луне,
Он крылами затрепещет,
Мчась в воздушной вышине,

И весь этот край лагунной,
Весь волшебный этот мир
Облечется ночью лунной
В золото, жемчуг и сапфир:
Пред картиной этой чудной
Цепенеют глаз и ум —
И тревоги многолюдной
Позабыв поток и шум,

Ты душой уединишься!
Весь ты зренье и любовь,
Ты глядишь и заглядишься,
И глядеть все хочешь вновь.
И всем прочим не в обиду, —
Красоту столиц земных,
Златовласую Киприду,
Дочь потоков голубых,

Приласкаешь, приголубишь
Мыслью, чувством и мечтой

И Венецию полюбишь
Без ума и всей душой.
Но одно здесь спорит резко
С красотой здешних мест:
Наложил лихой Тедеско
На Венецию арест.

Здесь, где дождей память славит
Вековечная молва,
Тут пятой Горшковский давит
Цепью скованного льва;
Он и скованный сатрапу
Страшен. Все в испуге ждет:
Не подымет ли он лапу?
Гривой грозно ль не тряхнет? ⁴

В последней строфе упомянут ставленник Австрии, губернатор Венеции Горшковский. Сочувствие Вяземского на стороне поработанной иноземными завоевателями Италии.

Но и плывя в венецианской гондоле, любуясь южной природой, Вяземский уносился мечтой на север:

Люблю бродить в саду и думой дальней
Иных дорожек хладный грунт топтать
И в осени, красавице печальной,
Черты давно знакомые встречать.
Люблю я прелесть тихой сей картины:
Деревьев тощих молчаливый ряд,
Полуразвенчаные их вершины,
Полуборванный лугов наряд —
И шорох хрупких листьев облетевших,
Ногой моей встревоженных слегка,
В душе подымлет рой снов, глубоко засевших,
И грустно мне, но эта грусть легка! ⁵

Так, четверть века спустя после смерти Пушкина интонации его пейзажной лирики вновь звучали в стихотворениях Вяземского.

Он переезжал из страны в страну. В Праге Шафарик и Ганка показывали ему исторические достопримечательности чешской столицы. В Дрездене он безуспешно искал следов пребывания там Ломоносова. Повсюду любовался памятниками старины, посещал библиотеки и университеты. Но прошлое было бессильно перечеркнуть настоящее: он постоянно следил за европейской политикой, за обострением русско-турецких отношений.

В феврале 1853 г. Англия и Франция заключили секретное соглашение, направленное своим острием против России, а в мае направили военный флот в Дарданеллы; в октябре Турция объявила войну России; в марте 1854 г. Англия и Франция вступили в войну на стороне Турции.

⁴ П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 271—272.

⁵ Там же, стр. 273.

Вяземский откликнулся на Крымскую войну стихотворениями, написанными в казенно-патриотическом духе, и циклом публицистических статей; некоторые из них ему удалось напечатать в западноевропейской прессе (статьи написаны по-французски), а затем, когда стало ясно, что враждебное отношение к России не позволит опубликовать их полностью в иностранных газетах, Вяземский напечатал их в Лозанне в начале 1855 г. отдельной книгой, под заглавием: «*Lettres d'un vétéran Russe de l'année 1812 sur la question d'Orient*» («Письма русского ветерана 1812 года о восточном вопросе»).⁶

В этой книге, кроме предисловия и приложений, объединено тридцать писем, обращенных к западноевропейскому читателю. В письме третьем Вяземский писал: «Россия прежде всего есть земля благочестивая и царелюбивая. Ее исторические предания ей также дороги, как и предания веры, потому что те и другие истекают из одного источника. Россия то, что она есть, преимущественно потому, что она дочь восточной церкви, и потому, что она всегда останется верна ей. В православии заключается ее право-на бытие; в нем развивалась протекавшая ее жизнь, и в нем задатки ее будущности» (VI, 277).

Православно-монархический постулат Вяземского ясен и не требует особых разъяснений. Но вместе с тем в его письмах было много ценного, исторически справедливого. В первую очередь речь идет об оценке им внешней политики Англии, Франции и Австрии. Вяземский показывал читателям всю «кухню» европейской политики. Особенно подробно он анализировал различные аспекты английской внешней политики. Вот что писал Вяземский о жесткой политике английского кабинета, которая вскоре привела ко второй и третьей «опиумным» войнам: «Народы и правительства, утратившие чувства веры, думают оскорбить нас, упрекая в фанатизме. Хорошо! Но у всякого народа есть более или менее свойственный ему фанатизм. У одного фанатизм гиней, у другого фанатизм фразы <...> Англичане, например, находят весьма естественным и разумным начать войну против миролюбивого народа за то только, что правители этого народа мешают иностранцам оскотинивать и отравлять его посредством тайного ввоза опиума. Подобная война в глазах англичан есть действие хорошей и мудрой политики; о Синопах небесной империи, с резнею и бедствиями, у них говорят лишь мимоходом» (VI, 284).

Последняя ироническая фраза Вяземского была вызвана враждебными нареканиями иностранной прессы по поводу победы русского флота при Синопе в результате смелого нападения адмирала Нахимова на турок. Опровергая тенденциозные сообщения английских газет по этому поводу, Вяземский напоминал Англии о ее

⁶ В 1881 г. эта книга была перепечатана в шестом томе «Сочинений» Вяземского. Помимо французского текста, там дан русский перевод, выполненный П. И. Бартезевым.

внезапном нападении на Копенгаген, когда Дания отказалась примкнуть к антинаполеоновской коалиции: «Подумаешь, что мы среди полного мира и неожиданно напали на столицу дружественного народа, как был тому пример в 1807 г.» (VI, 300). Оспаривая заявление лорда Кларендона, утверждавшего, что нельзя распространить церковные льготы, которыми пользуются в турецких владениях католики и протестанты, на православных христиан по той причине, что они составляют несколько миллионов, Вяземский не без иронии писал: «Тем хуже для греков, — рассуждает филантропическая английская политика, — они сами виноваты, что представляют собою цифру, слишком значительную. Они должны, по необходимости, терпеть и не имеют никакого права на церковные льготы, которыми пользуются римские католики и протестанты, благоразумно составляющие собою лишь слабое меньшинство. Этим, впрочем, превосходно объясняется бедственное и униженное состояние, в котором английское правительство держит Ирландию. Оно, вероятно, находит также, что ирландцев слишком много и что поэтому нельзя себе позволить в отношении к ним справедливости и великодушия» (VI, 359—360).

Вяземский проследил историю англо-французских отношений начиная с французской революции 1789 г. и пришел к выводу, что союз этих держав лишь «политическая плутня», что Лондон неукоснительно содействовал политическому и экономическому ослаблению Франции: «Всякая новая революция во Франции есть событие, благоприятное для Англии. Всегда ненавидя Францию, но всегда дружась с незаконною в ней властью, Англия играет двойную игру и не упускает случаев попользоваться» (VI, 394).

Критикуя правление Наполеона III, Вяземский ясно показал прозрачный характер французского народовластия и грязные махинации правительства при проведении плебисцита: «Мы были во Франции в эпоху 2 декабря и несколько знакомы с тогдашними ее порядками. Во-первых, когда вы ходили по улицам Парижа, люди, расставленные по разным местам и наружности довольно подозрительной, незаметно совали вам в руку клочки бумаги с печатным обозначением утвердительного голоса. Голосов отрицательных, сколько нам известно, никто не раздавал. Сосчитайте, сколько во Франции людей, которые не умеют читать и которые тем не менее приносили в мерю эти бумажные клочки, подобранные ими, так сказать, на улице, и вам тотчас станет понятно, что такое всеобщая подача голосов» (VI, 328—329). Вяземский зорко подметил неустойчивый характер режима Наполеона III: «Посмотрите, как даже в приемах обнародования правительством его государственных бумаг отзываются противоречия, и речь ведется обиняком: „Божиею милостию и волею народной, император француз“. Тут не забыты и мнение всего света, и апологисты божественного права, и проповедники народного верховенства. Во внут-

реннем противоречии между этими словами слышится вся политика новой империи» (VI, 327).

Государственные порядки Западной Европы, внешняя и внутренняя политика Англии и Франции осуждены в «Письмах русского ветерана 1812 года о восточном вопросе» с консервативных позиций. Но, подобно тому как легитимизм Бальзака не помешал ему развенчать современное общество, консервативный «прицел» не препятствовал Вяземскому метко разить буржуазные порядки.

Двенадцатое письмо опровергало утверждения западной прессы о том, что якобы до XVII в. Россия не имела истории. Проследив в кратком очерке историю внешних сношений России с X по XVII в., Вяземский писал: «Петр I застал свое государство в полной готовности к совершению великих преобразований. Одаренный могучим и предприимчивым гением, он двинулся в путь, уже приготовленный для него, и не довольствовался медленным движением, как его предшественники, а с горячностью и нетерпеливостью устремился к своей цели» (VI, 340).

Если разоблачение лживых утверждений англо-французской дипломатии в отношении России, показ истинной цели английской внешней политики, критика буржуазного парламентаризма, изложение внешнеполитических событий русской истории принадлежит к ценным сторонам публицистических писем Вяземского, то там, где он писал о современном состоянии России, консерватизм приводил его к ложным выводам. Так, например, в двадцать четвертом письме он утверждал: «В царствование императора Николая наша словесность сходит с ходулей и развивается в направлении более русском. Лучшие писатели поощрены и обеспечены в нуждах и заботах материальной жизни, и, вообще, государь оказал деятельное покровительство тому, что нам хотелось бы назвать возрождением (*renaissance*) нашей словесности» (VI, 437).

Подобная точка зрения была развита в статье Вяземского «Несколько слов о народном просвещении в настоящее время», написанной им летом 1855 г. по возвращении в Россию, где он был назначен товарищем министра народного просвещения. По его мнению, последние десятилетия Россия быстро шла по пути просвещения, под покровительством правительства пришли в цветущее состояние русские университеты, отечественная литература всемерно поощрялась верховной властью.

Такие положения, естественно, вызывали возражения. Но публично ответить Вяземскому было невозможно: цензура не пропустила бы опровержение его взглядов. Оставалось написать частное письмо Вяземскому. И такое письмо было написано! Более ста лет пролежало оно в Остафьевском архиве, а между тем это письмо является одним из самых волнующих документов русской общественной мысли XIX в. Осмелелся написать его и послать Вяземскому И. В. Киреевский. Такова беспощадная ирония

Истории — письмо было написано бывшим издателем «Европейца», за которого в свое время так мужественно заступился Вяземский перед Бенкендорфом и Николаем I. Теперь же, 23 года спустя, И. В. Киреевский жестоко обвинял Вяземского, взявшего под защиту царствование Николая I.

«Не фраза, правило, что только на правде могут быть основаны твердые и благополучные отношения между правительством и управляемыми. Потому мы надеялись, что те стеснения, которые у нас, особенно в последнее время, были наложены на развитие просвещения и словесности, будут наконец сняты, или по крайней мере будут признаны только временными мерами. И что же? Вместо того нам объявляют, что мы не должны надеяться ни на что лучшее, что правительство наше и так довольно „печется о просвещении, что словесность у нас процветает под его покровительством, что все лучшие писатели наши были всегда отмечены и возвышены им по заслугам своим, что наши университеты и училища кипят просветительной и любознательной деятельностью, что правительство поощряет полезные и замечательные труды во всех отраслях письменной деятельности, что науки имеют в нем благосклонного поощрителя и покровителя, и сама поэзия не остается без сочувствия и внимания“.

Это пишете Вы в то самое время, когда университеты наши закрыты для всех, кроме 300 слушателей, отчего и вся Россия устранена от них, ибо не имея уверенности, что дети попадут в число немногих избранных, необходимо готовить их к другим заведениям; в то время, когда другие учебные заведения принимают все больше и больше вид и смысл кадетских корпусов; когда профессора университетов должны посылать программы своих чтений в Петербург для обрезания их по официальной форме, чем, разумеется, убивается всякая жизнь науки в профессоре, а следовательно и в студентах; когда иностранные книги почти не впускаются в Россию, а русская литература совсем раздавлена и уничтожена ценсурой неслыханною, какой не было еще примера с тех пор как изобретено книгопечатание; когда имя Гоголя преследовалось как что-то вредное и опасное; когда Хомякову запрещено не только печатать в России, но даже читать свои произведения друзьям своим; когда большая часть литераторов под опалою, или под запрещением, или под надзором полиции, только за то, что они литераторы.

Если это называете Вы покровительством, сочувствием и поощрением просвещения и словесности, то что же назвали бы Вы равнодушием?

Покойный император имел, кажется, много таких качеств, за которые его можно бы хвалить с уверенностью встретить общее одобрение и сочувствие. Но хвалить его именно за покровительство и

сочувствие к просвещению и словесности, то же, что хвалить Сократа за правильный профиль.

Если покойный император ошибался, то по крайней мере добросовестно. Если вследствие своего особенного, личного воззрения он почитал полезным, особенно под конец царствования, останавливать развитие просвещения и стеснять деятельность литературы, то это воззрение могло быть неправильное, даже вредное, но было искреннее, и потому, надобно сказать, честное. Он не называл затруднение — поощрением, и стеснение — покровительством. Если так выражались в официальных речах и докладах, то эти выражения имели смысл покорного слуги в конце письма.<...>

Доказательство того, что правительство всегда отличало таланты и покровительствовало словесности, Вы приводите в пример Карамзина, Жуковского, Пушкина, Батюшкова, Крылова и Гоголя. Но в Карамзине и Жуковском покойный император любил человека, и это делает честь его сердцу, но не имеет никакого отношения к покровительству словесности. Пушкину он дал много при смерти; но Вы знаете, ценил ли он его при жизни в настоящую цену, хотя Пушкин сделал много для его славы, пожертвовал для нее большею частью своей. Крылову точно покровительствовали, но за то и одевали Грацией. Что сделали для Батюшкова, я не знаю, и не умею понять, что можно было для него сделать? Гоголю царь дал несколько денег, и не для него, а для тех, кто за него просили. Когда имя Гоголя и его громкое значение в нашей литературе сделались известными, то даже память о нем преследовалась, как вещь враждебная правительству. Спросите об этом Ивана Тургенева и Ивана Аксакова.

Нет, покойный император никогда не любил словесности и никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным человеком, — в его глазах было однозначительно. Может быть, когда к. Вяземский будет писать свою биографию, и он расскажет кое-что в подтверждение моих слов. Наши книги и журналы проходили в публику как вражеские корабли теперь проходят к берегам Финляндии, т. е. между скал и утесов и всегда в виду крепости. Особенно журнальная деятельность, — этот необходимый проводник между ученостю немногих и общею образованностию, — была совершенно задушена, не только тем, что журналы запрещались ни за что, но еще больше тем, что они отданы были в монополию трем-четырем спекулянтам. Мнению русскому, живительному, необходимому для правильного здорового развития всего русского просвещения, не только негде было высказаться, но даже негде было образоваться. Один Булгарин с братиею пользовались постоянным покровительством правительства во все продолжение царствования. Если Булгарин представитель просвещения и словесности России, то действительно они покровительствовались и поощрялись в его лице, или как приличнее назвать его

персону? Для него вся Россия была обращена к одну огромную и молчаливую аудиторию, которую он поучал в продолжение 30-ти лет почти без совместников, поучал вере в бога, преданности царю, добронравственности и патриотизму. Русских, — Булгарин! В самом деле, какое процветание просвещения! Какое кипение умственной жизни!<...>

Вас просили ходатайствовать о дозволении издавать в Москве журнал, который, как Вы знаете, был бы весь проникнут убеждениями русскими и православными, который более других имел бы силы и средства развивать те начала просвещения и образованности, которые до сих пор были у нас задавлены понятиями западными, который может быть один мог иметь достаточно сил, чтобы совершить это важное и трудное дело, — Вы, как слышно, отказались ходатайствовать за этот русский и православный журнал по той причине, что уже прежде ходатайствовали за другие журналы, которые будут издаваться в западных понятиях.

Если это правда, то скажите, ради бога, как объяснить это?

Вы знаете, многоуважаемый князь, что тому, кто владеет драгоценным камнем, грустно заметить в нем малейшую царапину. Уважение к тем необыкновенным людям, которых я имел счастье встретить в моей жизни, составляют мои драгоценные камни. Вас я знал еще с детства моего от лучших друзей Ваших, и через их глаза следил за Вами еще прежде, чем лично познакомился с Вами. Вот отчего теперь прошу Вас сердечно: помогите мне стереть царапину с моего драгоценного камня.

Примите уверения в глубочайшем почтении и совершенной преданности

Вашего

покорного слуги

Ивана Киреевского.

6 дек<абр> 1855».⁷

Подобно тому как зальцбруннское письмо к Гоголю явилось политическим завещанием Белинского, письмо к Вяземскому стало духовным завещанием И. В. Киреевского: он скончался 12 июня 1856 года, через полгода после того, как излил свою душу в этом послании. На протяжении четверти века копил И. В. Киреевский негодование на Николая I, и тут оно вырвалось наружу. Первоклассный публицист, И. В. Киреевский с непререкаемой логикой, в энергичных и смелых выражениях показал, как фарисейски действовало царское правительство, как оно душило отечественную литературу. Вяземский был разбит по всем пунктам. И не только Вяземский! Письмо И. В. Киреевского было обвинительным приговором всему царствованию Николая I.

⁷ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2031, лл. 5—10. Полный текст письма см. в нашей публикации: Русская литература, 1966, № 4, стр. 129—131.

Упомянув о ходатайстве за журнал западнического направления, И. В. Киреевский имел в виду журнал М. Н. Каткова «Русский вестник», который был разрешен царем 23 октября 1855 года по докладной записке Вяземского, исполнявшего в отсутствие А. С. Норова обязанности министра народного просвещения.⁸ В это же время рассматривалось прошение об издании в Москве славянофильского журнала. Прошение А. И. Кошелева и Т. И. Филиппова о разрешении выпускать «Русскую беседу» было направлено 23 сентября 1855 года председателем Московского цензурного комитета В. И. Назимовым в Главное управление цензуры с отношением, в котором говорилось, что этот журнал будет чрезвычайно полезным. Свою точку зрения В. И. Назимов также высказал в частном письме к Вяземскому. Кроме того, приехавший в конце сентября 1855 года в Петербург Т. И. Филиппов заручился рекомендательным письмом П. А. Плетнева. Все это не помогло. Помня о гонениях на славянофилов во времена Николая I и зная, что не отменены в отношении их секретные предписания III Отделения, Вяземский не рискнул в отсутствие А. С. Норова доложить прошение Александру II. Он распорядился ответить В. И. Назимову, что не признает «ныне удобным пустить в ход прошение гг. Кошелева и Филиппова издавать журнал и представит просьбу их г. министру по возвращении его».⁹

6 декабря 1855 года — как раз в тот день, когда возмущенный И. В. Киреевский писал свое письмо Вяземскому — А. С. Норов обратился с секретным отношением к шефу жандармов А. Ф. Орлову, которому также было переслано обширное письмо В. И. Назимова от 5 декабря в защиту славянофилов. 10 декабря А. Ф. Орлов известил А. С. Норова о том, что Александр II разрешил издание «Русской беседы». Возникла переписка об отмене особого порядка цензуры для славянофилов; в частности, И. В. Киреевский направил письмо в министерство народного просвещения о разрешении ему представлять свои сочинения не в Главное управление цензуры, а в цензурный комитет. 24 января 1856 года А. С. Норов обратился к А. Ф. Орлову с просьбой снять особые цензурные ограничения для славянофилов. 27 января шеф жандармов известил А. С. Норова, что Александр II дал согласие направлять статьи и книги славянофилов в обычную цензуру. 3 февраля В. И. Назимову было сообщено о принятых решениях и вместе с тем особым секретным отношением было приказано иметь бдительное наблюдение за «Русской беседой».

Рассмотрение цензурного дела о разрешении «Русской беседы» показывает, что нарекания И. В. Киреевского были вполне обоснованы: Вяземский устранился от принятия решения по этому щекотливому вопросу.

⁸ ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 3618, лл. 48—49.

⁹ Там же, № 3692, л. 6.

На письме И. В. Киреевского нет ни одной пометы; Вяземский прочитал его и положил в свой архив. Однако, не вступив в полемику с И. В. Киреевским, Вяземский в секретной записке, опубликованной в его Собрании сочинений под названием «Обозрение нашей современной литературной деятельности» (1857), высказал свою точку зрения на славянофильство: «Если и следует иногда останавливать это направление в попытках его к неумеренным и крайним заключениям, то нельзя не осознать, что это старообрядческое учение есть более историческое и умозрительное, нежели практическое. По существу своему нельзя от него ни в каком случае ожидать и опасаться живого применения к действительности. Можно опасаться зайти слишком далеко при постоянном и усиленном стремлении вперед; но при всех напряжениях ума и воли, при всей запальчивости мнений, не увлечешь общество в движение обратное и не заставишь его отскочить на 150 лет назад» (VII, 42).

Одновременно со снисходительным отвержением славянофильства Вяземский в этой же записке осудил обличительное направление: «Литература обратилась в какую-то следственную комиссию низших инстанций. Наши литераторы (например, автор «Губернских очерков» и другие) превратились в каких-то литературных станковых и следственных приставов. Они следят за злоупотреблениями мелких чиновников, ловят их на месте преступления и доносят о своих поимках читающей публике, в надежде вместе с тем, что их рапорты дойдут и до сведения высшего правительства. В литературном отношении я осуждаю это господствующее ныне направление: оно материализирует литературу подобными снимками с живой, но низкой натуры, низводит авторство до какой-то механической фотографии, не развивает высших творческих и художественных сил, покровительствует посредственности дарований этих фотографов-литераторов и отклоняет нашу литературу от путей, пробитых Карамзиным, Жуковским и Пушкиным» (VII, 35).

Вяземский не проводил грани между демократической литературой и либеральным обличительством: ни то, ни другое не удовлетворяло его политическим взглядам и эстетическим требованиям. Между тем, не признанные Вяземским «Губернские очерки» имели шумный успех и вышли в 1857 году двумя изданиями, раскупленными нарасхват.¹⁰

¹⁰ Г. Вытженс приводит в своей монографии благожелательный отзыв о Салтыкове-Щедрине, содержащийся в статье «Роман, повесть и рассказ», напечатанной в секретном издании Министерства внутренних дел под названием «Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863 и 1864 годы» (СПб., 1865). Этот отзыв о Салтыкове-Щедрине, равно как и характеристику других писателей, Г. Вытженс привел в своем труде в качестве мнений Вяземского, считая, что эта анонимная статья принадлежит перу Вяземского (см.: G. Wytzens. P. A. Vjazemskij. Wien, 1961, SS. 230—239). Исследователь был введен в заблуждение комментарием к письмам П. И. Кап-

Находясь на посту товарища Министра народного просвещения, Вяземский был членом Главного управления цензуры, а с конца 1856 года даже возглавил это ведомство: резолюция Александра II на докладной записке А. С. Норова по этому вопросу датирована 3 декабря.¹¹

Цензурная политика 1855—1857 годов имела переходный характер — от эпохи семилетнего цензурного террора к эпохе «обличительного жара». Поражение в Крымской войне показало, что страна заведена в тупик и что реформы во всех областях экономической и политической жизни настоятельно необходимы. Цензура не представляла исключения. 6 декабря 1855 года был упразднен комитет 2 апреля 1848 года, имевший неограниченную власть в вопросах цензуры.¹²

Смягчение цензурного гнета вызвало к жизни большое количество новых периодических изданий. В конце 1855 года и на протяжении 1856 года были разрешены следующие журналы: «Русский вестник» М. Н. Каткову, «Русская беседа» А. И. Кошелеву и Т. И. Филиппову, «Сын отечества» (прекративший выходить

ниста к Некрасову, в котором говорилось, что «обозрение беллетристики в этом секретном издании... принадлежало П. А. Вяземскому, обозрение драматических произведений — Б. М. Маркевичу и поэзии — П. И. Капнисту» (ЛН, т. 51—52, М., 1949, стр. 309). В примечании к этому месту указывалось, что, «сведения эти, сообщаемые в Собр. соч. П. И. Капниста (М., 1901, г. 1, стр. СХХХV) и подтверждаемые в части авторства П. А. Вяземского автографической рукописью последнего, сохранившейся в Остафьевском архиве (ЦГАДА), устанавливают, в частности, что известная своей исключительной резкостью характеристика „Что делать?“ Чернышевского, содержащаяся в упомянутом „Собрании материалов“, принадлежит именно Вяземскому» (ЛН, т. 51—52, стр. 309). На указанной странице ничего по интересующему нас вопросу нет; правда, в предыдущем изложении действительно сказано, что обозрение романов и сочинений в прозе поручили князю Вяземскому» (П. И. Капнист, Собр. соч., т. 1, стр. СХХI), однако далее имеется следующее примечание: «Князь Вяземский не представил заданной ему записки о русской прозе. Издание готовилось к 1 сентября. Вновь обратились к Капнисту с просьбой, чтоб он написал также и эту часть. Времени оставалось слишком мало, чтобы успеть написать подробный критический очерк. В краткой статье он изложил направление русской прозы в переходное время нашей литературы» (там же, стр. СХХV). Автограф Вяземского нам неизвестен; не исключаю возможности, что он передал П. И. Капнисту свои отдельные замечания, не считая возможным, имея столь недвусмысленное заявление дочери П. И. Капниста, которой принадлежит предисловие в собрании его сочинений, атрибутировать эту статью Вяземскому.

¹¹ ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 3997.

¹² На одной из записок А. С. Норова имеется следующая приписка Вяземского: «Помнится, мне писано в ответ на сообщенное мною Норову известие, что комитет безгласный 2 апреля, то есть цензура барона Корфа над ценсурой, упраздняется, впрочем по представлению самого Корфа. Боюсь сохвастать (так!), но подозреваю, что вступление мое в Министерство просвещения было не без влияния на решение, принятое Корфом. Я начал отгрызаться и довольно резко, а иногда и эпиграмматически на придирки и нападения безгласного комитета. К тому же мне тогда, как говорится, везло по службе и при дворе. В.» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2424, л. 28).

в 1853 году) А. В. Старчевскому, «Русский временник событий, изящной словесности, наук, искусств и художеств» Л. А. Мею (журнал не выходил), «Живописный сборник» А. А. Плюшару, «Иллюстрация, всемирное обозрение» А. Бауману и В. Р. Зотову, «Русский педагогический вестник» Н. А. Вышнеградскому, «Журнал для воспитания» А. А. Чумикову, «Русское слово» Г. А. Кушелеву-Безбородко, «Общеобразовательный вестник» В. Н. Рюмину, «Журнал иностранной словесности» Е. Ф. Коршу и В. Н. Леонтьеву.¹³ Кроме того, ряд периодических изданий исходатайствовал расширение ранее утвержденных программ, получив дозволение иметь политический отдел.¹⁴

В эти годы цензура стала снисходительнее к сочинениям классиков — Кантемира,¹⁵ Пушкина, Жуковского, Мицкевича, Гоголя, Грибоедова. Благодаря заступничеству Вяземского увидели свет в более полном виде или не попали под новые цензурные изъятия многие произведения — так, например, было разрешено более полное издание «Горе от ума» и «Выбранных мест из переписки с друзьями»; Вяземский энергично возражал против намерения цензора Бекетова «оскопить» ранее печатавшиеся произведения В. А. Соллогуба («Тарантас», «Темневская ярмарка»).¹⁶

Вяземский считал вредными многочисленные инструкции по цензуре: «Собственно нет у нас цензурного устава, хотя изданный в 1828 году не отменен. Но ни цензоры, ни писатели не могут им руководствоваться и законно ссылаться на него. Частные, временные предписания, в бесчисленном множестве изданные, по разным случаям, можно сказать, загромождали устав так, что до него добраться нельзя. <...> По моему мнению, нужно безотлагательно восстановить ныне только нарицательно существующий устав и сделать в нем изменения и дополнения, какие признаются нужными. Затем следует совершенно отменить все предписания и распоряжения, которые были отдельно изданы» (VII, 39). Он также полагал необходимым отменить участие в цензуре различных ведомств и министерств, справедливо считая, что множественность цензур мешает развитию литературы и образованности (VII, 45—47).

Не одобряя направление современной литературы, изображающей «одну худую сторону лиц и предметов» и не посягающей на «область нравственно-прекрасного и возвышенного», Вяземский в то же время защищал литературу от нападок реакционеров:

¹³ ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 4030.

¹⁴ Впрочем, «Современнику» и «Отечественным запискам» разрешение иметь политический отдел было дано лишь в конце 1858 г. (ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 3927 и № 3980).

¹⁵ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1030. лл. 2—3. Записка о Кантемире с изложением мнения Вяземского в пользу издания его сочинений.

¹⁶ М. Г. Данилевский. Г. П. Данилевский по личным его письмам и литературной переписке. Харьков, 1893, стр. 42—44. — Записки Вяземского к Г. П. Данилевскому хранятся в ГПБ (ф. 236, № 47).

«Я сознаю, что нынешнее направление неудовлетворительно, неутешительно, но опасно и вредно ли оно в государственном и правительственном отношении? — решительно не признаю того» (VII, 35).

Сохранились собственноручные пометы Александра II на этой секретной записке Вяземского о цензуре. Отрицание злонамеренных начал в современной литературе вызвало недоверчивое восклицание царя: «Дай бог, чтобы так было!»¹⁷ Желая смягчить цензурный гнет, Вяземский писал в своей записке: «Не вижу пользы при каждом движении прицеплять литературе тормоз, если впереди дорога гладкая. Тормоз хорош и необходим, когда в виду крутой скат, или *косогор*; но теперь их нет» (VII, 39). Александр II был настроен менее оптимистично — против этой фразы Вяземского он написал «*косогоры к сожалению есть*».¹⁸

Ратуя за развитие гласности, Вяземский привел следующий аргумент: «Для нас, в противность другим обществам, опасность от приведенного в систему молчания пока гораздо пагубнее, нежели опасность от некоторого *многоглаголанья*» (VII, 38). Прочитав эти строки, Александр II сделал сдержанное замечание: «до некоторой степени оно справедливо».¹⁹

Все замечания Александра II показывают, что он как огня боялся гласности и лишь под давлением обстоятельств шел на некоторые уступки в вопросах цензуры. На докладной записке А. С. Норова, приложенной к секретной записке Вяземского, 17 марта 1857 года он наложил следующую резолюцию: «С мнением к. Вяземского я во многом согласен, но *разумная бдительность* со стороны цензуры *необходима*. Вот что и прошу взять за основание при составлении нового цензурного устава».²⁰ 26 ноября 1857 года под председательством Вяземского была образована комиссия для выработки нового цензурного устава.

Однако стремление Вяземского к установлению «разумной» цензуры, столь настороженно встреченное Александром II, было отвергнуто правительственной бюрократией. 18 января 1858 года А. В. Никитенко записал: «Говорят министр народного просвещения потерпел сильное поражение в заседании совета министров в прошедший четверг, где он докладывал. Начало доклада, по-видимому, было хорошее. Министр прочитал записку о необходимости действовать цензуре в смягчительном духе. Записку эту писал князь Вяземский с помощью Гончарова».²¹ Против Норова восстал враг мысли, всякого гражданского, умственного и нравст-

¹⁷ ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 4269, л. 1-в.

¹⁸ Там же, л. 1-м.

¹⁹ Там же, л. 1-л.

²⁰ Там же, л. 1-а.

²¹ Об отношениях Вяземского и Гончарова см.: А. Д. Алексеев. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.—Л., Изд. АН СССР, 1960 (по указателю имен).

венного усовершенствования, граф Панин. Он не лишен ума, а главное — умеет говорить. Бедный Норов начал было защищать дело просвещения и литературы, но защита его, говорят, вышла хуже нападок. Панин, разумеется, восторжествовал, и цензуре велено быть строже.²²

Три недели спустя, 6 февраля вновь читаем в дневнике А. В. Никитенко о попытке Вяземского оградить литературу от чрезмерных цензурных гонений: «Первое заседание комитета, учрежденного для пересмотра старого и составления нового цензурного устава. Прежде прочитана была записка князя Вяземского о состоянии направления нынешней литературы, представленная министром народного просвещения государю. Записка оправдывает литературу от взводимых на нее обвинений. Она составлена умно и изложена изящно. Вообще записка эта делает честь князю Вяземскому по светлым идеям в пользу мысли и просвещения, которые он сумел вложить в нее. Он опровергает ею мнения многих, будто он сделался простым аристократом-царедворцем, особенно Герцена, который беспощадно казнит его в каждом номере „Колокола“». ²³ В марте 1858 года Вяземский вынужден был подать в отставку.

Некоторые послабления в области цензурной политики способствовали тому, что в эти годы смогло появиться много значительных произведений. Г. Вытженс справедливо указал, что за годы нахождения Вяземского в цензурном ведомстве вышли в свет многие работы Чернышевского («Эстетические отношения искусства к действительности»), «Очерки гоголевского периода русской литературы», цикл статей «Сочинения Пушкина»), трилогия Сухова-Кобылина, «Семейная хроника» С. Т. Аксакова, «Рудин» Тургенева, стихотворения Фета, Огарева, Некрасова, Никитина, первые критические статьи Добролюбова. В то же время справедливость требует отметить, что Вяземский настороженно относился к тем произведениям, которые, по его мнению, были носителями революционного начала. Известно, что он предлагал поставить на вид исполнявшему должность попечителя С.-Петербургского учебного округа М. Н. Мусину-Пушкину разрешение к печати сборника стихотворений Некрасова. Вяземский нашел в стихах Некрасова «дикие отголоски чуждого нам направления и особенно той французской литературы, которая свирепствовала в течение многих лет и была плодом прежних политических и общественных смут во Франции и вместе с тем зародышем и задатком новых, которых были мы свидетелями».²⁴ Однако, существенного значения мнение Вяземского не имело. Более того, как писал 10 сентября 1857 года

²² А. В. Никитенко. Дневник, т. 2. Гослитиздат, 1955, стр. 9.

²³ Там же, стр. 12.

²⁴ Цит. по статье В. С. Нецаевой. «П. А. Вяземский — цензор Некрасова». ЛН, т. 53—54. М., 1949, стр. 215. О цензурской деятельности Вяземского см. также: Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862, стр. 62—81.

Некрасов И. С. Тургеневу, Вяземский заявил ему при личной встрече, что он разрешит второе издание его стихотворений.

Между тем, слух о записке Вяземского по поводу издания стихотворений Некрасова дошел до Герцена, который поместил в «Колоколе» корреспонденцию из Петербурга — в ней говорилось, что «аристократическая сволочь нашла в книжке какие-то революционные возгласы, чуть ли не призыв к оружию». Прочитывая стихи Некрасова «Иди в огонь за честь отчизны», автор «Письма из Петербурга» писал: «Это сочли чуть ли не адской машиной и снова дали волю цензурной орде с ее баскаками».²⁵

Министерство просвещения, по мнению Герцена, не ограждало литературы от цензурного произвола. Кроме того, Норов, назначенный в министерство еще в 1850 году, олицетворял для Герцена административную машину ненавистного ему Николая I. Поэтому цензурные действия министерства Норова—Вяземского вызывали саркастические отзывы Герцена. 1 июля 1857 года в «Колоколе» появилась гневная заметка:

ПРАВДА ЛИ

«Правда ли, что князь Вяземский, так гнусно управляющий министерством народного просвещения, что его близкие друзья объясняют одним приливом желчи к мозгу его цензурные бешенства, — получил по почте свое собственное стихотворение „Русский бог“ — стихотворение, не только непочтительное к богу, но и непочтительное к немцам, с прибавлением следующего куплета:

Бог карьеры слишком быстрой,
Бог, кем русский демагог
Стал товарищем министра,
Вот он, вот он — русский бог? ²⁶

Во второй половине 1857 года Герцен в статьях «Под спудом», «La regata перед окнами Зимнего дворца», «Паки и паки о князе Петре Вяземском», «Необыкновенная история о ценсоре Гон-ча-ро из Ши-пан-ху» подверг осмеянию деятельность Вяземского в цензурном ведомстве. Когда в марте 1858 года Александр II сменил министров народного просвещения и финансов, Герцен ликовав: «Сей час мы получаем известие об отрешении Брока, Норова и Вяземского. Это большое торжество разума, большая победа Александра II над рутинной».²⁷

Так бесславно закончилось служебное поприще Вяземского. В 1844 году он сказал о Д. Н. Блудове: «Как в литературной сфере Блудов рожден не производителем, а критиком, так и в го-

²⁵ Колокол, 1857, 1 августа.

²⁶ А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XIII, Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 19.

²⁷ Там же, стр. 265.

сударственной он рожден для оппозиции. Тут был бы он на месте и лицо замечательное».²⁸ Эти слова оказались во многом пророческими в отношении самого Вяземского.

Кратковременная служебная карьера не сделала Вяземского идеологом правительственного курса. Он сохранил до конца своих дней резко выраженный индивидуальный склад общественных и литературных воззрений. Права В. С. Нечаева, которая писала о закате Вяземского: «Вторая половина его жизни отмечена не только резким осуждением передовых революционных сил России, но и презрительно-насмешливым отношением к другим общественным группам: и к либералам западной ориентации, и к славянофилам, и к идеологам крайней реакции, подобным Каткову. Товарищ министра народного просвещения, сенатор, член Государственного совета, обер-шенк двора — Вяземский доживал свой век, ощущая глубокий разлад с современностью».²⁹

Поэзия Вяземского 1850-х—1870-х годов четко отображает его социальное одиночество: он писал эпиграммы и стихотворные фельетоны на деятелей противоположных общественных станов.

Осуждая либералов середины XIX в., Вяземский иронизировал в 1860 г.:

Послушать — век наш век свободы,
А в сущность глубже загляни;
Свободных мыслей коноводы
Восточным деспотам сродни.
.....

У них на все есть лозунг строгой;
Под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой,
Не смейте жить своим умом.

Когда кого они прославят:
Пред тем колена преклони,
Кого они опалой давят:
В того и ты за них лягни.
.....

Скажу с сознанием печальным:
Не вижу разницы большой
Между холопством либеральным
И всякой барщиной другой.³⁰

2 марта 1861 года был отпразднован пятидесятилетний юбилей литературной деятельности Вяземского, на котором В. А. Соллогуб приветствовал юбиляра хвалебными стихами. Периодическая пресса отозвалась на это событие насмешливо и иронически. «Искра» напечатала стихи В. С. Курочкина «Стансы на будущий

²⁸ П. А. Вяземский. Записные книжки, стр. 283.

²⁹ Там же, стр. 344.

³⁰ П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 444—445.

юбилей пятидесятилетней русско-французской водевильной и фельетонной деятельности Тараха Толерансова», в которых автор высмеивал и Вяземского, и В. А. Соллогуба, пародируя куплеты последнего в честь Вяземского:

Я — воплощенное преданье,
Пиита, выслуживший срок,
Поэтам юным — назиданье,
Поэтам в старчестве — упрек.
Я протащил свой век печальный,
Как сон, как глупую мечту,
За то, что тканью идеальной
Порочил правды красоту.³¹

Особенно язвительна была эпиграмма В. С. Курочкина «Эпиграфия Бавию» (1861), являющаяся «перепевом» четверостишия Пушкина:

Судьба весь юмор свой явить желала в нем,
Забавно совместив ничтожество с цинами,
Морщины старика с младенческим умом
И спесь боярскую с холопскими стихами.³²

С сатирическими стихами по поводу юбилея Вяземского в «Искре» выступили также Д. Д. Минаев и Н. С. Курочкин.

В стихотворении «Графу Соллогубу» (1861) уязвленный Вяземский писал по поводу этих стихов:

Взревел, наряженный в Ахилла,
Демократический Фальстаф:
Потоки брани и чернила
На нас с тобою льются, граф.

Твое ли графство здесь причина?
Я княжеством ли виноват?
Но разъяренная дружина
С сердцов ударила в набат.

И гнев их — будь не тем помянут —
Не скоро укротится: нет!
Твой стих они с упорством станут
Держать в осаде десять лет.

Пока торжественной гурьбою
Не вьедут с лаврами в руке
В свою разрушенную Трою
На деревянном лошаке.³³

³¹ Поэты «Искры», т. 1. Вступ. статья, подг. текста и прим. И. Ямпольского. Л., изд. «Советский писатель», 1955, стр. 175. — Стихи Ф. И. Тютчева, В. А. Соллогуба, В. Г. Бенедиктова, Н. Ф. Щербина, посвященные Вяземскому, а также речи юбиляра, Д. Н. Блудова, П. А. Плетнева, М. П. Погодина и других лиц см. в кн.: Юбилей пятидесятилетней литературной деятельности академика князя Петра Андреевича Вяземского. СПб., 1861.

³² Поэты «Искры», т. 1, стр. 189.

³³ П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 446—447.

Конечно, поэты «Искры» нападали на литературно-общественную позицию Вяземского, а не на его княжеское происхождение. Особенно ясно эта позиция обнаружилась в 1862 году, когда вышел в свет стихотворный сборник Вяземского «В дороге и дома». В этот сборник были включены стихотворения с прямыми выпадами против Белинского и революционных демократов. Так, например, в стихотворении «Когда Карамзина не стало» Вяземский писал:

Белинский умер; жив Белинский!
Его непресекаем род;
Замрет, но в силе исполинской
Он тут же даст сторичный плод.
Уж многих нет давно; они же,
Белинские, родятся вновь;
Умом хоть первого пониже,
Но та же удаль, та же кровь.

Как в балаганах под Новинским
Есть в каждом свой крикун-фигляр.
Везде на память о Белинском
Есть свой бессменный тарабар.³⁴

На сборник Вяземского «В дороге и дома» искровцы ответили остроумной пародией В. С. Курочкина «В гостях и дома», в которой высмеяны многие стихотворения Вяземского.³⁵

Но не только Белинский, революционные демократы и либералы середины XIX века являются адресатами язвительных стихов Вяземского. К 1866 году относятся его стихотворения «Воспоминания из Буало» и «Хлестаков», изничтожающие М. Н. Каткова:

Нет, Хлестаков еще не умер:
Вам стоит заглянуть в любой
Московских ведомостей нумер,
И он очутится живой.

Всем тем же хлещет самохвальством.
Пьянея сам от самохвальств;
За панибрата он с начальством,
И сам начальство всех начальств.

О Гоголь, Гоголь, где ты? Снова
Примись за мастерскую кисть
И, обновляя Хлестакова,
Скажи да будет смех, и бысть!

Смотри, что за балясы точит,
Как разыгрался в нем задор:
Теперь он не уезд морочит,
А Всероссийский ревизор.³⁶

³⁴ Там же, стр. 451—452.

³⁵ Поэты «Искры», т. 1, стр. 253—256.

³⁶ П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 466—468.

Славянофильские и панславистские идеи также вызывали эпиграммы Вяземского. Когда в 1867 году делегации балканских славян была оказана в России демонстративно сердечная встреча, Вяземский саркастически заметил о торжественных обедах, сопровождавшихся длинными речами:

Славяне могут, взяв с нас слепок,
Вписать в дорожный свой дневник:
Желудок русских очень крепок,
А вдвое крепче их язык.³⁷

Порицая русскую политику на Балканах, которая привела к войне с Турцией и внешнеполитической изоляции России, Вяземский написал басню «Объяснение и разрешение Восточного вопроса» (1877):

Гора рождает мышь: известно нам давно,
Но гору мышь родит: вот это мудрено,
Хоть и сбылось.
Идем, подобно божьей каре,
Россию и за ней Европу всю поджечь,
За тем, чтобы Аксаков на пожаре
Славянофильское яичко мог испечь.³⁸

Правда, многие эпиграммы Вяземского им не публиковались — многие из них увидели свет лишь 50—60 лет спустя после их написания. Но не став фактором литературно-общественной борьбы, они остались историческим памятником социального одиночества Вяземского.

Сложную эволюцию претерпели воззрения Вяземского на «высшие начала» бытия. В 1840-е годы скептицизм молодости уступил место вере; в 1850-е годы религиозные мотивы сплелись с выражением верноподданнических чувств. Казалось, все шло по заведенному порядку: отказ от деистических или атеистических взглядов обычное явление в старости. Но и в данном вопросе Вяземский, как показало время, не подошел под общий ранжир. В 1863 году, страдая хронической бессонницей, он воскликнул:

Ночь злой наушник, злобный Яго,
Цедит он в душу яд тайком.
Вы говорите: жизнь есть благо,
Что ж после назовете злом?

(XII, 6).

Чем дальше шли годы, тем сильнее пробуждался в нем неистребимый дух вольтеррианства. В. С. Нецаева обнаружила, что Вяземский, перечитывая в последние годы жизни свои религиозные

³⁷ Там же, стр. 468.

³⁸ Там же, стр. 474.

стихотворения, непочтительно отмечал на полях: «Все это глупо и пошло», «Все это ложь поэтическая», «Ложь и это».³⁹

Более того, с начала 1870-х годов в его лирике начинают звучать богоборческие мотивы. В день своего восьмидесятилетия — 12 июня 1872 года — он писал:

Все сверстники мои давно уж на покое,
И младшие давно сошли уж на покой;
Зачем же я один несу ярмо земное,
Забывтый каторжник на каторге земной?
Не я ли искупил ценой страданий многих
Все, чем пред промыслом я быть виновным мог?
Иль только для меня своих законов строгих
Не властен отменить злопамятливый бог?⁴⁰

Тщетно он искал облегчения недуга на курортах Западной Европы; и старческой дрожащей рукой безбоязненно выводил кощунственные строки:

Свой катехизис сплошь прилежно изуча,
Вы бога знаете по книгам и преданьям,
А я узнал его по собственным страданиям,
И где отца искал, там встретил палача.⁴¹

Отвергая веру в бессмертие души, Вяземский с горечью восклицал:

Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покая твоего, ничтожество! я жажду:
От смерти только смерти жду.⁴²

Поэтическое наследие Вяземского 1850—1870-х годов неравноценно по своим художественным достоинствам. Наряду с превосходными стихотворениями, он писал в эти годы много посредственных и просто плохих стихов. Лаконичность никогда не была его добродетелью, а к старости он стал еще многословнее: сокращать свои стихотворения, обдумывать их форму он не умел, а может быть нарочито не хотел; считая, что главное в стихотворении это мысль, он не придавал значения соразмерности частей, гармонии формы. Там, где это ему удавалось, это была счастливая случайность, а не преднамеренный расчет. Принципиально не придавая должного значения форме стиха, Вяземский не выработал свой особый поэтический стиль, а охотно пользовался самыми различными художественными системами. Чем дальше развивалась русская поэзия, тем более усиливался эклектический характер поэзии

³⁹ Там же, стр. 42.

⁴⁰ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 386.

⁴¹ Там же, стр. 386.

⁴² Там же, стр. 395. — Впервые богоборческие стихотворения Вяземского были опубликованы В. С. Нечаевой в 1935 г.

Вяземского, ее разностильность. Тяжеловесный александрийский стих сосуществовал с псевдонародным стилем, элементы поэтики Пушкина уживались с поэтикой Тютчева. Такой «полифонизм» мог бы привести к какофонии, не обладай Вяземский способностью вносить свое индивидуальное поэтическое «я» в столь различные и порой даже противоположные художественные системы.

В 1852 году Вяземский посвятил Марии Сергеевне Полторацкой (дочери С. Д. Полторацкого) мадригал, написанный по всем правилам карамзинской поэтики начала XIX века:

За милой встречей вслед на жизненном пути
Как часто близок день утрат и расставанья.
И там, где молодость воскликнет: до свиданья!
Там старость говорит печальное: прости!⁴³

И в те же 1850-е годы под влиянием стихотворения Тютчева «Последняя любовь» он писал 14 января 1855 года:

Моя вечерняя звезда,
Моя последняя любовь!
На потемневшие года
Приветный луч пролей ты вновь!

Средь юных, невоздержных лет
Мы любим блеск и пыл огня;
Но полурадость, полусвет
Теперь отрадней для меня.⁴⁴

В статье «Тютчев и Вяземский» Д. Д. Благой, показав общие социальные истоки их поэзии, привел многочисленные примеры взаимовлияния поэтического творчества Тютчева и Вяземского.⁴⁵

В те же годы Вяземский писал много стихотворений старомодным александрийским стихом, который был его любимцем еще со дней молодости. Стихотворение «Александрийский стих» (1853) начинается «объяснением в любви» Вяземского к этому стихотворному размеру:

Я признаюсь, люблю мой стих александрийский.
Ложится хорошо в него язык российский,
Глагол наш великан плечистый и с брюшком,
Неповоротливый, тяжелый на подъем,
И руки, что шесты, и ноги, что ходули,
В телодвижениях неловкий. На ходу ли,
Пядь полновесную как в землю вдавит он.
Подумаешь, что тут прохаживался слон.

А в нашем словаре не много ль слов таких,
Которых не свезет и шестистопный стих?⁴⁶

⁴³ ГПБ, Q XVIII, 25-11, л. 50.

⁴⁴ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 330.

⁴⁵ Д. Благой. Три века. Из истории русской поэзии XVIII, XIX и XX вв. М., изд. «Советская литература», 1933, стр. 236—268.

⁴⁶ П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 263—264.

Для Вяземского, по преимуществу поэта мысли, было крайне важно, чтобы весь лексический запас языка, чтобы все его грамматические формы могли быть использованы в поэтическом обиходе: александрийский стих открывал широкие возможности в этом направлении и именно поэтому Вяземский питал особое пристрастие к этому размеру. Конечно, он понимал, что к середине XIX века александрийский стих стал архаичен. Но это его не смущало. Более того, видимо, он даже испытывал удовольствие от своей поэтической бравады, подчеркнутой стилизованной отгороженностью от современных поэтов. Подобное умонастроение Вяземского особенно заметно в «Литературной исповеди» (1854), также написанной александрийским стихом:

Сознаться должен я, что наши хрестоматы
На счет моих стихов не очень тароваты.
Бывал и я в чести; но ныне век другой;
Наш век был детский век, а этот — деловой.
Но что ни говори, а Плаксин и Галахов,
Браковщики живых и судьи славных прахов,
С оглядкою меня выводят на показ,
Не расточая мне своих хвалебных фраз.⁴⁷

Отвергая суд современной критики, Вяземский писал, что он признает лишь суждения своих литературных соратников, что только с их возможным мнением он считается:

Доволен я собой и по сердцу мне труд,
Когда сдается мне, что выдержал бы суд
Жуковского; когда надеяться мне можно,
Что Батюшков, его проверив осторожно,
Ему б на выпуск дал свой цензорский билет;
Что сам бы на него не положил запрет
Счастливый образец изящности Афинской
Мой зорко-сметливый и строгий Баратынский;
Что Пушкин, наконец, гроза плохих писак,
Пожав бы руку мне, сказал: «вот это так!»⁴⁸

В этом признании весь Вяземский середины века. Жизнь стремительно шла вперед, а он, в плену у прошлого, судил свою поэзию по приговорам 1810—1830-х годов, проецируя в совершенно иную эпоху мнения Жуковского, Батюшкова, Пушкина и Баратынского. Это была четко выраженная литературная позиция, обнаруживающая социальное одиночество Вяземского, отсутствие у него творческого контакта с какой-либо литературной группировкой нового времени.

Однако живой ум Вяземского — вопреки тому, что поэт пытался демонстративно отстраниться от новизны — не мог не откли-

⁴⁷ Там же, стр. 282. — Вяземский имеет в виду хрестоматии по русской литературе, составленные В. Т. Плаксиным и А. Д. Галаховым.

⁴⁸ П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 286—287.

каться на современные веяния в поэзии. И не только сильная тютчевская струя проложила путь в его творчестве. Он начинает употреблять размеры, не свойственные прежде его поэзии. Хотя он и утверждал, что «к ямбу я прирос и с ямбом в гроб сойду», с середины 1840-х годов у него все чаще появляются стихотворения, написанные хореем: цикл «Ночь в Ревеле» (1844), «Наши дачи хороши» (1845), «Песнь на день рождения В. А. Жуковского» (1849), «Степь» (1849), «Палестина» (1850), «Масленица на чужой стороне» (1853), «Бастей» (1853), «Венеция» (1853), «Поминки» (1853), «Снег» (1855) и многие другие.

Хотя в 1853 году Вяземский утверждал:

Мне белые стихи — что дева-красота,
Которой не цветут улыбкою уста,

он, тем не менее, стал писать некоторые стихотворения без «рифмы-побрякушки», с которой он, по собственному признанию, так любил аукаться. К 1848 году относится написанная белым стихом «Тропинка». Перекликается с «Тропинкой» стихотворение «На прощанье» (1855), которое в свою очередь невольно вызывает в памяти стихи Пушкина «...Вновь я посетил Тот уголок земли, где я провел Изгнанником два года незаметных»:

Я никогда не покидаю места,
Где дал господь мне смирно провести
Дней несколько, не тронутых бедою,
Чтоб на прощанье тихою прогулкой
Не обойти с сердечным умилением
Особенно мне милые тропинки,
Особенно мне милый уголок.⁴⁹

Однако, и тут Вяземский остался верен себе: вдруг в середине стихотворения белый стих сменяется рифмованным. Зачем? С нашей точки зрения, явный диссонанс, художественный просчет, нарушение единства; с точки зрения Вяземского, так и нужно: мысль лучше удалось выразить в рифмованном стихе, и он, не задумываясь, соединяет в одном стихотворении рифмованный и нерифмованный пятистопный ямб.

Появляются у Вяземского и трехстопные размеры: анапест — «Босфор» (1849).

Несомненно, что поэзия позднего Вяземского отражала эволюцию его литературного вкуса. Как справедливо отметила Л. Я. Гинзбург, в позднем наследии Вяземского обнаруживается «даже воздействие враждебной Вяземскому фельетонной поэзии поэтов „Современника“ 1850-х—1860-х годов.⁵⁰ Но не следует переоценивать этих влияний. В основном, он остался поэтом пушкинской поры; даже разнообразя свой стих, прибегая к но-

⁴⁹ Там же, стр. 291.

⁵⁰ П. А. Вяземский. Стихотворения, стр. 44.

вым стихотворным размерам, Вяземский так их использовал, что они органически сочетались с его давними литературными пристрастиями.

Устремленность Вяземского в прошлое нашла свое выражение в мемуарной лирике, в поэзии воспоминаний. В 1862 году он написал стихотворение «Друзьям», которое можно поставить эпиграфом ко многим поэтическим «тостам» поэта:

Я пью за здоровье не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней.

Я пью за здоровье далеких,
Далеких, но милых друзей,
Друзей, как и я, одиноких
Средь чуждых сердцам их людей.

За здравье и ближних далеких,
Далеких, но сердцу родных,
И в память друзей одиноких,
Почивших в могилах немых.⁵¹

Задушевными стихами помянул Вяземский Карамзина, Жуковского, И. И. Дмитриева, Пушкина, Дельвига, Гоголя и других.

В 1867 году Вяземский посетил Крым. Когда-то, почти полвека назад, он писал предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина; теперь на него снова нахлынули образы поэмы и ее творца:

Во дни счастливых вдохновений
Тревожно посетил дворец
Страстей сердечных и волнений
Сам и страдалец, и певец.

Он слушал с трепетным вниманьем
Рыданьем прерванный не раз
И дышащий еще страданьем
Печальной повести рассказ.

И в нем борьба страстей кипела,
Душа и в нем от юных лет
Страдала, плакала и пела,
И под грозой созрел поэт.

Он передал нам вещим словом
Все впечатления свои,
Все что прозрел он за покровом,
Который скрыл былые дни.

Тень и его здесь грустно бродит.
И он, наш Данте молодой,
И нас по царству теней водит
Даруя образ им живой.

⁵¹ Там же, стр. 359—360.

Под плеск фонтана сладкозвучный
Здесь плачется его напев.
И он — сопутник неразлучный
Младых бахчисарайских дев.⁵²

В поэзии 80-летнего Вяземского вновь возникали сюжеты, которые волновали его еще в молодости. В 1817 году он написал стихотворение «Прощание с халатом». Тогда, собираясь на службу в Варшаву, он воспел халат как символ независимости, как верного товарища, который может согреть «остывший жар к благоденьям муз». Шесть десятилетий спустя он вернулся к этому сюжету, написав стихотворение, ставшее апофеозом поэзии воспоминаний:

Жизнь наша в старости — изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить;
Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат;
Нельзя нас починить и заново исправить.

Как мы состарились, состарился и он;
В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже;
Чернилами он весь расписан, окроплен,
Но эти пятна нам узоров всех дороже.

В них отпрыски пера, которому во дни
Мы светлой радости иль облачной печали
Свои все помыслы, все таинства свои,
Всю исповедь, всю быль свою передавали.

На жизни также есть минувшего следы:
Записаны на ней и жалобы, и пени,
И на нее легла тень скорби и беды,
Но прелесть грустная таится в этой тени.

В ней есть предания, в ней отзыв наш родной
Сердечной памятью еще живет в утрате,
И утро свежее, и полдня блеск и зной
Припоминаем мы и при дневном закате.

Еще люблю подчас жизнь старую свою
С ее ущербами и грустным поворотом,
И, как боец свой плащ, простреленный в бою,
Я холю свой халат с любовью и почетом.⁵³

Заметную роль занимают воспоминания и в прозе позднего Вяземского. Обращение к мемуарному жанру было закономерно как в личном плане — ему шел восьмой десяток, и он ощущал настоятельную необходимость скрасить тяжелый болезненный закат призрачной жизнью в давнопрошедшем — так и в общественном: считая, что молодежь незаслуженно отвергает дворянскую куль-

⁵² П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, стр. 353—355.

⁵³ Там же, стр. 383—384.

туру, он выступил в защиту Грибоедовской Москвы. В статье «Допотопная или допожарная Москва» (1865) он писал: «Новое поколение знает старую Москву по комедии Грибоедова <...> В некоторых захолустьях Москвы, может быть, и господствовали нравы, исключительно выставленные им на сцене. Но при этой темной Москве была и другая еще светлая Москва. <...> Фамусов говорит у Грибоедова: «Что за тузы в Москве живут и умирают!» и партер встречает смехом и рукоплесканиями этот стих, в самом деле забавный. Но если разобрать хладнокровнее, то что за беда, что в колоде общества встречаются тузы! Ужели было бы лучше, если бы колода составлена была из одних двоек?» (VII, 80—84).

В пику демократическим «двойкам», заполнившим театр от партера до райка, писал Вяземский апотеозу «светлой Москве» — в своей статье он воскресил козырных тузов старой столицы, начиная с собственного отца, гостеприимный дом которого служил средоточием просвещенных вельмож того времени.

В момент своего написания мемуарные статьи Вяземского пахли пороховым дымом; в них он полемизировал с разночинно-демократическим восприятием истории. Но спор с новым поколением был в то же время спором с самим собою: старый Вяземский опровергал суждения своей молодости; шестьдесят лет спустя черное стало белым, а белое — черным. Вяземский изменил оценки многих исторических деятелей. В статье «По поводу записок графа Зенфта» (1876), перечеркивая свои прежние характеристики Александра I, он пытался реабилитировать царя: «Александр также желал быть преобразователем и вероятно был бы им, если бы внешние обстоятельства не воспрепятствовали тому. Сначала, при завоевательном и ненасытном властолюбии Наполеона, прежде нежели предпринимать ломку у себя, нужно было думать о политическом достоинстве России и едва ли не о целостности ее. Отсюда почти непрерывные войны. Позднее, по падении Наполеона, возникла здесь и там другая сила, не менее властолюбивая и не менее угрожающая мирному развитию и благоденствию Европы, а следовательно и России (которая, что ни говори, все же частичка европейской общины и связана с нею кругового порукою). Отсюда конгрессы. Все это отвлекало государя от домашнего очага и домашнего хозяйства» (VII, 435). Другая сила — это европейское и русское революционное движение: «Россия с легко возгораемую Польшею, возникающим внутренним брожением умов, которое известно было правительству, <...> не могла оставаться равнодушною зрительницею пожаров, занимавшихся здесь и там» (VII, 439).

Как будто не было писем Вяземского, в которых он клеймил Священный союз и возмущался изменой Александра I либеральным идеям! Правда Вяземский осторожно замечал: «Мы здесь не беремся оправдывать воззрения и действия; мы только стараемся

очистить их от теней и лживых освещений, которые набрасывает на них легкомысленная или преднамеренно-недоброжелательная критика» (VII, 435). Но как бы он ни оговаривался, смысл статьи сводился к известной французской поговорке: «Все понять — все простить!». Если в молодости Вяземский каждое лыко ставил в строку Александру I, то теперь на склоне лет он готов все простить дарю — даже Аракчеева! Трудно поверить, что рука, написавшая убийственную эпиграмму на Свинына за его прислужничество перед временщиком, могла начертать следующие строки: «Публицисты-Чичиковы скупают мертвые души, промышляя ими и готовят их на все возможные соусы. Одна из этих мертвых душ и есть Аракчеев. Разумеется, не беру на себя защищать его и безусловно отстаивать. Я опять-таки не адвокат. И при жизни, и при силе его многое мне в нем не нравилось: многое претило понятиям моим, правилам, сочувствиям. Но у Аракчеева был и есть другой адвокат, а именно Александр. Если он держал его при себе, облакал, почти уполномочивал властью, то несомненно потому, что признавал в нем некоторые качества, вызывающие доверие его» (VII, 450).

Четырнадцать страниц посвятил Вяземский Аракчееву. Стараюсь соблюсти беспристрастие, он писал и о его отрицательных качествах. Однако портрет Аракчеева так искусно отретуширован, что недостатки оттеснены на второй план, жестокости преданы забвению, а польза, принесенная им, преумножена и господствует над всем описанием.

Идеализация царствования Александра I, свойственная Вяземскому в последние годы жизни, побудила его вступить в полемику с историко-философской концепцией «Войны и мира»: «Не святотатственно ли да и не противно ли всем условиям литературного благоприличия и вкуса низводить историческую картину до карикатуры и до пошлости? <...> Как после Гомера нечего писать новую Илиаду, так после „Ревизора“ и „Мертвых душ“ нечего гоняться за Ильями Андрейчами, за Безухими и за старичками-вельможами, у которых в такую минуту, когда дело или, по крайней мере, слово шло о спасении отечества, одно выражалось в них — что *им очень жарко*» (VII, 197—199).

Рационалистическое мышление Вяземского видело в историческом процессе постепенное воплощение просветительских идеалов. По мнению Вяземского, носителем просвещения в России, в первую очередь, было дворянство и оно же стояло во главе нации во время нашествия Наполеона. Эпопея Толстого, в которой на первый план выдвинуты народные массы, противостояла подобной точке зрения, и естественно, что философия истории «Войны и мира» была неприемлема для Вяземского.

Однако неприятие историко-философских воззрений Толстого не помешало Вяземскому признать Толстого-художника. В 1869 году в стихотворении «Ильинские сплетни» (XII, 422) он

благодарно упомянул о седьмой части «Войны и мира». Прочитав первые главы «Анны Карениной», он писал П. И. Бартеневу: «Хочу мириться не с Катковым и Леонтьевым, бог с ними, а с Толстым, в надежде, что Анна Каренина выйдет лучше из-под пера его, нежели вышли его Александр, Наполеон, Кутузов, Ростопчин и все Олимпийцы 12 года. Надеюсь, что, „не мудрствуя лукаво“ и ребячески парадоксально, он даст прекрасному дарованию своему развернуться и расцвести на свободе в атмосфере чисто романтической».⁵⁴ Позднее, в феврале 1877 года он писал снова П. И. Бартеневу: «Толстой прикрывает свои парадоксальные понятия и чувства свежим блеском таланта своего, читаешь и увлекаешься, следовательно, прощаешь, по крайней мере, часто».⁵⁵

Сочувственная оценка Толстого-художника вполне закономерна в устах Вяземского. Достаточно вспомнить, что еще в начале 1830-х годов, во времена перевода им «Адольфа» Б. Констана, Вяземский считал заслугой французского писателя психологическую разработку характеров его героев. Естественно, что художественный метод «Анны Карениной» вызвал одобрение Вяземского.

Однако отзывы о произведениях, написанных во второй половине XIX века немногочисленны в наследии Вяземского. Он предпочитал писать о писателях, действовавших во дни его молодости. В его мемуарных статьях «Иван Иванович Дмитриев» (1866), «Воспоминание о Булгаковых» (1868), «Князь Козловский» (1868), «Озеров» (1869), «Мицкевич о Пушкине» (1873), «По поводу бумаг В. А. Жуковского...» (1875), «Жуковский в Париже» (1876), «Московское семейство старого быта» (1877), «Заметки и воспоминания о графе Ростопчине» (1877) любознательный читатель найдет много характеристических и живо запечатленных подробностей из жизни виднейших представителей русской культуры начала XIX века.

Вяземский строго оттолбил эпоху своих воспоминаний. Дружеские связи последних десятилетий не пробуждали его мемуарного рвения. Даже смерть Тютчева, с которым он многие годы поддерживал близкие отношения, не расшевелила его. Правда, он высказал пожелание, чтобы друзья поэта составили «Тютчевину, прелестную, свежую, живую современную антологию. Каждое событие, при нем совершившееся, каждое лицо, мелькнувшее перед ним, иллюстрированы и отчеканены его ярким и метким словом».⁵⁶ Но пожелание осталось пожеланием, и даже он сам не внес свою лепту. Его влекло давнопрошедшее, которое ярче запечатлелось в его памяти, нежели встречи и события последних лет. Он мему-

⁵⁴ Летописи Гос. литературного музея, кн. 12. М., 1948, стр. 155—156. Письмо от 2 февраля 1875 г.

⁵⁵ Там же, стр. 156. Об этом см. также: Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой. М., Изд. АН СССР, 1957, стр. 813—836.

⁵⁶ Русский архив, 1873, стлб. 1994.

арист предпушкинской и пушкинской поры. Особенно значительны его воспоминания о Карамзине и Пушкине.

17 сентября 1832 года Вяземский писал И. И. Дмитриеву: «Мы в это последнее время часто говорили с Пушкиным о необходимости жизнеописания Карамзина. Это совершенно дело ваше, по сердцу, по уму, по обстоятельствам. <...> Если вы уже не хотите приступить к труду полному и цельному, то передайте по крайней мере мне из памяти своей биографические материалы, и я под руководством вашим буду приводить их в единство».⁵⁷ Этот замысел не был приведен в исполнение; зато в мемуарных статьях Вяземского разбросаны ценные подробности о жизни Карамзина и даны оценки некоторым его произведениям. Если прочесть подряд статьи «О письмах Карамзина» (1866), «Стихотворения Карамзина» (1866), «Иван Иванович Дмитриев» (1866) и «Отметки при чтении исторического похвального слова Екатерины II, написанного Карамзиным» (1873), то возникает величественный образ «гражданина мира», который был «душою республиканец, а головою монархист». Не скрывая от читателей противоречия общественной позиции Карамзина, Вяземский выдвигал на первый план его просветительские идеалы: «Карамзин не замыкал народ в известных и не перешагиваемых границах: он ни граждан не закреплял к неизменному во веки строю, ни земледельцев не закреплял вечно к земле. Он понимал, что тем и другим должно прорубать новые просеки, раскрывая новые горизонты, но под одним условием, а именно *Просвещения*. В этом слове заключается все» (VII, 362). На протяжении десятилетий Карамзин остался в сознании Вяземского виднейшим представителем русского Просвещения, идеалом писателя и гражданина, олицетворявшим для него незабвенные времена расцвета дворянской культуры.

Однако в изменившихся исторических условиях, в атмосфере революционного движения 1860-х годов, объективное положительное значение просветительской позиции Карамзина получало под пером Вяземского субъективное консервативное звучание. В статье «Стихотворения Карамзина» он писал: «Реформа, которая низвергла наши старые авторитеты в литературе, не есть следствие Петровской. Приписывать ей такое происхождение было бы для нее слишком почетно и лестно. Она даже не произведена литературными законными властями, а скорее Тушинскими литературными самозванцами. Во Франции переворот или *общий низворот* 1789 и следующих годов был еще круче и разрушительнее. Но там, когда умы успокоились и отрезвились, когда буря утихла, нравы, обычаи и литературные авторитеты всплыли почти невредимо: встревоженные волны улеглись в прежнее свое ложе. Старая литература сохранила свою законную власть. Были после попытки, оказывались новые направления, затевались разные ли-

⁵⁷ П. А. Вяземский. Письма к И. И. Дмитриеву. М., 1868, стр. 37.

тературные революции, но и поныне Расин еще не забыт. <...> У нас не только в обществе, но и в школах книги, подобно календарям, держатся только на известный срок. Для нас уже стар

И календарь осьмого года,

отмеченный Пушкиным в Онегине. <...> В отношении к минувшему зрение наше все более и более тупеет. Карамзина и Дмитриева видят уже немногие. Едва разглядывают самого Пушкина. Завтра глаз и до него не доберется. За каждым шагом нашим вперед оставляем мы за собою пустыню, тьму крошечную, тьму Египетскую да и только» (VII, 155—157).

Золотой век русской литературы представлен Вяземским как идеальная норма, несправедливо отвергнутая современностью. Прошедшее полемически противопоставлено настоящему. Мрачно звучит его вывод о короткой литературной памяти русского общества. Его пессимистический прогноз, казалось, исключал всякую надежду на будущее. Между тем сложность позиции Вяземского заключалась в том, что он глядел не только назад, но и вперед, жадно искал духовных контактов с грядущими поколениями; в 1873 году он предсказывал: «Как мы многое отвергли из того, что перешло к нам от дедов, так и 20-й век, который уже не за горами, вероятно, отвергнет многое, чем мы ныне так щеголяем и гордимся. Нынешние, страстные нововводители будут в глазах внуков наших запоздалые старообрядцы. Как знать? может быть, внуки наши, если помянут старину, то перескочат через наше поколение и возобновят прерванную связь с поколениями, которые нам предшествовали» (VII, 372). Комментируя это пророчество, Г. Вытженс справедливо указал, что спустя несколько десятилетий символисты через голову поколений обратились к творчеству Державина и Пушкина.⁵⁸

В поздних высказываниях Вяземского о Пушкине тот же двойной план, что и в его суждениях о Карамзине. Бесценные мемуарные «жемчужины», пронизательные суждения о масштабности творчества Пушкина, тонкие наблюдения по поводу его произведений включены, как правило, в полемический аспект, в спор Вяземского с современностью. В последних разделах статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина», которые, как установлено нами, датируются 1870-годами, Вяземский подробно писал об исторических трудах Пушкина: «В последнее время работа, состоящая у него на очереди, или на ферстаке (верстаке), как говаривал граф Канкрин, была история Петра Великого. Труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это целый мир! В Пушкине было верное понимание истории. <...> Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки, для удобного

⁵⁸ G. Wytrzens. P. A. Vjazemskij, S. 239.

вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Он не историю воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее. Он не задал бы себе уроком и обязанностью, во что бы то ни стало, либеральничать в истории и философничать умозрительными анахронизмами» (II, 373—374). Справедливая, высокая оценка Пушкина-историка, предвосхищающая позднейшие суждения исследователей, сочетается в статье Вяземского с обличением послекарамзинской исторической науки.

Не утаивал Вяземский и трудности, подстерегавшие Пушкина-историка. Воздав должное «Истории Пугачева», Вяземский писал: «... в историю события, но в глубь его он почти не вникнул, не хотел вникнуть или, может быть, что вероятнее, не мог вникнуть, по внешним причинам, ограничившим действие его» (II, 375). Это был прежде всего намек на трудности разыскания документов, распыленных в различных архивах. Кроме того, Вяземский имел в виду и цензурные условия николаевской эпохи, с которыми Пушкин не мог не считаться.

Лирика, художественная проза («Капитанская дочка», «Арап Петра Великого»), исторические труды Пушкина равно подвергались благожелательному суду Вяземского. Давая общую характеристику его творчества, он писал: «В лирических творениях своих поэт не прячется, не утаивает, не переодевает личности своей. Напротив, он как будто неволью, как будто бессознательно, весь себя выказывает с своими заветными и потаенными думами, с своими страстными порывами и изнеможениями, с своими сочувствиями и ненавистями. Там, где он лице постороннее, а действующие лица его должны жить собственной жизнью своею, а не только отпечатками автора, автор и сам держится в стороне. Тут он только соглядатай и сердцеиспытатель; он просто рассказчик и передает не свои наблюдения, умствования и впечатления» (II, 378).

Это заключение столь же верно, как и пронизательное суждение о том, что творчество было спасительным прибежищем для Пушкина: «Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть немощь уныния, восстанавливались ослабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокоивался, мужал, переждался» (II, 373).

Поздняя пушкиниана Вяземского — ценное подспорье для историков литературы.

В воспоминаниях Вяземского весомое место занимают его записные книжки. Он начал их вести в 1813 году и — то с более, то с менее значительными интервалами — вел до последних лет своей жизни. Отдельные записи из его дневниковой летописи печатались во второй половине 1820-х годов в «Московском телеграфе», «Северных цветах», «Литературном музее», а затем уже в 1860—1870-е годы в «Русском архиве» и в сборнике «Деятнадцатый век».

Первое систематическое издание «Записных книжек» было осуществлено посмертно в собрании сочинений Вяземского: в восьмом томе печатались записи, опубликованные самим автором, а в девятом и десятом томах — частично, с учетом цензурных возможностей и иных редакторских соображений, первоначальный текст «Записных книжек». Комментарий отсутствовал. Первое комментированное издание «Записных книжек» увидело свет в 1929 году. Публикуя отдельные фрагменты, наиболее существенные в историко-литературном плане, Л. Я. Гинзбург приняла за основу позднейший, переработанный текст, печатавшийся самим Вяземским.

В 1963 году вышло новое издание «Записных книжек» (1813—1848). В. С. Нечаева поставила своей целью напечатать их как историко-литературный документ, как литературный памятник эпохи; издание осуществлено по первоначальному рукописному тексту; в комментарии даны библиографические отсылки, позволяющие быстро отыскать соответствующую запись в прижизненных периодических изданиях, а также в собрании сочинений Вяземского.

«Записные книжки» Вяземского в их первоначальном виде — интереснейший историко-литературный памятник своей эпохи, во многом отличающийся от прижизненных публикаций. По тексту, напечатанному В. С. Нечаевой, можно проследить, что и как читал Вяземский, какие мысли и события в прочитанных книгах его интересовали, какую оценку они вызывали у него, как преломлялись в его сознании факты и идеи западно-европейской жизни и как они соотносились им с жизнью русского общества и отечественной литературой.

Наиболее острые политические высказывания Вяземского, входившие в первоначальный текст, ранее не печатались, по-видимому, не только по цензурным и автоцензурным соображениям: ведь вне комплекса окружающих их цитат они лишаются в какой-то мере своего блеска и своей неопровержимой доказательности; они не подходили к жанру историко-литературных афоризмов и записей, избранному Вяземским в его публикациях. Только при издании «Записных книжек» в их первоизданном виде, осуществленном В. С. Нечаевой, страстные инвективы Вяземского, раскаленные против Николая I и его приближенных, говорят «во весь голос». Полновесное публицистическое звучание «Записных книжек» является неотъемлемым достоинством последнего издания.⁵⁹

К мемуарным статьям Вяземского и «Старой записной книжке» тесно примыкает его публикаторская деятельность. Начиная с 1866 года в «Русском архиве» печатались «Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива», многие из которых сопровождались

⁵⁹ Подробнее об этом издании см.: М. И. Гиллельсон. Оппозиционер или фрондер? Русская литература, 1963, № 4, стр. 232—237.

предисловиями и примечаниями Вяземского. Анализируя его «Фонвизина», мы уже видели, какое первостепенное значение он придавал письмам как историческому источнику — это убеждение осталось у него непоколебимым до конца жизни. Обращаясь к издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу по поводу бумаг Жуковского, Вяземский писал: «Полагаю, что ни один из великих писателей и вместе с тем одаренных, как вы говорите, *общечеловеческим достоинством*, не мог выказаться вполне в сочинениях своих: натура все-таки выше искусства. В творении назначенном для печати человек, вольно или неволью, принаряживается сочинителем. Сочинитель в печати чуть ли не актер на сцене. В сочинении все-таки неволью выглядывает сочинитель. В письмах же сам человек более на лице. Художник, разумеется, не убивает человека; но, так сказать, умаляет, стесняет его».⁶⁰

Это мнение Вяземского способствовало тому, что он тщательно собирал письма писателей и других деятелей культуры. Благодаря его стараниям Остафьевский архив оказался кладом ценнейших эпистолярных материалов, кладом, в котором и поныне исследователи находят письма, представляющие незаурядный историко-литературный интерес. Начало публикации эпистолярного богатства Остафьевского архива было положено самим Вяземским. «Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива» открывались подборкой «Письма 1812 года», являющихся важным источником по истории Отечественной войны с Наполеоном. Среди них были письма Батюшкова, Карамзина, В. Л. Пушкина, А. И. Тургенева, Д. П. Северина, Н. Ф. Грамматина, Х. А. Шлецера, а также стихотворное послание Н. Ф. Остолопова. В последующих подборках были напечатаны письма Д. В. Давыдова, Д. В. Дашкова, Батюшкова, Карамзина, Жуковского, Ю. А. Нелединского-Мелецкого, А. И. Тургенева, Плетнева, Чаадаева, Кольцова, Гоголя, Н. И. Тургенева, А. Ф. Воейкова, самого Вяземского, Сильвио Пеллико, Фарнгагена фон Энзе и некоторых других лиц. В 1874 году появилась переписка Пушкина с Вяземским, значение которой трудно переоценить.

Наряду с письмами, Вяземский, как уже отмечалось при разборе «Фонвизина», придавал большое значение устному преданию, острым словам, «мелочам» литературного и не только литературного быта. В предисловии к «Выдержкам из бумаг Остафьевского архива» он писал: «Перебирая старые свои бумаги и старые письма лиц, которых уже нет, кажется, мимоходом и снова переживаешь себя самого, всю свою жизнь и все свое и все чужое минувшее. Тут, после давнего кораблекрушения, выплывают и носятся к берегу обломки старого и милого прошлого. Смотришь на них с умилением, прибираешь их с любовью; дорожишь между ними и мелочами, которым прежде как будто не знавали мы цены.

⁶⁰ Русский архив, 1876, кн. 1, стр. 248.

Предания нередко бывают дороже и выше самих событий. <...> Границы настоящего должны не только выдвигаться вперед, но и отодвигаться назад. Душе тесно в одном настоящем: ей нужно надеяться и припоминать».⁶¹

Среди материалов этого рода, опубликованных Вяземским в «Русском архиве», мы встречаем «Литературные арзамасские шалости» (эпиграммы и притчи на Д. И. Хвостова), «Парнасский адрес-календарь», стихотворный протокол 20-го арзамасского заседания и некоторые другие.

Деятельность Вяземского-публикатора стимулировала, в свою очередь, его обращение к мемуарному жанру: перебирая бумаги давно минувших дней, он воскрешал прошедшее и торопливо заносил на бумагу события и предания далеких лет: иногда это были предисловия или примечания к публикуемым материалам, иногда возникали самостоятельные мемуарные статьи.

Не официальные реляции привлекали его внимание, а письма, рассказы современников; молва, «мелочи» быта. Понимание обусловленности человеческих поступков окружающей действительностью требовало, по мнению Вяземского, вовлечение в область художественного всего многообразия внешнего мира. Быт переставал быть декорацией, фоном, местом действия; он проникал в самую ткань художественного воссоздания исторического процесса, сквозь призму быта получал свое отражение пестрой калейдоскоп эпохи. Непритязательность, простота летописца объявлялись высшей похвалой историку.

Подобный историзм мышления, приложенный к восприятию литературного и общественного процесса, совершающегося или совершившегося на глазах наблюдателя, вызывал желание быть «летописцем» своего времени. Эта тенденция четко проявилась в дневнике Пушкина, в его набросках «Table-talk», в дневниках и письмах-корреспонденциях А. И. Тургенева, в «Фонвизине», в «Старой записной книжке» и мемуарных статьях Вяземского.

В «Фонвизине» Вяземский стремился «воскресить» XVIII век, а в своих публикациях, мемуарных статьях, отрывках из «Старой записной книжки» — золотой век русской литературы. Выступив на поприще истории литературы, Вяземский писал не только о своих литературных учителях и соратниках, но и о самом себе: редкий случай, когда писатель был своим собственным историком.

Не все «обломки», всплывшие в памяти Вяземского, не все, опубликованные им материалы, имеют одинаковую цену. В отли-

⁶¹ Русский архив, 1868, стлб. 436. — Вяземский внимательно следил за печатной мемуарной и эпистолярной литературой, читал, например, издания Вольной русской типографии, в которых усилиями Герцена печатались воспоминания декабристов, письма Пушкина и другие материалы 1820-х—1830-х годов: сохранились (в библиотеке Института мировой литературы) VI и VII книги «Полярной звезды» с его пометами — об этом см.: Н. Я. Эйде ль м а н. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., изд. «Мысль», 1966, стр. 296—298.

чие от Пушкина у него не было обостренного исторического чутья, которое позволило бы ему безошибочно отбирать самые характерные «мелочи» воскрешаемой им эпохи. В его мемуарных статьях и публикациях имеется немало «шлака». К тому же на отбор «мелочей», анекдотов, острых словечек, «народных» слухов влиял консерватизм Вяземского этих лет: услужливая память сортировала воспоминания и извлекала из потаенных подвалов то, что казалось ему теперь наиболее ценным и достойным внимания потомства. Несмотря на эти недочеты, деятельность Вяземского-мемуариста и публикатора значительно обогатила наши знания о литературе и писателях первой половины XIX века.

В 1875 году по инициативе С. Д. Шереметева (мужа внучки Вяземского) было приступлено к подготовке собрания сочинений Вяземского. Последний, несмотря на болезненное состояние, уделил этому предприятию много времени и сил. Он написал «Автобиографическое введение» (I, стр. I—LX; II, стр. VII—XVIII),⁶² в котором сообщил интересные подробности о своем детстве, о годах учения в петербургском иезуитском пансионе, о жизни в Москве и в Остафьеве в 1810-е годы, о службе в канцелярии Новосильцева в Варшаве, об основании «Московского телеграфа» и о сотрудничестве с Н. А. Полевым. Кроме того, Вяземский сделал приписки — то пространные, то краткие — ко многим своим статьям. Эти приписки носили мемуарный характер, содержали ценные сведения о его отношениях с Пушкиным и другими писателями первой половины XIX века.

⁶² Изучение рукописи «Автобиографического введения» позволило нам установить, что при его печатании пропущен отрывок, который следует вставить в текст восьмой главы (перед фразой «Пока будут польские женщины на свете»): «Победители и побежденные на общем празднестве было равно довольны и, казалось, навсегда побратались. В жизни государств встречаются подобные праздничные исторические дни. Но, к сожалению, они не принадлежат к периоду долгоденствия. В истории, как и в календаре, более будничных дней, нежели праздников. Как бы то ни было, я попал на такой праздник. Само собой разумеется, обеды, вечера, балы беспрестанно следовали один за другими. Это дало мне возможность легко и скоро ознакомиться и сблизиться с варшавским обществом, тогда очень гостеприимным и приветливым. В нем отчасти сохранились нравы и обычаи старопольские, но озаренные полным блеском новейшей образованности, не только внешней, но и умственной. Это придавало обществу игру и привлекательную смесь разноцветных, но вместе сливающихся оттенков. Вообще полячки еще более полячки, нежели поляки» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 622, л. 12—12 об.). — Кроме того, необходимо отметить, что авторская правка на писарском экземпляре «Автобиографического введения» не учтена в печатном тексте. Так, например, говоря о своих полемических наклонностях, Вяземский приписал: «В этом случае сочувствиями и привычками моими колебался я между двумя сторонами. Карамзин и Жуковский подавали мне пример священного равнодушия и мирного бездействия в виду нападавших на них противников. Дмитриев, более державшийся ветхозаветных нравов и преданий, побуждал меня к отражению ударов и к битве. Пушкин, долготерпеливый, до известной степени и до известного дня, также вступал иногда в бой за себя, за свое и за своих» (там же, № 1183, л. 49).

Работа над подготовкой к печати собрания сочинений внесла оживление в последние годы жизни Вяземского, помогла ему бороться с одолевавшим его недугом. Но ему не удалось дожить до выхода в свет своих трудов: первый том появился в год его смерти, а все издание, состоящее из двенадцати томов, было завершено лишь в 1896 году.

Вяземский скончался 10 (22) ноября 1878 года в Баден-Бадене. Его прах был перевезен в Россию и погребен в Петербурге, в Александро-Невской лавре, вблизи могилы Карамзина.





Приложение

**В. А. ОЗЕРОВ В ПЕРЕПИСКЕ П. А. ВЯЗЕМСКОГО
И Д. Н. БЛУДОВА**

Хлопоты по изданию сочинений Озерова начались сразу после смерти драматурга: он умер 5 сентября 1816 года, и уже в конце этого года Д. Н. Блудов (двоюродный брат Озерова) договорился с книгоиздателями. Вступительную статью собирался писать Д. Н. Блудов, но он вскоре отказался от этого замысла, и предисловие «О жизни и сочинениях Озерова» (1817) написал Вяземский. По этому поводу между Вяземским и Д. Н. Блудовым произошел обмен письмами, из которых были опубликованы три письма Вяземского: письмо от октября—ноября 1816 года (Отчет Государственной Публичной библиотеки за 1887 год. СПб., 1890, стр. 219—220), письмо от конца 1816 года и письмо от 11 февраля 1817 года (Остафьевский архив, т. V, вып. 1, стр. 105—108). Архивы Вяземского и Д. Н. Блудова (ЦГАЛИ) позволяют обогатить эту переписку двумя письмами Вяземского (ф. 72, оп. 1, № 3, лл. 1—3) и двумя письмами Д. Н. Блудова (ф. 195, оп. 1, № 1467, лл. 3—6, 8—11). Публикация их дает возможность уточнить творческую историю статьи Вяземского «О жизни и сочинениях Озерова», проследить некоторые нюансы литературных взаимоотношений внутри арзамасского братства, а также выявляет новые сведения о жизненном пути Озерова. Кроме того, эта переписка, затрагивая вопрос об издании арзамасского журнала, касается и более общих проблем литературной жизни того времени.

1

ПИСЬМО Д. Н. БЛУДОВА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

2 ноября 1816 года.

Петербург, или Арзамас

«...» Вы требуете, чтобы я сказал Вам свое мнение о плане Вашей статьи. Мне кажется, что Ваш план очень хорош: только, чтобы сделать Вашу статью похожею на обещанное известие о жизни Озерова, мне кажется, нужно при начале сказать несколько слов о первых его летах и упражнениях, и дошедши до бедного Олега, то есть до первой границы его поприща театрального, остановиться и, как Вы сами думаете, сделать быстрое обо-

зрение истории нашего театра, представить состояние оною, в то время как Озеров на оном явился сперва учеником Княжнина: ибо Олег его есть точно произведение этой школы; * а потом в Эдипе учеником древних, но древних, виденных им сквозь мглу французских переводов и при свете иногда обманчивой французской теории драматического искусства. Кстати скажу, что я может быть Вам и не отошлю Дюсисова Эдипа: не знаю, можно ли его найти здесь, не знаю даже, может ли он быть для Вас нужен. Озеров подражал гораздо более Софоклу, и не сделал ошибки Дюсисовой, который, как Вам известно, смешал действие Эдипа с действием общества и вместо Тезея приводит царственного слепца к Адмету. После Дюсис переделал своего Эдипа: теперь у него Эдип приходит в Афины; но этой переделанной Дюсисовой трагедии Озеров и не видел: она в первый раз напечатана в прошлом году. А из прежней, наш автор взял только мысль, чтобы заставить Эдипа простить своему виновному сыну. Но он отделил это прощение от проклятия над Полиником и в этом, кажется, сделал важную ошибку. У Дюсиса в одной сцене раскаяние Полиника, проклятие, а потом нежность растроганного отца, и сцена его гораздо живее и разительнее даже первого свидания Эдипа с сыном в русской трагедии. Что касается до сцены пятого акта, в которой Эдип прощает Полиника, она уже так холодна, что не достойна ни таланта Озерова, ни сравнения с Дюсисом, и едва ли достойна русского театра и петербургской публики. Вообще пятое действие Эдипа, по моему мнению, очень слабо; оно особливо испорчено смертью Креона. Надобно Вам рассказать историю этой смерти. Для того, чтобы умножить и усилить действие своей трагедии, Озеров распространил ролю Креона, взятого им из Софокла; в Дюсисе Креона совсем нет. Он придумал новые происшествия: похищение Эдипа, погоню Тезея за Креоном, и происходящую от того опасность Антигоны, волнение народа и прочее. Но в пятом действии должно было по первому плану, чтобы Эдип принес себя в жертву мстительным богиням ада и свою смертью заплатил за благодеяние Афин и Тезея. Когда Озеров уж писал четвертое действие, вдруг старый *лицедей* и враль Дмитревский вздумал ему доказывать, что лучше умерить не Эдипа, а Креона, ссылаясь по обыкновению на ветхое правило, что театр есть училище нравов и что должно в конце всякой драмы наказывать порок и награждать добродетель. Как будто для добродетельного несчастливца смерть может быть наказанием и как будто казнь преступника, которую надобно оставлять эшафоту, может быть трогательной развязкой в трагедии. Но Озеров, к сожалению, поверил сначала Дмитревскому, а потом успеху своего Эдипа. И от того в последних действиях царь-слепец уже не имеет главной отличи-

* Однако же Озеров был учеником Княжнина более в отношении к слогу; план его Олега, как ни слаб, но оказывает более таланта и искусства, нежели все трагедии Княжнина и Сумарокова (примечание Д. Н. Блудова).

тальной черты своего характера и положения: этого величественного предчувствия смерти, которым Софокл наполнил всю его ролю, и от которой Эдип представляется каким-то существом особого рода, стоящим между земли и неба. Он чрез свои ужасные, неимоверные несчастья поставлен уж выше обыкновенных людей, и смерть есть истинное торжество его; он ею возносится над своим благодетелем Тезеем, ибо сам будет своим гробом благодетелю и Афинам. И это блистательное окончание Озеров променял на казнь Креона, на такую развязку, которая годилась бы: в романе; и потерял может быть единственный случай познакомиться русских с греческими сверхъестественными катастрофами. Лагарп называет их оперными; но вопреки ему и всем французам мне кажется, что они приличнее всяких других характеру древней трагедии, которая принадлежала не к роду истории, а к роду эпопеи. И от того греческие трагедии вились всегда, или почти всегда около героических времен и Гомера.

Но я заболтался; пора мне перестать писагь, чтобы Вы читать не перестали. Да впрочем как хотите, не читайте моих писем; только пишите, пишите об Озерове, заклинаю Вас Арзамасом, Аполлоном и дружбою. Пишите и есть ли можно поскорее: типографшики не дают мне покоя; а я уж не примусь за перо. Будьте же благодетельны и для него и для меня.

Простите Ваш или Ваша Кассандра».

Письмо Д. Н. Блудова, который среди арзамасцев имел прозвище Кассандра, впервые поставило вопрос о значении переделок трагедии Софокла французским драматургом Ж.-Ф. Дюси для творческой истории трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Однако не все утверждения Д. Н. Блудова верны. Действительно, Дюси первоначально написал вариант «Эдип у Адмета» (1778); но и его вторую переделку этого сюжета «Эдип в Колоне» Озеров читал, так как она появилась не в 1815 году, как утверждает Д. Н. Блудов, а значительно раньше — в 1797 году. Вместе с тем Д. Н. Блудов справедливо подметил, что Озеров ближе придерживался сюжета Софокла, нежели Дюси. По наблюдениям А. Я. Максимовича, Озеров, используя обработку Дюси, «в некоторых местах возвращался к Софоклу. Так, он оставил Креона, отсутствовавшего у Дюси. Это могло быть подсказано Озерову более близкой к Софоклу трагедией М.—Ж. Шенье — „Edeipe à Colone“» (История русской литературы, т. V. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 158).

Как явствует из письма Д. Н. Блудова к Вяземскому, он отдавал предпочтение той первоначальной трактовке мифа о Эдипе, которой следовал Софокл. Подобная точка зрения отражала неоклассические тенденции внутри арзамасского братства, и в этом отношении Д. Н. Блудов был не одинок. Позиция С. С. Уварова, проявившаяся в 1813—1815 годах в полемике о русском гекзаметре, антологические стихотворения Батюшкова (воспитанника М. Н. Муравьева, ценителя античности, первого русского поэта, пытавшегося переводить гекзаметром Гомера), перевод греческих эпиграмм в размерах подлинника, принадлежащий Д. В. Дашкову, показывают, что среди этих арзамасцев была сильная тяга к неоклассицизму, сближавшая их с кружком А. Н. Оленина.

Вяземский довольно полно «вмонтировал» письмо Д. Н. Блудова в свою статью. Однако доводы Д. Н. Блудова в пользу неоклассицизма он переосмыслил таким образом, что в обращении Озерова к сюжету древнегреческого театра проявилось влечение трагика к нарождавшемуся романтизму.

Используя письмо Д. Н. Блудова для своей статьи, Вяземский опустил имя И. А. Дмитриевского, поставив «один актер в школе Сумарокова воспитанный» (I, 39). В то время И. А. Дмитриевский был жив (он умер в 1821 году), и понятно, что Вяземский не захотел публично укорять старого актера в том, что по его совету Озеров отказался от мысли закончить «Эдипа в Афинах» в духе античной трагедии.

II

ПИСЬМО П. А. ВЯЗЕМСКОГО К Д. Н. БЛУДОВУ

⟨22 января 1817 г.⟩

Не гневайся, о Кассандра,
Такая на меня хандра
Навьючилась, что ей-ей
Беседы я глупее всей.
Писать ничего не пишется,
Боюсь я, что мне придется
Безмолвным быть как Кикин;
И к Глинке завистью треснуть,
Что славой так умел блеснуть
Парнасса коренный крин.
О муж невский! Червь никитский
С трудом тебе в гостинец
Стихи пустил на конец
Так сказать бы яжелбицки!

Уф! одышка взяла. Насилу разделался, только, ради бога, не посылайте этих стихов в публичную императорскую библиотеку. Что тут хорошего будет? Прочтут, напечатают, да еще и добродушного Греча хвалить их заставят: у него, я думаю, итак уже от похвал в горле засохло. — Любезнейшая Кассандра, рассмейтесь, а не то я пропал; скажу Вам на ухо: мне хотелось обезоружить Вас смехом, чувствуя в полной мере законность гнева Вашего. Что прикажете делать? Какая-то *арфическая лень* и *Эоловское бессилие* околдовали меня. Я ни к чему не годен: насилу догадался, что напрасно Гнедич сделал из Юпитера, отца богов, пророка, который между прочим пророчествует, что бьет Ахиллеса будет стоять в Эрмитаже, а русские станут переводить Омера. Юпитер худой пророк! Фетиде до Эрмитажа право нет никакого дела, а что Николай Иванович будет певец Ахиллеса Пелееедовича, это и скрыть можно было от нежности материнского сердца. Вы, почтенная Кассандра, пророк истинного Вкуса. Я уверен, что Вы предсказываете дурной перевод Илиады, и я благоговею перед Вашею проницательностью. Все это хорошо, говорите Вы, то есть не хорошо, но дело не о том:

Мужайся, стой и дай ответ!

Я, право, занимаюсь Озеровым и без статьи о нем к Вам не приеду. Прислать же написанное мною невозможно, потому что хотя уже и намарана малая толика, но о творениях Озерова еще ни слова нет. Я говорю о жребии дарования, о преследованиях и сплетнях зависти, о русском театре, о Реме и Ромуле, о Пунических войнах, о том и о другом, но не сказал еще ни слова о *баране*. Скажите, Бога ради, кто у Вас в пустыню удалился? Орлов говорит, что в Париже один пустынный *Жуи*, а в Петербурге их много и они... <...> Тут и будет мах! Мы здесь еще не знаем, хвалить ли Пустынника, слушать ли его, или дать ему преподавать в пустыне! Мне кажется, что он уездный балагур, который глядит на свет из разбитого окошка. Право, надобно бы Арзамасу выдавать журнал не на живот, а на смерть. Никогда литература не была у нас в подобном *положении*: она лежит в растяжку, пора приподнять ее на ноги. Жуковский с ума сошел на том, чтобы выдавать по книжке в год. Дело ли тут до перепалки, когда надобно дуть картечью? Не раз в год, а каждый месяц, каждую неделю, каждый день если можно, бейте по щекам эту посадскую бабу, зовомую публикою! Авось очнется! Приведите ее кровь в движение: толкайте ее пинками в спину, и кормите не *овсяными киселями*, а добрыми киселями в ж<...>! Тогда она и пойдет плясать по нашей дудке. Иначе ничего путного не сделаешь. Тогда, державши публику на стороже, можно с большею пользою действовать на нее от времени до времени тяжелою артиллериею. Желудок ее, приготовленный и укрепленный горькими каплями, будет в состоянии принимать всякую пищу, которую теперь он и сварить не в силах. Один глаз на нас, а другой в Арзамас! Вот как надобно поставить публику, у которой глаза слипаются с такою скоростью. Что сделал Жуковский с своими стихотворениями? Ни следа не осталось на толстой роже вышереченной бабы! Как приведешь в движение стоячую воду пруда? Ройте землю, открывайте новые источники, проводите каналы и рыба не уснет в Вашем пруде. Жуковского стихотворения прекрасная стерлядь, пущенная в пруд нашей словесности: поиграля немного на солнце, да и дело с концом. Расплодиться ей нельзя. Бросьте ее в реку, пойдут детки и внучата. Постойте немного: чего же хочу я? Ухвачусь за хвост стерляди, авось вынесет из пучины моего многоглаголения. Итак, я хочу, чтобы пруд нашей словесности преобратился бы в проточную воду и думаю, что хороший журнал мог бы сделать теперь желаемую перемену, и уверен, что такой журнал должен непременно издаваться в Арзамасе.

Как волка не корми, а он все в лес глядит! Выехал на стерляди, а приехал к гусю, с которым честь имею быть, ваш преданный согусник Асмодей, который врал, как черт прямой.

Согусникам мой душевный поклон. В.

22-го Генваря <1817 г.>

Полное арзамасской фразеологии, письмо Вяземского превосходно передает атмосферу этого содружества, где то всерьез шутили, то под оболочкой шутки обсуждали серьезные литературно-общественные вопросы. Мимоходом высмеивает Вяземский беседчика П. А. Кикина, поэта Федора Глинку, потешается над Н. И. Гречем, подтрунивает над арзамасцами А. И. Тургеневым («Эолова Арфа») и В. Л. Пушкиным («Так сказать бы яжелбицки» — намек на «поносные» стихи Василия Львовича, написанные им на станции Яжелбицы; эти стихи оскорбили арзамасцев и привели к временному отлучению его от Арзамаса).

В явно неприязненном тоне отзывается Вяземский о Гнедиче; как бы ища сочувствия у Блудова, Вяземский предрекает его именем, что перевод «Илиады», над которым работает Гнедич, будет дурным. В подобной оценке творческих исканий переводчика «Илиады» выступают наружу подспудные течения литературной жизни эпохи. Гнедич был своим человеком в кружке А. Н. Оленина. Правда, с этой «третьей силой» у «Арзамаса» не было открытой вражды, как с беседчиками, правда, некоторые арзамасцы (и в первую очередь Батюшков) были вхожи в оленинский кружок, но в области литературы многое отводило арзамасцев от неоклассиков. И хотя Гнедич именно по настоятельным советам арзамасца Уварова перестал перелагать «Илиаду» александрийским стихом и переводил ее гекзаметром, и хотя арзамасец Батюшков был дружен с Гнедичем, тем не менее в «Арзамасе» творчество Гнедича вызывало порой скептические суждения, и не только у Вяземского. В арзамасских протоколах неоднократно встречаются неслестные отзывы о Гнедиче (в речах Д. В. Дашкова, Ф. Ф. Вигеля и других). Вспомним, наконец, позднейшую эпиграмму Пушкина. Ведь не случайно за месяц до написания панегирического двустушия «На перевод Илиады» Пушкин отозвался эпиграммой на окончание Гнедичем его многолетнего труда («Крив был Гнедич поэт, предводитель слепого Гомера, Боком одним с образом схож и его перевод»). Вряд ли эта эпиграмма была вызвана лишь каламбурным стечением обстоятельств (Гомер был слеп, а Гнедич — крив). Скорее всего это было импульсивным, минутным проявлением давнишнего, еще со времен «Арзамаса» слегка иронического восприятия творчества и личности Гнедича.

Далее Вяземский с ссылкой на М. Ф. Орлова каламбурно обыгрывает появление в столице нового журнала «Русский пустынный, или Наблюдатель отечественных нравов», издателем которого был П. А. Корсаков. Действительно, в своей речи при вступлении в «Арзамас», произнесенной 22 апреля 1817 года, М. Ф. Орлов назвал П. А. Корсакова подражателем господина Жуи и сказал, что «из целой книги „Русского пустынного“ едва ли можно выбрать одну хорошую статью» (Арзамас и арзамасские протоколы. Изд. писателей в Ленинграде, 1933, стр. 208). Не вдаваясь сейчас в справедливость оценки М. Ф. Орловым и Вяземским журнала П. А. Корсакова, отметим лишь, что письмо Вяземского написано за три месяца до речи М. Ф. Орлова. Следовательно, о взглядах последнего Вяземский узнал из личных встреч с ним. Ведь по возвращении из Парижа М. Ф. Орлов в конце 1816 и в начале 1817 года жил в Москве (см.: Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 204, 213).

Письмо Вяземского позволяет утверждать, что во время московских встреч с М. Ф. Орловым они быстро нашли общий язык. Вспомнив слова М. Ф. Орлова об отечественном Жуи, Вяземский сразу же переходит к мысли о необходимости издавать арзамасский журнал. Известно, что в этом вопросе Вяземский и М. Ф. Орлов были полными единомышленниками. Именно об издании журнала с жаром говорил М. Ф. Орлов при своем вступлении в «Арзамас». Таким образом, письмо Вяземского к Блудову является живым отголоском его бесед с М. Ф. Орловым, а речь последнего в «Арзамасе», в свою очередь, как бы продолжала их совместные московские собеседования.

Центральное место в письме Вяземского отведено проекту арзамасского журнала. Будучи деятельным сторонником подобного издания, Вяземский с жаром отстаивал свою точку зрения, спорил с теми арзамасцами, и в пер-

вую очередь с Жуковским, которые не были воодушевлены этим начинанием. Жуковский дал Вяземскому недвусмысленный отрицательный ответ в письме, написанном из Дерпта 27 января 1817 года: «Не гневайся на меня, душа моя душенька! Я прав! Теперь о журнале думать нам нечего: начнем и не кончим! В этом я уверен. Будем довольствоваться перепалкою в ожидании возможности стрелять картечью и ядрами со всех батарей. Это время придет. Пока станем помогать друг другу в малом. Я намерен издавать в начале каждого года по две книжки: в одной будут одни русские сочинения в стихах и прозе (разумеется, что переводы в стихах принадлежат к сочинениям), в другой будут переводы образцовых пьес с немецкого. Плана делать нечего. Разнообразия — вот план. Я желал бы, чтобы ты поступил с французскою литературою, а Батюшков с италианскою, так же как я хочу поступить с немецкою. Таким образом, в начале каждого года являлось бы несколько весьма свежих и ароматных цветков, которые приучили бы русские носы к тонкому обонянию. О собрании своей немецкой книжки я не забочусь — материалов бездна; но для русской нужно мне деятельное пособие, твое, Батюшкова и других арзамасцев. Соиздателем моим будет для обеих книжек Дашков, есть ли не откажется. Они должны выйти в начале будущего года; следовательно, все надобно приготовить в начале августа нынешнего года. Доставь мне все твое поскорее; да припаси что-нибудь в прозе. Так же крикни на Батюшкова: без его роз и лепестков не будет лучшего в моем букете. Требую от него прозы и стихов и к началу августа, не позже. Сказывали мне в Петербурге, что наш патриарх поэзии опять принялся за перо: правда ли это? Я говорю о новых стихах Дмитриева! Какая бы для меня блестящая добыча! От женатого Дениса Давыдова ожидать нечего — но есть ли он что-нибудь писнет, лови и не выпускай из рук и бросай в мою котомку. Ты должен быть в Москве моим таможенным приставом и никакого стихотворного товара, разумеется хорошего, не впускать в границы других журналов, все конфискуй и отсылай в мой магазин. Я желал бы, чтобы ты состряпал что-нибудь в прозе; но требую разрешения на поправку: иногда ты жестоко грешишь против грамматики; и часто, так же как и я, заговариваешься. Умеренность знак совершенства...» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1909, л. 143). Издание альманаха, для участия в котором Жуковский предполагал привлечь Вяземского, Батюшкова, И. И. Дмитриева и некоторых других писателей, не было осуществлено. Переводы же стихотворений немецких авторов Жуковский издал в 1818 году в шести книжках «Für Wenige» («Для немногих»), а также поместил их в том же году во втором издании своих стихотворений.

Желание Вяземского издавать журнал отражало точку зрения радикальных арзамасцев, стремившихся направить «Арзамас» в русло широкой общественно-литературной деятельности; позиция Жуковского выражала мнение умеренных арзамасцев, с опаской относившихся к новым веяниям в их обществе. И хотя в уставе, принятом в середине 1817 года, была особая шестая глава «Об издании трудов Арзамаса», в которой говорилось, что арзамасский журнал будет выходить с 1818 года, это издание осталось неосуществленным.

III

ПИСЬМО Д. Н. БЛУДОВА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

С.-Петербург. 20 февраля 1817 года

Любезнейший Асмодей, поздно делаете мне запросы и забываете, что я на многое отвечал заранее. Между тем наш бедный типографщик в отчаянии чуть не поднял на статью руки и вероятно, что внутренностию сердца проклинает и Вас и меня, вероятно, говорит, то ли дело наши петербургские, а не арзамасские

литераторы, Николаи Ивановичи Греч и Гнедич, каково ни напишут, да уж напишут, успевай только наш брат печатать, а публика и наверно не успеет читать. Сделайте одолжение, Асмодей князь Андреевич, заградите уста нашего хулителя, заградите поскорее, прошу Вас Громобоем, и дочерьми его, спасителем их Вадимом. Хотите ли, я положу на себя и обещание, вот какое: доставить Вам продолжение Двенадцати спящих дев, как скоро Вы мне доставите статью об Озерове. Но Вы скажете, что для этого надобны многие подробности. Так и быть; несмотря на лень и онемелость ума, я сообщу Вам или повторю некоторые, сколько теперь припомню.

Озеров получил в кадетском корпусе хорошее воспитание, но, по тогдашнему петербургскому обычаю, был напитан одним французским языком и французскою словесностью: немецкий язык он не любил и знал худо; языки древние были ему совсем неизвестны и древних авторов он только тогда узнал получше, когда уже начал заниматься литературой не на шутку. С начала его жизни в свете литература была для него если не шутка, то по крайней мере не более как забава. Рожденный с пылкими страстями, и воображением романтическим, он искал наслаждений и счастья не в грудах ума, а мечтах своего сердца: в людях, в обществе, в женщинах, или, справедливее сказать, в одной женщине. Для нее он жил несколько лет, почти все лета своей молодости; с нею питался восторгами платонической страсти; был часто возле счастья и не был счастлив, ибо любезная ему женщина была замужняя и добродетельная. Для нее он играл французские трагедии, писал французские стихи, читал французские романы. Эту слабость к романам Озеров сохранил и в зрелых летах и после потери любимого предмета. Он как будто хотел участием в вымышленных несчастиях любви напоминать себе те страдания нежности, к которым сердце его привыкло, и нет сомнения, что от сих первых его впечатлений и от того, что романы остались для него навсегда если не главным, то любимым чтением, и самый его поэтический талант получил какой-то цвет романтизма. Черты, напоминающие это расположение души его, разбросаны во всех его трагедиях, иногда некстати, как например в Димитрии, но везде они трогательны, ибо вырвались из сердца автора. Долговременная сердечная связь имела также влияние и на характер нашего трагика. Давно говорят, что любовники похожи на детей, а Озеров сохранил что-то детское и во всех отношениях жизни. Он как ребенок был добродушен, своенравен и застенчив; то подозрителен, то легковерен и к людям и к надеждам, иногда самолюбие доводило его до малодушия, иногда от излишнего смирения он впадал в отчаяние. Главным свойством его сердца была любовь к друзьям; он часто делался невольником, видел, чувствовал ими, но готов был рассердиться за малейшую неосторожность и также не мог устоять против малейшего знака нежности. Эти слабости

нередко мучили его в жизни и конечно были причиною конца преждевременного и несчастного. Несколько раз он так сказать бросал целый свет: сначала после смерти своей милой Л. . . ой; тогда он оставил и начатые труды литературные, и общество, которое любил, потому что в глазах его оно украшалось ею; он тогда ж удалился бы в деревню, есть ли бы бедность состояния и воля отца не принудили бы его заниматься службою. В продолжение семи или восьми лет он только что служил, имел успехи, но очень мало ими радовался и не мог снести первой неприятности. При начале царствования Александра его начальники спросили, не нужно ли делать реформу в его департаменте; Озеров взял этот вопрос за совет идти в отставку и тотчас вышел. Принужденный жить в деревне с отцом, он там нашел неприятности другого рода, на которые не мог и жаловаться; но по счастью любовь к словесности в нем пробудилась; сперва он только читал, однако читал уже с выбором, от французских авторов перешел к древним (в переводе) и Софокл дал ему мысль написать Эдипа. Как он писал его Вы знаете из подробного письма, которое получили от меня осенью. В то же время Озеров начал больше знакомиться с русскою словесностью. Как воспитаннику кадетского корпуса, ему прежде были известны Княжнин и Болтин; он их почитал образцами стихов и прозы. Живучи в уединении он узнал наших истинных образцов и с восторгом, достойным и таланта и души его, читал, перечитывал Державина, Дмитриева и Карамзина. Он чувствовал им цену и не стыдился по ним учиться; к несчастью немного поздно: от того остался у него в слоге какой-то запах времен Княжнина и прочих. Уважение к своим и нашим учителям вкуса Озеров сохранил во всю жизнь, несмотря на суждения его мнимых приятелей, несмотря на свои ослепительные успехи, на клеветы, которыми многие добродоты осыпали Карамзина и Дмитриева, даже несмотря на их некоторую несправедливость или неполную справедливость к нему. Такая черта достойна примечания, и делает тем более чести Озерову, что с его щекотливым сердцем и раздражительным самолюбием было трудно переносить невыгодные отзывы, особливо от Карамзина и Дмитриева.

Между тем пока Озеров жил, скучая в деревне и думая об Эдипе, я приехал в Петербург и вызвал его своими письмами. В департаменте, где он прежде служил, не произошло никакой перемены, и он опять вступил в службу. Через два года после того публика узнала его Эдипа. Спустя потом еще год он написал Фингала, лучшую по моему мнению из всех трагедий его, и из всех русских трагедий. В Димитрии больше красот, но зато нет такого характера как Старн, есть невероятности в басне и во нравах, самое действие иногда слабеет, а в Фингале интерес, не будучи поддержан ни русскими именами, ни воспоминаниями славного происшествия, беспрестанно усиливается и увлекает душу самого холодного зрителя. Димитрий довольно скоро последовал

за Фингалом. Он представлен во время первой войны с французами: в начале 1807-го года; но многие стихи могут заставить думать, что эта трагедия писана после 1812-го года: в ней есть настоящие пророчества. Поликсену Озеров кончил в 1809 году, живучи опять в деревне, куда его загнали неприятности по службе, может быть легкие для другого, но для него несносные. Остальное Вам известно: говорят, что им в деревне начата *Медея* и что он написал уже три действия, но до меня не дошло ни одного стиха этой новой трагедии. Об Ярославе Озеров и не думал: Громобоею это приснилось в могиле. Между Олегом и Эдипом им написаны две оды: 1-я на смерть Екатерины, 2-я на восшествие Александра на престол: эти оды не были напечатаны, — Вы их увидите в первом томе его сочинений; тут же будут и стихи его к Державину, сочиненные в тот же промежуток. Озеров поехал отсюда с планами трех трагедий, именно: *Медеи*, *Вельгарда*, то есть варяга мученика при Владимире, и *Осады Дамаса*; в последней хотел он подражать одной английской трагедии (однако же он не знал по-английски).

Но полно: я очень устал, а Вы, я думаю, еще более. Прочтете ли Вы это маранье? Если явите такой опыт богатырского терпения, то довершите чудо, потрудитесь еще найти и прочесть то письмо, которое я писал к Вам прошлою осенью: там я больше говорю об Озерове, а повторять мне и не хочется и не вспомню.

На что Вам знать отличия, полученные нашим трагиком? Он был генерал-майором, имел 3-го Владимира: но это не имеет отношения к литературным трудам его. За три первые трагедии: Эдипа, Фингала и Димитрия государь лично изъявил ему свое благоволение и подарил за каждую по перстню; за Димитрия с вензелем, такой же как ныне Жуковскому.

Характер Озерова я описал Вам как мог наскоро. Прибавлю, что он был довольно мрачен. Похоронив в молодости милую женщину, обманувшись во многих надеждах, во многих привязанностях, он мало любил жизнь, с удовольствием думал о смерти и это чувство изображается в последних стихах Поликсены, которые были вероятно последними в его жизни. В них кажется видно предчувствие ужасной судьбы, омрачившей остаток дней чувствительного и слабого поэта.

Но еще раз простите, простите любезный Асмодей: я не кланяюсь Громобоею, мой поклон с ним разъедется на Валдайских пригорках. Об журнале Арзамаса, если не поленюсь, скажу Вам свое мнение на будущей почте. Теперь у меня перо иступилось, а ум так же туп, как и при начале. Единственно из повиновения к Вам я решился наболтать целую тетрадь нескладицы, которой не решусь прочитать. Дай Вам бог здоровья, если Вы прочтете.

Р. С. Да, возвратите мне послание Элоизы: от меня его требует настоящий хозяин.

Вяземский довольно полно использовал письмо Д. Н. Блудова для своей статьи, но по ряду соображений не включил в нее несколько интересных для нас подробностей. В своей статье Вяземский писал: «В уединении тихой жизни узнал он Державина, Дмитриева и Карамзина, почувствовал им цену и по ним учился» (I, 28). Стараясь всячески приблизить Озерова к новым веяниям в литературе, Вяземский не предал гласности замечание Д. Н. Блудова о том, что произведения Озерова встречали «невыгодные отзывы со стороны Карамзина и И. И. Дмитриева». Таким образом выясняется, что в оценке Озерова арзамасцы делились на два лагеря: если Батюшков, Вяземский и Д. Н. Блудов принадлежали к ревностным приверженцам трагика, то Карамзин, И. И. Дмитриев и Пушкин притерживались иному, более критического мнения об его творчестве. Правда, известна дневниковая запись С. П. Жихарева, которая, на первый взгляд, противоречит словам Д. Н. Блудова; 1 октября 1805 года С. П. Жихарев записал: «Всюду толки об „Эдипе“ и, странное дело, есть люди из числа староверов литературных, которые находят, что какая-нибудь „Семира“ Сумарокова или „Рослав“ Княжина более производят эффекта на сцене, чем эта бесподобная трагедия. Мне кажется, что можно безумствовать так из одного только упрямства. Все лучшие литераторы: Дмитриев, Карамзин, Мерзляков отдают полную справедливость автору...» (С. П. Жихарев. Записки современника. Изд. АН СССР, М.—Л., 1955, стр. 100). Однако противоречие между свидетельствами Д. Н. Блудова и С. П. Жихарева мнимое; во время полемики, когда литературные ретрограды пытались утверждать, что «Семира» Сумарокова выше «Эдипа в Афинах» Озерова, Карамзин и И. И. Дмитриев брали сторону последнего. Но признание заслуг Озерова не мешало им, в свою очередь, высказывать нелюбезные суждения о его недостатках. Так, 15 сентября 1809 г. Жуковский писал А. И. Тургеневу: «Озеров с великим талантом и чувством. Я беспрестанно спорю за него с Карамзиным, который называет Фингала дрянью» (В. А. Жуковский. Письма к А. И. Тургеневу. М., «Русский архив», 1895, стр. 52).

Перед нами восприятие трех литературных поколений. Первое (Карамзин, И. И. Дмитриев) критикует, но в то же время признает его роль в некотором обновлении жанра трагедии; второе (Жуковский, Батюшков, Вяземский, Д. Н. Блудов) восторженно принимает, порой полемически преувеличивая заслуги Озерова в борьбе с «Беседой», создавая легенду о том, что трагик был жертвой несправедливых нападков и преследований со стороны членов «Беседы»; третье (Пушкин) считает, что трагедии Озерова безнадежно устарели и отвергает его творчество, не видя «в нем ни тени драматического искусства».

Письмо Д. Н. Блудова в сочетании с некоторыми другими архивными данными позволяет уточнить жизненную канву Озерова. Он был зачислен кадетом Сухопутного шляхетского корпуса 19 мая 1776 года и был выпущен из корпуса к статским делам армии поручиком 16 ноября 1787 года (ЦГВИА, ф. 314, оп. 1, № 3829, л. 4 об.). В Южной армии Озеров служил, по-видимому, до конца русско-турецкой войны, так как возвращение в Сухопутный шляхетский корпус адъютантом Ф. Ангальта относится к осени 1792 года: 10 сентября он был переименован в кадетские подпоручики (ЦГВИА, ф. 314, оп. 1, № 3819, л. 1 об.). Вопреки существующим мнениям Озеров продолжал службу в Сухопутном шляхетском корпусе и после смерти Ф. Ангальта. Как известно, Ф. Ангальт скончался в мае 1794 года, а Озеров значится еще в списках корпуса в 1795 году (ЦГВИА, ф. 314, оп. 1, № 3856). По всей вероятности, уход Озерова из корпуса и переход его на гражданскую службу произошел в 1796 году. В это время он нашел покровителя в лице А. В. Храповицкого; об этом писал И. И. Дмитриев в примечаниях к своим запискам: «Я познакомился с ним (Храповицким, — М. Г.), когда он был уже за пятьдесят и находился сенатором и председателем в хозяйственной экспедиции, <...> По предметам словесности любимый разговор его был о драматическом искусстве, которое он знал едва ли не лучше всех

наших авторов того времени. Покойный трагик наш Озеров был обязан его советам при вступлении своем на театральное поприще. Тогда он был, под его начальством, правителем канцелярии в хозяйственной экспедиции. Храповицкий любил и уважал его» (И. И. Дмитриев, Сочинения, т. 2, СПб., 1893, стр. 160).

Документы подтверждают свидетельство И. И. Дмитриева: Озеров действительно служил в Экспедиции государственного хозяйства, опеки иностранцев и сельского домоводства. 13 апреля 1797 года в ведение этой экспедиции была передана часть казенных лесов. Во исполнение этого указа Озеров был отправлен в командировку в Казанскую губернию. 26 мая 1798 года последовал новый указ, по которому казенные леса передавались вновь созданному Лесному департаменту Адмиралтейской коллегии. Сохранилось письмо вице-адмирала де Рибаса от 13 сентября 1798 года из Казани, в котором он писал: «...явился ко мне в Казани <...> коллежский советник Озеров и представил все бумаги и планы» (ЦГИА, ф. 1285, оп. 7, № 24, л. 67). Сдав дела по лесной части, Озеров вернулся в Петербург в конце сентября 1798 года.

По возвращению в столицу он продолжал служить в хозяйственной экспедиции. 27 мая 1799 года по предложению А. В. Храповицкого было принято решение отпускать из средств этой экспедиции ежегодно в распоряжение коллежского советника Озерова 400 рублей «на разъезды для осмотра колоний в СПб. губернии состоящих, завода кирпичного и строений при Школе земледелия» (ЦГИА, ф. 1285, оп. 7, № 29, л. 67).

Переход Озерова в Лесной департамент, с присвоением чина генерал-майора, состоялся, по-видимому, лишь в начале 1800 года: первое упоминание Озерова в делах Лесного департамента находится под датой 1 февраля 1800 года. 17 июля того же года Павел I повелел отправить Озерова для осмотра казенных пустопорожных земель, лежащих около Петербурга и Выборга; Озеров объехал Новолодожский и Шлисельбургский уезды (ЦГИА, ф. 1594, оп. 1, № 224).

Подготавливая письмо Д. Н. Блудова для своей статьи, Вяземский обошел вопрос, к какому времени относилось «удинение тихой жизни» Озерова, хотя из этого письма явствует, что первая отставка Озерова произошла в начале царствования Александра I. Сведения, сообщаемые Д. Н. Блудовым, совпадают с Экстрактом из протокола Государственной адмиралтейской коллегии от 10 июля 1801 года, в котором записано: «Адмиралтейск коллегия, слушав высочайшее повеление, объявленное оной минувшего мая 9-го числа, заподписанное господина вице-президента и кавалера графа Григория Григорьевича Кушелева, что его императорское величество государь император высочайше повелеть соизволил служащего в Лесном департаменте старшим советником генерал-майора Озерова по прошению его за болезнью от службы уволить с пансионом и мундиром, определили <...> Озерова за болезнью от службы уволить с мундиром и пансионом» (ЦГИА, ф. 1594, оп. 1, № 285, л. 1). 31 июля Озеров внес остаток подотчетных сумм и полностью рассчитался с департаментом (там же, л. 4). Вскоре он уехал в деревню; там в сельском уединении созрел замысел «Эдипа в Афинах», а возможно были уже написаны отдельные сцены трагедии.

В Петербург Озеров вернулся по настоянию Д. Н. Блудова. Последний был перемещен из Московского архива к делам коллегии иностранных дел в столице 29 октября 1802 года (ЦГИА, ф. 1162, оп. 6, № 42, стр. 220). Пока Д. Н. Блудов переезжал из Москвы в Петербург и вызывал письмами Озерова, прошло почти три месяца. Озеров вернулся в столицу и вновь поступил в Лесной департамент, отошедший после административной реформы в Министерство финансов; указ о назначении Озерова состоялся 21 января 1803 года. Таким образом его первая отставка длилась без малого два года: с мая 1801 по февраль 1803 года.

Случайно ли умолчал Вяземский в своей статье о времени и причине первой отставки Озерова? Нам представляется, что это была с его стороны

сознательная и хорошо продуманная тактика. Если бы он, следуя письму Д. Н. Блудова, написал, что Озеров ушел в 1801 году в отставку по своей мнительности, то это могло бы всех насторожить и поколебать в какой-то степени стройность легенды о преследованиях трагика, могло бы подвергнуть сомнению тезис о том, что его жизненные неудачи обязаны исключительно проискам беседчиков.

Между тем легенда, возникшая в арзамасском кругу, и до сего времени бытует в литературоведении. Правда, столкнувшись с фактами, которые противоречат этой версии, современные исследователи пытаются переосмыслить эту легенду. Так И. Н. Медведева, справедливо полагая, что роль А. А. Шаховского непомерно преувеличена, выдвигает гипотезу о том, что гонителем Озерова был Александр I, который якобы усмотрел в «Димитрии Донском» обидные для себя намеки, невыгодную для себя историческую параллель: победы Дмитрия Донского якобы проецировались в его сознании на неудачи в борьбе с Наполеоном. «Со времен Тильзита царь должен был питать неприязнь к Озерову, пьеса которого теперь фиксировала внимание на его позорной непоследовательности» (В. А. Озеров. Трагедии и стихотворения. «Сов. писатель», Л., 1960, стр. 53). Письмо Д. Н. Блудова помогает ответить и эту трансформированную легенду: «За три первые трагедии: Эдипа, Фингала и Дмитрия государь лично изъявлял ему свое благоволение и подарил за каждую по перстню; за Дмитрия с вензелем, такой же как ныне Жуковскому». Итак, «Димитрий Донской» особенно понравился Александру I и он особо отличил автора. Предполагать, что царь мог мстить автору якобы за то, что после Тильзитского мира его пьеса была нехвата, значит оглулять Александра I. Если бы подобная мысль действительно у него появилась, то было куда проще дать повеление о снятии «Димитрия Донского» с репертуара. Гипотеза И. Н. Медведевой не разрешает вопроса, а запутывает его. Необходимо осмыслить легенду о гонениях на Озерова именно как легенду, как примечательный факт литературной полемики между арзамасцами и беседчиками.

IV

ПИСЬМО П. А. ВЯЗЕМСКОГО К Д. Н. БЛУДОВУ

25-го февраля <1817 г.>

Благодарность дает мне киселя и я падаю к ногам Вашим, многомилостивая Кассандра. Письмо Ваше прочитано и перечитано с живейшим удовольствием, не смею еще сказать, с пользой, но я что-то бодрее думаю о труде своем, который теперь пойдет безостановочно. Ваши оба письма об Озерове так хороши, что их надобно целиком напечатать бы и Озерова тень не будет тосковать о памятнике. Если не удастся мне подтибрить и стакан, то по крайней мере вытяну из него все, что можно, за здоровье Озерова и Ваше. С нетерпением ожидаю обещанного Вами письма о журнале, тем более, что, отделавши Озерова, хочу приняться я за журналы, и написать нечто о свойстве и духе их на Руси до сего времени и о том, который нужно им иметь. Простите. Оставляю Вас ради Вас, то есть и для того, чтобы долее не скучать Вам, и для того, чтобы надоесть Вам после, или по просту сказать стану продолжать статью свою. Преподобная Кассандра! Моли бога за нас! разумеется бога ума и Вкуса. Я знаю, что Вы и с другими также коротко знакомы, но теперь я еще не намерен выпрашивать стульчик в библейском обществе: у меня голова и так уже болит и

от одного общества, в котором Долгорукой клеветом невинности, а Шаликов поэзии. Преданный Вам <ду>шою Вяземский.

Жихарев здесь еще все громобойничает.

На обороте адрес: Милостивому Государю моему
Дмитрию Николаевичу Блудову
на Вшивой бирже в собственном доме
в С.-Петербурге.

Статья Вяземского с изложением плана арзамасского журнала была им вскоре написана — в июне 1817 года она была предметом обсуждения в Арзамасе (см.: Арзамас и арзамасские протоколы, Изд. Писателей в Ленинграде, 1933, стр. 239—242). Письмо Д. Н. Блудова к Вяземскому об издании журнала, по-видимому, не было написано. Во всяком случае, Д. Н. Блудов относился скептически к возможности осуществления подобного начинания, что явствует из его приписки к речи А. И. Тургенева, в которой также содержался призыв к арзамасцам начать выпуск журнала: «Согласен с мнением, но прибавляя к оному сомнение: Кассандра» (там же, стр. 223). Как известно, скептицизм Д. Н. Блудова оказался обоснованным: несмотря на решение Арзамаса издавать журнал, оно не было по ряду обстоятельств претворено в жизнь.

Под обществом, «в котором Долгорукой клеветом невинности, а Шаликов поэзии», Вяземский имел в виду Общество любителей российской словесности при Московском университете. Называя поэта-сатирика И. М. Долгорукова (1764—1823) «клеветом невинности» Вяземский намекал на его оду «Невинность», которая была написана по следующему поводу: по просям чиновников-казнокрадов И. М. Долгоруков был уволен в марте 1812 г. с должности владимирского губернатора; его дело тянулось несколько лет и было закончено лишь в 1816 г., когда ему был объявлен выговор. В ответ на незащищенную обиду И. М. Долгоруков написал оду «Невинность».

Арзамасское прозвище С. П. Жихарева — Громобой, что и дало повод Вяземскому употребить по отношению к нему неологизм «громобойничает». Пребывание С. П. Жихарева в Москве в то время, когда писалась статья об Озерове, наводит на мысль, что, помимо Д. Н. Блудова, консультантом Вяземского мог быть и он; С. П. Жихарев жил в 1800-е годы в Москве и в Петербурге и был свидетелем триумфальных постановок трагедий Озерова; в своих «Записках современника» С. П. Жихарев подробно и с горячей симпатией писал об успехе «Эдипа в Афинах» и «Дмитрия Донского».

* * *

Сопоставление эпистолярных свидетельств со статьёй Вяземского помогает нам глубже проникнуть в литературную атмосферу эпохи. Мы убеждаемся в том, что, упуская, казалось бы, незначительные детали из писем Д. Н. Блудова, Вяземский конструировал жизненный путь Озерова не как биографическую реальность, а как полемическую легенду, как образ, который в ходе литературной борьбы приобрел иконописность, черты мученика, пострадавшего за свои творения. Соответственно с этим им была дана и апологетическая характеристика творчества Озерова. В художественной гиперболизации заключалась и сила и слабость статьи Вяземского. Пушкин, как известно, отверг оценку Озерова, сделанную Вяземским, ибо он отчетливо видел ее уязвимые места. Но для последующих поколений статья Вяземского была ценна именно своей легендарной законченностью. Когда в 1846 году А. Смирдин издал сочинения Озерова без предисловия Вяземского, то Белинский высказал сожаление, так как, по его мнению, эта статья «как будто срослась с сочинениями Озерова, заключая в себе суждение о них одного из замечательнейших по уму и таланту современников знаменитого трагика» (В. Г. Белинский и др., Полное собрание сочинений, т. X, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 55).



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Адлерберг А. В. 273.
 Адлерберг В. Ф. 273.
 Азадовский М. К. 32, 115.
 Аксаков И. С. 335, 347.
 Аксаков К. С. 305, 306, 308.
 Аксаков С. Т. 171, 342.
 Александр I 25, 30, 39—41, 67, 88, 96, 144, 145, 176, 208, 209, 263, 267, 273, 301, 354—356, 373, 374, 376, 377.
 Александр II 152, 221, 294, 326, 337, 339, 341, 343.
 Алексеев А. Д. 341.
 Алексеев М. П. 69, 164, 180, 207, 285.
 Алексей Михайлович 255.
 Алексей Петрович 253, 304.
 Альтшуллер М. Г. 137.
 Алябьев А. А. 286.
 Анастасевич В. Г. 19, 94.
 Ангальт Ф. Ф. 375.
 Аничков И. К. 94.
 Анна Иоанновна 7.
 Ансло Ж.-А. 155, 156.
 Араго Д.-Ф. 234
 Аракчеев А. А. 40, 51, 120, 261—263, 355.
 Арапов П. Н. 94.
 Аржевитинов И. С. 243, 306.
 Аристотель 103, 104, 148, 205.
 Архипов В. А. 80, 94.
 Арцыбашев Н. С. 167, 247, 313.
 Ахматова А. 184.
 Багратион П. И. 301.
 Баженов В. И. 11.
 Базанов В. Г. 80, 84, 94.
 Байрон Д.-Г. 43—46, 78, 79, 82, 114, 115, 117—119, 138, 139, 146, 150, 151, 153, 154, 158, 161—164, 182, 199, 234, 315.
 Бальзак О. 180, 191, 333.
 Барант А.-Г.-П. 148, 168, 174.
 Баратынский Е. А. 47, 129, 138, 145, 146, 165, 181, 184—187, 198, 280, 281, 311, 327, 328, 350.
 Барсуков Н. П. 3, 72, 244, 301, 302.
 Баргнев П. И. 9, 179, 264, 331, 356, 361.
 Баттё Ш. 41.
 Батюшков К. Н. 11, 18—20, 25, 27, 28, 34, 56, 60, 89, 110, 111, 117, 118, 164, 172, 195, 205, 260, 261, 266, 277, 302, 328, 335, 350, 361, 367, 370, 371, 375.
 Бауман А. 340.
 Баумгартен Н. А. 7.
 Бахтин Н. И. 78, 98.
 Бекетов В. Н. 340.
 Бекетов П. П. 73, 202.
 Беккер И. И. 152.
 Белецкий А. И. 173.
 Белли Д. 230.
 Белинский В. Г. 110, 111, 138, 139, 156, 157, 236, 238, 250, 251, 291, 302, 306, 308—310, 316, 318, 336, 346, 378.
 Беллок Л. 162.
 Белосельский-Белозерский А. М. 15.
 Бельчиков Н. Ф. 258.
 Бенедиктов В. Г. 345.
 Бенкендорф А. X. 4, 159, 175, 176, 196, 197, 217, 219, 221—227, 229, 232, 243, 273, 292, 334.
 Беранже П.-Ж. 239.
 Березина В. Г. 5, 130, 145, 151, 153, 170.
 Берелевич Ф. И. 218.
 Берков П. Н. 69, 206.
 Берше Д. 105, 106, 126.
 Бестужев А. А. 52, 55, 56, 62, 67, 71, 72, 80, 93, 94, 98—100, 107, 111,

- 114, 118—127, 132, 134, 136, 138,
141, 202, 262, 264, 267, 271.
- Бестужев Н. А. 142.
Бестужевы 52, 115.
Бирон Э. И. 253.
Бируков А. С. 134, 265.
Бицилли П. М. 5, 287.
Благой Д. Д. 184, 349.
Блан Л. 312.
Блинова Е. М. 187, 192, 287.
Блаудов Д. Н. 18, 20, 26, 27, 32, 35,
43—45, 47, 49, 59, 66, 70, 93, 97,
159, 161, 164, 165, 266, 301,
343—345, 365—378.
Бобров С. С. 19, 21.
Богаевская К. П. 120.
Богданович И. Ф. 47, 85, 140, 183.
Богословский Н. В. 4, 58, 66.
Болтин И. Н. 373.
Бомарше П.-О. 205.
Боровков И. Д. 94.
Боровкова-Майкова М. С. 4, 31.
Боровой С. Я. 33, 258.
Босвелл Д. 207.
Боссюэт Ж.-Б. 13, 49.
Брок П. Ф. 343.
Бруни Ф. А. 229.
Брюллов К. П. 229.
Буало-Депрео Н. 10, 13, 56, 90, 149,
195, 199, 241, 277, 346.
Булаховский Л. А. 51, 52.
Булагов А. Я. 36, 77, 202, 254, 314,
356.
Булагов К. Я. 356.
Булгарин Ф. В. 42, 44, 45, 83, 84,
94, 109, 118, 131—136, 145—147,
155—158, 172, 187, 190, 194, 197,
198, 200, 219, 222, 228, 232, 236,
240, 242, 250, 300, 302, 303, 305,
335, 336.
Буле И. Г. 15.
Бунсен Х.-К.-И. 230.
Бурнашев В. П. 314.
Бутков П. Г. 313.
Бутурлин Д. П. 15, 300, 301, 321.
Бюргер Г.-А. 105.
- Валерио М. Ф. 50.
Вадуева М. П. 17, 327.
Васильев В. А. 302.
Вацуро В. Э. 203, 245, 247, 252.
Веневитинов Д. В. 154.
Венелин Ю. И. 313.
Вергилий П.-М. 104, 117.
Верне Г. 230.
Верстовский А. Н. 116, 303.
Вигель Ф. Ф. 28, 236, 251—253,
260, 261, 295, 370.
- Видок Э.-Ф. 197, 198.
Виельгорская Л. К. 229.
Виельгорский М. Ю. 43, 128, 243,
303, 314.
Виноградов В. В. 173, 187.
Висковатов С. 19.
Витгенштейн П. Х. 263.
Владиславлев В. А. 316.
Власов А. С. 219.
Вовенарг Л. 70.
Воейков А. Ф. 23, 25, 29, 36, 43,
53, 60, 61, 72, 76, 79, 92, 111,
154, 157, 167, 264, 266, 316,
361.
Волгин В. П. 9, 67.
Волконская Э. А. 129, 151, 229.
Волконская М. Н. 142, 143.
Волконский П. М. 39.
Волконский С. Г. 143.
Вольтер Ф.-М. 8—10, 13—15, 37,
60, 61, 67—70, 76, 88, 114, 117,
118, 135, 136, 199, 204, 211, 212,
214, 215, 227, 241, 268, 280.
Вольинский А. П. 304.
Воронцов А. Р. 15.
Востоков А. Х. 21, 22.
Вытженс Г. 5, 218, 236, 338, 342,
358.
Вышнеградский Н. А. 340.
Вяземская В. Ф. 16, 17, 36, 42—46,
116, 141—143, 165, 179, 187,
192, 217, 287, 327.
Вяземская Е. А. 8.
Вяземская Е. И. 8.
Вяземская Н. П. 17, 290.
Вяземская П. П. 17, 228.
Вяземский А. И. 7—13, 16, 216,
354.
Вяземский А. Ф. 7.
Вяземский И. А. 7.
Вяземский Н. А. 7.
Вяземский П. П. 8, 10, 17, 49, 157,
229, 271, 299, 327.
- Габбе П. А. 75, 76, 129.
Гагарин 40.
Гагарин В. Ф. 175.
Гагарин И. С. 233.
Гагарин Ф. С. 16.
Галахов А. Д. 318, 350.
Галифф Ж.-Б. 75.
Ганка В. 330.
Геерен А.-Г.-Л. 133.
Гельвеций К.-А. 10, 72.
Генрих IV 208, 281.
Георгиевский П. Е. 63.
Гердер И.-Г. 60.
Геро (Эро) Э.-И. 129, 172.

- Герцен А. И. 229, 255, 263, 273, 305, 342, 343, 362.
 Гете И.-В. 105, 114, 117, 130, 135, 150.
 Гиббон Э. 211.
 Гизо Ф.-П.-Г. 41, 42, 148, 168, 174.
 Гинзбург Л. Я. 4, 49, 260, 264, 351, 360.
 Гишар Ж.-Ф. 204.
 Глинка М. И. 303.
 Глинка Ф. Н. 94, 368, 370.
 Гнедич Н. И. 64, 65, 84, 93, 94, 368, 370, 372.
 Гоголь Н. В. 5, 11, 179, 236—238, 299, 301, 304—312, 361.
 Гозенпуд А. А. 66.
 Голенищев-Кутузов П. И. 23, 24, 30, 261.
 Голицын А. Н. 15, 265.
 Голицын А. Ф. 179.
 Голицын Д. В. 176.
 Голицына А. И. 269.
 Гомер 64, 65, 68, 104, 106, 117, 125, 298, 299, 306, 355, 367, 368, 370.
 Гончаров И. А. 72, 341, 343.
 Гораций 21, 60, 103, 104, 117, 135, 278, 301.
 Гордин А. М. 112.
 Городецкий Б. П. 302.
 Горчаков Д. П. 263.
 Горшковский К. 330.
 Готовцева А. И. 129, 200, 201.
 Грамматин Н. Ф. 361.
 Греч Н. И. 47, 61, 67, 72, 94, 99, 120, 128, 131, 132, 155—157, 232, 295, 296, 302, 303, 368, 370, 372.
 Грибоедов А. С. 16, 56, 98, 99, 111—115, 118, 127, 132, 133, 140, 141, 178, 199, 236, 306, 340.
 Гроссман Л. П. 100.
 Грот К. Я. 57.
 Грот Я. К. 57, 318, 319.
 Грузинцев А. Н. 261.
 Гуковский Г. А. 279—281.
 Гурьев Д. А. 263.
 Гусев Н. Н. 356.
 Густав Адольф 214.
 Гутенберг И. 229.
 Гюго В. 191, 192.
 Давыдов Д. В. 11, 18, 25, 28, 83, 139, 140, 165, 166, 173, 218, 239, 257, 258, 327, 361, 371.
 Давыдов Д. Д. 28.
 Даламбер Ж.-Л. 10, 15, 67, 70, 90, 212, 213, 215, 227.
 Данилевский А. И. 94.
 Данилевский Г. П. 340.
 Данилевский М. Г. 340.
 Данилов В. В. 142.
 Данте Алигьери 40, 48, 118.
 Дашкевич К. 151.
 Дашков Д. В. 18, 20, 21, 26, 27, 29, 31—34, 36—38, 42—47, 52—54, 60, 61, 70, 97, 129, 131, 176, 225, 226, 266, 327, 361, 367, 370, 371.
 Дашков П. М. 34.
 Дашкова Е. Р. 255.
 Дебро Э. 239.
 Дейч Г. М. 269.
 Делавинь К. 197.
 Делиль Ж. 280.
 Дельвиг А. А. 4, 47, 94, 129, 133, 142, 170, 186, 187, 192, 197—200, 221, 238, 250, 275, 287, 352.
 Дельвиг А. И. 169, 186, 197.
 Державин Г. Р. 13, 21—24, 60—62, 66, 78, 85, 88, 111, 118, 124, 146, 188, 195, 230, 254, 261, 270, 278, 301, 315, 358, 373, 375.
 Державина Е. Я. 88.
 Дефо Д. 10.
 Дефонтен П.-Ф. 37, 68.
 Джонес 132.
 Джонсон С. 207.
 Дидро Д. 10, 70, 195, 206, 213, 299.
 Дмитриевский И. А. 366, 368.
 Дмитриев И. И. 5, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 28, 34, 37, 43, 44, 48, 58, 60, 61, 69, 78, 84—86, 88, 89, 92—94, 124, 125, 129, 137, 183, 188, 195, 196, 202, 223, 231, 254, 267, 268, 280, 290, 311, 327, 328, 352, 356—358, 363, 371, 373, 375, 376.
 Дмитриев М. А. 42—44, 99, 108, 111, 128, 267.
 Дмоховский А. 151.
 Добролюбов Н. А. 342.
 Долгорукая М. С. 7.
 Долгорукий П. В. 7.
 Долгоруков И. М. 378.
 Дондуков-Корсаков М. А. 301.
 Дора К.-Ж. 204.
 Достоевский Ф. М. 295.
 Дронке Э. 273.
 Дубельт А. В. 232.
 Дубровин Н. Ф. 158.
 Дурова Н. А. 239.
 Дурьлян С. Н. 4, 95, 144.
 Дюси Ж.-Ф. 366, 367.
 Евверс Л. 35, 38.
 Евгений 17.

Еврипид 105, 106.
Егуннов А. Н. 65.
Екатерина II 7, 9, 67, 71, 72, 74,
208—211, 213, 215, 226—228,
253, 255, 273, 304, 316, 357,
374.
Елагин И. П. 206.
Елагина А. П. 129.
Ермакова-Битнер Г. В. 29, 67, 263.
Ермолов А. П. 77, 115.
Ермолов М. А. 295.
Ерофеев В. В. 235.
Ефремов П. А. 263.

Жандр А. А. 67, 123.
Жанен Ж. 191, 192.
Жанлис С.-Ф. 204.
Жирарден Э. 294.
Жирмунский В. М. 154.
Жихарев С. П. 374, 375, 378.
Жуи Б.-Ж.-Э. 132, 369, 370.
Жуковская Е. А. 293.
Жуковский В. А. 11, 13, 15, 18—24,
26, 27, 29—31, 35, 36, 38, 45,
47, 49, 50, 52—56, 59, 70, 72, 73,
79, 92, 94, 97, 98, 110, 111,
116—118, 124, 129, 133—135,
137, 138, 141, 143, 146, 147, 157,
164, 168, 171, 173—175, 179,
181—183, 186, 188, 195, 218, 222,
225—227, 229, 232, 233, 254,
256—258, 260, 264—267, 269,
275, 277, 292—300, 303—305,
307, 314, 328, 335, 338, 340,
350—352, 356, 361, 363, 369, 371,
374, 375, 377.
Жюльен М.-А. 5, 95, 96, 271.

Загоскин М. Н. 121, 171, 249.
Замков Н. К. 4.
Замотин И. И. 52.
Западов А. В. 166.
Захаров И. С. 263.
Зенфт 354.
Зильберштейн И. С. 142.
Зотов В. Р. 340.
Зубков В. П. 231.
Зубов В. А. 21, 22.
Зубов П. А. 15.
Зыков Д. П. 154.

Иван IV 167, 168, 246, 255 (?).
Иванов П. И. 176.
Иваск Ю. П. 5, 95.
Игнатий 43.
Измайлов А. Е. 23, 133, 266.

Измайлов Н. В. 8, 56, 247, 302.
Ирвинг В. 195.

Кабанис П.-Ж.-Ж. 9, 10.
Кавелин Д. А. 29.
Кавелин К. Д. 313.
Кадо М. 295.
Кайданов И. К. 63.
Кальдерон П. 105, 122.
Камоенс Л. 90, 105.
Канкрин Е. Ф. 179, 216, 358.
Каннинг Д. 155, 164.
Кантемир А. Д. 147, 266, 328, 340.
Капнист В. В. 22, 65, 195, 236, 278.
Капнист П. И. 338, 339.
Каподистрия И. 253, 254.
Карабанос П. М. 263.
Карамзин Н. М. 11, 13, 15—29, 31,
34, 36, 37, 41, 42, 48—52, 54—61,
68, 70, 75, 78, 83, 85—87, 91—93,
98, 99, 107—109, 111, 112, 133,
136, 137, 143, 159, 167—169,
172—175, 181, 183, 188, 195,
196, 199, 200, 207, 211, 240, 243—
249, 252, 254, 259, 260, 272,
289, 292, 296, 301, 302, 305, 307,
311—314, 327, 335, 338, 352,
357, 358, 361, 363, 364, 373, 375.
Карамзина Е. А. 8, 23, 75, 173.
Карамзина С. Н. 312.
Карл V 173.
Катенин П. А. 53, 54, 67, 78, 98,
99, 118, 122, 123, 131, 154, 186,
250, 267.
Катков М. Н. 15, 337, 339, 346.
Катулл К.-В. 89.
Каушчишвили Н. 5, 228, 229.
Каченовский М. Т. 29, 34, 36—38,
42, 45, 49, 68, 71, 79, 80, 122,
167, 171, 224, 248, 261, 265,
268, 277.
Кикин П. А. 368, 370.
Киндякова Е. П. 161.
Кине Э. 238—240.
Кипренский О. А. 229.
Киреевский И. В. 5, 154, 176, 221—
225, 333—338.
Киреевский П. В. 176, 313.
Киселев П. Д. 16, 129, 165, 175.
Киселев Ф. И. 15.
Киселева С. С. 100.
Кларендон Д.-В. 332.
Клейнмихель П. А. 273, 292.
Клопшток Ф.-Г. 194.
Клостерман Г. И. 202.
Княжнин Я. Б. 62, 85, 136, 137,
366, 373, 375.
Княжнина Е. А. 137.

- Козлов И. И. 47, 129, 137—139, 152, 163, 165, 195.
 Козловский П. Б. 234, 235, 258.
 Козодавлев О. П. 263.
 Кока Г. М. 251.
 Кокошкин Ф. Ф. 171.
 Кологривов П. А. 173.
 Кологривова П. Ю. 16.
 Колумб Х. 245.
 Кольцов А. В. 235, 236, 361.
 Кондорсе Ж.-А. 212, 215.
 Констан Б. 41, 42, 49, 75, 89, 142, 148, 180—185, 290, 356.
 Константин Павлович 179.
 Коперник Н. 68.
 Коржунов М. А. 244.
 Корнель П. 13, 78, 148.
 Корнель Т. 13.
 Корнилович А. О. 94.
 Корниолин-Пинский М. М. 154.
 Королева Н. В. 102, 133.
 Корсаков П. А. 370.
 Корф М. А. 57, 339.
 Корш Е. Ф. 340.
 Костиевский О. И. 304.
 Костров Е. И. 53, 54, 65.
 Котляревский П. С. 77.
 Кочеткова Т. В. 4.
 Кошанский Н. Ф. 63.
 Кошелев А. И. 337.
 Краевский А. А. 233, 255—257.
 Красовский А. И. 121, 157.
 Кребиальон К.-П. 10.
 Кребиальон П.-Ж. 19.
 Крузенштерн И. Ф. 277.
 Крылов А. Л. 252.
 Крылов И. А. 13, 88, 94, 125, 134, 136, 137, 154, 186, 188, 232, 259, 301, 302, 335.
 Кулакова Л. И. 137.
 Кулешов В. И. 95.
 Кульман Н. К. 3, 4.
 Куницын А. П. 29, 63, 224.
 Курочкин В. С. 344—346.
 Курочкин Н. С. 345.
 Кутузов М. И. 301, 356.
 Кушелев Г. Г. 376.
 Кушелев-Безбородко Г. А. 340.
 Кюстин А. 294—296.
 Кюхельбекер В. К. 11, 45, 56, 62, 99, 100, 104, 107, 111, 115—119, 127, 133—135, 141.
 Лабзин А. Ф. 71.
 Лабинский К. 295.
 Лагарп Ж.-Ф. 38, 70, 87, 90, 367.
 Ламартиң А. 191, 193, 312.
 Ламот А. 61, 196.
 Ланда С. С. 4, 39, 75, 126, 127, 133, 143, 218, 265, 266.
 Ларошфуко Ф. 10.
 Лафайет М.-Ж.-П. 218—220, 225.
 Лафатер И.-Г. 68.
 Лафонтен Ж. 10, 13, 61, 88—91, 124, 125, 136, 267.
 Лебедев К. Н. 248, 249.
 Левашев В. В. 143.
 Левкович Я. Л. 80.
 Левшин А. И. 300.
 Лейбниц Г.-В. 10.
 Лелевель И. 133, 246.
 Лемке М. К. 158.
 Лемонте П.-Э. 136, 154.
 Ленин В. И. 157.
 Леонид 118.
 Леонтьев В. Н. 340.
 Лепаж Ш. 239.
 Лермонтов М. Ю. 139, 156, 239, 285, 289, 311—316.
 Лернер Н. О. 278.
 Липранди И. П. 48.
 Лобанов-Ростовский И. А. 161.
 Лобанов-Ростовский Я. И. 15.
 Ломоносов М. В. 13, 60, 61, 68, 85, 108, 109, 183, 188, 195, 301, 308, 328, 330.
 Ломоносов С. Г. 57.
 Лонгин 104.
 Лонгинов М. Н. 28, 29, 112.
 Лопухин И. В. 255.
 Лопухин П. В. 15.
 Лотман Ю. М. 4, 19—22, 39, 56, 71, 75, 102, 126, 127, 143, 218, 270.
 Луи Филипп 239, 240, 290, 314.
 Людовик XIV 148, 241, 277, 293.
 Люценко Е. П. 94.
 Львов Н. А. 88, 263.
 Львов П. Ю. 263.
 Мабуль Ж. 70.
 Магницкий М. Л. 21, 29, 261.
 Мадзони А. 5, 230.
 Майков А. Н. 316.
 Майков В. Н. 308.
 Майков Л. Н. 3, 66.
 Макогоненко Г. П. 26, 206.
 Макаров А. В. 255, 304.
 Макнавелли Н. 10.
 Максимович А. Я. 367.
 Малерб Ф. 13.
 Марат Ж.-П. 224.
 Мария Федоровна 273.
 Маркевич Б. М. 339.
 Марков А. И. 207.
 Марк К. 10, 273.
 Мармонтель Ж.-Ф. 10, 87, 91, 204, 213.

- Маро К. 61.
 Мартынов И. И. 23.
 Марциал М.-В. 74.
 Масанов И. Ф. 101.
 Массильон Ж.-Б. 70.
 Машинский С. И. 171.
 Медведев М. М. 111.
 Медведева И. Н. 66, 377.
 Мезофанты Д. 230.
 Мей Л. А. 340.
 Мейлах Б. С. 27, 63, 173, 224, 302.
 Менье А. 180.
 Мерзляков А. Ф. 18, 21, 22, 45, 53,
 54, 72, 102, 183, 375.
 Милонов М. В. 20, 266.
 Милорадович М. А. 301.
 Мильвуа Ш.-Г. 150.
 Мильтон Д. 10, 106, 118, 254.
 Минаев Д. Д. 345.
 Минин К. Э. 168, 169.
 Миних Б.-Х. 71.
 Мирабо О.-Г.-Р. 157.
 Михайлов А. Д. 5.
 Михаил Федорович 255.
 Мицкевич А. 11, 149, 151—153, 161,
 164, 165, 195, 218, 220, 340,
 356.
 Мишле Ж. 312.
 Модзалевский Б. Л. 176, 243.
 Мольер 13, 148, 195.
 Монтень М. 10, 13, 41, 42, 49.
 Монтескье Ш. 13, 162.
 Мордвинов Н. С. 15.
 Мордовченко Н. И. 4, 33, 58, 62,
 66, 67, 81—83, 94, 95, 107—109,
 124, 134, 137, 145.
 Морозов А. А. 200.
 Морошкин Ф. Л. 313.
 Морьер Д. 156.
 Мур Т. 163, 164, 199.
 Муравьев М. Н. 23, 367.
 Муравьев Н. М. 32, 142, 270.
 Муравьев-Апостол И. М. 100, 103.
 Муравьева Е. Ф. 27.
 Мусин-Пушкин М. Н. 342.
 Муханов А. А. 129, 154.
 Муханов В. А. 135.
 Муханов Н. А. 135, 213, 275.
 Муханов П. А. 119, 129, 142.
 Мюссе А. 180.
 Мятлев И. П. 202.
 Мятлев П. В. 202.
 Надеждин Н. И. 193, 194.
 Назимов В. И. 337.
 Наполеон 17, 36, 43, 46, 51, 76,
 139, 140, 193, 226—228, 238—
 240, 354—356, 361.
 Наполеон III 221, 329, 332.
 Нассау-Зиген К.-Г.-Н.-О. 253, 255.
 Нахимов П. С. 331.
 Нащокин П. В. 250.
 Некрасов Н. А. 339, 342, 343.
 Нелединская-Мелецкая А. Ф. 16.
 Нелединский-Мелецкий Ю. А. 11,
 15, 17, 254, 327, 361.
 Нельсон Г. 18.
 Немцевич Ю. 90.
 Нессельроде К. Р. 209, 218, 254, 273.
 Нечаева В. С. 4, 5, 10, 95, 112,
 177, 266, 290, 342, 344, 347, 348,
 360.
 Нечкина М. В. 9, 67, 178.
 Нибур Б.-Г. 168.
 Никитенко А. В. 182, 341, 342.
 Никитин И. С. 342.
 Николай I 141, 145, 155, 158, 159,
 166, 175—179; 209—211, 215—
 217, 219—223, 225, 228, 240,
 247, 249, 255, 256, 272, 273, 291—
 293, 296, 301, 320, 326, 327,
 333—337, 360.
 Николов Н. П. 137.
 Новиков Н. И. 9, 31, 71, 86, 147.
 Новосильцев Н. Н. 18, 38, 363.
 Норов А. С. 337, 339, 341, 343.
 Ньютон И. 68.
 Оболенский П. А. 15.
 Обрезков П. А. 16.
 Обресков М. А. 263.
 Овидий 80.
 Огарев Н. П. 263, 342.
 Одоевский А. И. 142.
 Одоевский В. Ф. 116, 232, 249,
 255—258, 303, 314.
 Ожаровский А. П. 39.
 Озеров В. А. 4, 33, 58, 62, 64, 66,
 67, 81, 111, 122, 123, 153, 188,
 356, 365—378.
 Ознобишин Д. П. 132.
 Оленин А. Н. 27, 65, 367, 370.
 Оленина А. А. 286.
 Олин В. Н. 154.
 Оман Э. 150.
 Орлов А. Л. 137.
 Орлов А. Ф. 337.
 Орлов В. Н. 20, 113, 128, 133, 170.
 Орлов М. Ф. 4, 25, 29, 32, 33, 38,
 41, 59, 63, 77, 143, 248, 249,
 258, 327, 369, 370.
 Остолопов Н. Ф. 17, 361.
 Павел I 7, 8, 67, 209, 255, 273, 301,
 376.

- Павлищев Л. Н. 232.
 Павлищев Н. И. 166.
 Павлищева О. С. 166, 232.
 Павлов Н. Ф. 249.
 Палладио А. 11.
 Панин В. Н. 209, 342.
 Панин Н. П. 15.
 Панин П. И. 206, 213.
 Пеллетан П.-К.-Э. 221.
 Пеллико С. 5, 230, 240, 361.
 Пелчинский В. С. 94.
 Переверзев В. Ф. 191.
 Перовошиков В. М. 93.
 Персий А. 120.
 Перцов Э. П. 132.
 Пестель И. Б. 263.
 Пестель П. И. 77.
 Петр I 71, 149, 169, 189, 208, 209,
 214, 247, 294, 304, 316, 333, 357,
 358.
 Петр III 273.
 Петрарка Ф. 286.
 Петров В. П. 85, 254, 318.
 Пигарев К. В. 5, 233, 270.
 Пикар Л.-Ф. 132.
 Пиксанов Н. К. 20, 232.
 Пиндар 105, 106, 117, 125.
 Пинелли Б. 230.
 Писарев А. А. 236.
 Писарев А. И. 99, 111, 122.
 Плаксин В. Т. 350.
 Плетнев П. А. 30, 79, 94, 154, 183,
 186, 203, 213, 221, 232, 238, 252,
 301, 303, 318, 337, 345, 361.
 Плутарх 10.
 Плюшар А. А. 340.
 Погодин М. П. 154, 164—167, 183,
 213, 214, 244, 300—303, 312, 345.
 Полевой К. А. 130, 131, 151, 168,
 247.
 Полевой Н. А. 5, 100, 112, 128—130,
 147, 151—153, 157—160, 164—
 172, 174, 175, 184, 196, 198—
 201, 211, 213, 215, 228, 240,
 246—248, 250, 251, 291, 303,
 305, 313, 319, 328, 363.
 Полегица П. И. 225, 226.
 Полторацкая М. С. 349.
 Полторацкий С. Д. 85, 129, 130,
 151, 162, 172, 268, 349.
 Потемкин Г. А. 7.
 Погодкий Я. 141.
 Прадон Н. 68, 195.
 Протасова А. А. 264.
 Пугачев В. В. 235.
 Пугачев Е. 359.
 Пушкин А. С. 3—6, 8, 9, 11, 13, 22,
 27, 29, 33, 37, 38, 44—49, 51, 52,
 55—59, 63, 64, 66, 68, 72, 76—
 84, 92, 97, 99—102, 107, 109—
 111, 113, 116, 124, 125, 127—
 129, 132, 134—143, 145, 147,
 149—151, 153—156, 158, 159,
 161, 162, 164, 165, 168, 171,
 173—176, 179—188, 190—192,
 194, 195, 197, 198, 200, 201, 203,
 204, 206—208, 210—235, 238—
 247, 249—253, 255—258, 260—
 264, 266, 269, 272—290, 296,
 300—307, 311—317, 320, 327,
 328, 335, 338, 340, 349—353,
 356—359, 361—363, 370, 375,
 378.
 Пушкин В. Л. 11, 15, 18, 20, 27, 28,
 34, 38, 43, 45, 53, 56, 57, 61,
 80, 115, 216, 255, 266, 268, 327,
 361, 370.
 Пушкин Л. С. 80, 136, 138.
 Пушкин С. Л. 56.
 Пушкина Н. Н. 174.
 Пуччи Д. 230.
 Пушин И. И. 57, 141—144.
 Пушин М. И. 141, 142.
 Радищев А. Н. 25, 26, 71—73, 210,
 240, 269, 270, 304.
 Радищев Н. А. 72, 304.
 Раевский В. Ф. 271.
 Разумовский Л. К. 15.
 Раич С. Е. 195.
 Расин Ж. 13, 19, 49, 61, 68, 78, 106,
 117, 148, 153, 195, 241, 280, 358.
 Рейзов Б. Г. 105.
 Рейналь Г. 70, 72.
 Рейс Ф. Ф. 15.
 Рейсер С. А. 273.
 Рейтерн Г. 293.
 Реньяр Ж.-Ф. 13.
 Ренэ Г. 5.
 Реттель Л. 152.
 Рибас И. 376.
 Ривароль А. 157.
 Римский-Корсаков Г. А. 95, 96, 175.
 Риччи М. 230.
 Розанов И. Н. 3, 287.
 Розен Е. Ф. 186, 203, 232, 319.
 Россини Д. 180.
 Ростовцев Я. И. 301.
 Ростопчин Ф. В. 75, 253, 254, 263,
 304, 356.
 Ростопчина Е. П. 301.
 Румянцов Н. П. 27.
 Руссо Ж.-Б. 13, 90, 196.
 Руссо Ж.-Ж. 10, 61, 70, 159, 164,
 311.
 Руссов С. В. 174, 313.
 Рылеев К. Ф. 56, 80, 93, 94, 107,
 111, 119—121, 125—127, 132.

- 134, 136, 138, 141, 142, 262, 264, 265, 271, 273.
- Рюльер К.-К. 43.
- Рюмин В. Н. 340.
- Саади 158, 159, 161.
- Сабуров Я. И. 110.
- Сабурова В. А. 286.
- Савельев-Ростиславич Н. В. 313.
- Сазонов Н. И. 273.
- Сайтов В. И. 4.
- Салинка В. А. 129.
- Салтыков А. Д. 302, 328.
- Салтыков-Щедрин М. Е. 338.
- Самарин Ю. Ф. 305, 313.
- Сандомирская В. Б. 57, 222.
- Сахаров И. П. 255.
- Светлова М. К. 258.
- Свиньин П. П. 155, 261, 262, 355.
- Северин Д. П. 19, 20, 23, 35, 173, 361.
- Сей Ж.-Б. 164.
- Селивановский С. И. 119.
- Семека А. В. 9.
- Семион Бекбулатович 255.
- Сенковский О. И. 317.
- Сен-При А. 300.
- Сент-Бев Ш.-О. 150, 311.
- Сербинович К. С. 182, 203.
- Сергиевский И. В. 250, 251.
- Серристери Л. 230.
- Сиповский В. В. 8, 9.
- Скаррон П. 10.
- Скотт В. 159, 161, 162, 195, 299.
- Смирдин А. Ф. 378.
- Смирнова А. О. 285.
- Снегирев И. М. 92.
- Сократ 335.
- Соллогуб В. А. 254, 299, 340, 344, 345.
- Солнцев (Сонцов) М. М. 47, 48.
- Соловьев С. М. 313.
- Сомов О. М. 79, 99, 101.
- Сорокин Ю. С. 302.
- Сосницкий И. И. 114.
- Софокл 105, 106, 193 366, 367, 373.
- Соц В. И. 67, 123.
- Спасович В. Д. 3.
- Сперанский М. М. 261, 266.
- Сталь А.-Л. 51, 75, 76, 105, 148, 154, 185, 294.
- Старчевский А. В. 303, 304, 340.
- Стендаль 4, 105, 106, 126, 180, 192, 229.
- Степанов Н. Л. 120, 196.
- Стефанович В. Н. 70, 71.
- Струве Г. 235.
- Суворов А. В. 129, 301.
- Султан-Шах М. П. 142.
- Сумароков А. П. 18, 62, 67, 85, 153, 205, 208, 318, 366, 375.
- Сухова-Кобылин А. В. 342.
- Сухомяинов М. И. 3, 72, 158, 160, 171.
- Сушков Н. В. 9.
- Талейран Ш.-М. 234.
- Тальма Ф.-Ж. 96, 164.
- Тассо Т. 105, 286.
- Татищев А. И. 143.
- Тацит П.-К. 143.
- Терновский Ф. 9.
- Теряев П. А. 94.
- Тимковский И. О. 269.
- Тиртей 21, 22, 118, 146.
- Толстой А. К. 316.
- Толстой Д. А. 15.
- Толстой Л. Н. 355, 356.
- Толстой П. Александрович 176.
- Толстой П. Андреевич 255, 304.
- Толстой Ф. И. 143, 277, 278.
- Толстой Я. Н. 67, 129, 155, 165, 171, 172, 295.
- Томá А. 70.
- Томашевский Б. В. 63, 76, 80, 81, 99, 150, 151, 161, 191, 192, 277.
- Тредиаковский В. К. 195, 304.
- Трубецкой И. Ю. 304.
- Туманский В. И. 47, 48.
- Тургенев А. И. 4, 11 17, 18, 26, 29, 30, 33—41, 43—45, 47, 50—55, 61, 69, 71, 73, 76, 77, 93, 94, 101, 102, 111, 115—117, 119, 128—129, 133, 139, 141, 143, 156, 163, 171—173, 176, 180, 187, 191, 202, 203, 211, 212, 214, 218, 219, 229—236, 243, 258, 259, 261, 263, 265—267, 269, 271, 277, 280, 281, 283, 289, 301, 303, 305, 306, 327, 361, 362, 370, 375, 378.
- Тургенев И. С. 207, 335, 342.
- Тургенев И. П. 9.
- Тургенев Н. И. 4, 32, 33, 40, 59, 73, 83, 84, 129, 133, 156, 160, 173, 265, 269, 272, 361, 370.
- Тургенев С. И. 4, 32, 39, 40, 370.
- Тутолмин И. В. 54.
- Тынянов Ю. Н. 98, 99.
- Тьер Л.-А. 312.
- Тьерри О. 168, 174.
- Тюрго А.-Р.-Ж. 156.
- Тютчев Ф. И. 102, 233, 295, 299, 300, 302, 349, 350, 356.
- Убри С. 295.
- Уваров С. С. 64, 65, 189, 242—245,

- 248—250, 256—258, 281, 297,
299, 301, 321, 367, 370.
Усакина Т. И. 249.
Устрялов Н. Г. 242—246, 313.
Ушаков Ф. В. 72.
- Фарнгаген фон Энзе К.-А. 301, 361.
Федоров Б. М. 154.
Фемистокл 118.
Фенелон Ф. 10, 13, 70, 210.
Ферретти Д. 230.
Фет А. А. 301, 316, 342.
Фиески Ж. 239.
Фикельмон Д. Ф. 6.
Филарет 35, 263.
Филипп Македонский 148.
Филиппов Т. И. 337, 339.
Флориан Ж.-П.-К. 13.
Фовицкий И. М. 71.
Фок М. Я. 158, 159, 176.
Фомин А. А. 4.
Фонвизин Д. И. 52, 60, 71, 73—75,
85, 88, 147, 187, 188, 190, 191,
195, 198, 201, 202—215, 236,
238, 239, 254, 270, 306, 316—
320, 361, 362.
Фонвизин И. А. 319.
Фонтенель Б. 88.
Фор М.-П. 95.
Франклин 164.
Францев В. А. 218.
Фридлендер Г. М. 269.
Фридман Н. В. 266.
Фуа М.-С. 155.
- Ханыков В. В. 15.
Хвостов Д. И. 23, 24, 38, 93, 172,
261, 277, 362.
Хемницер И. И. 85, 88, 187, 195.
Херасков М. М. 78, 85, 318.
Хитрово Е. М. 180, 218.
Хмельницкий Н. И. 113.
Ходакова Е. П. 197.
Хо́лмская О. 184.
Хомяков А. С. 295—297, 334.
Храповицкий А. В. 375, 376.
- Цертелев Н. А. 101.
Цявловская Т. Г. 110, 117, 142,
143, 162, 274.
Цявловский М. А. 9, 160, 258, 274,
275.
- Чаадаев П. Я. 48, 57, 132, 218, 219,
248, 249, 305, 309, 361.
Чебышев 53, 54.
- Чернышев А. И. 116, 117, 143, 292.
Чернышев Г. И. 253, 254, 304.
Чернышев Э. Г. 254.
Чернышев И. Г. 255, 304.
Чернышев И. Э. 253.
Чернышевский Н. Г. 138, 139, 157,
238, 339, 342.
Чиж 13.
Чичагов П. В. 263.
Чумиков А. А. 340.
- Шаликов П. И. 20, 21, 23, 82, 116,
378.
Шамфор Н. 19.
Шапель К.-Э. 56, 198.
Шатерников Н. И. 74.
Шатобриан Ф.-Р. 105, 193, 194.
Шафарик П. И. 330.
Шаховская Н. Д. 143.
Шаховской А. А. 26, 66, 98, 99,
114, 122, 131, 261, 263, 277, 377.
Шаховской П. 255.
Шаховской Ф. П. 143.
Шевырев С. П. 154, 189, 221, 231,
235, 255, 300, 303, 306, 314,
318—320, 334, 335, 340, 346, 352.
Шекспир В. 48, 105, 106, 117, 118,
122, 149, 193, 199, 306.
Шенье М.-Ж. 367.
Шереметев С. Д. 159, 363.
Шиллер Ф. 87, 117, 118, 130, 150,
172.
Шильдер Н. К. 217.
Ширинский-Шихматов С. А. 23, 24,
51, 99, 117, 118, 261, 263, 277.
Шишков А. С. 21, 22, 35, 50, 54,
60, 66, 99, 261, 277.
Шкурин А. С. 274.
Шлегель А. 132.
Шлегель Ф. 105, 132, 192.
Шлецер А.-Л. 18.
Шлецер Х.-А. 18, 361.
Шнор 23.
Шолье Г. 198.
Штейнпресс Б. С. 286.
Шувалов И. И. 68, 206, 304.
- Щеглов Н. П. 243.
Щеголев П. Е. 258.
Щербатов А. Г. 8.
Щербина Н. Ф. 72, 345.
- Эвоп 14, 88.
Эйдельман Н. Я. 362.
Эльсгольд Ф. К. 10.
Эмин Ф. А. 85.

Энгельс Ф. 10.
Эскил 104, 118, 125.

Ювенал Д.-Ю. 146, 234, 235.
Юлий Цезарь 239, 240.
Юсупов Г. Д. 255.
Юсупов Н. Б. 202, 304.

Языков Д. Д. 3.
Языков Д. И. 263.
Языков Н. М. 129, 139, 199, 200,
221, 254, 301, 304, 306, 308,
320, 328.
Яковлев П. Л. 14.

Яковлев Ф. 268.
Якушкин Е. И. 142.
Ямпольский И. Г. 345.

Bengesco G. 68.
Bignon L.-P.-E. 41.
Etienne Ch.-G. 41.
Fiszman S. 218.
Jean de Laurencie 8.
Kératry A. 41.
Lednicki V. 218.
Oreilly de Bretny 8.
Rudler G. 185.
Voss Y.-F. 135.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ГБЛ --Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (Москва).
- ГПБ --Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
- ЖМНП -- Журнал Министерства народного просвещения.
- ИОРЯС -- Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук.
- ИРЛИ --Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).
- ЛН -- Литературное наследство.
- Сборник ОРЯС --Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук.
- ЦГАЛИ -- Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
- ЦГАОР -- Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).
- ЦГВИА -- Центральный государственный военно-исторический архив (Москва).
- ЦГИА -- Центральный государственный исторический архив (Ленинград).
-
-

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Глава первая	
Детство и юность	7
Глава вторая	
Вяземский и арзамасское братство	25
Глава третья	
Критические статьи 1816—1823 гг.	60
Глава четвертая	
Вяземский — теоретик русского романтизма	97
Глава пятая	
Вяземский и «Московский телеграф»	128
Глава шестая	
Без печатного органа (1828—1829 гг.). «Моя исповедь». Перевод «Адольфа»	170
Глава седьмая	
Вяземский и «Литературная газета»	186
Глава восьмая	
«Фонвизин»	202
Глава девятая	
Публицистика 1831—1833 гг.	216
Глава десятая	
Вяземский и пушкинский «Современник»	231
Глава одиннадцатая	
Поэзия Вяземского (1810—1830-е годы)	259

Глава двенадцатая

На переломе (1840-е годы) 289

Глава тринадцатая

Закат Вяземского 321

Приложение

В. А. Озеров в переписке П. А. Вяземского и Д. Н. Блудова 365

Указатель имен 379

Список сокращений 389

Максим Исаакович Гиллельсон

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Жизнь и творчество

*Утверждено к печати
Пушкинской Комиссией
Отделения литературы и языка
Академии наук СССР*

Редактор издательства В. А. Браиловский
Художник Д. С. Данилов
Технический редактор М. Н. Кондратьева
Корректоры Н. И. Журавлева, Л. Я. Комм
Ф. Я. Петрова и Г. И. Яковлева

Сдано в набор 20/VI 1969 г. Подписано к печати
11/XI 1969 г. РИСО АН СССР № 115—169В. Фор-
мат бумаги 60 × 90¹/₁₆. Бум. л. 12⁵/₁₆. Печ. л.
24¹/₂ + 1 вкл. (1/8 печ. л.) = 24³/₈ усл. печ.
Уч.-изд. л. 27,32. Изд. № 4117. Тип. зак. № 334.
М-61009. Тираж 8500. Бумага № 2. Цена 1 р. 85 к.

Ленинградское отделение издательства „Наука“
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства „Наука“, Ленинград, В-34,
9 линия, д. 12

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
41	8 св.	Kéritry	Kéatry
228	4 св.	Достаточно вспомнить	Достаточно вспомнить, что в одном из черновых набросков, который условно датируется
310	2 св.	что	этот

М. Н. Гиллельсон.